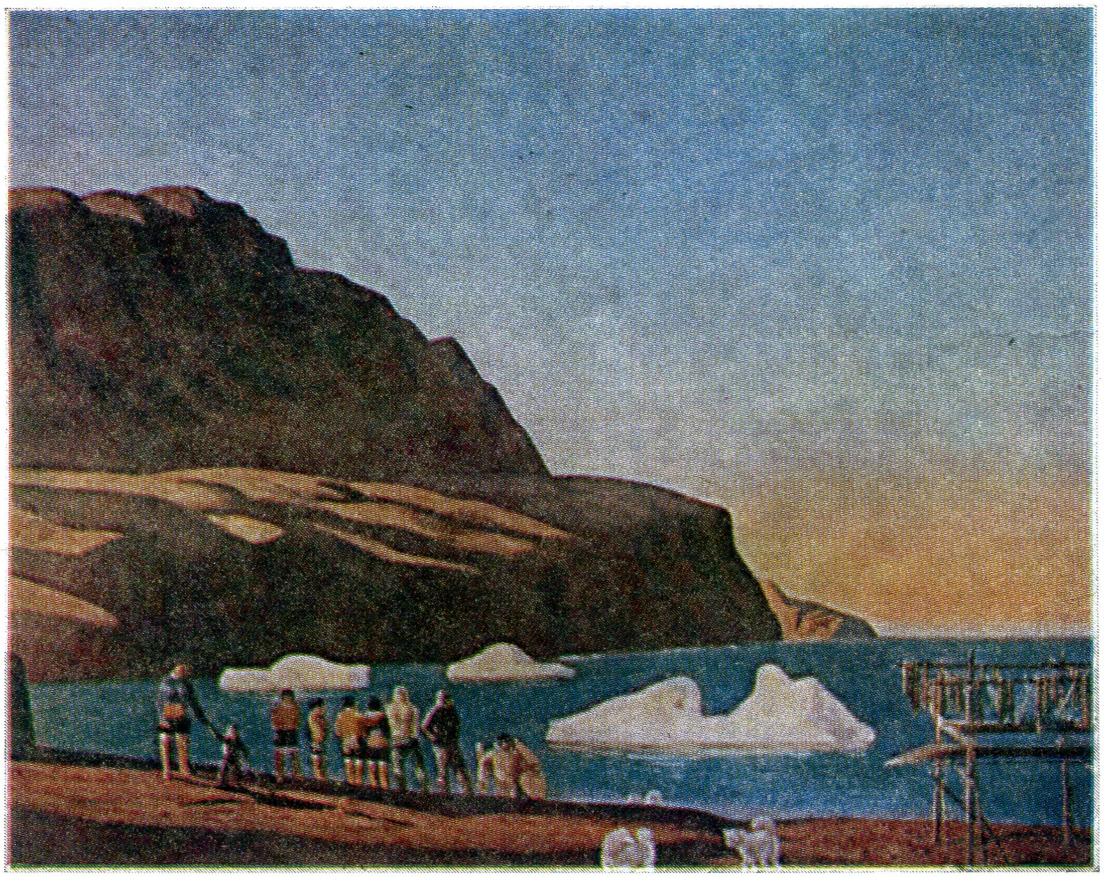
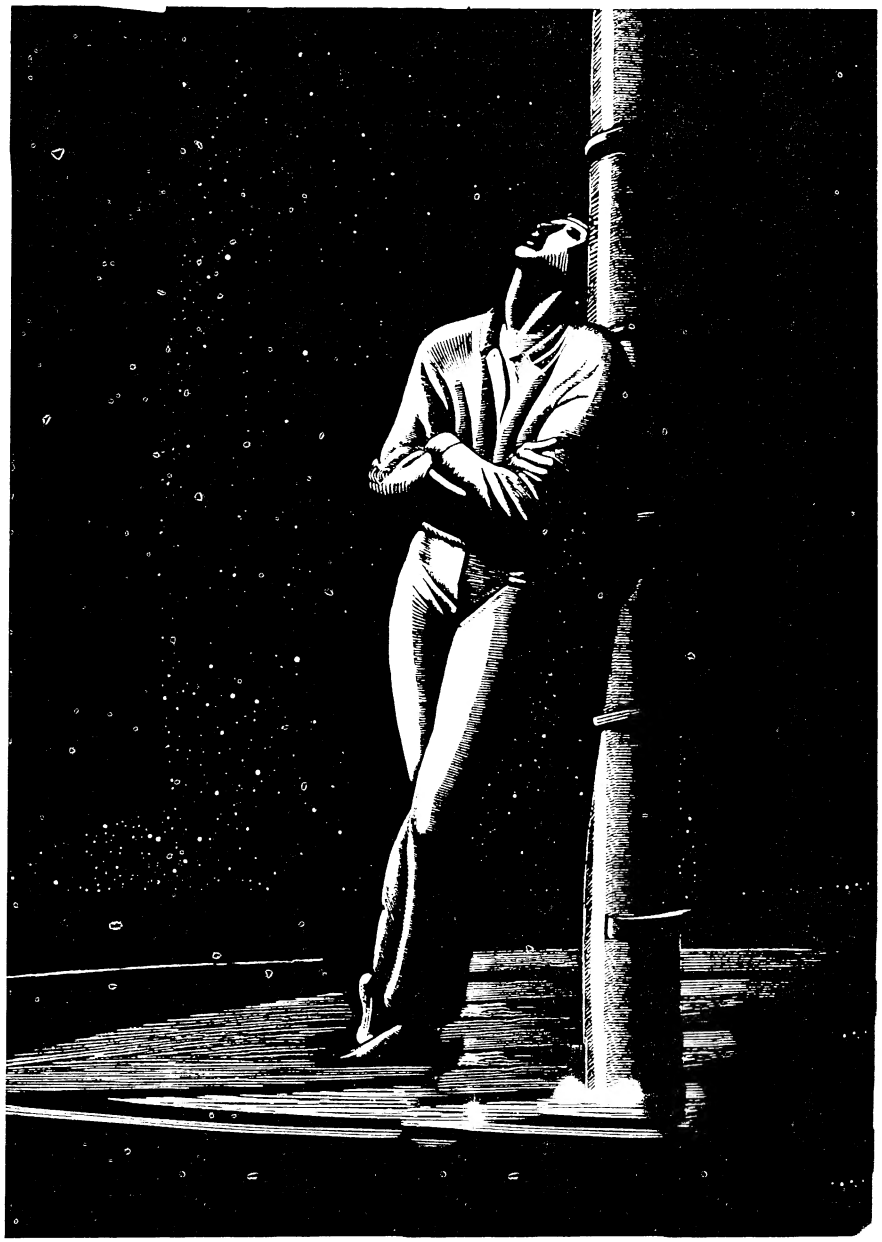
ISSN 0130–6545

6. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА





Человек у мачты. 1929

Иллюстрации номера — работы американского худ Рокуэлла Кента (к 100-летию со дня рож

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

6 ИЮНЬ 1982

Содержание

ГРЭМ ГРИН — Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой *(Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова)* 3

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Из стихотворений последних лет *(Переводы с польского Н. Астафьевой и В. Британишского. Вступление В. Британишского)* 61

ЮСУФ АЛЬ-КУАЙИД — Война на земле Египта *(Повесть. Перевод с арабского В. Кирпиченко)* 67

ПЕТЕР ЯРОШ — Тысячелетняя пчела *(Главы из романа. Окончание. Перевод со словацкого Нины Шульгиной)* 107

Из венгерской классики XX века

АРПАД ТОТ. МИХАЙ БАБИЧ *(Перевод с венгерского Н. Горской. Вступление Е. Малыхиной)* 178

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Сирил Перера, Курт Воннегут, Андрей Гуляшки, Алан Маршалл, Стефан Хермлин, Норман Казинс, Габор Гараи)* 188

Е. КНИПОВИЧ — Память *(У истоков писательского движения за мир)* 192

А. ЗВЕРЕВ — Тупик *(К вопросу об американском постмодернизме)* 199

Культура и современность

А. Шварц — Джон Леннон — цена популярности 208

Публицистика

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ — Вызов Жан-Жака Серван-Шрайбера 212

Документальная проза

ВЕСЛАВ ГУРНИЦКИЙ — Песочные часы *(Фрагменты книги. Перевод с польского Б. Стахеева)* 227

Антирубрика

СТАНИСЛАВ РУДОЛЬФ — Экзамен по старославянскому языку *(Перевод с чешского Н. Шахуриной)* 233

Наши гости

М. Салганик — Утпал Датт, Хабиб Танвир и Виджей Гендулькар (Индия) 237

Среди книг

Издано в СССР

Геннадий Ярославцев — В дальний полет на большой высоте ✦ Д. Урнов — Литература о литературе 240

Издано за рубежом

Н. Анастасьев — Расширение художественных горизонтов ✦ Сергей Белов — ...Вещь послушная 244

Советская литература за рубежом 198, 232

Из месяца в месяц 249

На обложке — работы американского художника РОКУЭЛЛА КЕНТА.

1-я стр.— «Гренландцы (близ Годхавна)». Масло. 1932.

4-я стр.— «Родной порт». Гравюра на дереве. 1931. «В дрейфе». Гравюра на дереве. 1933.

© «Иностранная литература», 1982.

ГРЭМ ГРИН

ДОКТОР ФИШЕР ИЗ ЖЕНЕВЫ, или УЖИН С БОМБОЙ

Перевод с английского Е. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. ИЗАКОВА

Моей дочери, Кэролайн Бурже,— эта история впервые пришла мне на ум за ее рождественским столом в Жоньи.

«Кто хоть раз попотчевал обедом друзей, тот испытал, каково быть Цезарем».

Герман Мелвилл

1

По-моему, я ненавидел доктора Фишера больше всех, кого я когда-либо знал, а его дочь любил больше всех женщин в мире. Странно, что мне с ней вообще довелось встретиться, не говоря уже о том, чтобы жениться. Анна-Луиза и ее отец-миллионер занимали большой белый дворец в классическом стиле на берегу озера в Версуа, в окрестностях Женевы, а я работал переводчиком и письмоводителем на огромной застекленной шоколадной фабрике в Веве. В сущности, нас разделял целый мир, а не просто один кантон. Я начинал работать в восемь тридцать утра, когда она еще спала в своей бело-розовой спальне, которая, по ее словам, напоминала свадебный торт, а когда я выходил наспех проглотить бутерброд вместо ленча, она, наверно, еще причесывалась, сидя в халате перед зеркалом. Из прибылей от своего шоколада хозяева платили мне три тысячи франков в месяц, что, вероятно, равнялось доходу доктора Фишера за полчаса: много лет назад он изобрел «Букет Зуболюба», пасту, будто бы предохраняющую от болезней, вызванных чрезмерным потреблением нашего шоколада. Слово «букет» должно было означать особый набор запахов, и первая реклама зубной пасты изображала со вкусом подобранный букетик цветов.

© Graham Greene, 1980.

DOCTOR FISCHER OF GENEVA or THE BOMB PARTY.

ГРЭМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.)

Английский писатель. Автор многих романов: «Меня создала Англия» («England Made Me», 1935), «Брайтонский утес» («Brighton Rock», 1938), «Власть и слава» («The Power and the Glory», 1940), «Путешествие с тетушкой» («Travels with My Aunt», 1969), «Почетный консул» («The Honorary Consul», 1973) и др. «Иностранная литература» познакомила читателей с романами Г. Грина «Тихий американец» (1956, № 6, 7), «Наш человек в Гаване» (1959, № 3, 4), «Ценой потери» (1964, № 9, 10), «Комедианты» (1966, № 9, 10). На русский язык переведены также роман «Суть дела» и пьеса «Гостиная».

«Ваш любимый цветок?» Позднее для рекламы использовались фотографии очаровательных девушек с цветами в зубах — у каждой девушки во рту был свой цветок.

Но я ненавидел доктора Фишера не из-за его богатства. Я ненавидел его за высокомерие, за презрение, которое он питал ко всему на свете, за жестокость. Он не любил никого, даже дочь. Он не потрудился помешать нашему браку, хотя презирал меня не меньше и не больше, чем своих так называемых друзей, которые готовы были бежать к нему по первому зову. Анна-Луиза называла их по-английски «жабами» — этот язык она знала далеко не в совершенстве. Она, конечно, подразумевала «жадюг», но я вскоре перенял кличку, которую она им дала. В числе жаб были пьяница киноактер Ричард Дин, командир дивизии — очень высокое звание в швейцарской армии, которая дает чин генерала только в военное время,— по фамилии Крюгер, юрист-международник Кипс, консультант по налоговым вопросам мсье Бельмон и американка с подсиненными волосами миссис Монтгомери. Генерал, как кое-кто из них называл Крюгера, числился в отставке; миссис Монтгомери удачно овдовела, и все они поселились в окрестностях Женевы по одной и той же причине: чтобы не платить налогов в собственных странах и чтобы воспользоваться выгодными налоговыми условиями в кантоне. Доктор Фишер и Дивизионный были единственными швейцарцами в этой компании, когда я с ней познакомился, и Фишер был куда богаче всех остальных. Он правил ими, как хозяин управляет ослом: с кнутом в одной руке и морковкой в другой. Все они были вполне состоятельными людьми, но как их манили морковки! Только из-за них они мирились с гнусными ужинами доктора Фишера, где гостей сперва унижали (представляю себе, как он вначале спрашивал: «Неужели у вас нет чувства юмора?»), а затем одаривали. В конце концов они научились смеяться еще раньше, чем над ними сыграют шутку. Они считали себя избранниками: ведь в Женеве и ее окрестностях было немало людей, которые завидовали их дружбе с великим доктором Фишером. (Я и по сей день не знаю, доктором каких наук он был. Может быть, это звание придумали из лести, так же как командира дивизии величали «генералом».)

Как случилось, что я полюбил дочь Фишера? Объяснять тут нечего. Она была молода и красива, отзывчива и умна, я и сейчас не могу вспоминать о ней без слез; но какая тайна скрывалась за ее привязанностью ко мне? Когда мы встретились, она была больше чем на тридцать лет меня моложе, и, конечно, во мне не было ничего, что могло бы привлечь девушку ее возраста. В молодости я потерял левую руку, будучи пожарным во время бомбежки Лондона — в ту декабрьскую ночь 1940 года, когда запылал район Сити,— а маленькой пенсии, назначенной мне после войны, едва-едва хватило на то, чтобы я мог поселиться в Швейцарии, где зарабатывал себе на жизнь благодаря знанию языков, которое получил заботами родителей. Мой отец был мелким чиновником на дипломатической службе, поэтому в детстве я жил во Франции, в Турции и Парагвае и выучил языки этих стран. По удивительному совпадению, и отец и мать погибли в ту самую ночь, когда я потерял руку; они были погребены под развалинами дома в западной части Кенсингтона, а моя рука осталась где-то на Лиденхолл-стрит возле Английского банка.

Как и все дипломаты, мой отец закончил свои дни дворянином, сэром Фредериком Джонсом — это имя, облагороженное титулом, никто в Англии не находил ни смешным, ни странным,— но, как я обнаружил, просто мистер А. Джонс выглядел в глазах доктора Фишера потешно. К моему несчастью, отец, будучи дипломатом, увлекался историей англосаксов и — разумеется, с согласия матери — дал мне имя одного из своих любимых героев, Альфреда (вероятно, мама дрогнула перед именем Элфрид). По непонятной причине имя Альфред стало каким-то плебейским в представлении нашего среднего

класса; теперь его дают только детям рабочих и в просторечии заменяют уменьшительным — Альф. Быть может, поэтому доктор Фишер, изобретатель «Букета Зуболюба», звал меня исключительно Джонсом, даже после того, как я женился на его дочери.

Но Анна-Луиза — что могло привлечь ее в человеке за пятьдесят? Быть может, она искала более чуткого отца, чем доктор Фишер, точно так же как я подсознательно был занят поисками дочери, а не жены. Моя жена умерла при родах двадцать лет назад, унеся с собой ребенка, который, по словам врачей, был бы девочкой. Я был влюблен в жену, но тогда я еще не дорос до тех лет, когда любишь по-настоящему, а может быть, просто время не настало. Думаю, что никогда не перестаешь любить, но перестать быть влюбленным так же легко, как охладеть к писателю, которым увлекался в детстве. Память о жене поблекла довольно быстро, и отнюдь не постоянство мешало мне жениться вновь: найти женщину, которая меня полюбила бы, несмотря на пластмассовое подобие руки и убогий заработок, было почти чудом, и я не мог надеяться, что такое чудо повторится. Когда потребность в женщине становилась настоятельной, я всегда мог купить себе физическую близость — даже в Швейцарии, после того как стал получать жалованье на шоколадной фабрике вдобавок к своей пенсии и тому немногому, что я унаследовал от родителей (это были действительно гроши, но поскольку сбережения были вложены в военный заем, они, по крайней мере, не облагались английскими налогами).

Впервые мы встретились с Анной-Луизой в кафе за бутербродами. Я в полдень заказал свой обычный ленч, а она зашла перекусить, собираясь затем проведать в Веве старушку, нянчившую ее в детстве. Пока мне не подали еды, я встал и вышел в уборную, положив на стул газету, чтобы сохранить за собой место, а Анна-Луиза, не заметив ее, села за тот же столик. Когда я вернулся, она, как видно, увидела, что у меня нет руки — хотя я ношу на протезе перчатку,— и, вероятно, поэтому не пересела, извинившись. (Я уже писал, какой она была доброй. В ней не было ничего от отца. Жаль, что я не знал ее матери.)

Наши бутерброды были поданы одновременно: ее — с ветчиной и мой — с сыром; она попросила кофе, а я пиво, и официантка, которая решила, что мы пришли вместе, заказы перепутала... И вот неожиданно мы вдруг почувствовали себя как два друга, встретившиеся после долгой разлуки. У нее были волосы цвета красного дерева, блестевшие точно от лака, длинные волосы, которые она зачесывала на макушку и закалывала раковиной с продетой в нее палочкой — кажется, эту прическу называют китайской; вежливо с ней здороваясь, я уже представлял себе, как выдерну эту палочку, раковина упадет на пол и волосы — на спину. Она была так непохожа на швейцарских девушек, которых я постоянно встречал на улице,— хорошеньких, свежих, кровь с молоком, с глазами, пустыми от полнейшего отсутствия жизненного опыта. У нее-то хватало опыта, раз она жила вдвоем с доктором Фишером после смерти матери.

Еще не успев доесть бутерброды, мы познакомились, и когда она произнесла фамилию «Фишер», я невольно воскликнул:

— Но ведь не *тот* же Фишер!

— Не знаю, кто это *тот* Фишер.

— Доктор Фишер со званными ужинами,— ответил я.

Она кивнула, и я увидел, что ее огорчил.

— Я на них не бываю,— сказала она, и я поспешил успокоить ее, что слухи всегда все преувеличивают.

— Нет,— возразила она,— эти ужины просто отвратительны.

Может быть, желая переменить тему, она прямо заговорила о моей пластмассовой руке, на которую я всегда натягиваю перчатку, чтобы скрыть увечье. Большинство людей делают вид, будто его не замечают, хотя, когда им кажется, что мое внимание чем-то отвлечено,

они украдкой поглядывают на протез. Я рассказал Анне-Луизе о той ночи, когда бомбили лондонский Сити, о том, как пламя пожаров озаряло небо до самого Вест-Энда и в час ночи можно было читать. Моя пожарная часть находилась возле Тоттнем-корт-роуд, и нас вызвали на подмогу лишь рано утром.

— Прошло больше тридцати лет,— заметил я,— а кажется, что это было совсем недавно.

— Как раз в тот год отец женился. Мама вспоминала, какой пир он закатил после венчания. Ну да,— добавила она,— «Букет Зуболюба» уже принес ему тогда состояние, а мы были нейтральной страной, и богачи, в общем, не знали карточек. Думаю, с того пира и пошли его ужины. Все женщины получили французские духи, а мужчины золотые палочки для размешивания коктейлей; в те дни ему еще нравилось видеть за своим столом женщин. Пировали до пяти часов утра. Мне бы такая брачная ночь не понравилась.

— Бомбардировщики убрались в пять тридцать,— сказал я.— Тогда я уже был в больнице, но, лежа на койке, услышал сигнал отбоя воздушной тревоги.

Мы оба заказали еще по бутерброду, и она не разрешила мне заплатить за нее.

— В другой раз,— сказала она, и эти слова прозвучали как обещание, что мы встретимся хотя бы еще раз.

Ночь бомбежки и завтрак с бутербродами — вот самые сокровенные и самые яркие мои воспоминания, более яркие даже, чем память о дне, когда умерла Анна-Луиза.

Мы доели бутерброды, и я долго смотрел ей вслед, прежде чем отправиться в свою контору к пяти письмам на испанском и трем на турецком языках, которые лежали у меня на столе и касались нового сорта молочного шоколада с привкусом виски. Без сомнения, «Букет Зуболюба» гарантировал, что сделает его безвредным для зубов.

2

Так оно все и началось для нас, но понадобился месяц мимолетных встреч в Веве и походов на классические фильмы в маленький кинотеатр Лозанны на полпути между нашими домами, прежде чем я понял, что мы полюбили друг друга и она готова «заняться любовью» со мной — дурацкая фраза: ведь давным-давно мы занимались любовью там, за бутербродами с ветчиной и сыром. В сущности, мы были вполне старомодной парой, и я без особой надежды сделал ей предложение в первый же вечер — это было в воскресенье, когда мы лежали в постели, которую в то утро я не потрудился заправить, так как не предполагал, что она согласится зайти ко мне после встречи в кафе, где мы с ней познакомились. Я тогда выразился так:

— Как я хотел бы, чтобы мы могли пожениться.

— А почему бы нет? — спросила она, лежа на спине и глядя в потолок, а раковина, которую швейцарцы называют просто заколкой, валялась на полу, и ее волосы рассыпались по всей подушке.

— Доктор Фишер,— сказал я.

Я ненавидел его даже до того, как с ним познакомился, и мне было противно произнести «твой отец»: разве она не призналась мне, что слухи о его ужинах соответствовали действительности?

— А нам незачем его спрашивать,— сказала она.— К тому же, по-моему, ему это будет безразлично.

— Я говорил тебе, сколько зарабатываю. По швейцарским условиям это не много на двоих.

— Обойдемся. Немножко мне завещала мама.

— И к тому же мой возраст. Я бы мог быть тебе отцом,— добавил я, думая, что как раз им и стал — заместителем отца, которого

она не любит, и что своим успехом я обязан доктору Фишеру.— Я бы мог быть даже твоим дедом, если бы женился пораньше.

Она сказала: — Ну и что? Ты мой любовник и мой отец, мой ребенок и моя мать, ты вся моя семья, единственная семья, которая мне нужна.— И она прижалась своим ртом к моему, чтобы я не мог возразить, придавила меня к постели, и так мы поженились на радость или на горе, без разрешения доктора Фишера, а если на то пошло, и без благословения священника.

Брак такого рода не имел законной силы, а значит, невозможен был и развод. Мы обвенчались друг с другом бесповоротно и навсегда.

Она вернулась в белый дворец в классическом стиле на берегу озера, уложила чемодан (удивительно, как много вещей может женщина затолкать в один чемодан) и ушла, не сказав никому ни слова. Лишь когда мы купили платяной шкаф и кое-какую кухонную утварь (у меня не было даже сковородки), а также более удобный матрац и прошло три дня, я сказал:

— Он, наверное, удивляется, куда ты исчезла.— Я сказал «он», а не «твой отец».

Она делала прическу в китайском стиле, которая мне так нравилась.

— Он, может, ничего и не заметил,— бросила она.

— Разве вы обедаете не вместе?

— Его часто не бывает дома.

— Пожалуй, мне надо пойти увидеться с ним.

— Зачем?

— А если он станет искать тебя через полицию?

— Они не будут слишком усердствовать,— возразила она.— Я уже взрослая. Мы не совершили никакого преступления.

Но я не был уверен, что его не совершил,— конечно, не юридически, но в глазах отца: однорукий инвалид, которому за пятьдесят и который целыми днями строчит письма о шоколаде, склонил к сожительству девушку, которой нет и двадцати одного года.

— Если ты в самом деле хочешь пойти,— сказала она,— ступай. Но будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен.

— Он так опасен?

— Это дьявол во плоти,— сказала она.

3

Я отпросился на день с работы и поехал на машине к озеру, но чуть не повернул обратно, когда увидел размеры парка, серебристые березы, плакучие ивы и огромный зеленый каскад лужайки перед колоннадой портика. Сонная борзая разлеглась как геральдическая эмблема. Я почувствовал, что мне полагалось бы зайти с черного хода.

Когда я позвонил, дверь отворил человек в белой куртке.

— Можно видеть доктора Фишера? — спросил я.

— Ваша фамилия? — грубо осведомился он. Я сразу понял, что это англичанин.

— Мистер Джонс.

Он провел меня наверх по нескольким ступенькам то ли в коридор, то ли в прихожую — там стояли два дивана, несколько кресел и висела большая люстра. Один из диванов занимала пожилая дама в голубом платье с голубыми волосами и множеством золотых колец. Человек в белой куртке исчез.

Мы с ней взглянули друг на друга, потом я осмотрел комнату и подумал об источнике всего этого богатства — о «Букете Зуболюба». Прихожая могла быть приемной очень дорогого зубного врача, а мы оба, сидевшие здесь,— пациентами. Немного погодя дама произнесла по-английски с легким американским акцентом:

— Он такой занятой человек, правда? Ему приходится заставлять дожидаться даже друзей. Я — миссис Монтгомери.

— Моя фамилия Джонс.

— Кажется, я не встречала вас на его приемах.

— Нет.

— Конечно, иногда приходится пропускать их и мне. Не всегда же тут бываешь. Верно? Не всегда.

— Вероятно, не всегда.

— Вы, конечно, знаете Ричарда Дина?

— Я с ним не знаком. Но читал о нем в газетах.

Она захихикала.

— А вы злой, сразу видно. А генерала Крюгера вы знаете?

— Нет.

— Но вы должны знать мистера Кипса? — спросила она даже с оттенком тревоги и недоверия.

— О нем я слышал. Кажется, он консультант по налогам?

— Нет, нет. Это мсье Бельмон. Как странно, что вы не знаете мистера Кипса.

Я понял, что от меня ждут какого-то объяснения, и сказал:

— Я друг его дочери.

— Но мистер Кипс не женат.

— Я говорю о дочери доктора Фишера.

— А! — сказала она.— Никогда ее не видела. Она держится особняком. На вечерах у доктора Фишера не бывает. А жаль. Нам всем хотелось поближе с ней познакомиться.

Человек в белой куртке вернулся и произнес тоном, который показался мне довольно наглым:

— Мадам, доктор Фишер немного температурит и сожалеет, что не может вас принять.

— Спросите у него, не нужно ли ему чего-нибудь, я сейчас же схожу и достану. Хорошего винограда?

— У доктора Фишера есть хороший виноград.

— Я это сказала к примеру. Спросите, не могу ли я чем-нибудь ему помочь, все равно чем.

Раздался звонок у входной двери, и слуга, не удостоив даму ответом, пошел открывать. Он снова поднялся по ступенькам в переднюю в сопровождении тощего старика в темном костюме, который шел, согнувшись чуть ли не вдвое. Голова у него была вытянута вперед, и мне показалось, что он очень напоминает семерку. Согнутую левую руку он прижимал к бедру, чем еще больше напоминал эту цифру.

— Он простудился,— сказала миссис Монтгомери,— и не может нас принять.

— Мистеру Кипсу назначен прием,— отозвался слуга и, больше не обращая на нее внимания, повел старика вверх по мраморной лестнице.

Я крикнул ему вдогонку: — Передайте доктору Фишеру, что у меня к нему поручение от его дочери.

— Температурит! — воскликнула миссис Монтгомери.— Вот уж не верьте. Они пошли вовсе не в спальню. Они пошли в кабинет. Но вы, конечно, знаете расположение комнат.

— Я здесь впервые.

— Ах так. Теперь понятно — вы не из наших.

— Я живу с его дочерью.

— В самом деле? — сказала она.— Как интересно и как откровенно. Я слышала, она — хорошенькая девушка. Но я никогда ее не видела. Я ведь уже говорила, что она не любит общества.— Миссис Монтгомери подняла руку, чтобы поправить прическу, звякнув золотым браслетом.— Знаете, на мне лежит большая ответственность. Когда доктор Фишер устраивает приемы, приходится быть за хозяй-

ку. Я единственная женщина, которую он теперь приглашает. Это, конечно, большая честь, но в то же время... Генерал Крюгер обычно выбирает вино... Когда бывает вино,— загадочно добавила она.— Генерал большой знаток вин.

— Разве там, на ужинах, вино подают не всегда? — спросил я.

Она молча на меня посмотрела, словно я задал дерзкий вопрос. Потом немного смягчилась.

— У доктора Фишера,— сказала она,— замечательное чувство юмора. Как странно, что он ни разу не пригласил вас на один из своих ужинов, но, может быть, при таких обстоятельствах это было бы не совсем удобно. У нас *очень тесная* компания,— добавила она.— Мы все хорошо друг друга знаем и все так любим, просто обожаем доктора Фишера. Но вы, конечно, знакомы хотя бы с мсье Бельмоном — мсье Анри Бельмоном? Он может решить любую налоговую проблему.

— У меня нет налоговых проблем,— признался я.

Сидя на другом диване под большой хрустальной люстрой, я понял, что сказал что-то не совсем приличное. Миссис Монтгомери, явно шокированная моим признанием, отвела глаза.

Несмотря на скромный титул моего отца, обеспечивший ему на время местечко в справочнике «Кто есть кто», я почувствовал себя в обществе миссис Монтгомери парией, а тут еще, к моему вящему стыду, слуга, сбегая с лестницы и не удостаивая меня даже взглядом, объявил:

— Доктор Фишер примет мистера Джонса в четверг, в пять часов,— и удалился в потайные просторы большого дома, который — странно подумать — был еще недавно обиталищем Анны-Луизы.

— Что ж, мистер Джонс,— ведь вас так зовут? Приятно было познакомиться. Я немножко задержусь: хочу узнать у мистера Кипса, как здоровье нашего друга. Мы обязаны заботиться об этом милейшем человеке.

Лишь позднее я сообразил, что встретил первых двух жаб.

4

— Перестань,— советовала мне Анна-Луиза.— Ничем ты ему не обязан. Ты ведь не из этих жаб. Он отлично знает, где я теперь нахожусь.

— Он знает, что ты находишься у какого-то Джонса,— вот и все.

— Если захочет, он легко может выяснить твое имя, профессию, место работы и все подробности. Ты же постоянно проживающий здесь иностранец. Ему надо только справиться.

— Это сведения секретные.

— Не думай, что для моего отца существуют какие-либо секреты. Наверно, и в полиции у него есть своя жаба.

— По-твоему, он вроде нашего господа бога — да исполнится воля его на земле, как и на небесах.

— Вроде этого.

— Ты разжигаешь мое любопытство.

— Ладно, встречайся с ним, если уж тебе неймется,— бросила она.— Но будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен. И особенно осторожен, если он вздумает улыбаться.

— Улыбкой Зуболюба,— отшутился я.

Впрочем, мы оба пользовались именно этой пастой. Ее рекомендовал мой зубной врач. Может быть, он тоже был жабой.

— Никогда не упоминай при нем «Букет Зуболюба»,— сказала она.— Он не любит, чтобы ему тыкали в нос, как он сколотил свое состояние.

— Разве он сам этой пастой не пользуется?

— Нет. Он пользуется штукой, которая называется водяной зубочисткой. Вообще не упоминай при нем о зубах, не то он подумает,

что ты над ним потешаешься. Он издевается над другими, но над ним не издевается никто. У него на это монополия.

В четверг, в четыре часа, когда я отпросился с работы, я не испытывал той храбрости, которую внушало мне присутствие Анны-Луизы. Я просто был человеком по имени Альфред Джонс, пятидесяти лет с хвостиком, работающим в шоколадной фирме за три тысячи франков в месяц. Я оставил свой «фиат» и поехал в Женеву поездом, а от вокзала пошел к стоянке такси. Поблизости от нее находилось заведение, которое швейцарцы зовут Английской пивной и которое, как и следовало ожидать, окрестили «Уинстон Черчилль», снабдив невразумительной вывеской, деревянными панелями, окнами с цветными стеклами (почему-то в белых и алых розах Йорка и Ланкастера) и английским баром с фаянсовыми пивными кружками, пожалуй единственными здесь подлинными вещами — ведь нельзя же считать ими резные деревянные скамьи, фальшивые бочки вместо столов и прессованный белый хлеб. Рад заметить, что это питейное заведение открывалось не в обычное для англичан время, и я решил немножко подбодриться, прежде чем взять такси.

Поскольку пиво из бочки стоило почти так же дорого, как виски, я заказал виски. Мне хотелось поболтать, чтобы как-то отвлечься, и я встал у бара, пытаясь втянуть в беседу хозяина.

— Много английских клиентов? — осведомился я.

— Нет,— ответил он.

— Почему? Казалось бы...

— У них нет денег.

Он был швейцарцем и человеком не очень общительным.

Он был французским швейцарцем и человеком более общительным, чем бармен.

Я выпил еще одно виски и вышел. Таксиста я спросил:

— Вы знаете дом доктора Фишера в Версуа?

— Хотите повидать доктора? — спросил он.

— Да.

— Будьте осторожны.

— Почему? Разве он такой страшный?

— Un peu farfelu[1],— сказал он.

— В каком смысле?

— А вы не слыхали о его приемах?

— Да, ходят всякие слухи. Никто никогда не рассказывал мне подробностей.

— Ну да, все они поклялись молчать.

— Кто?

— Люди, которых он приглашает.

— Тогда откуда же знают о его приемах?

— Никто ничего не знает,— сказал он.

Все тот же наглый слуга открыл мне дверь.

— Вам назначено? — спросил он.

— Да.

— Фамилия?

— Джонс.

— Не знаю, сможет ли он вас принять.

— Я же сказал, я договорился о своем визите.

— Подумаешь, договорился,— произнес он пренебрежительно.— Вы все заявляете, что договорились.

— Ступайте и доложите, что я пришел.

Он скорчил гримасу и удалился, оставив меня на этот раз на пороге. Его не было довольно долго, и я чуть было не ушел. Я заподозрил, что он медлит нарочно. Наконец он вернулся и объявил:

— Он вас примет.— И повел меня через прихожую вверх по мраморной лестнице.

[1] С маленькими странностями *(франц.)*.

Там висела картина: женщина в развевающихся одеждах очень нежно держала в руках череп; я не знаток, но картина выглядела как подлинник семнадцатого века, а не копия.

— Мистер Джонс,— доложил слуга.

Напротив меня за столом сидел доктор Фишер, и я удивился, увидев человека, похожего на всех прочих людей (а ведь я выслушал столько намеков и предостережений), человека примерно моего возраста, с рыжими усами и волосами, начинавшими терять свой огненный блеск,— усы он, возможно, подкрашивал. Под глазами его висели мешки, а веки были очень тяжелые. Он выглядел так, будто по ночам его мучит бессонница. Сидел он за большим столом в единственном здесь удобном кресле.

— Садитесь, Джонс,— сказал он не поднимаясь и не протягивая руки.

Это больше походило на приказ, чем на приглашение, но не звучало неприязненно; я мог быть одним из его служащих, привыкшим стоять перед ним навытяжку, которому он оказывал маленький знак расположения. Я пододвинул стул, и наступила тишина. Наконец он произнес:

— Вы хотели поговорить со мной?

— Я-то думал, что это вы, наверно, хотите поговорить со мной.

— С чего бы это? — спросил он с легкой улыбкой, и я вспомнил предостережение Анны-Луизы.— Я даже не знал о вашем существовании, пока вы тут не появились на днях. Между прочим, что скрывается под этой перчаткой? Какое-нибудь увечье?

— Я потерял руку.

— Надеюсь, вы явились сюда не для того, чтобы советоваться со мной на этот счет. Я другого рода доктор.

— Я живу с вашей дочерью. Мы собираемся пожениться.

— Это всегда нелегкое решение,— сказал он,— но вам лучше его обсудить между собой. Меня оно не касается. А ваше увечье — наследственное? Наверно, вы обговорили этот важный вопрос?

— Я потерял руку во время лондонской бомбежки,— сказал я и неуверенно добавил: — Мы полагали, что вам нужно это сообщить.

— Ваша рука меня, в сущности, не касается.

— Я имел в виду наш брак.

— Ну, эту новость, по-моему, проще было сообщить в письменном виде. Вас бы это избавило от поездки в Женеву.

В его устах Женева казалась другим миром, таким же далеким от нашего дома в Веве, как Москва.

— Вас, кажется, не слишком беспокоит судьба вашей дочери.

— Вы, наверно, знаете ее лучше меня, Джонс, если узнали так хорошо, что решили на ней жениться и, значит, освободили меня от всякой ответственности за нее, какая у меня когда-то, вероятно, была.

— Вы не хотели бы узнать наш адрес?

— Я полагаю, что она живет у вас?

— Да.

— Должно быть, вы значитесь в телефонном справочнике?

— Да. В Веве.

— Тогда вам нет надобности записывать адрес.— Он снова наградил меня одной из своих опасных улыбочек.— Что ж, Джонс, с вашей стороны было любезно зайти ко мне, хотя в этом и не было необходимости.— Он явно меня выпроваживал.

— Прощайте, доктор Фишер,— произнес я.

Он снова заговорил, когда я уже был почти у двери:

— Джонс, вы случайно не разбираетесь в овсянке? Я имею в виду настоящую овсяную кашу. Может быть, поскольку вы уроженец Уэльса... у вас ведь валлийская фамилия...

— Овсянка — блюдо шотландское,— сказал я,— не валлийское.

— Вот оно что, значит, меня неправильно информировали. Спасибо, Джонс, кажется, это все.

Когда я пришел домой, Анна-Луиза встретила меня встревоженно:

— Как вы поладили?

— Да никак мы не поладили.

— Он тебе нахамил?

— Я бы этого не сказал... мы оба его совершенно не интересуем.

— Он улыбался?

— Да.

— Пригласил тебя на ужин?

— Нет.

— Слава богу хоть за это.

— Слава доктору Фишеру,— сказал я,— или это одно и то же?

5

Неделю или две спустя мы поженились в мэрии; свидетеля я привел из своей конторы. От доктора Фишера не было никаких вестей, хотя мы послали ему сообщение о дне нашей свадьбы. Мы были совершенно счастливы, особенно счастливы потому, что будем одни, не считая, конечно, свидетеля. За полчаса до ухода в мэрию мы занимались любовью.

— Ни свадебного торта,— говорила Анна-Луиза,— ни подружек, ни священника, ни родни — вот это замечательно. И так будет торжественнее — почувствуешь себя замужем по-настоящему. А по-другому получается вроде вечеринки.

— Одной из вечеринок доктора Фишера?

— Ничуть не лучше.

В глубине комнаты в мэрии стоял человек, которого я не знал. Опасаясь появления доктора Фишера, я то и дело нервно поглядывал через плечо и увидел очень высокого тощего человека со впалыми щеками; у него подергивалось левое веко, и на секунду мне показалось, что он мне подмигивает; я подмигнул ему в ответ, но встретил отсутствующий взгляд и решил, что это один из чиновников мэрии. Перед столом для нас поставили два стула, а свидетель, некий мсье Экскофье, вертелся у нас за спиной. Анна-Луиза шепнула мне что-то, но я не разобрал.

— Что ты сказала?

— Он из этих жаб.

— Мсье Экскофье? — воскликнул я.

— Нет, нет, тот, сзади.

Началась церемония, и пока она длилась, человек, стоявший сзади, не переставал действовать мне на нервы. Я вспомнил ту часть английской церемонии бракосочетания, когда священник спрашивает, не знает ли кто-либо причины или препятствия, которые могут помешать этим двум людям сочетаться священным браком, и если да, то пусть объявит об этом во всеуслышанье, и я поневоле подумал, не подослана ли доктором Фишером какая-нибудь жаба именно для такой цели. Однако вопрос не был задан, ничего не случилось, все сошло гладко, и мэр — я полагаю, что это был мэр,— пожал нам руки, пожелал счастья и быстро исчез за дверью позади стола.

— Теперь надо выпить,— сказал я мсье Экскофье; это было самое меньшее, что мы могли предложить в благодарность за его немые услуги,— бутылочку шампанского в «Трех коронах».

Но тощий человек по-прежнему не двигался с места, подмигивая нам из глубины комнаты.

— Нет ли здесь другого выхода? — спросил я у письмоводителя — если это был письмоводитель — и указал на дверь позади стола. Нет, ответил он, нет: пройти туда совершенно невозможно, тот выход не для посторонних, поэтому нам не оставалось ничего друго-

го, как встретиться лицом к лицу с жабой. У самой двери незнакомец меня остановил:

— Мсье Джонс, меня зовут мсье Бельмон. Я должен вам кое-что передать от доктора Фишера.— Он протянул мне конверт.

— Не бери! — сказала Анна-Луиза.

По своей наивности мы оба решили, что это, возможно, повестка в суд.

— Мадам Джонс, он посылает вам свои наилучшие пожелания.

— Вы ведь консультант по налогам? — сказала она.— Во сколько обойдутся нам его лучшие пожелания? Должна я поставить в известность fisc? [1]

Я вскрыл конверт. Внутри была только карточка, отпечатанная в типографии: «Доктор Фишер просит... (от руки было написано «Джонса» даже без добавления «мистера») оказать ему честь своим присутствием на встрече друзей и неофициальном ужине... (было вписано «10-го ноября») в 8.30 вечера. Просьба подтвердить согласие».

— Это приглашение? — спросила Анна-Луиза.

— Да.

— Не ходи ни за что.

— Он будет очень огорчен,— сказал мсье Бельмон.— Он так надеется, что мсье Джонс придет и присоединится к нашему обществу. Будут мадам Монтгомери и, конечно, мсье Кипс, и надеемся, что и Дивизионный...

— Сборище всех жаб,— заметила Анна-Луиза.

— Жаб? Жаб? Такого слова не знаю. Прошу вас, он очень хочет представить вашего мужа всем своим друзьям.

— Но, судя по карточке, моя жена не приглашена.

— Никто из наших жен не приглашен. Без дам. На наших маленьких собраниях это стало правилом. Не знаю почему. Когда-то, правда, бывало... Но теперь мадам Монтгомери — единственное исключение. Можно сказать, что она представляет собой весь женский пол.— Он добавил не слишком уместное жаргонное выражение: — Она своя в доску.

— Я пошлю ответ сегодня же вечером,— сказал я.

— Уверяю вас, если вы не придете, вы много потеряете. Ужины доктора Фишера всегда так интересны. У него большое чувство юмора, и он такой щедрый. Нам бывает очень весело.

Мы выпили бутылку шампанского с мсье Экскофье в «Трех коронах», а затем отправились домой. Шампанское было отличное, но день потерял свою прелесть. Доктор Фишер посеял между нами разлад: я стал доказывать, что в конце концов, в сущности, ничего против него не имею. Он ведь мог воспротивиться нашему браку или по крайней мере выразить свое неодобрение. Приглашая меня на один из своих ужинов, он в известном смысле сделал мне свадебный подарок, и было бы крайне невежливо отклонить это приглашение.

— Он хочет, чтобы ты стал одной из жаб.

— Но я ничего не имею против жаб. Они действительно такие ужасные, как ты говоришь? Я видел троих из них. Правда, миссис Монтгомери мне не очень понравилась.

— Наверно, они не всегда были жабами. Он их развратил.

— Развратить можно только того, кто имеет склонность к разврату.

— Откуда ты знаешь, что у тебя ее нет?

— Я этого не знаю. Может быть, полезно было бы это выяснить.

— И ты позволишь ему подняться с тобой на высокую гору и показать тебе все царства мира?

— Я не Христос, а он не дьявол, и, по-моему, мы договорились,

[1] Здесь — налоговое управление *(франц.)*.

что он господь бог, хотя в глазах обреченных на проклятие господь бог, наверно, очень напоминает дьявола.

— Ладно,— сказала она,— ступай и убирайся к черту!

Ссора была похожа на тлеющий лесной пожар: иногда он как бы угасал, но потом искры зажигали обугленную щепку, и на мгновение снова вспыхивал огонь. Спор окончился, когда она плача уткнулась в подушку, и я сдался.

— Ты права,— сказал я,— я ничем ему не обязан. Это просто кусок картона. Я не пойду. Обещаю, что не пойду.

— Нет,— возразила она,— ты прав. Я не права. Я знаю, что ты не жаба, но *ты* так и не будешь этого знать, если не пойдешь на его проклятый ужин. Иди, пожалуйста, обещаю, что больше не буду сердиться. Я хочу, чтобы ты пошел.— И добавила: — В конце концов, он мой отец. Может, он не такой уж и плохой. Может, он тебя пощадит. Он не щадил моей матери.

Спор нас измучил. Она сразу же уснула в моих объятиях, вскоре заснул и я.

Наутро я послал официальный ответ на приглашение: «М-р А. Джонс с удовольствием принимает любезное приглашение д-ра Фишера...» А про себя поневоле подумал: сколько волнений из-за пустяков; но я ошибался, глубоко ошибался.

6

Ссора не возобновлялась. Это было одно из величайших достоинств Анны-Луизы: она никогда не возвращалась к ссорам или к принятым решениям. Когда она надумала выйти за меня замуж, я знал, что она решила это на всю жизнь. Она больше ни разу не упоминала о приглашении на ужин, и следующие десять дней были одними из самых счастливых в моей жизни. Для меня было удивительной переменой приходить вечером из конторы домой, где не было одиночества, где звучал голос, который я любил.

Только раз это счастье слегка омрачилось, когда мне пришлось отправиться в Женеву для деловой встречи с одним важным испанским кондитером из Мадрида. Он угостил меня отличным обедом в ресторане «Бо риваж», но я не мог насладиться едой потому, что он говорил только о шоколаде, начиная с аперитива,— помню, он выбрал коктейль «Александр», посыпанный шоколадными крошками. Казалось бы, шоколадная тема довольно ограниченна, но нет, не для важного кондитера с передовыми идеями. Он закончил обед шоколадным муссом, который подверг строгой критике за то, что в нем не было апельсиновой цедры. Вставая из-за стола, я чувствовал легкое недомогание в области печени, будто перепробовал все сорта шоколада, когда-либо выпущенные моей фирмой.

Был облачный, сырой, осенний день, и, направляясь туда, где стояла моя машина, я старался отвлечься от сырости воздуха, от сырости озера, от навязчивого привкуса шоколада, как вдруг услышал женский голос:

— Да это же мистер Смит! Вы-то как раз мне и нужны.

Я обернулся и увидел миссис Монтгомери на пороге магазина, где торговали предметами роскоши.

— Джонс,— автоматически поправил я.

— Простите! Ах, у меня ужасная память. Сама не знаю, почему я решила, что вы мистер Смит. Но это все равно, потому что сейчас мне нужен мужчина. Просто мужчина. И все.

— Это брачное предложение? — спросил я, но она не поняла шутки.

— Я хочу, чтобы вы зашли сюда со мной и показали четыре вещицы, которые вам бы хотелось иметь, если вы были бы достаточно расточительны и решили их купить.

Она потащила меня за руку в магазин, и один вид всех этих предметов роскоши вызвал у меня тошноту, как шоколад за обедом; казалось, все здесь было из золота или платины, хотя для покупателей победнее имелись вещи из серебра и свиной кожи. Я вспомнил о слухах, которые доходили до меня о приемах доктора Фишера, и понял, что знаю, за чем охотится миссис Монтгомери. Она выбрала красный сафьяновый футляр с золотым ножичком для обрезания сигар.

— Вы хотели бы иметь вот это? — спросила она.

«Это» стоило бы мне примерно месячного жалованья.

— Я не курю сигар,— сказал я. И добавил: — Этого не берите. Разве он не дарил их на своем свадебном обеде? Вряд ли доктор Фишер любит повторяться.

— Вы уверены?

— Нет. Впрочем, кажется, тогда были палочки для размешивания коктейлей.

— Так вы *не уверены*? — спросила она разочарованным тоном и отложила ножичек для обрезания сигар.— Вы не представляете себе, как трудно найти то, что понравится всем — особенно мужчинам.

— Почему бы не раздавать вместо этого чеки? — спросил я.

— Нельзя дарить людям чеки. Это оскорбительно.

— Может, никто из вас и не обидится, если чеки будут на достаточно крупную сумму.

Я заметил, что она взвешивает мои слова, а позднее у меня появилось основание полагать, что она передала мое замечание доктору Фишеру. Она сказала:

— Не годится. Никак не годится. Подумайте только: дать чек генералу — это будет выглядеть как взятка.

— Генералы брали взятки и раньше. К тому же, если он швейцарец, он не может быть генералом. Вероятно, он просто командир дивизии.

— Ну, а как можно дать чек мистеру Кипсу! Это же просто немыслимо. Не проговоритесь, что я вам сказала, но мистеру Кипсу фактически принадлежит этот магазин.— Она погрузилась в размышления.— Как насчет электронных золотых часов — или еще лучше платиновых? Но, может быть, у них они уже есть...

— Новые они всегда сумеют вернуть в магазин.

— Уверена, что никому из них и в голову не придет продавать подарок. Тем более подарок доктора Фишера.

Теперь секрет был выдан, моя догадка подтвердилась. Я увидел, как она запнулась, словно попыталась проглотить сказанное.

Я взял рамку для фотографии из свиной кожи. Словно здешние покупатели были недостаточно сообразительны и не понимали, для чего употребляют такие рамки, администрация вставила туда фотографию кинозвезды Ричарда Дина. Даже я читал газеты и мог узнать это подержанно-молодое лицо и пьяную улыбку.

— Как насчет рамки? — спросил я.

— Ну, вы невозможный человек,— простонала миссис Монтгомери, но все равно, как потом выяснилось, она передала и это мое издевательское предложение доктору Фишеру.

Кажется, она обрадовалась моему уходу. Я ей ничем не помог.

7

— Ты ненавидишь отца? — спросил я Анну-Луизу, пересказав ей события дня, начиная от обеда с испанским кондитером.

— Я его не люблю.— И добавила: — Да, кажется, я его ненавижу.

— Почему?

— Он отравил жизнь матери.

— Как?

— Все дело в его гордыне. В его дьявольской гордыне.

Она рассказала мне, как ее мать любила музыку, которую отец ненавидел,— вот тут, без сомнения, была настоящая ненависть. Почему — она не знала, но музыка словно дразнила его тем, что была ему недоступна, разоблачала его тупость. Тупость? Человек, который изобрел «Букет Зуболюба» и сколотил многомиллионное состояние,— тупица? Так или иначе, мать начала убегать в одиночестве на концерты и на одном из них встретила человека, который разделял ее любовь к музыке. Они даже стали вместе покупать пластинки и слушать их тайком у него дома. И когда доктор Фишер разглагольствовал, что струнные концерты — это кошачье мяуканье, она больше не пыталась с ним спорить: ей достаточно было пройти по улице к мясной лавке, сказать два слова в переговорное устройство, подняться на лифте на третий этаж, чтобы целый час с наслаждением слушать Хейфеца. Физической близости между ними не было — Анна-Луиза твердо это знала, супружеская верность не страдала. Физическая близость была с доктором Фишером, и матери она никогда не доставляла радости: это были муки деторождения и огромное чувство одиночества, когда доктор Фишер сопел от удовольствия. Много лет она притворялась, будто и ей это приятно; обманывать мужа не составляло труда — ведь ему было безразлично, приятно ей или нет. Могла бы и не стараться.

Все это она рассказала дочери в приступе истерики.

Потом доктор Фишер обо всем узнал. Он стал ее допрашивать, и она сказала ему правду, а он правде не поверил, хотя, возможно, и поверил, но ему было все равно, изменяла она ему с мужчиной или с пластинкой Хейфеца, с кошачьим концертом, которого он не понимал. Она убегала от него в тот мир, куда он не мог за ней последовать. Его ревность так на нее действовала, что она поверила, будто у него на это есть основания,— она почувствовала себя в чем-то виновной, хотя в чем именно — не была уверена. Она просила прощения, она унижалась, она рассказала ему все — даже какая пластинка Хейфеца ей больше всего нравилась, а потом ей всегда казалось, что в минуты близости он ее ненавидит. Она не могла объяснить это дочери, но я себе представлял, как это было, как он вонзался в нее, словно закалывал врага. Но один решающий удар не мог его удовлетворить. Ему нужна была смерть от тысячи ран. Он сказал, что прощает ее, и это только усугубило чувство ее вины,— значит, было что прощать,— но он сказал также, что никогда не сможет забыть ее измены... какой измены? И вот он будил ее по ночам, чтобы закалывать снова и снова. Она узнала, что он выведал фамилию ее друга, этого безобидного маленького любителя музыки, пошел к его хозяину и дал пятьдесят тысяч франков, чтобы тот его уволил без рекомендации. «Хозяином был мистер Кипс»,— рассказала она. Ее друг был просто конторщиком, отнюдь не важной персоной, мелкой сошкой, которую легко заменить другой мелкой сошкой. Его единственным достоинством была любовь к музыке, но об этом мистер Кипс ничего не знал. Доктора Фишера еще больше оскорбляло то, что этот человек так мало зарабатывал. Его бы не обидело, если бы жена изменила ему с другим миллионером,— так, по крайней мере, считала мать Анны-Луизы. Он безусловно презирал бы Христа за то, что тот был сыном плотника, если бы Новый Завет со временем не стал приносить такую колоссальную прибыль.

— А что случилось с тем человеком?

— Мать так этого и не узнала,— сказала Анна-Луиза.— Он просто исчез. А всего через несколько лет исчезла и моя мать. Я думаю, она была как те африканки, которые могут заставить себя умереть. Она только однажды заговорила со мной о своей личной жизни — я тебе все это рассказала. Насколько запомнила.

— А ты? Как он обращался с тобой?

— Плохо он никогда со мной не обращался. Для этого я его недостаточно интересовала. Но знаешь, мне кажется, что маленький конторщик мистера Кипса действительно уколол его в самое сердце и он так и не оправился от этого укола. Может, тогда он и научился ненавидеть и презирать людей. Вот он и пригласил жаб, чтобы развлечься после смерти матери. Первой из них стал, конечно, мистер Кипс. По отношению к мистеру Кипсу у него душа была не на месте. В известном смысле отец ему себя выдал. И раз мистер Кипс все знал, отцу надо было его унизить, как он унижал мою мать. Он нанял его своим поверенным в делах, чтобы заткнуть ему рот.

— Что же он устроил мистеру Кипсу?

— Ты ведь не знаешь, как он выглядит.

— Знаю. Я видел его, когда в первый раз пытался встретиться с твоим отцом.

— Тогда ты знаешь, что он согнут почти вдвое. Что-то не в порядке с позвоночником.

— Да. Мне показалось, что он похож на семерку.

— Отец нанял известного детского писателя и очень хорошего карикатуриста, и вместе они создали книгу в картинках: «Приключения мистера Кипса в поисках доллара». Он подарил мне сигнальный экземпляр. Я тогда не знала, что существует настоящий мистер Кипс, и книга показалась мне очень смешной и очень жестокой. В книге мистер Кипс все время согнут вдвое и все время находит монеты, оброненные прохожими. Книга появилась в рождественские дни, и отец устроил — понятно, за деньги,— чтобы она была броско выставлена в витринах всех книжных магазинов. Книгу поместили на такой высоте, чтобы сгорбленный мистер Кипс, проходя мимо, мог ее увидеть. Имя юриста — особенно юриста-международника, который не занимается громкими уголовными делами,— не пользуется широкой известностью даже в родном городе, и, кажется, только хозяин одного книжного магазина возражал против этой затеи, опасаясь ответственности за диффамацию. Но отец обязался заплатить любой штраф. Наверно, большинству детей свойственна жестокость: книга имела шумный успех. Последовало много переизданий. Одна из газет даже стала печатать такие комиксы. Думаю, что отец заработал на этом немалые деньги, и это доставило ему изрядное удовольствие.

— А мистер Кипс?

— Он узнал об этом на первом из званых ужинов отца. Каждый нашел возле своего прибора маленький, но роскошный подарок — из золота или платины; каждый, кроме мистера Кипса: он получил большой бумажный пакет со специально переплетенным в красный сафьян экземпляром книги. Наверно, он пришел в бешенство, но перед другими гостями ему пришлось притвориться, будто это шутка,— ведь он ничего не мог поделать: отец платил ему огромное жалованье ни за что ни про что, и он потерял бы его в случае ссоры. Кто знает? Быть может, он сам скупил все это множество экземпляров, и потому книга была распродана. Все это мне рассказал отец. Он считал эту историю очень забавной. «Но за что страдает бедный мистер Кипс?» — спросила я. Конечно, он не открыл мне настоящей причины. «Ну, со временем я посмеюсь над каждым из них»,— ответил он. «Тогда со временем ты потеряешь всех своих друзей»,— сказала я. «Ошибаешься,— заявил он.— Все мои друзья богачи, а богачи жадны. У богачей нет гордости, они гордятся только своим достоянием. Церемониться надо с беднягами».

— Тогда мы с тобой в безопасности,— заметил я.— Мы не богачи.

— Да, но, может быть, для него мы недостаточно бедны.

Она обладала мудростью, и в этом я не мог с ней тягаться. Возможно, это была еще одна из причин, почему я ее любил.

8

Теперь, когда я остался один в этой квартире, я стараюсь припомнить, до чего же мы были счастливы накануне того первого ужина с жабами. Но как выразить словами счастье? Описать ощущение несчастья легко: я был несчастлив, говорим мы, потому что... Мы вспоминаем то и это, приводим всякие причины, а счастье подобно островам далеко в Тихом океане, которые, по рассказам матросов, выплывают из дымки там, где их никогда не отмечал ни один картограф. Потом остров снова исчезает на целое поколение, но ни один мореплаватель не может быть уверен, что он существовал только в воображении какого-то давно умершего моряка. Я повторяю себе снова и снова, как я был счастлив в те дни, но когда пытаюсь мысленно найти причину этого счастья, не нахожу ничего осязаемого.

Дает ли счастье физическая близость? Конечно, нет. Это — возбуждение сродни безумию, иногда — почти мука. Быть может, счастье — просто тихое дыхание рядом со мной на подушке или шорохи на кухне по вечерам, когда я возвращался с работы и читал «Журналь де Женев», сидя в нашем единственном кресле? Мы вполне могли позволить себе купить второе кресло, но на это у нас не хватало времени, а когда мы наконец приобрели его в Веве — с машиной для мытья посуды в придачу, которая заменила грохотом мотора веселое бренчание тарелок в руках,— остров безмерного счастья уже затерялся в тумане.

К тому времени перед нами стала маячить близкая угроза ужина у доктора Фишера, и мысли о нем обуревали нас в минуты молчания. Тень, темнее ангела смерти, прошла над нашими головами. Однажды в конце такого долгого молчания я высказал свою мысль вслух:

— Кажется, все-таки напишу ему, что не смогу прийти. Я сошлюсь...

— На что?

— Скажу, что мы едем отдыхать, будто фирма отпускает меня как раз на этот день.

— В ноябре люди не берут отпуск.

— Тогда я напишу, что тебе нездоровится и я не могу тебя оставить.

— Он знает, что у меня лошадиное здоровье.

Это в какой-то мере было правдой, но лошадь была чистокровная, а они, кажется, требуют ухода. Анна-Луиза была стройной, тоненькой. Я любил трогать ее скулы и голову. Сила ее проявлялась главным образом в тонких запястьях, которые были крепки, как манильский канат: она легко могла отвинтить крышку банки, которая мне не поддавалась.

— Лучше не пиши,— сказала она.— Ты был прав, что согласился, а я нет. Если ты сейчас откажешься, то решишь, что струсил, и никогда себе этого не простишь. В конце концов, это всего один ужин. Отец не может нам повредить. Ты не мистер Кипс, не богач, и мы от него не зависим. В другой раз ты уж не пойдешь.

— Конечно, не пойду,— заявил я и сам в это верил.

Так или иначе, день ужина быстро приближался. Море затянуло густым туманом, остров исчез из виду, и я так никогда и не узнаю его широту и долготу, чтобы нанести на карту. Настанет время, когда я стану сомневаться, действительно ли я видел его.

В ту пору лихорадочных покупок мы приобрели и кое-что еще — пару лыж. Мать научила Анну-Луизу бегать на лыжах, когда ей было четыре года, и это стало для нее так же естественно, как ходить пешком, а зимний сезон приближался. Перебираясь ко мне в Веве, она забыла лыжи дома, и ничто не могло заставить ее за ними вернуться. А потом пришлось искать и ботинки. Это был долгий день хождения по магазинам, и, кажется, мы все еще чувствовали себя

счастливыми; пока мы были чем-то заняты, мы не думали о тучах. Мне нравилось, с каким знанием дела Анна-Луиза выбирала лыжи, а ноги ее никогда еще не казались мне такими красивыми, как тогда, когда она примеряла тяжелые ботинки.

Опыт мне подсказывал, что совпадения редко бывают счастливыми. Как лицемерно мы говорим: «Какое счастливое совпадение!», когда встречаем знакомого в гостинице, где нам так хотелось побыть одним! По дороге домой мы прошли мимо librairie, а я всегда заглядываю в витрину каждой книжной лавки — это почти рефлекс. В ноябре магазины уже готовились к рождеству, и здесь была витрина, заставленная детскими книгами. Я мельком взглянул и тут в самом центре увидел мистера Кипса с головой, опущенной к земле в поисках доллара.

— Смотри!

— Да,— сказала Анна-Луиза,— к рождеству всегда выпускают новое издание. Может, отец платит издателям, а может, всегда есть новые дети, которые хотят читать эти книжки.

— Мистеру Кипсу, наверно, очень хотелось бы, чтобы все на свете принимали противозачаточные пилюли.

— Я сама перестану их принимать, как только кончится лыжный сезон,—.сказала Анна-Луиза.— Так что, может быть, прибавится еще один читатель «Мистера Кипса».

— Зачем откладывать?

— Я хорошая лыжница,— ответила она,— но бывают несчастные случаи. Не хочется лежать в гипсе беременной.

Дальше уже нельзя было избегать мыслей об ужине у доктора Фишера. Это «завтра» почти настало и не выходило у нас из головы. Словно акула терлась пастью о нашу маленькую лодку, из которой мы однажды видели остров. Долгие часы лежали мы в ту ночь без сна плечом к плечу, но разделенные безграничной далью нашего уныния.

— Какие мы глупые,— рассуждала Анна-Луиза,— в конце концов, что он нам может сделать? Ты же не мистер Кипс. Ну, завалит все витрины карикатурой на тебя, а нам-то что? Кто тебя узнает? И твоя фирма тебя не уволит, если он даже заплатит им пятьдесят тысяч франков. Да они за полчаса получают бóльшую прибыль. Мы никак от него не зависим. Мы свободны, свободны. Повтори это вслух за мной. Свободны!

— Может быть, он ненавидит свободу так же, как презирает людей.

— Он никак не сможет превратить тебя в жабу.

— Тогда я хотел бы знать, зачем ему нужно, чтобы я пришел.

— Просто показать остальным, что может заставить тебя прийти. Он даже попробует оскорбить тебя в их присутствии — это на него похоже. Потерпи часок-другой, а если он зайдет слишком далеко, выплесни вино ему в лицо и уйди. Все время помни, что мы свободны. Свободны, мой дорогой. Он не может причинить вреда ни тебе, ни мне. Мы слишком маленькие люди, чтобы он мог нас обидеть. Это все равно что пытаться унизить официанта — ты только унижаешь самого себя.

— Да, знаю. Ты, конечно, права. Это действительно глупо, но все-таки мне хотелось бы понять, что у него на уме.

Наконец мы заснули. А следующий день приближался к вечеру медленно, как калека, как мистер Кипс. Тайна, которая окутывала ужины доктора Фишера, и поток самых невероятных слухов придавали им какой-то зловещий характер, но постоянное присутствие все одной и той же компании жаб означало, что там можно найти и удовольствие. Почему мистер Кипс не перестает принимать в них участие после того, как его так оскорбили? Допустим, это можно объяснить нежеланием потерять жалованье, но вот Дивизионный —

уж он-то во всяком случае не должен бы мириться с чем-то позорным? Не так-то легко получить звание командира дивизии в нейтральной Швейцарии, так что Дивизионный, Дивизионный в отставке, пользуется престижем редкой и оберегаемой птицы.

Помню каждую подробность того неприятного дня. За завтраком подгорели тосты — это была моя вина; я пришел в контору с пятиминутным опозданием; мне передали для перевода два письма на португальском языке — португальского я не знаю; мне пришлось работать в обеденный перерыв по милости испанского кондитера, который, окрыленный нашим совместным обедом, прислал свои предложения на двадцати страницах и желал получить ответ до своего возвращения в Мадрид (в числе прочего он добивался изменения одного из сортов нашего шоколада применительно ко вкусам басков: кажется, мы почему-то недооценили силу национального самосознания басков при изготовлении молочного шоколада с привкусом виски). Я очень поздно пришел домой, порезался бритвой и чуть было не надел не тот пиджак к моей единственной паре темных брюк. По дороге в Женеву мне пришлось остановиться у бензоколонки и расплатиться наличными, так как я забыл переложить кредитную карточку из одного пиджака в другой. Все эти происшествия казались мне предзнаменованиями неприятного вечера.

9

Дверь мне открыл мерзкий слуга, которого я надеялся никогда больше не увидеть. У подъезда стояло пять дорогих автомобилей, в двух сидели шоферы, и мне показалось, что слуга взглянул на мой маленький «фиат-500» с презрением. Потом он осмотрел мой костюм, и я заметил, как его брови поползли вверх.

— Фамилия? — спросил он, хотя я был уверен, что он отлично ее запомнил.

Он говорил по-английски с легким акцентом обитателя лондонских трущоб. Значит, кто я по национальности, он запомнил.

— Джонс,— сказал я.

— Доктор Фишер занят.

— Он меня ждет,— сказал я.

— Доктор Фишер ужинает с друзьями.

— Я тоже с ними ужинаю.

— Вы получили приглашение?

— Разумеется, получил.

— Покажите.

— Не покажу. Я оставил его дома.

Он злобно смотрел на меня, но заколебался — это было заметно.

— Не думаю,— сказал я,— что доктор Фишер будет доволен, если за его столом окажется пустое место. Лучше ступайте и спросите его.

— Как, вы сказали, вас зовут?

— Джонс.

— Следуйте за мной.

Я проследовал за его белой курткой через переднюю и вверх по лестнице. На площадке он повернулся ко мне и произнес:

— Если вы меня обманули... Если вас не приглашали...

Он двинул кулаками, как боксер на тренировке.

— Как вас зовут? — спросил я.

— А вам какое дело?

— Просто я хочу рассказать доктору, как вы встречаете его друзей.

— Друзей? — сказал он.— У него нет друзей. Говорю вам, если вас не приглашали...

— Меня пригласили.

Мы повернули в противоположную сторону от кабинета, где я видел доктора Фишера в прошлый раз, и слуга распахнул одну из дверей.

— Мистер Джонс,— пробурчал он, и я вошел, а там стояли и глазели на меня все жабы.

Мужчины были в смокингах, а миссис Монтгомери в вечернем платье.

— Входите, Джонс,— сказал доктор Фишер,— Альберт, можете подавать ужин, как только он будет готов.

Стол был сервирован хрустальными бокалами, в которых отражался свет люстры над головой; даже суповые тарелки выглядели дорого. Я немножко удивился, увидев тарелки. В это время года не едят холодного супа.

— Вот это Джонс, мой зять,— сказал доктор Фишер.— Извините его за перчатку. Она скрывает какое-то увечье. Миссис Монтгомери, мистер Кипс, мсье Бельмон, мистер Ричард Дин, дивизионный командир Крюгер.— (Фишер был не из тех, кто путает звания.)

Я ощущал волны их враждебности, направленные на меня как слезоточивый газ. За что? Возможно, виноват мой костюм. Своим появлением я снизил, так сказать, «высокий уровень» встречи.

— Я знаком с мсье Джонсом,— сказал Бельмон тоном свидетеля обвинения, устанавливающего личность преступника.

— Я тоже,— заметила миссис Монтгомери.— Мельком.

— Джонс — великий лингвист,— сказал доктор Фишер.— Он переводит письма насчет шоколада.— И я понял, что он наводил обо мне справки у моих хозяев.— Имейте в виду, Джонс, на наших маленьких собраниях мы говорим по-английски, так как Ричард Дин, хоть он, может быть, и звезда, других языков не знает; правда, иногда, выпив, он пытается говорить на чем-то вроде французского — после третьей рюмки. В фильмах на французском его дублируют.

Все рассмеялись, как по команде, за исключением Дина, который кисло улыбнулся.

— После рюмки-другой он может сыграть Фальстафа — не хватает только юмора и веса. Второе мы всемерно попытаемся сегодня возместить. Что касается юмора, тут мы, к сожалению, бессильны. Вы спросите: что же у него есть? Только быстро падающий успех у женщин и девчонок... Кипс, а вы почему невеселы? Что-нибудь не в порядке? Может, не хватает наших обычных аперитивов, но сегодня мне не хотелось портить вам аппетит перед тем, чем я хочу вас угостить.

— Нет, нет, уверяю вас, доктор Фишер, все в порядке. В полном порядке.

— Я всегда слежу за тем,— сказал доктор Фишер,— чтобы на моих маленьких вечерах все были веселы.

— Мы веселимся до упаду,— сказала миссис Монтгомери,— до упаду.

— Доктор Фишер — отличный хозяин,— снисходительно сообщил мне дивизионный Крюгер.

— И такой щедрый,— добавила миссис Монтгомери.— Видите ожерелье, которое на мне,— это подарок, полученный на нашем последнем вечере.— На ней было тяжелое ожерелье из золотых монет — издали они показались мне южноафриканскими.

— Каждый всегда получает здесь маленький подарок,— шепнул Дивизионный. Он был очень старый и седой. Наверно, его тянуло ко сну. Мне он понравился больше всех, поскольку он, как видно, отнесся ко мне благожелательнее остальных.

— Подарки вон там,— сказала миссис Монтгомери.— Я помогала их выбирать.— Она подошла к столику для закусок, где я теперь заметил кучу пакетов в подарочной обертке. Одного из них она косну-

лась кончиком пальца, как ребенок, который трогает рождественский чулок, чтобы по шороху определить его содержимое.

— А за что дают подарки? — спросил я.

— Во всяком случае, не за умственные способности,— ответил доктор Фишер,— иначе Дивизионный никогда бы ничего не получил.

Все уставились на кучу подарков.

— От нас требуется только не перечить маленьким причудам хозяина,— объяснила миссис Монтгомери,— и тогда он раздает подарки. Был такой вечер — можете поверить? — когда нам подали живых омаров и миски с кипящей водой. Каждому надо было изловить и сварить своего омара. Один из них ущипнул генерала за палец.

— У меня до сих пор остался шрам,— пожаловался Дивизионный.

— Единственное боевое ранение, которое он получил за всю свою жизнь,— вставил доктор Фишер.

— Было так весело,— пояснила мне миссис Монтгомери, словно я мог чего-то не понять.

— Так или иначе,— сказал доктор Фишер,— но после того вечера волосы у нее посинели. Раньше они были противного серого цвета с никотиновыми пятнами.

— Вовсе не серого — я естественная блондинка,— и никаких никотиновых пятен у меня не было.

— Не нарушайте правил, миссис Монтгомери,— сказал доктор Фишер.— Еще раз мне возразите — и потеряете право на подарок.

— На одном из наших вечеров это случилось с мистером Кипсом,— сказал мсье Бельмон.— Он остался без зажигалки из золота семьдесят второй пробы. Вот как эта.— Он вынул из кармана кожаный футляр.

— Не большая потеря,— сказал мистер Кипс.— Я не курю.

— Осторожнее, Кипс. Не брезгуйте моими подарками — не то не видать вам вашего и сегодня.

Я подумал: «Да ведь это же сумасшедший дом во главе с сумасшедшим врачом». Только любопытство удерживало меня за столом — никакой подарок в мире, конечно, не заставил бы меня остаться.

— Пожалуй, прежде чем мы сядем ужинать,— сказал доктор Фишер,— а ужин, я очень надеюсь, вам понравится и вы отдадите ему должное, поскольку я тщательно обдумал меню,— нужно объяснить нашему новому гостю этикет, который мы соблюдаем за столом.

— Это совершенно необходимо,— сказал Бельмон.— Вы меня извините, но я думаю, вам, вероятно, следовало поставить вопрос о его присутствии хотя бы на голосование. В конце концов, у нас же тут что-то вроде клуба.

— Я согласен с Бельмоном,— вставил мистер Кипс.— Все мы знаем, что к чему. Принимаем определенные условия. Только для того, чтобы позабавиться. Посторонний может все понять превратно.

— Мистер Кипс в поисках доллара,— заметил доктор Фишер.— Боитесь, что с появлением еще одного гостя ценность подарков уменьшится? После смерти двоих наших друзей вы ведь надеялись, что их ценность возрастет.

Наступило молчание. Судя по выражению глаз мистера Кипса, я подумал, что он готов дать отпор, но этого не произошло.

— Вы поняли меня превратно,— вот и все, что он сказал.

Для того, кто не был на ужине, этот разговор мог бы показаться всего лишь шутливой перепалкой между членами клуба, которые добродушно осыпают друг друга колкостями, прежде чем сесть за стол, вкусно поужинать, выпить и по-приятельски побеседовать. Но я смотрел на их лица и видел, что шутки граничат с непристойностью, в пикировке слышатся ложь и лицемерие, а над комнатой словно туча нависла ненависть — ненависть хозяина к гостям и гостей к хозяину. Я был здесь совершенно чужим, и хотя каждый из них мне не нравился, мои чувства еще были далеки от ненависти.

— Тогда к столу,— сказал доктор Фишер,— и пока Альберт подаст ужин, я объясню нашему новому гостю характер моих маленьких приемов.

Я оказался рядом с миссис Монтгомери, сидевшей справа от хозяина. Справа от меня поместился Бельмон, а напротив — актер Ричард Дин. Рядом с каждой тарелкой стояла бутылка хорошего иворнского вина, и только наш хозяин, как я заметил, отдавал предпочтение польской водке.

— Прежде всего,— начал доктор Фишер,— я попрошу вас почтить память двоих наших... друзей — да будет разрешено мне назвать их по этому случаю друзьями — в годовщину их смерти два года назад. Странное совпадение. Хотя я выбрал сегодняшний день по этой причине. Мадам Фэверджон сама наложила на себя руки. Полагаю, что она больше не могла себя выносить,— ведь и мне выносить ее было трудно, хотя поначалу она показалась мне интересным экземпляром. Из всех людей за этим столом она была самой жадной, а это кое-что значит. Она была и богаче вас всех. В какие-то минуты я замечал у каждого из вас желание возмутиться теми критическими замечаниями, которые я делал по вашему адресу, и мне приходилось напоминать о подарках, ожидающих вас в конце ужина, и опасности их потерять. Но мадам Фэверджон напоминать об этом не приходилось. Она была готова вытерпеть все что угодно, лишь бы заслужить подарок, хотя свободно могла купить себе не менее дорогой сама. Она была гнусной женщиной, отвратительной женщиной, и все же я должен признать, что под конец она проявила известную отвагу. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас — даже наш доблестный Дивизионный — мог с ней сравниться. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из вас даже пришла в голову мысль избавить мир от своего бесполезного присутствия. Поэтому я прошу вас поднять бокал за тень мадам Фэверджон.

Я выпил, как и все остальные.

Вошел Альберт, неся на серебряном подносе большую банку икры и серебряные тарелочки с ломтиками лимона и яйцами с луком.

— Извините Альберта за то, что он подает мне первому,— сказал доктор Фишер.

— Обожаю икру,— заявила миссис Монтгомери.— Я могла бы питаться одной икрой.

— Вы могли бы питаться одной икрой, если бы захотели тратить на нее свои деньги.

— Я не такая уж богачка.

— Не трудитесь мне врать. Если бы вы не были так богаты, вы бы не сидели за этим столом. Я приглашаю только самых богатых.

— А как же мистер Джонс?

— Он здесь скорее в качестве наблюдателя, чем гостя, хотя, конечно, будучи моим зятем, может вообразить, что у него есть большие надежды на будущее. Надежды — тоже своего рода богатство. Я уверен, что мистер Кипс мог бы устроить ему солидный кредит, а так как надежды не облагаются налогом, ему даже не придется советоваться с мсье Бельмоном. Альберт, слюнявчики.

Тут я впервые заметил, что возле наших приборов не было салфеток. Альберт повязал слюнявчик на шею миссис Монтгомери. Она взвизгнула от удовольствия:

— Écrevisses! Обожаю écrevisses! [1]

— Мы не выпили за покойного, оплакиваемого нами мсье Грозели,— сказал Дивизионный, поправляя слюнявчик.— Не стану притворяться, будто этот человек лично мне нравился.

— Тогда поторопимся, пока Альберт принесет вам ужин. За мсье Грозели! Он присутствовал только на двух наших ужинах, прежде

[1] Раки *(франц.)*.

чем умер от рака, поэтому я не успел изучить его характер. Если бы я знал, что он болен раком, я ни за что бы его сюда не пригласил. Я рассчитываю, что мои гости будут развлекать меня куда дольше. А вот и ваш ужин, теперь я могу приняться за свой.

Миссис Монтгомери испустила пронзительный вопль:

— Да ведь это овсянка, холодная овсянка!

— Настоящая шотландская овсянка. Вам, при вашей шотландской фамилии, она должна понравиться.

Доктор Фишер положил себе икры и налил рюмку водки.

— Она испортит нам аппетит,— сказал Дин.

— Не надо этого бояться. Больше ничего не будет.

— Это уж слишком, доктор Фишер,— сказала миссис Монтгомери.— Холодная овсянка. Она же совершенно несъедобна!

— А вы ее и не ешьте. Не ешьте, миссис Монтгомери. Согласно правилам, вы только потеряете свой маленький подарок. По правде говоря, я заказал овсянку специально для Джонса. Подумал было о куропатках, но как бы он с ними управился одной рукой?

К моему удивлению, я увидел, что Дивизионный и Ричард Дин принялись есть, а мистер Кипс, во всяком случае, взял в руки ложку.

— Если бы дали немножко сахару,— сказал Бельмон,— это, пожалуй, сошло бы.

— Насколько я знаю, жители Уэльса... нет, нет, Джонс, я вспомнил: я хочу сказать — шотландцы, считают святотатством портить овсянку сахаром. Говорят, они даже едят ее с солью. Вы, конечно, можете получить соль. Альберт, подайте господам соль. А миссис Монтгомери решила остаться голодной?

— Нет, нет, доктор Фишер, я не хочу портить вам эту маленькую шутку. Передайте мне соль. Хуже от этого овсянка не станет.

Минуты две, к моему изумлению, все они молча, с угрюмой сосредоточенностью ели. Возможно, рот у них был забит овсянкой.

— А вы почему не попробуете, Джонс? — спросил доктор Фишер, кладя себе еще немного икры.

— Я не настолько голоден.

— И не настолько богат,— сказал доктор Фишер.— Вот уже не один год я изучаю жадность богачей. «Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится» [1],— эти циничные слова Христа они воспринимают чересчур буквально. Обратите внимание: «дано будет», а не «заработано». Подарки, которые я раздаю после ужина, они легко могли бы сделать себе сами, но тогда они бы их заработали, хотя бы подписывая чек. Богачи терпеть не могут подписывать чеки. Отсюда успех кредитных карточек. Одна карточка заменяет сотню чеков. Они готовы на все, лишь бы получить свои подарки бесплатно. Это одно из самых трудных испытаний, которым я их до сих пор подверг, а поглядите, как быстро они поедают свою холодную овсянку, лишь бы поскорей наступило время раздачи подарков. А вы... боюсь, что если вы не станете есть, то ничего не получите.

— Дома меня ждет нечто куда более ценное, чем ваш подарок.

— Сказано весьма галантно,— заметил доктор Фишер,— но не будьте слишком самоуверены. Женщины не всегда ждут. Сомневаюсь, чтобы отсутствие руки помогало любви... Альберт, мистер Дин желает получить вторую порцию.

— Ой, нет,— простонала миссис Монтгомери,— нет, только не по второй порции!

— Это специально для мистера Дина. Я хочу его откормить, чтобы он мог играть Фальстафа.

Дин кинул на него яростный взгляд, но взял вторую порцию.

— Я, конечно, шучу. Дин так же может сыграть Фальстафа, как Бритт Экланд — Клеопатру. Дин не актер, он сексуальный символ.

---

[1] Евангелие от Матфея, гл. 13, 12.

Несовершеннолетние девчонки, Джонс, его обожают. Какое бы их постигло разочарование, если бы они увидели его раздетым. Я имею основания полагать, что как мужчина он слабак. Может, овсянка придаст вам сил, бедняга. Альберт, вторую порцию мистеру Кипсу. Вижу, миссис Монтгомери почти все съела. Поторопитесь, Дивизионный, поторопитесь, Бельмон. Никаких подарков, пока все не кончат есть.

Я мог бы сравнить его с охотником, который, щелкая бичом, управляет сворой псов.

— Поглядите на них, Джонс. Они так торопятся доесть, что даже забывают выпить.

— Не думаю, что иворнское хорошо идет под овсянку.

— Посмейтесь над ними, Джонс. Они не обидятся.

— Я не нахожу их смешными.

— Я, конечно, согласен, что такой ужин имеет свою драматическую сторону, а все же... Разве это зрелище не напоминает вам свиней, которые жрут из корыта? Можно даже подумать, что им это нравится. Мистер Кипс заляпал овсянкой рубашку. Почистите его, Альберт.

— Вы мне отвратительны, доктор Фишер.

Он перевел на меня взгляд: его глаза были похожи на осколки отшлифованного голубого камня. Несколько серых зерен икры застряло в его рыжих усах.

— Да, я могу понять, что́ вы сейчас чувствуете. Иногда я и сам чувствую то же самое, но мои исследования должны быть доведены до конца. Теперь уже я от них не откажусь. Браво, Дивизионный, вы догоняете остальных. Хорошо работаете ложкой, Дин, мой мальчик, хотел бы я, чтобы ваши поклонницы видели, как вы обжираетесь.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— А зачем я буду вам объяснять? Вы не из наших. И никогда не будете. Не питайте надежды на мой счет.

— Я и не питаю.

— Вижу, в вас говорит гордыня бедняка. Впрочем, почему бы мне вам и не объяснить. Вы ведь мне вроде сына. Я хочу выяснить, Джонс, есть ли предел жадности у наших богатых друзей. Существует ли для них «досюда и ни шагу дальше». Настанет ли день, когда они откажутся зарабатывать свои подарки. Во всяком случае, не гордость поставит предел их жадности. Сегодня вечером вы это видите своими глазами. Как и герр Крупп, мистер Кипс с удовольствием сел бы за стол с Гитлером и в чаянии милостей разделил бы с ним любую трапезу... Дивизионный закапал овсянкой слюнявчик. Дайте ему чистый, Альберт. Кажется, сегодняшний вечер положит конец одному из экспериментов. Мне пришла в голову новая идея.

— Вы ведь и сами богач. А есть ли предел *вашей* жадности?

— Может быть, в один прекрасный день я это выясню. Но моя жадность другого сорта. Я не жаден до безделушек, Джонс.

— Безделушки — вещь довольно безвредная.

— Мне хочется думать, что моя жадность скорее похожа на жадность господа бога.

— Разве бог жаден?

— Ну, не воображайте ни на секунду, что я верю в него больше, чем верю в дьявола, но я всегда находил теологию забавной игрой ума. Альберт, миссис Монтгомери покончила со своей овсянкой. Можете взять у нее тарелку... О чем это я говорил?

— О том, что бог жаден.

— Что ж, люди верующие или сентиментальные уверяют, будто он жаден до нашей любви. Я предпочитаю думать, что, судя по тому миру, который, как говорят, он создал, у него, наверное, жадность только к нашему унижению, а *эту* жадность разве можно когда-либо утолить? Она бездонна. Мир становится все более и более несчастным по мере того, как бог бесконечно закручивает гайки, хотя порой и подкидывает нам подарочки, чтобы облегчить унижения, которые мы

терпим: ведь всеобщее самоистребление препятствовало бы его цели. Он дарит нам рак прямой кишки, насморк, недержание мочи. К примеру, вы — бедняк, вот он и преподносит вам маленький подарочек — мою дочь, чтобы хоть ненадолго вас утешить.

— Она для меня очень большое утешение,— сказал я.— Если ее послал мне бог, я ему благодарен.

— А между тем ожерелье миссис Монтгомери сохранится дольше, чем ваша так называемая любовь.

— Почему же господу богу хочется нас унижать?

— А кому не хочется? Ведь говорят, что он сотворил нас по своему образу и подобию. Может, он понял, что был довольно плохим мастером и разочаровался в результате своей работы. Бракованную поделку бросают в мусорный ящик. Вы только на них поглядите, Джонс, и посмейтесь. Неужели у вас нет чувства юмора?.. У всех уже пустые тарелки, кроме мистера Кипса, и все они сгорают от нетерпения! Смотрите, Бельмон даже помогает ему очистить тарелку. Не уверен, что это по правилам, но я закрою на это глаза. Потерпите еще минутку, друзья мои, пока я доем икру. Отвяжите им слюнявчики, Альберт.

10

— Это было отвратительно,— рассказывал я Анне-Луизе.— Твой отец, как видно, сумасшедший.

— Если бы он был сумасшедшим, это было бы куда менее отвратительно,— сказала она.

— Видела бы ты, как они набросились на его подарки — все, кроме мистера Кипса, которому пришлось сперва пойти в уборную, где его вырвало. Холодная овсянка не пошла ему впрок. Должен признать, что по сравнению с жабами твой отец сохранял какое-то достоинство, дьявольское достоинство. Все они были очень злы на меня, потому что я не участвовал в их игре. Я был как бы недружественным свидетелем. Вероятно, я словно поднес к их лицу зеркало, чтобы они почувствовали, как скверно себя ведут. Миссис Монтгомери сказала, что меня следовало выгнать из-за стола, как только я отказался есть овсянку. «Каждый из вас мог поступить так же»,— возразил твой отец. «А тогда что бы вы сделали со всеми подарками?» — спросила она. «Может быть, в следующий раз удвоил бы ставки»,— ответил он.

— Ставки? Что он имел в виду?

— Наверно, он ставил на их жадность, подвергая их унижению.

— А какие были подарки?

— Миссис Монтгомери подарили прекрасный изумруд в платиновой оправе с бриллиантовой короной, насколько я мог заметить.

— А мужчинам?

— Золотые электронные часы со всякими фокусами. Их получили все, кроме бедняги Ричарда Дина. Ему досталась собственная фотография в рамке из свиной кожи, которую я видел в магазине. «Вам остается только ее надписать,— сказал ему доктор Фишер,— и любая девчонка ваша». Дин ушел в бешенстве, а я последовал за ним. Он заявил, что никогда больше туда не придет. «Мне не нужна фотография,— сказал он,— чтобы получить любую девочку, какую я захочу»,— и сел в свой спортивный «мерседес».

— Он вернется,— сказала Анна-Луиза.— Машина ведь тоже подарок. Но ты — ты ведь никогда туда больше не пойдешь, правда?

— Никогда.

— Обещаешь?

— Обещаю,— сказал я.

Но смерть перечеркивает обещания, говорил я себе потом. Обещания даются живому. Мертвый уже не тот человек, что когда-то

жил. Даже любовь меняет свою природу. Любовь перестает быть счастьем. Превращается в чувство невыносимой утраты.

— И ты над ними не смеялся?

— Там не над чем было смеяться.

— Это должно было его огорчить,— заметила она.

Больше приглашений не последовало: нас оставили в покое, и что это был за покой в ту зиму — глубокий, как ранний снег, и почти такой же тихий. Снег падал, пока я работал (он пошел в тот год еще до конца ноября), он падал, пока я переводил письма из Испании и Латинской Америки, и тишина снежного покрова за стенами большого здания с цветными стеклами была подобна тишине счастья, царившей в нашем доме,— казалось, Анна-Луиза сидела тут, со мной, по другую сторону конторского стола, как будет сидеть вечером дома за последней партией в карты, прежде чем мы ляжем в постель.

11

В начале декабря по субботам и воскресеньям я увозил ее в горы, в Дьяблере, где она несколько часов каталась на лыжах. Мне было уже не по возрасту учиться ходить на лыжах, и я сидел в каком-нибудь кафе, читая «Журналь де Женев», и радовался, что она счастлива, петляя, как ласточка, по склонам морозной белизны. Словно цветы ранней весной, с первым снегом начали открываться гостиницы. Все предвещало прекрасное рождество. Я любил смотреть, как Анна-Луиза приходит ко мне в кафе со снегом на ботинках, и щеки ее горят от мороза точно свечки.

Как-то раз я ей сказал:

— Я еще никогда не был так счастлив.

— Зачем ты так говоришь? — спросила она.— Ты был женат. Ты был счастлив с Мэри.

— Я ее любил,— ответил я.— Но у меня никогда не было спокойно на душе. Мы были погодками, когда поженились, и я всегда боялся, что она умрет первой, как оно и случилось. Но тебя я получил на всю жизнь — если ты меня не бросишь. А если бросишь, это будет моя вина.

— А как же я? Ты должен жить так долго, чтобы мы могли уйти туда, куда все уходят, вместе.

— Постараюсь.

— В один и тот же час?

— В один и тот же час.

Я засмеялся, и она тоже. Нам обоим смерть не казалась серьезной темой. Нам предстояло быть вместе всегда и еще один день — le jour le plus long [1], как мы говорили.

Думаю, что, хотя доктор Фишер больше не подавал признаков жизни, мысль о нем все это время таилась где-то в глубине моего сознания, потому что однажды ночью он приснился мне как живой. Он был в костюме и стоял у открытой могилы. Я смотрел на него с другой стороны ямы и крикнул ему с насмешкой: «Кого вы хороните, доктор? Это натворил ваш «Букет Зуболюба»?» Он поднял глаза и взглянул на меня. Он плакал, и я почувствовал в его слезах горький упрек. Вскрикнув, я проснулся и разбудил Анну-Луизу.

Странно, как мы можем весь день находиться под впечатлением сна. Доктор Фишер сопровождал меня на работу; он заполнял минуты бездействия между двумя переводами; и он все время был печальным доктором Фишером из моего сна, а не надменным доктором Фишером, который у меня на глазах сидел во главе стола за своим безумным ужином, издевался над гостями и заставлял их обнажать свою позорную жадность.

В тот вечер я сказал Анне-Луизе:

[1] Самый долгий день *(франц.)*.

— Тебе не кажется, что мы слишком суровы к твоему отцу?
— Что ты хочешь этим сказать?
— Он, должно быть, очень одинок в этом большом доме у озера.
— У него есть друзья,— сказала она.— Ты с ними познакомился.
— Они ему не друзья.
— Он сделал их такими, какие они есть.
Тогда я рассказал ей свой сон. На что она ответила:
— Может быть, это была могила моей матери.
— Он там был?
— Ну да, он там был, но слез я не видела.
— Могила была открыта. Во сне там не было ни гроба, ни священника, ни провожающих, только он сам, если не считать меня.
— Людей у могилы было много,— сказала она,— мою мать очень любили. Там были все слуги.
— Даже Альберт?
— Альберта в те дни не существовало. Был старый дворецкий — не помню его имени. После смерти матери он ушел, как и все остальные слуги. Отец начал новую жизнь в окружении незнакомых лиц. Пожалуйста, не будем больше говорить о твоем сне. Это похоже на кончик шерстяной нитки, который торчит из свитера. Потянешь — и начнет распускаться весь свитер.

Она была права, мой сон словно положил начало целому процессу распутывания. Возможно, мы были слишком счастливы. Возможно, мы слишком далеко ушли в тот мир, где существовали только мы двое...

На следующий день была суббота, а по субботам я на службу не ходил. Анна-Луиза хотела подыскать кассету для своего магнитофона (как и мать, она любила музыку), и мы пошли в магазин в старом районе Веве возле рынка. Ей хотелось купить новую запись симфонии Моцарта «Юпитер».

Из глубины магазина появился, чтобы нас обслужить, пожилой человек невысокого роста (не знаю, почему я написал «пожилой» — вряд ли он был намного старше меня). Я от нечего делать разглядывал альбом пластинок французского певца, часто выступающего по телевидению, и продавец подошел спросить, не может ли он помочь. Вероятно, его старил какой-то робкий, смиренный вид — вид человека, который достиг предела своих надежд и уже не ждет ничего, кроме маленьких комиссионных от продажи того, что тут продают. Сомневаюсь, слышал ли кто-нибудь еще в этом магазине о симфонии «Юпитер». Большую часть ассортимента составляла поп-музыка.

— А, Сорок первая симфония,— сказал он.— Венский симфонический оркестр. Очень хорошее исполнение, но не думаю, чтобы она была у нас. К сожалению,— добавил он с застенчивой улыбкой,— спрос на то, что называют настоящей музыкой, не очень велик. Если вы согласны подождать, я спущусь и поищу на складе.— Он бросил взгляд через мое плечо туда, где стояла (спиной к нам) Анна-Луиза, и заметил: — Может быть, раз уж я буду там, внизу, посмотреть еще какую-нибудь симфонию Моцарта?..

Наверно, Анна-Луиза это услышала и повернулась.

— Если у вас есть «Коронационная месса»,— сказала она и запнулась, потому что продавец уставился на нее с выражением, как мне показалось, похожим на ужас.

— «Коронационная месса»...— повторил он.

— Дайте мне тогда посмотреть все симфонии Моцарта, какие у вас есть.

— Моцарта?..— откликнулся он как эхо, но не тронулся с места.

— Да, Моцарта,— нетерпеливо повторила она и отошла в сторону, чтобы просмотреть кассеты на вертящейся подставке.

Продавец не спускал с нее глаз.

— Поп-музыка,— сказала она, крутя пальцем вертушку,— одна только поп-музыка.

Я поглядел на продавца.

— Извините, мсье,— сказал он,— сейчас я схожу посмотрю.

Он медленно двинулся к двери в глубине магазина, но на пороге оглянулся, сперва на Анну-Луизу, потом на меня. Он сказал:

— Честное слово... я постараюсь...

В его словах мне послышался призыв о помощи, словно там, внизу, его ожидало нечто ужасное. Я подошел к нему и спросил:

— Вам нездоровится?

— Нет, нет. Немножечко пошаливает сердце — и все.

— Вам следовало бы отдохнуть. Я попрошу кого-нибудь из других продавцов...

— Нет, нет. Пожалуйста, не надо. Но можно мне вас о чем-то спросить?

— Разумеется.

— Та дама, с вами...

— Моя жена?

— Ах, ваша жена... она мне так напомнила... вам это покажется нелепым, дерзким... одну даму, которую я когда-то знал. Конечно, прошло много лет, она должна была постареть... почти так же, как я, а эта молодая дама, ваша жена...

И вдруг я понял, кто стоял передо мной, придерживаясь рукой за дверной косяк,— старый, смиренный, неспособный на борьбу, да он никогда и не был на нее способен. Я сказал:

— Это дочь доктора Фишера, доктора Фишера из Женевы.

У него медленно подогнулись колени, словно он хотел опуститься для молитвы, а потом голова его ударилась об пол.

Девушка, которая показывала покупателю телевизор, прибежала мне на помощь. Я пытался повернуть упавшего, но даже самое легкое тело становится тяжелым, когда оно безжизненно. Вдвоем мы положили его на спину, она расстегнула ему воротничок.

— Ах, бедный мсье Стайнер! — сказала она.

— Что случилось? — спросила Анна-Луиза, отойдя от вертушки для кассет.

— Сердечный приступ.

— Ох,— сказала она,— бедный старик.

— Вызовите «скорую помощь»,— сказал я девушке.

Стайнер открыл глаза. Над ним склонились три лица, но он смотрел только на одно, слегка покачал головой и улыбнулся.

— Что же произошло, Анна? — спросил он.

Через несколько минут подъехала «скорая помощь», и мы вышли из магазина вслед за носилками.

В машине Анна-Луиза сказала:

— Он заговорил со мной. Он знал мое имя.

— Он сказал Анна, а не Анна-Луиза. Он знал имя твоей матери.

Она промолчала, но поняла не хуже меня, что это значило. За обедом она спросила:

— Как его зовут?

— Девушка назвала его Стайнер.

— Я не знала его имени. Мать просто называла его «он».— В конце обеда она сказала:— Ты не съездишь в больницу посмотреть, как он там? Мне нельзя. Для него это было бы новым потрясением.

Я нашел его в больнице над Веве, где каждого пациента или взволнованного посетителя встречает объявление, адресующее его в Centre funéraire [1]. Выше, на горе, автомобильная дорога неумолимо наигрывает бетонную симфонию. Его поместили в одну палату с бо-

[1] Похоронное бюро *(франц.)*.

родатым стариком, который лежал на спине с широко открытыми глазами, уставясь в потолок,— я принял бы его за мертвеца, если бы он иногда не моргал, не отрывая глаз от белого штукатурного неба.

— Как это любезно, что вы зашли справиться обо мне,— сказал Стайнер,— но вам не стоило беспокоиться. Меня завтра выпишут с условием, чтобы я не переутомлялся.

— В отпуск?

— Нет необходимости. Мне ведь не приходится таскать тяжести. Телевизорами занимается девушка.

— Приступ вызвала вовсе не тяжесть,— сказал я.

Я посмотрел на старика, его соседа. С тех пор как я вошел, он не шевельнулся.

— Не обращайте внимания,— сказал Стайнер.— Он не разговаривает и не слышит, когда к нему обращаются. Я спрашиваю себя, о чем он думает. Может быть, о долгом путешествии, которое ему предстоит.

— В магазине я испугался, что и вы пустились в это путешествие.

— Мне не так повезло.

У него явно не было желания бороться со смертью.

— Она очень похожа на свою мать, когда та была в ее возрасте,— сказал он.

— Это и вызвало приступ?

— Сперва я решил, что мне кажется. После ее смерти я много лет вглядывался в женские лица, отыскивая сходство, потом перестал. Но сегодня утром вы произнесли *его* имя. Наверно, он еще жив. Я, конечно, узнал бы из газет, если бы он умер. В Швейцарии каждый миллионер удостаивается некролога. Вы должны его знать, раз женились на его дочери.

— Я видел его всего два раза, но и этого достаточно.

— Вы ему не друг?

— Нет.

— Он жестокий человек. Он никогда и в глаза меня не видел, но погубил меня. И все равно что убил ее, хотя она ни в чем не была виновата. Я ее любил, но она меня не любила. Ему нечего было бояться. Это никогда бы не повторилось.— Он бросил взгляд на старика, но тут же успокоился.— Она любила музыку,— сказал он.— Особенно Моцарта. Дома у меня есть пластинка с «Юпитером». Я хотел бы ее подарить вашей жене. Вы можете ей сказать, что я нашел ее на складе.

— У нас нет проигрывателя — только магнитофон.

— Пластинка была записана еще в докассетные дни,— сказал он таким тоном, каким говорят о доавтомобильной эре.

Я его спросил:

— Что вы имели в виду, когда сказали: это никогда бы не повторилось?

— В этом я виноват... и Моцарт... и ее одиночество. Она не повинна в своем одиночестве.— Он произнес это даже с гневом (возможно, подумал я, если бы дать ему время, он научился бы и бороться).— Может, он и сам знает теперь, что такое одиночество.

— Значит, вы *были* ее любовником,— сказал я.— Я думал, судя по словам Анны-Луизы, что до этого так и не дошло.

— Мы не были любовниками,— сказал он,— вы не должны так говорить... не во множественном числе. Она позвонила мне на другой же день, пока муж был в конторе. Мы оба согласились, что это для нее неправильно... я хочу сказать — неприлично запутаться во лжи. Тут для нее нет будущего. Как оказалось, для нее и так не было будущего.

— Жена сказала, что ее мать просто заставила себя умереть.

— Да. *Моя* воля была недостаточно сильна. Странно, не правда ли? Она меня не любила, а все же нашла в себе силы умереть. Я ее любил, а у меня не хватило сил умереть. Я смог пойти на похороны: ведь он не знал меня в лицо.

— Значит, там был еще кто-то, кто ее оплакивал... помимо Анны-Луизы и слуг.

— Что вы этим хотите сказать? Он плакал. Я видел, как он плакал.

— Анна-Луиза говорит, что он не плакал.

— Ошибается. Она была еще ребенком. Наверно, не заметила. Да и какая разница.

Кто был прав? Я вспомнил доктора Фишера за ужином, как он подхлестывал свою свору. Уж я-то не мог представить себе его плачущим,— а, впрочем, какое это имеет значение?

— Знаете,— сказал я,— мы всегда будем вам рады. Я хочу сказать, что жена будет рада вас видеть. Выпьем как-нибудь вечерком рюмочку?

— Нет,— сказал он.— Лучше не надо. Пожалуй, мне этого не вынести. Понимаете, они так похожи.

После этого говорить было больше не о чем. Я не рассчитывал, что когда-нибудь еще его увижу. Я был уверен, что на этот раз он поправится; впрочем, ни одна газета не сообщила бы о его смерти. Он не был миллионером.

Я передал Анне-Луизе то, что он рассказал.

— Бедная мама,— произнесла она.— Но это была всего лишь маленькая ложь. Если это случилось только раз.

— Удивительно, как *он* узнал.— Странно, как редко мы называли их по именам. Обычно мы говорили «он» или «она», но никогда не происходило путаницы. Вероятно, это тоже гелепатия, которая существует у любящих.

— Она говорила, что, когда он начал подозревать — хотя на самом-то деле подозревать было нечего,— он установил какую-то штуку на телефон, чтобы записывать разговоры. Он сам ей это сказал, так что, когда произошел *тот* разговор, он все и узнал. И все же меня бы не удивило, если бы она все рассказала ему сама и пообещала, что этого больше не будет. Может быть, она солгала мне потому, что я была слишком маленькой, чтобы понять. Слушать вдвоем Моцарта, держась за руки, было для меня тогда почти то же, что и любовные объятия,— как, впрочем, и для него... я имею в виду отца.

— Интересно, действительно ли он плакал на похоронах.

— Я в это не верю — если только он не плакал оттого, что жертва ускользнула. Может, это была сенная лихорадка. Она умерла в сезон, когда болеют сенной лихорадкой.

12

Наступило рождество, и снег покрыл землю до края озера; это было самое холодное рождество за многие годы — на радость собакам, детям и лыжникам, но я не принадлежал ни к тем, ни к другим, ни к третьим. В конторе очень хорошо топили; сад снаружи казался синим сквозь цветные стекла, но меня все равно пробирал озноб. Я ощущал себя чересчур старым для моей работы: постоянно иметь дело с шоколадом — молочным, простым, с миндалем и каштанами — больше пристало человеку помоложе или девушке.

Я удивился, когда один из моих начальников отворил дверь моего кабинета и впустил мистера Кипса. Мне показалось, что ожила карикатура: согнувшись чуть не вдвое, мистер Кипс шел ко мне с протянутой рукой — словно не здоровался, а отыскивал потерянный доллар. Сослуживец сказал почтительно, к чему я не привык:

— По-моему, вы знакомы с мистером Кипсом.

— Да,— сказал я,— познакомились у доктора Фишера.

— Я не знал, что вы знакомы с доктором Фишером.

— Мистер Джонс женат на его дочери,— сказал мистер Кипс.

Мне показалось, что на лице моего начальника отразился страх. До сих пор я ничем не привлекал его внимания и вдруг стал представлять опасность — ведь зять доктора Фишера, имея такую поддержку, может занять место и в правлении!

Я неосторожно позволил себе над ним чуть-чуть подтрунить.

— «Букет Зуболюба»,— сказал я,— пытается смягчить вред, который мы тут причиняем зубам.— Это было весьма опрометчивое замечание: оно могло быть сочтено нелояльным. Крупные предприятия, как и разведка, требуют от своих подчиненных не столько порядочности, сколько лояльности.

— Мистер Кипс — друг нашего управляющего,— сказал мой начальник.— У него небольшое затруднение с переводом, и управляющий хочет, чтобы вы ему помогли.

— Мне надо послать письмо в Анкару,— сказал мистер Кипс.— Я хочу приложить к нему перевод на турецкий, чтобы не было недоразумений.

— Я вас оставлю,— сказал начальник, и когда дверь за ним закрылась, мистер Кипс предупредил:— Это, конечно, не подлежит разглашению.

— Понимаю.

Я действительно понял это с первого взгляда. Там упоминались Прага и «Шкода», а «Шкода» для всего мира означает оружие. Швейцария — страна причудливо переплетающихся деловых афер: множество не только политических, но и финансовых махинаций совершается в этом маленьком, безобидном, нейтральном государстве. Все технические термины, которые надо было перевести, как я увидел, относились к вооружению. (На какое-то время я попал в сферу, далекую от шоколада.) Вроде бы существовало американское акционерное общество «И. К. Ф. К.», которое вроде бы покупало оружие для Турции у Чехословакии. Конечный адресат этого оружия — только стрелкового — был неясен. Там упоминалось имя, которое могло быть палестинским или иранским.

Турецкий язык я забыл в значительно большей мере, чем испанский,— у меня было мало практики (мы редко имели дело со страной рахат-лукума), и я долго провозился с переводом.

— Я попрошу это перепечатать начисто,— сказал я мистеру Кипсу.

— Предпочел бы, чтобы вы сделали это сами,— сказал он.

— Секретарша не понимает по-турецки.

— Все равно...

Когда я кончил печатать, мистер Кипс сказал:— Я понимаю, что вы делали это в служебное время, и тем не менее небольшой подарок?..

— Совершенно необязательно.

— Могу я хотя бы послать коробку шоколада вашей жене? Может, конфет с ликером?

— Ах, знаете, мистер Кипс, в нашем доме недостатка в шоколаде не бывает.

Мистер Кипс, по-прежнему сгибаясь чуть не вдвое, так что нос его почти касался стола, словно вынюхивая все тот же увертливый доллар, сложил письмо, черновик и спрятал их в бумажник. Он сказал: — Когда мы увидимся у доктора Фишера, вы, конечно, не станете упоминать... Это дело в высшей степени секретное.

— Не думаю, что мы когда-нибудь с вами там увидимся.

— Почему? В это время года, если погода хорошая, он, несмотря на снег, устраивает самый пышный прием в году. Думаю, что скоро мы получим приглашения.

— Я был на одном приеме, и с меня хватит.

— Должен признать, что последний прием был недостаточно продуман. И тем не менее он останется в памяти его друзей как Овсяный ужин. Крабовый ужин был гораздо занятнее. Но никогда не знаешь, чего можно ждать от доктора Фишера. Был Перепелиный ужин, который так расстроил мадам Фэверджон...— Он вздохнул.— Она обожала птиц. На всех ведь не угодишь.

— Но подарками, думаю, он угождает всем.

— Да, он очень, очень щедрый.

Мистер Кипс, согнувшись крючком, двинулся к двери: казалось, на серой дорожке отпечатан маршрут, по которому он должен следовать. Я крикнул ему вслед: — Встретил бывшего вашего служащего. Он работает в музыкальном магазине. Некий Стайнер.

Он сказал:— Не помню такого.— И, не останавливаясь, продолжал свой путь по начертанному маршруту.

Вечером я рассказал об этой встрече Анне-Луизе.

— Никуда от них не денешься,— огорчилась она.— Сперва бедняга Стайнер, а теперь мистер Кипс.

— Просьба мистера Кипса никак не была связана с твоим отцом. Наоборот, если я твоего отца увижу, он просил не упоминать о нашей встрече.

— И ты обещал?

— Конечно. Я не собираюсь больше с ним встречаться.

— Но теперь они этой тайной связали тебя с ними, верно? Они не выпустят тебя из рук. Хотят, чтобы ты стал одним из них. Не то будут чувствовать себя в опасности.

— В опасности?

— Опасаясь, что кто-то посторонний поднимет их на смех.

— Ну, знаешь, боязнь, что над ними будут смеяться, не очень-то их удерживает.

— Я знаю. Жадность всегда берет верх.

— Интересно, что же это был за Перепелиный ужин, если мадам Фэверджон так расстроилась.

— Что-нибудь отвратительное. Можешь не сомневаться.

Снег продолжал падать. Рождество сулило быть белоснежным. На дорогах даже образовались заносы, и аэропорт Куэнтрен был на сутки закрыт. Нас это не трогало. Это было первое рождество, которое мы проводили вместе, и мы праздновали его как дети — со всеми онёрами. Анна-Луиза купила елку, и мы положили под нее подарки друг другу, празднично обернутые в яркую бумагу и перевязанные ленточками. Я чувствовал себя скорее отцом, чем любовником или мужем. Меня это не огорчало: отец умирает первым.

В сочельник снег прекратился, и мы пошли в старинное аббатство в Сен-Морисе на полуночную мессу и выслушали еще более старинную историю о личном приказе императора Августа, который подверг наш мир страшному испытанию [1]. Мы оба не были католиками, но рождество — это праздник, напоминающий детство. Вполне уместно было там присутствие Бельмона, он внимательно слушал приказ императора, держась сам по себе, как и на нашей свадьбе. Быть может, Святому семейству следовало прислушаться к совету Бельмона и как-нибудь уклониться от регистрации брака в Вифлееме.

Когда мы выходили, он ждал нас у дверей, и мы не могли от него скрыться, от его темного костюма, темного галстука, темных волос, худого тела, тонких губ и искусственной улыбки.

— Счастливого рождества,— пожелал он нам, подмигнул и сунул мне в руку конверт, как налоговую повестку. На ощупь я почувствовал, что там карточка.— Не доверяю почте на рождество,— сказал

[1] «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Евангелие от Луки, гл. 2,I.

он. И замахал рукой.— Вот и миссис Монтгомери. Я был уверен, что она будет здесь. Она такая сторонница объединения церквей.

Голубые волосы миссис Монтгомери были покрыты голубым шарфом, и я заметил новый изумруд во впадине ее тощей шеи.

— Ха-ха, как полагается, мсье Бельмон со своими карточками. И юная чета. Желаю всем вам счастливого рождества. Почему-то не видела в церкви генерала. Надеюсь, он не заболел. Ага! Вот и он.

И действительно, в пролете двери появился Дивизионный словно оживший портрет крестоносца, с прямой, как палка, спиной и одной ногой, не гнувшейся от ревматизма, с носом конкистадора и свирепыми усами,— трудно было поверить, что он ни разу в жизни не слышал выстрела неприятеля. Он тоже был в одиночестве.

— А мистер Дин? — воскликнула миссис Монтгомери.— Он-то *наверняка* должен быть здесь. Он ведь всегда приходит, если не уезжает куда-нибудь за границу на съемки.

Я видел, что мы совершили очень большую ошибку. Полуночная месса в Сен-Морисе была таким же светским мероприятием, как званый коктейль. Мы бы так и не унесли ноги, если бы в эту минуту в дверях церкви не появился красивый, опухший от пьянства Ричард Дин. Мы сбежали, едва успев разглядеть, что он ведет на буксире хорошенькую девчонку.

— Господи! — сказала Анна-Луиза.— Все жабы в сборе.

— Мы же не знали, что они будут здесь.

— Я не очень верю во всю эту историю с рождеством, но хочу поверить, а вот жабы... Зачем они-то приходят?

— Наверно, обычай, как у нас елка. В прошлом году я пришел сюда один. Непонятно почему. Вероятно, и они тоже все были здесь, но в те дни я никого из них не знал... в те дни... кажется, с тех пор прошли годы. Я даже не знал, что ты существуешь.

В ту ночь, лежа в постели, в счастливый короткий промежуток между любовью и сном, мы могли весело посмеяться над жабами, словно это был комический хор в нашей собственной пьесе, которая только одна имела для нас значение.

— Как ты думаешь, у жаб есть душа? — спросил я Анну-Луизу.

— Разве не у всех есть душа — конечно, если вообще верить в души?

— Это официальная точка зрения, но я смотрю на дело иначе. Я думаю, что души развиваются из зародыша, как мы сами. Мы в зародыше — еще не человеческие существа, в нас есть еще что-то от рыбы, и зародыш души — еще не душа. Сомневаюсь, чтобы у маленьких детей души было больше, чем у собак, может быть, поэтому католическая церковь изобрела чистилище.

— А у тебя есть душа?

— По-моему, вроде есть — замызганная, но все же есть. Однако, если души существуют, у тебя она есть наверняка.

— Почему?

— Ты страдала. За мать. Маленькие дети и собаки не страдают. Разве что за себя.

— А у миссис Монтгомери?

— Души не красят волосы синькой. Можешь себе представить, чтобы она сама когда-нибудь задавалась вопросом, есть ли у нее душа?

— А у мсье Бельмона?

— Ему было некогда ее вырастить. Страны меняют свои налоговые установления каждый бюджетный год, закрывая возможности их обойти, и ему приходится все время выдумывать новые лазейки. Душе нужна личная жизнь. А у Бельмона на личную жизнь нет времени.

— А у Дивизионного?

— Тут я не совсем уверен. Может статься, что у него все-таки есть душа. Какой-то он не очень счастливый.

— А это всегда признак?

— По-моему, да.

— А у мистера Кипса?

— Нет у меня уверенности и на его счет. Чувствуется в мистере Кипсе неудовлетворенность. Может, он что-то потерял и теперь ищет. Может, он ищет свою душу, а не доллар.

— А Ричард Дин?

— У него ее нет. Определенно нет. Никакой души. Мне говорили, что у него есть копии всех его старых фильмов, и он каждый вечер их для себя прокручивает. У него нет времени даже на то, чтобы прочесть сценарий очередного фильма. Его удовлетворяет собственная персона. Если у тебя есть душа, ты не можешь быть удовлетворен собой.

Потом мы долго молчали. Нам давно полагалось бы заснуть, но мы оба знали, что другой не спит, думая об одном и том же. Моя глупая шутка обернулась чем-то серьезным. Мысль эту выразила вслух Анна-Луиза:

— А у моего отца?

— Ну, у него-то душа есть,— сказал я,— но мне кажется, что душа у него окаянная.

13

В жизни большинства людей, вероятно, бывает день, когда самая обыденная подробность отпечатывается в памяти навсегда. Таким стал для меня последний день года — суббота. Накануне вечером мы решили с утра, если погода позволит Анне-Луизе покататься на лыжах, съездить в Ле-Пако. В пятницу началась небольшая оттепель, но к ночи подмерзло. Мы поедем пораньше, пока на склонах немного народа, и пообедаем там в отеле. Я проснулся в половине восьмого и позвонил в справочную метеослужбы. Все хорошо, хотя рекомендуется соблюдать осторожность. Я поджарил хлеб, сварил два яйца и подал Анне-Луизе завтрак в постель.

— Почему два яйца? — спросила она.

— Потому что ты помрешь с голоду до обеда, если собираешься приехать к открытию фуникулера.

Она надела новый свитер, который я подарил ей на рождество,— из толстой белой шерсти с широкой красной полосой на груди; она выглядела в нем замечательно. Мы двинулись в путь в половине девятого. Дорога была неплохая, но, как и предупреждала метеослужба, местами был гололед, поэтому в Шатель-Сен-Дени мне пришлось надеть на колеса цепи, и фуникулер открылся до того, как мы приехали. В Сен-Дени мы немножко поспорили. Она хотела сделать большой круг от Корбетты и спуститься по «черной лыжне» от Ле-Прале, но я беспокоился и уговорил ее спуститься по более легкой «красной лыжне» в Ла-Сьерн.

В душе я был рад, что у подъемника в Ле-Пако уже дожидалось много народа. Мне казалось, что так безопаснее. Я не любил, когда Анна-Луиза спускалась на лыжах по пустому склону. Это было слишком похоже на купанье на пустом пляже. Почему-то всегда боишься, что для безлюдья должна быть веская причина: незаметное загрязнение воды или предательское течение.

— Ох,— сказала она,— какая жалость, что я не первая. Я так люблю пустую piste [1].

— Безопаснее, когда рядом кто-то есть,— сказал я.— Вспомни, какая была дорога. Веди себя осторожно.

— Я всегда осторожна.

[1] Здесь — лыжня *(франц.)*.

Я подождал, пока она начнет подниматься, и помахал ей вдогонку. Я следил за ней, пока она не скрылась из виду среди деревьев; мне легко было выделить ее среди других благодаря красной полосе на свитере. Потом я пошел в отель «Корбетта» с книжкой, которую захватил с собой. Это была антология стихов и прозы под названием «Рюкзак», изданная маленьким форматом Гербертом Ридом[1] в 1939 году, после того как началась война: она легко умещалась в солдатском вещмешке. Я никогда не был солдатом, но полюбил эту книжечку во время «странной войны». Она скрашивала мне долгие часы дежурства на лондонском пожарном посту в ожидании бомбежки, которая, казалось, так никогда и не начнется, пока другие, не снимая противогазов, убивали время игрой в метание стрел. Сейчас я выбросил эту книжку, но кое-какие отрывки, прочитанные мною в тот день, остались в памяти, как та ночь в 1940 году, когда я потерял руку. Я отчетливо помню, что́ я читал, когда завыла сирена: по иронии судьбы это было стихотворение Китса «Ода греческой вазе»:

Напев звучащий услаждает ухо,
Но сладостней неслышимая трель[2].

Неслышимая сирена безусловно была бы сладостней. Я хотел дочитать оду до конца, но успел только прочесть:

Тот городок, что у реки ютился,
Благочестивым утром опустел[3],—

когда мне пришлось вылезти из нашего относительно безопасного убежища. В два часа ночи слова эти вернулись ко мне, словно я их открыл в sortes Virgilianae[3], потому что на городских улицах поистине царило странное безмолвие.— весь шум был наверху: треск огня, шипение воды и рев бомбардировщиков, будто твердивших: «Где вы? Где вы?» Словно нечто вроде затишья возникло среди развалин перед тем, как неразорвавшаяся бомба почему-то пришла в себя, прорвала тишину и оставила меня без руки.

Я помню... но в тот день не было ничего до самого вечера, что я мог бы забыть... вот, например, я помню глупый спор с официантом в отеле «Корбетта» из-за того, что я хотел получить место у окна, откуда мне была бы видна дорога, по которой она будет возвращаться от подножья Ла-Сьерн. Столик только что освободил предыдущий посетитель, и на нем стояли грязная чашка с блюдцем, которые официанту, как видно, не хотелось убирать. Это был угрюмый человек с иностранным акцентом. Думаю, что он был взят временно: швейцарские официанты самые вежливые на свете, и, помню, я подумал, что долго он здесь не удержится.

Без Анны-Луизы время тянулось медленно; читать мне надоело, и с помощью двухфранковой монеты я уговорил официанта сохранить за мной столик, пообещав, что, когда настанет время обеда, мы придем вдвоем. Теперь уже подъезжало много машин с лыжами, привязанными на крыше, и у фуникулера образовалась длинная очередь. Один из спасателей, которые всегда дежурят в отеле, рассказывал приятелю в очереди: «Последний несчастный случай был в понедельник. Мальчик лодыжку сломал. Вечно с ними что-нибудь случается во время каникул». Я пошел в лавчонку рядом с отелем спросить французскую газету, но там была только лозаннская, которую я уже пробежал за завтраком. Я купил палочку «Тоблерона» нам на десерт, зная, что в ресторане будет только мороженое. Потом пошел прогуляться и посмотреть на лыжников, съезжавших по piste bleu[4], пологому склону для начинающих, однако я знал, что Анну-Луизу я там

---

[1] Герберт Рид (1893—1968) — английский поэт, критик, издатель.
[2] Здесь и далее — стихи в переводе В. Потаповой.
[3] Гадание по «Энеиде» Вергелия, принятое в средние века и позже.
[4] Синяя лыжня *(франц.)*.

не увижу: она будет высоко, на piste rouge [1], среди деревьев. Она очень хорошая лыжница: как я уже писал, мать поставила ее на лыжи и стала учить кататься в четыре года. Дул ледяной ветер, я вернулся обратно за столик и стал довольно кстати читать «Мореплавателя» Эзры Паунда [2]:

Покрытый твердыми льдинами там, где
ураганом налетела метель,
Я ничего не слышал, кроме сердитого моря
и плеска холодной, как лед, волны.

Я открыл антологию наудачу и напал на «33 счастливых мгновения» Цзинь Шэнтаня. Мне всегда чудилось в восточной мудрости отвратительное самодовольство: «Разрезать в летний день острым ножом ярко-зеленый арбуз на большом малиновом блюде. Ах, разве это не счастье?» Ну да, конечно — если ты китайский философ, зажиточный, высокопочитаемый, живешь покойно, в мире со всеми, а главное, в полной безопасности, не то что христианский философ, который вскормлен на опасностях и сомнениях. Хотя я и не разделяю христианских верований, я предпочитаю Паскаля: «Все знают, что зрелище кошек или крыс, дробление угля и прочее может привести к умопомешательству». А кроме того, подумалось мне, не люблю я арбузов. Но мне было забавно, однако, добавить тридцать четвертое счастливое мгновение, столь же пропитанное самодовольством, как и у Цзинь Шентаня: «Сидеть в тепле в швейцарском кафе, глядя на белые склоны гор за стеклом, и знать, что скоро войдет та, которую любишь, с румянцем на щеках и снегом на ботинках, в теплом свитере с красной полосой. Ну разве это не счастье?»

Я снова наудачу раскрыл «Рюкзак», но sortes Virgilianae не всегда срабатывает, и передо мной были «Последние дни доктора Донна». Странно, зачем бы солдату носить это в своем вещмешке для утешения и бодрости? Я сделал еще одну попытку. Герберт Рид поместил в антологию отрывок из собственного сочинения под заголовком «Отступление из-под Сент-Квентина», и я до сих пор помню если не буквальные слова, то смысл того, что прочел, прежде чем бросил эту книжку навсегда: «Я подумал, что вот настала смертная минута. Но ничего не чувствовал. Я вспомнил, что однажды где-то прочел, будто люди, раненные в бою, ощущают боль не сразу, а позже». Я поднял глаза. Возле фуникулера была какая-то суматоха. Человек, который рассказывал о мальчике со сломанной лодыжкой, помогал другому нести к подъемнику носилки. Они положили на носилки свои лыжи. Я бросил читать и из любопытства вышел. Пришлось пропустить несколько машин, прежде чем я смог пересечь дорогу, и когда я дошел до фуникулера, спасатели уже поднялись наверх.

Я спросил кого-то из очереди, что случилось. Никто, казалось, особенно этим не интересовался. Какой-то англичанин сказал: — Ребенок неудачно упал. Вечная история.

Женщина сказала: — По-моему, это спасателей тренируют. Сверху звонят и пытаются поймать их врасплох.

— Очень интересно наблюдать за их упражнениями,— сказал другой.— Им приходится съезжать на лыжах с носилками. Тут требуется большая сноровка.

Я вернулся в отель, чтобы согреться; из окна все было видно не хуже, но большую часть времени я следил за фуникулером, потому что с минуты на минуту ждал Анну-Луизу. Подошел угрюмый официант и спросил, не хочу ли я что-нибудь заказать; он был как счетчик на стоянке машин, показывающий, что время за мои два франка

[1] Красная лыжня *(франц.)*.
[2] Эзра Паунд (1885—1972) — известный американский поэт.

уже истекло. Я заказал еще кофе. Толпа возле фуникулера пришла в движение. Я не стал пить кофе и пошел через дорогу.

Англичанин, который при мне высказал предположение, что разбился ребенок, теперь с торжеством во всеуслышание объявил:

— Нет, это несчастный случай всерьез. Я слышал разговор в конторе. Они вызывали неотложку из Веве.

Но и тогда я, как тот солдат из-под Сент-Квентина, не почувствовал, что пуля попала в меня,— даже когда спасатели подошли по дороге из Ла-Сьерна и с большой осторожностью поставили носилки, чтобы не потревожить лежавшую там женщину. На ней был совсем не такой свитер, какой я подарил Анне-Луизе,— это был красный свитер.

— Женщина,— кто-то сказал,— бедняжка, вид у нее нехороший.— И я почувствовал такое же мгновенное, инстинктивное сочувствие, как и тот, кто это сказал.

— Дело серьезное,— все так же торжествующе сообщил нам англичанин. Он ближе всех стоял к носилкам.— Много потеряла крови.

Оттуда, где я стоял, мне показалось, что она седая, но потом я сообразил, что ей забинтовали голову прежде, чем нести вниз.

— Она в сознании? — спросила женщина, и знавший все англичанин помотал головой.

Небольшая группа стала редеть и понемногу терять интерес к происшествию, когда подъемник пополз наверх. Англичанин подошел к одному из спасателей и поговорил с ним на ломаном французском.

— Они думают, что у нее поврежден череп,— передал он нам всем его слова, как телевизионный комментатор.

Теперь мне уже никто не заслонял носилки. Это была Анна-Луиза. А свитер уже не был белым из-за крови.

Я оттолкнул англичанина в сторону. Он схватил меня за руку и сказал:— Не напирайте, милейший. Ей нужен воздух.

— Это моя жена, ты, идиот.

— Вот как? Извините. Не обижайтесь, старина.

Прошло несколько минут, хотя они мне показались часами, прежде чем приехала «скорая помощь». Я стоял, всматриваясь в лицо Анны-Луизы, и не видел в нем признаков жизни. Я спросил:— Она умерла?— Наверное, им показалось, что я довольно равнодушен.

— Нет,— заверил меня один из них.— Просто без сознания. Ушибла голову.

— Как это случилось?

— Насколько мы понимаем, там упал мальчик и вывихнул лодыжку. Мальчик не должен был находиться на piste rouge — ему полагалось быть на piste bleu. Она спускалась вниз, и ей трудно было его объехать. Наверное, все бы обошлось, если бы она свернула вправо, но думаю, что у нее не было времени сообразить. Она свернула влево, к деревьям — вы же знаете этот спуск, но наст — твердый, предательский, сперва подтаяло, потом подморозило, и она на всем ходу врезалась в дерево. Не волнуйтесь. «Скорая» вот-вот будет здесь. В больнице вашу жену приведут в порядок.

Я сказал: — Сейчас вернусь. Мне надо сходить расплатиться за кофе.

Англичанин сказал: — Извините меня, старина. Я не знал...

— Ради бога, мотайте отсюда,— сказал я.

Официант был еще неприветливее, чем раньше. Он мне заявил:

— Вы оставили за собой столик, чтобы обедать. Мне пришлось отказывать посетителям.

— Одного посетителя вы никогда больше не увидите,— огрызнулся я и швырнул монету в полфранка, которая упала на пол, а потом задержался у двери, чтобы посмотреть, поднимет он ее или нет. Он поднял, и мне стало стыдно. Но если бы на то была моя воля, я отомстил бы всему миру за то, что произошло,— как доктор

Фишер, подумал я, совсем как доктор Фишер. Я услышал вой «скорой помощи» и вернулся к фуникулеру.

Мне дали место в машине возле ее носилок, и я бросил наш «фиат» возле отеля. Я сказал себе, что как-нибудь за ним приеду, когда Анна-Луиза поправится, и все время следил за ее лицом, ожидая, чтобы она пришла в сознание и меня узнала. Когда мы сюда вернемся, мы больше не пойдем в тот ресторан, мы пойдем в самый лучший отель этого кантона и будем есть икру, как доктор Фишер. Анна-Луиза еще не будет настолько здорова, чтобы ходить на лыжах, да к тому времени и снег, вероятно, растает. Мы посидим на солнце, и я ей расскажу, как перепугался. Я расскажу ей об этом проклятом англичанине — я крикнул ему, чтобы он мотал отсюда, и он смотался,—а она будет смеяться. Я снова посмотрел на ее лицо — оно не менялось. Если бы глаза ее не были закрыты, она бы казалась уже мертвой. Бессознательное состояние — как глубокий сон. Не просыпайся, уговаривал я ее молча, пока они не дадут тебе наркотиков, чтобы ты не чувствовала боли.

«Скорая помощь», стеная, понеслась с горы туда, где помещалась больница, и я увидел вывеску морга, которую видел десятки раз, но теперь вдруг обозлился и на нее, и на глупость администрации, повесившей вывеску так, чтобы ее мог прочесть кто-нибудь вроде меня. Она ведь никак не относится ни ко мне, ни к Анне-Луизе, подумал я, никак не относится.

Но вывеска морга была единственным, на что я мог пожаловаться. Когда «скорая» подъехала, все действовали очень расторопно. Нашего приезда у входа ожидали два врача. Швейцарцы действительно очень расторопны. Вспомните, какие сложные часы и точные приборы они производят. Мне казалось, что Анна-Луиза будет так же мастерски починена, как они чинят часы,— ведь эти часы подороже обычных, часы электронные, она дочь самого доктора Фишера. Они это узнали, когда я сказал, что должен ему позвонить.

— Доктору Фишеру?

— Да, отцу моей жены.

По их поведению я понял, что на такие часы дают очень основательную гарантию. Анну-Луизу уже укатили в сопровождении врача постарше. Мне были видны лишь белые бинты у нее на голове, которые создали у меня впечатление седины.

Я спросил, что мне сказать ее отцу.

— После рентгена нам все будет яснее.

— Думаете, это может быть что-то серьезное?

Молодой врач осторожно сказал: — Нам приходится считать серьезными любые повреждения черепа.

— Советуете подождать со звонком до результатов рентгена?

— Думаю, что, раз доктору Фишеру надо приехать из Женевы, лучше позвонить ему сразу.

Скрытый смысл этого совета дошел до меня, только когда я набирал номер телефона. Сначала я не узнал голоса Альберта, взявшего трубку.

Я сказал: — Мне надо поговорить с доктором Фишером.

— Кто его спрашивает, сэр? — Тон был лакейский, такого я раньше не слышал.

— Скажите, что звонит мистер Джонс, его зять.

Альберт сразу принял свой обычный тон: — А, это вы, мистер Джонс? Доктор занят.

— Это не играет роли. Соедините меня с ним.

— Он сказал, чтобы его ни в коем случае не беспокоили.

— Дело срочное. Соедините нас, вам говорят.

— Я могу потерять место.

— Вы наверняка его потеряете, если нас не соедините.

Наступило долгое молчание, а потом голос послышался снова, голос наглеца Альберта, а не лакея: — Доктор Фишер говорит, что слишком занят, чтобы сейчас с вами разговаривать. Его нельзя беспокоить. Он готовит званый ужин.

— Мне надо с ним поговорить.

— Он сказал, что вам надо изложить ваше дело в письменной форме.

Прежде чем я успел ответить, он дал отбой.

Пока я разговаривал по телефону, молодой доктор куда-то скрылся. Теперь он вошел снова. Он сказал: — Боюсь, мистер Джонс, что придется прибегнуть к операции. К срочной операции. В приемном покое много амбулаторных больных, но на втором этаже есть пустая палата, где вас никто не потревожит. Как только операция будет закончена, я сразу же туда к вам приду.

Когда он отворил дверь пустой комнаты, я ее сразу узнал, или, вернее, решил, что узнал: это была палата, где лежал мсье Стайнер, однако все больничные палаты выглядят одинаково, как таблетки снотворного. Окно было открыто, и через него доносился лязг и грохот с шоссе.

— Закрыть окно? — спросил молодой врач.

Он был так заботлив, будто больным был я.

— Нет, нет, не трудитесь. Пусть будет побольше воздуха.

Но нужен мне был не воздух, а шум. Тишину можно вынести, только когда ты счастлив или спокоен.

— Если вам что-нибудь понадобится, позвоните.— Он показал мне на звонок возле кровати. На столике стоял термос с ледяной водой, и врач проверил, полон ли он.— Я скоро вернусь. Постарайтесь поменьше волноваться. У нас было много случаев потяжелее.

В палате стояло кресло для посетителей, и я на него сел, жалея, что на кровати нет мсье Стайнера и я не могу с ним поговорить. Меня устроил бы и старик, который не говорит и не слышит. Мне припомнились кое-какие слова мсье Стайнера. Он сказал о матери Анны-Луизы: «Я многие годы вглядывался в лица других женщин после того, как она умерла, а потом перестал». В этой фразе самое страшное было «многие годы». Годы, подумал я, годы... разве можно после этого жить годы? Каждые несколько минут я смотрел на часы... прошло две минуты, три минуты, а раз мне повезло: прошло целых четыре с половиной минуты. Я подумал: неужели только это я и буду делать, пока не умру?

Раздался стук в дверь, и вошел молодой врач. У него был оробелый, смущенный вид, и у меня родилась безумная надежда: они допустили ошибку и ушиб был вовсе не серьезный. Он сказал:— Мне очень жаль. Боюсь...— Потом он быстро заговорил без запинки:— Мы и сразу не очень надеялись. Она совсем не мучилась. Умерла под наркозом.

— Умерла?

— Да.

Я сумел лишь произнести: — Ой.

Он спросил: — Хотите ее видеть?

— Нет.

— Вызвать вам такси? Может, вы не откажетесь завтра заехать в больницу. Повидать регистратора. Придется подписать кое-какие бумаги. Всегда столько писанины...

Я сказал: — Я хотел бы покончить со всем этим сразу. Если вам все равно.

14

Я послал доктору Фишеру письмо, как он велел. Я сухо изложил обстоятельства смерти его дочери и сообщил, когда и где ее хоронят. Так как в это время года сенная лихорадка не свирепствует, на слезы его рассчитывать было нечего, но я все же полагал, что, может, он

и появится. Но он не появился, и никто так и не увидел, как ее зарыли в землю, кроме англиканского священника, два раза в неделю убиравшей у нас прислуги и меня. Я похоронил Анну-Луизу на кладбище святого Мартина в гибралтарской земле (в Швейцарии англиканская церковь подчинена Гибралтарской епархии), потому что надо же было мне ее где-то похоронить. Я понятия не имел, к какой религии изволит причислять себя доктор Фишер и к какой принадлежала ее мать или в какой церкви крестили Анну-Луизу,— у нас было слишком мало времени, чтобы узнать друг о друге такие маловажные подробности. Я ведь англичанин, и мне казалось, что самое простое — это похоронить ее так, как хоронят в Англии; насколько я знал, никто еще не завел кладбищ для неверующих. Большинство швейцарцев в Женевском кантоне протестанты, и мать Анны-Луизы, вероятно, похоронена на протестантском кладбище, но швейцарские протестанты люди всерьез верующие — англиканская церковь со всей ее двойственностью казалась мне более близкой нашему неверию. Я ожидал, что на кладбище может где-нибудь сзади деликатно появиться мсье Бельмон, как он сделал это на нашей свадьбе и потом на полуночной мессе, но, к моему облегчению, его не оказалось. Таким образом, не было никого, с кем мне пришлось бы разговаривать. Я был один, я мог один вернуться к нам в квартиру — это не то, что быть с ней вдвоем, но лучше всего другого.

Я заранее решил, что́ буду там делать. Много лет назад я прочел в одном детективе, как можно покончить самоубийством, выпив залпом четверть литра спирта. Насколько я помнил, один персонаж подзадорил другого выпить штрафную (писатель явно учился в Оксфорде). Я подумал, что для верности растворю в виски двадцать таблеток аспирина — все, что у меня было. Потом я удобно устроился в кресле, в котором обычно сидела Анна-Луиза, и поставил стакан рядом на стол. В душе у меня был покой, мной владело странное ощущение, похожее на счастье. Мне казалось, что я могу провести так целые часы и даже дни, просто глядя на стакан с эликсиром смерти. На дне его осели крупинки аспирина, я помешал пальцем жидкость, и они растворились. Пока здесь стоял этот стакан, мне не угрожало одиночество и даже горе. Словно это был промежуток между двумя приступами боли, и я мог длить этот промежуток сколько захочу.

И тут зазвонил телефон. Пусть звонит, но он нарушал покой в комнате, как соседская собака. Я встал и вышел в переднюю. Подняв трубку, я для бодрости обернулся и взглянул на свой стакан — этот залог недолгого будущего. Женский голос произнес: — Мистер Джонс. Это ведь мистер Джонс?

— Да.

— Говорит миссис Монтгомери.

Значит, жабы все же меня настигли.

— Вы меня слушаете, мистер Джонс?

— Да.

— Я хотела вам сказать... мы только сейчас услышали... как мы все огорчены.

— Спасибо,— сказал я и дал отбой, но, прежде чем я успел вернуться в свое кресло, телефон зазвонил снова. Нехотя я пошел назад.

— Слушаю,— сказал я.

Кто из них на сей раз? Но звонила снова миссис Монтгомери. Как долго такой женщине надо, чтобы проститься даже по телефону.

— Мистер Джонс, вы не дали мне договорить. У меня к вам поручение от доктора Фишера. Он хочет вас видеть.

— Он мог бы меня увидеть, если бы пришел на похороны своей дочери.

— О, тут были веские причины... Вы не должны его винить... Он вам все объяснит... Он хочет, чтобы вы завтра к нему пришли... В любое время во второй половине дня...

— А почему он не мог позвонить сам?

— Он терпеть не может телефон. Всегда пользуется услугами Альберта... или одного из нас, когда мы под рукой.

— Тогда почему бы ему мне не написать?

— Мистер Кипс сейчас в отлучке.

— Разве мистеру Кипсу приходится писать его письма?

— Деловые письма, конечно.

— У меня нет никаких дел с доктором Фишером.

— Речь идет о каком-то наследстве. Вы придете, не правда ли?

— Скажите ему...— произнес я,— скажите ему... я подумаю.

Я положил трубку. Это по крайней мере заставит его полдня ломать голову, потому что идти туда я не собирался. Все, что мне хотелось,— это снова вернуться в кресло к четверти литра неразбавленного виски; в стакане снова появился небольшой осадок аспирина, и я помешал его пальцем, но ощущение счастья ушло. Я уже не был один. Доктор Фишер, казалось, наполнял комнату, как дым. Был только один способ от него избавиться, и я, не переводя дыхания, залпом осушил стакан.

Судя по детективному роману, я ожидал, что сердце у меня остановится внезапно, как часы, но почувствовал, что все еще жив. Теперь я думаю, что аспирин был ошибкой: один яд мог парализовать действие другого. Надо было мне довериться автору детектива: говорят, что они тщательно осведомляются насчет медицинских подробностей; к тому же, насколько я припоминаю, тип, выпивший штрафную, был уже полупьян, я же был трезв как стеклышко. Вот так мы иногда можем прошляпить собственную смерть.

В ту минуту я не чувствовал даже сонливости. Голова у меня была более ясная, чем всегда,— как бывает, когда немного выпьешь, и такое, хоть и временное, состояние позволило мне сообразить причину вызова доктора Фишера: имущество, наследство... Деньги, оставленные Анне-Луизе матерью, как я вспомнил, находились под каким-то контролем, она могла получать только проценты. Я понятия не имел, к кому теперь попадет капитал, и подумал с ненавистью: «На похороны ее он не пришел, а уже думает о том, что будет с деньгами». Может быть, их получит он, эти кровавые деньги. Я вспомнил ее белый рождественский свитер, выпачканный кровью. Значит, он не менее жаден, чем все жабы. Да он и сам жаба — их жабий король. И вдруг, именно так, как я воображал свою смерть, меня одолел сон.

15

Когда я проснулся, я был уверен, что проспал час или два. Голова у меня была совершенно ясная, но, кинув взгляд на часы, я решил, что стрелки каким-то непонятным образом ушли назад. Я выглянул в окно, однако свинцовое снежное небо ничего мне не сказало: оно было почти такое же, как и прежде, когда я заснул. То ли утреннее небо, то ли вечернее — думайте как хотите. Я далеко не сразу понял, что проспал больше восемнадцати часов, и тут кресло, в котором я сидел, и пустой стакан вернули меня к осознанию того, что Анна-Луиза умерла. Стакан был как разряженный револьвер или нож, который без толку обломился о грудную кость. Надо будет поискать другой способ умереть.

Тут я вспомнил про телефонный звонок и беспокойство доктора Фишера о наследстве. Я был болен от горя, и, право же, больному простительны болезненные фантазии. Я хотел унизить доктора Фишера — человека, который убил мать Анны-Луизы; я хотел, чтобы он страдал, как страдаю я. Я пойду и встречусь с ним, раз он об этом просит.

Я нанял у себя в гараже машину и поехал в Версуа. Я чувствовал, что голова у меня не такая ясная, как я полагал. На автостраде я чуть

не врезался в заднюю часть сворачивавшего грузовика и подумал, что такая смерть ничуть не хуже, чем от виски,— но, быть может, она и вовсе обошла бы меня стороной. Меня могли вытащить из обломков машины калекой, уже неспособным себя уничтожить. После этого я стал вести машину более внимательно, но мысли мои блуждали, их притягивало красное пятно, за которым я следил, когда она поднималась вверх на фуникулере к той piste rouge, к тому уже совсем красному свитеру на носилках и бинтам, которые я принял за седину незнакомого человека. Я чуть было не проехал поворот на Версуа.

Громадный белый дом стоял над озером как усыпальница фараона. Рядом с ним моя машина казалась карликовой, а звонок неестественно тренькнул в недрах гигантской могилы. Дверь отворил Альберт. Почему-то он был в черном. Может, доктор Фишер надел траур вместо себя на своего слугу? Черный костюм явно пошел на пользу его характеру. Он даже не сделал вида, что не узнает меня. Он не стал надо мной глумиться, а поспешно пошел наверх по широкой мраморной лестнице.

Доктор Фишер не был в трауре. Он сидел за своим столом, как и при нашей первой встрече (стол был почти пуст, если не считать большой и явно дорогой рождественской хлопушки, сверкавшей киноварью и золотом), и предложил мне, как и раньше: — Садитесь, Джонс.

Потом наступило долгое молчание. На этот раз он, казалось, не знал, с чего начать. Я поглядел на хлопушку, он взял ее, потом положил на место, и молчание длилось и длилось, так что в конце концов нарушил его я. Я упрекнул его: — Вы не пришли на похороны своей дочери.

Он сказал: — Она была слишком похожа на мать.— И добавил: — Она даже лицом стала на нее похожа, когда выросла.

— Да, это говорил и мсье Стайнер.

— Стайнер?

— Стайнер.

— А-а. Этот человечек еще жив?

— Да. По крайней мере, несколько недель назад был еще жив.

— Клопа трудно прикончить,— сказал он.— Они заползают обратно в щели, откуда их потом не достанешь.

— Дочь никогда не причиняла вам зла.

— Она была похожа на мать. И характером, и лицом. И вам бы причинила такое же зло, дай ей только время. Интересно, какой бы Стайнер выполз из щели в вашей жизни. Быть может, мусорщик. Им нравится нас унижать.

— Вы позвали меня для того, чтобы это сказать?

— Не только, но и это, да. В тот раз после ужина я подумал, что кое-чем вам обязан, а я не из тех, кто любит быть должником. Вы вели себя лучше других.

— Кого — жаб?

— Жаб?

— Так ваша дочь называла ваших друзей.

— У меня нет друзей,— повторил он слова своего слуги Альберта. И добавил: — Это знакомые. А знакомых не избежать. Не думайте, что такие люди мне не нравятся. Это неверно. Не нравиться могут только равные. А их я презираю.

— Так, как я презираю вас?

— Нет, Джонс, вы меня не презираете, отнюдь. Вы неточно выражаетесь. Вы не презираете меня. Вы меня ненавидите или думаете, что ненавидите.

— Не думаю, а знаю.

На это утверждение он ответил мне улыбочкой, которая, по словам Анны-Луизы, была опасной. Это была улыбка, полная беспредельного безразличия. Это была та улыбка, которую, как я представляю

себе, скульптор смело и богохульственно высекает на невыразительном, бесстрастном лике Будды.

— Значит, Джонс меня ненавидит,— сказал он.— Что ж, это делает мне честь. Меня и вас ждет Стайнер. И в каком-то смысле по одной и той же причине. В одном случае — это моя жена, в другом — моя дочь.

— Вы никогда не прощаете, верно? Даже мертвым?

— Ах, Джонс, при чем тут прощение. Это христианское понятие. Вы христианин, Джонс?

— Не знаю. Но точно знаю, что никого так не презирал, как вас.

— Вы опять выразились неточно. Семантика — важная наука, Джонс. Говорю вам: вы ненавидите, а не презираете меня. Презрение рождается из полного крушения надежд. Большинство людей не способны пережить крушение надежд, сомневаюсь, чтобы способны были на это и вы. Их надежды для этого слишком мелки. Когда ты презираешь, это похоже на глубокую, неизлечимую рану, преддверие смерти. И пока у тебя еще есть время, надо за эту рану отомстить. Когда тот, кто эту рану тебе нанес, умер, надо мстить другим. Если бы я верил в бога, я, вероятно, захотел бы отомстить ему за то, что он сделал меня способным чувствовать разочарование. Кстати — это чисто философский вопрос,— как можно отомстить богу? Христиане, наверное, скажут: заставить страдать его сына.

— Быть может, вы и правы, Фишер. Быть может, мне даже не стоит вас ненавидеть. По-моему, вы сумасшедший.

— Ах нет же, нет, я не сумасшедший,— сказал он с этой невыносимой улыбочкой, полной несказанного превосходства.— Вы человек не слишком большого ума, Джонс, не то в ваши годы не переводили бы для заработка письма о шоколадках. Но иногда у меня возникает желание поговорить с человеком, даже если это и выше его понимания. На меня такое желание находит порой и когда я сижу с одним из — как их называла моя дочь? — с одной из жаб. Забавно следить за их восприятием. Никто из них не осмелится назвать меня сумасшедшим, как это сделали вы. Это ведь может лишить их приглашения на мой следующий ужин.

— И лишить тарелки каши?

— Нет, подарка, Джонс. Они не вынесут, если их лишат подарка. Миссис Монтгомери притворяется, что меня понимает. «Ох, до чего же я с вами согласна, доктор Фишер»,— говорит она. Дин злится; он не переносит, когда что-нибудь недоступно его пониманию. Говорит, что даже «Король Лир» — это полная чепуха, потому что знает: он сыграть его не способен даже в кино. Бельмон внимательно слушает и сразу же меняет тему разговора. Подоходные налоги научили его увертливости. Дивизионный... Я только раз при нем сорвался, когда не мог больше вынести глупости этого старика. А он на это только хмыкнул и сказал: «Шагом марш под грохот орудий». Он, конечно, никогда не слышал орудийного залпа — разве что ружейные выстрелы на учебном полигоне. Кипс — самый лучший слушатель... Думаю, он надеется извлечь хоть зернышко здравого смысла из того, что я говорю, авось пригодится. Ах да, Кипс... он мне напомнил, зачем я вас вызвал. Наследство.

— Какое наследство?

— Вы знаете, а может, и не знаете, что моя жена оставила доходы от своего маленького капитала дочери, но только пожизненно. Потом капитал должен был отойти к ребенку, который мог у нее родиться, но так как дочь умерла бездетной, деньги возвращаются ко мне. «Чтобы показать, что она меня прощает» — как нагло указано в завещании. Будто мне не плевать на ее прощение — прощение за что? Если я приму эти деньги, я как бы соглашусь принять и ее прощение — прощение женщины, которая изменила мне с конторщиком мистера Кипса.

— Вы уверены, что она с ним спала?

— Спала? Возможно, что она просто дремала рядом с ним под какую-нибудь мяукающую пластинку. Если вы спрашиваете, совокуплялась ли она с ним,— нет, в этом я не уверен. Возможно. но я в этом не уверен. Да я и не придал бы этому большого значения. Животный инстинкт. Я бы мог выбросить это из головы, но она предпочитала его общество моему. Конторщика мистера Кипса с нищенским жалованьем!

— Весь вопрос в деньгах, а, доктор Фишер? Он был недостаточно богат, чтобы наставлять вам рога.

— Да, деньги, конечно, имеют значение. Есть люди, которые даже на смерть пойдут ради денег. А из-за любви не умирает никто, Джонс, разве что в романах.

Я подумал, что пытался сделать именно это, но не сумел. Однако предпринял ли я эту попытку из-за любви или из страха перед непоправимым одиночеством?

Я перестал его слушать, и мое внимание привлекли только последние его слова: — Поэтому деньги эти ваши, Джонс.

— Какие деньги?

— Наследство, конечно.

— Мне они не нужны. Мы с ней обходились тем, что я зарабатываю. Нам хватало.

— Вы меня удивляете. Я-то думал, что вы хотя бы попользовались, пока могли, небольшими деньгами ее матери.

— Нет, мы к ним не притрагивались. Оставили для ребенка, которого собирались родить.— И я добавил: — Когда кончится лыжный сезон...

Сквозь оконное стекло я видел, как прямо и беспрестанно падают белые хлопья, словно планета перестала вращаться и, успокоившись, лежала в снежном лоне.

Я снова пропустил мимо ушей, что́ он говорил, и уловил только последние фразы: — Это будет мой последний ужин. Это будет величайшее испытание.

— Вы опять устраиваете званый ужин?

— Последний, и я хочу, Джонс, чтобы вы на нем были. Как я уже сказал, я вам кое-чем обязан. Вы унизили их на ужине с овсянкой больше, чем мне пока удавалось. Вы не стали есть. Вы отказались от подарка. Вы были посторонним, и вы показали, что они такое. Как они вас ненавидели. А я получил такое удовольствие!

— Я встретил их в Сен-Морисе после ночной мессы. Они не высказали ни малейшего негодования. Бельмон даже прислал мне на рождество поздравительную открытку.

— Еще бы. Если бы они проявили свои чувства, это еще больше бы их унизило. Им надо было как-то отговориться, сделать вид, что ничего не произошло. Знаете, что Дивизионный сказал мне через неделю (придумала это миссис Монтгомери, вероятно): «Вы чересчур сурово обошлись с вашим зятем, не дали бедняге подарка. Разве он виноват, что в тот вечер у него было расстройство желудка. С каждым из нас это могло случиться. Кстати, меня самого немножко мутило, но я не хотел портить вам забаву».

— Еще раз на ужин вы меня не затащите.

— Это будет очень серьезный вечер, Джонс. Никакой жеребятины, я вам обещаю. И отличная еда. Это я вам тоже обещаю.

— У меня сейчас нет настроения чревоугодничать.

— Говорю вам, этот ужин будет последним испытанием их жадности. Вы посоветовали через миссис Монтгомери давать им чеки, вот они их и получат.

— Она мне сказала, что они ни за что не возьмут чеки.

— Посмотрим, Джонс, посмотрим. Чеки будут на очень, очень солидную сумму. Я хочу, чтобы вы присутствовали и своими глазами увидели, до чего они дойдут.

— Дойдут?

— Из жадности, Джонс. Из жадности богачей, которую вам, увы, никогда не придется испытать.

— Вы же сами богаты.

— Да, но моя жадность — я вам уже говорил — другого сорта. Я хочу...— Он поднял над головой елочную хлопушку, наподобие того, как священник на ночной мессе поднимал святые дары, будто собираясь сделать важное сообщение своему послушнику: «Это плоть моя». Он повторил: — Я хочу...— И опустил хлопушку.

— Чего вы хотите, доктор Фишер?

— Вы недостаточно умны, чтобы это понять, даже если я вам и скажу.

В ту ночь мне вторично приснился доктор Фишер. Я думал, что не усну, но, как видно, долгая, зябкая поездка из Женевы нагнала на меня сон, и, может, пикируясь с Фишером, я сумел хоть на полчаса забыть, до чего бессмысленной стала моя жизнь. Я заснул сразу, как и вчера, у себя в кресле и увидел доктора Фишера с лицом, размалеванным точно у клоуна, с усами, торчащими вверх, как у кайзера; он жонглировал яйцами, не роняя ни одного. Он доставал все новые и новые яйца из сгиба руки, из-за спины, из воздуха—он создавал эти яйца, и в конце по воздуху летали сотни яиц. Руки его сновали вокруг них как птицы, потом он хлопнул в ладоши — яйца упали на землю, лопнули, и я проснулся. Наутро в моем почтовом ящике лежало приглашение: «Доктор Фишер приглашает Вас на Последний ужин». Он должен был состояться через неделю.

Я пошел в контору. Люди удивились, увидев меня, но что мне еще было делать? Попытка умереть не удалась. Ни один врач не прописал бы мне в том состоянии, в каком я находился, ничего сильнее успокоительного. Хватило бы у меня мужества, я бы поднялся на верхний этаж и выбросился из окна — если бы окно там открылось, в чем я сомневаюсь,— но мужества у меня не хватило. «Несчастный случай» на машине может вовлечь посторонних и к тому же не гарантирует смертельного исхода. Револьвера у меня не было. Я думал обо всем этом, а вовсе не о письме к испанскому кондитеру, которого все еще волновало отношение басков к конфетам с ликерной начинкой. После работы я не покончил самоубийством, а пошел в первый же кинотеатр по дороге домой и просидел час на вялом порнофильме. Движения обнаженных тел не вызывали ни малейшей сексуальной эмоции — они были похожи на рисунки в доисторической пещере, непонятные письмена людей, о которых я ничего не знал. Я подумал, выходя: «Вероятно, надо поесть», зашел в кафе, заказал чай с пирожным, а потом подумал: «Зачем я ел?» Не надо было мне есть. Это ведь тоже способ умереть — голодная смерть, но я тут же вспомнил мэра Корка: он выжил после более чем пятидесятидневной голодовки. Я попросил у официантки листок бумаги и написал: «Альфред Джонс принимает приглашение доктора Фишера» — и положил листок в карман как залог того, что не передумаю. На другой день я отправил письмо почти машинально.

Почему я принял приглашение? Сам не знаю. Может быть, я принял бы любое, которое сулило бы мне возможность час или два не думать — не думать главным образом о том, как умереть без особой боли или больших неприятностей для окружающих. Можно утопиться — озеро Леман совсем недалеко: ледяная вода быстро парализует инстинктивное желание выплыть. Но у меня не хватало мужества: я с детства боялся утонуть, с тех пор как молодой секретарь посольства толкнул меня в глубокую часть piscine [1]. К тому же мой труп может отравить окуней. Газ? Но в квартире было только электричество. Оставались, конечно, выхлопные газы автомобиля; я хранил этот способ про запас, так что голодная смерть была все же наилучшим выхо-

[1] Бассейн *(франц.)*.

дом — чистый, деликатный, интимный вид смерти: я ведь старше и, вероятно, менее крепок, чем мэр Корка. Я решил назначить дату, когда начну: на другой день после званого ужина у доктора Фишера.

16

По иронии судьбы я опоздал из-за несчастного случая на автостраде: частная машина врезалась в грузовик на покрытом льдом участке дороги. Там уже была полиция и машина «скорой помощи»; ацетиленовая горелка, которая так ярко пылала в темноте, что ночь потом показалась мне вдвое темнее, резала обломки, и оттуда что-то вытаскивали. Когда я подъехал, Альберт уже стоял у открытой двери. Его манеры явно стали лучше (возможно, меня уже принимали за одну из жаб); он спустился со ступенек, чтобы меня приветствовать, отворил дверцу машины и впервые позволил себе вспомнить мое имя.

— Добрый вечер, мистер Джонс, доктор Фишер советует не снимать пальто. Ужин сервируют на лужайке.

— На лужайке? — воскликнул я.

Ночь была ясная, звезды горели как льдинки, и температура стояла ниже нуля.

— Думаю, сэр, что вам будет достаточно тепло.

Он провел меня через переднюю, где я однажды познакомился с миссис Монтгомери, а потом через другую комнату, где стены были уставлены книгами в дорогих сафьяновых переплетах — их, как видно, покупали оптом («Библиотека, сэр...»). Было бы много дешевле обзавестись фальшивыми корешками, подумал я,— у комнаты совсем нежилой вид. Высокие окна, от потолка до пола, выходили на большую лужайку, спускавшуюся к невидимому отсюда озеру, и какое-то время я не различал ничего, кроме яркого пламени. На снегу потрескивали четыре гигантских костра, а с веток каждого дерева свисали лампочки.

— Ну, разве это не великолепно, не восхитительно, с ума сойти! — воскликнула миссис Монтгомери, выходя ко мне из темноты с уверенностью хозяйки, встречающей оробевшего гостя.— Просто сказка, волшебство. Думаю, что пальто, мистер Джонс, вам даже не понадобится. Мы все так рады, что вы снова с нами. Нам вас очень недоставало.

«Мы» и «нам»... Теперь, когда глаза больше не слепило пламя костров, я увидел, что все жабы были в сборе; они стояли вокруг стола, накрытого посреди костров; он сверкал хрусталем, в котором переливались отсветы огня. Атмосфера была совсем не такая, как на памятном ужине с овсянкой.

— Какая жалость, что это самый последний прием,— сказала миссис Монтгомери,— но вот увидите, он с нами простится по-королевски. Я сама помогала ему составить меню. Овсянки не будет!

Внезапно рядом со мной появился Альберт, держа на подносе стаканы с виски, бокалы с сухим мартини и коктейлем «Александр».

— Я предпочитаю «Александр»,— сказала миссис Монтгомери.— Это сегодня у меня уже третий. Какую чепуху говорят, будто коктейли портят вкус еды. Я считаю и постоянно всем говорю, что вкус еды портит только отсутствие аппетита.

Из темноты выступил Ричард Дин, держа тисненное золотом меню. Я видел, что он уже порядком нализался, а там, за его спиной, между двумя кострами стоял мистер Кипс и, казалось, действительно смеялся,— сказать это наверняка было трудно, он так сутулился, что рта не было видно, но плечи у него явно вздрагивали.

— Это получше каши,— сказал Дин,— какая жалость, что ужин последний. Как вы думаете, старичок совсем растратился?

— Нет, нет,— живо возразила миссис Монтгомери.— Он же всегда говорил, что в один прекрасный день устроит последний, самый роскошный и самый увлекательный ужин. Мне кажется, душа ему больше не позволяет этим заниматься. После того, что случилось. Его бедная дочь...

— А у него есть душа? — спросил я.

— Ах, вы не знаете этого человека так, как знаем его мы. Его щедрость...— Автоматический рефлекс, как у собачки Павлова, заставил ее дотронуться до изумруда, висевшего на шее.

— Допивайте и рассаживайтесь.

Голос доктора Фишера из темного угла сада призвал нас к порядку. До этого я не видел, где он находится. Он нагнулся над бочкой метрах в двадцати от нас, и я заметил, как он шевелит в ней руками, словно их моет.

— Вы только поглядите, до чего он милый,— сказала миссис Монтгомери.— Его заботит всякая мелочь.

— А что он там делает?

— Прячет хлопушки в бочке с отрубями.

— Почему бы не выложить их на стол?

— Не хочет, чтобы люди, желая узнать, что там внутри, стали стрелять ими во время ужина. Это я посоветовала ему насчет бочки с отрубями. Только подумайте, он никогда о такой вещи не слышал. Видно, у него было не очень счастливое детство, правда? Но он сразу зажегся этой идеей. Понимаете, он положил подарки в хлопушки, а хлопушки в отруби, и нам надо будет тащить их на счастье с зажмуренными глазами.

— А что, если вам достанется золотой ножик для обрезания сигар?

— Невозможно. Подарки выбраны так, чтобы подошли любому.

— А что такого есть в мире, что подойдет любому?

— Вот увидите. Он нам скажет. Не сомневайтесь. В глубине души он ведь человек очень чуткий.

Мы сели за стол. На этот раз я был посажен между миссис Монтгомери и Ричардом Дином, а напротив были Бельмон и мистер Кипс. Дивизионный сидел через стол от хозяина. Набор бокалов был внушительный, а меню сообщало, что будут поданы «Мерсо» 1971 года, «Мутон-Ротшильд» 1969-го, а вот года закладка портвейна «Кокберн» я не запомнил. Тут, подумалось мне, я смогу по крайней мере упиться и забыть обо всем без помощи аспирина. Бутылка финской водки, поданная к икре (на этот раз икрой оделили нас всех), была заморожена в цельной глыбе льда вместе с лепестками оранжерейных цветов. Я снял пальто и повесил его на спинку стула, чтобы предохранить себя от жара костра, горевшего сзади. Два садовника ходили взад и вперед, как часовые, подбрасывая в огонь поленья, но шаги их не были слышны на глубоком снежном ковре. Зрелище было до странности нереальным — столько жара и столько снега, хотя снег под нашими стульями уже начал таять от тепла, которое шло от костров. Я подумал, что скоро ноги наши будут мокнуть в талой воде.

Икрой в большой вазе обнесли нас дважды, и все, кроме меня и доктора Фишера, положили ее себе по второму разу.

— Она так полезна,— объясняла миссис Монтгомери.— В ней столько витамина С.

— Могу пить финскую водку с чистой совестью,— сказал нам Бельмон, позволяя налить себе третью рюмку.

— Они провели настоящую кампанию зимой тридцать девятого,— заметил Дивизионный.— Если бы французы поступили так в сороковом...

Ричард Дин спросил меня: — Вам довелось видеть меня в «Пляжах Дюнкерка»?

— Нет. Я в Дюнкерке не был.

— Я говорю о фильме.

— Нет. Боюсь, что не довелось. А что?

— Да просто так. По-моему, это мой самый лучший фильм.

К «Мутон-Ротшильду» было подано rôti de bœuf[1]. Мясо зажарили в тонком слое теста, что сохранило все его соки. Прекрасное блюдо, что и говорить, но на минуту мне стало дурно от вида крови: я снова стоял у подножия фуникулера.

— Альберт,— сказал доктор Фишер,— нарежьте мистеру Джонсу мясо. У него покалечена рука.

— Бедненький мистер Джонс,— сказала миссис Монтгомери.— Давайте я вам нарежу. Вы любите мясо маленькими кусочками?

— Сострадание, вечно сострадание,— сказал доктор Фишер.— Вам надо бы написать Библию заново. «Пожалей ближнего своего, как ты жалеешь себя». У женщин чересчур развито чувство сострадания. Моя дочь унаследовала это от матери. Может, она и замуж вышла за вас, Джонс, из жалости. Уверен, что миссис Монтгомери выйдет за вас, если вы ей предложите. Но жалость — чувство нестойкое, оно быстро проходит, когда объект не маячит на глазах.

— А какое чувство стойкое? — спросил Дин.

— Любовь,— поспешно ответила миссис Монтгомери.

— Я никогда не мог спать с какой-нибудь женщиной больше трех месяцев кряду,— сказал Дин.— Это превращается в поденщину.

— Тогда это не настоящая любовь.

— А вы долго были замужем, миссис Монтгомери?

— Двадцать лет.

— Я вам должен пояснить, Дин,— сказал доктор Фишер,— что мистер Монтгомери был очень богат. Большой счет в банке помогает любви длиться дольше. Но почему вы не едите, Джонс? Мясо недостаточно нежное или миссис Монтгомери слишком крупно его нарезала?

— Мясо превосходное, но у меня нет аппетита.— Я налил себе еще бокал «Мутон-Ротшильда»; я пил вино не из-за букета — нёбо мое потеряло всякую чувствительность,— а из-за того, что оно сулило забытье.

— При обычных обстоятельствах вы бы не получили подарка, потому что не едите,— сказал доктор Фишер,— но за этим нашим последним ужином никто не лишится подарка, если сам этого не пожелает.

— Да разве кто-нибудь откажется от *вашего* подарка, доктор Фишер? — спросила миссис Монтгомери.

— Вот через несколько минут это и будет мне интересно выяснить.

— Вы же знаете, щедрый вы человек, что этого никогда быть не может!

— Никогда — сильное слово. Я не уверен, что сегодня... Альберт, вы забываете разливать вино. Смотрите, у мистера Дина бокал почти пустой, да и у мсье Бельмона тоже.

Лишь когда мы приступили к портвейну (поданному, по английскому обычаю, в конце трапезы к сыру), он объяснил, что он имел в виду, когда не кончил фразы. Как всегда, завела разговор миссис Монтгомери.

— У меня руки так и чешутся,— сказала она,— добраться до этого пирога из отрубей.

— Там одни хлопушки,— сказал доктор Фишер.— Мистер Кипс, вы только не вздумайте заснуть, пока не вытащите вашу хлопушку. Дин, не задерживайте у себя портвейн. Нет. Не туда. Где вы воспитывались? По часовой стрелке.

---

[1] Жаркое из говядины *(франц.)*.

— Одни хлопушки? — сказала миссис Монтгомери.— Ах вы глупенький. Будто мы не знаем. Важно то, что спрятано в хлопушке.

— Шесть хлопушек,— сказал доктор Фишер,— и в пяти из них одинаковые бумажки.

— Бумажки? — воскликнул Бельмон, а мистер Кипс попытался повернуть голову к доктору Фишеру.

— Изречения,— объяснила миссис Монтгомери.— Во все хорошие хлопушки кладут изречения.

— Да, но что еще? — спросил Бельмон.

— Там нет никаких изречений,— сказал доктор Фишер.— На этих бумажках напечатано название и адрес: «Швейцарский кредитный банк, Берн».

— Неужели чеки? — спросил мистер Кипс.

— Чеки, мистер Кипс, и выписаны на одну и ту же сумму, чтобы никому не было завидно.

— Мне не очень-то нравится, когда друзья дарят друг другу чеки,— сказал Бельмон.— Я знаю, доктор Фишер, вы делаете это от доброго сердца, и мы все были вам очень благодарны за те маленькие подарки, которыми вы оделяли нас в конце ужина, но чеки... это... как бы сказать... не слишком уважительно, не говоря уже о связанных с ними налогах!

— Я вам всем даю выходное пособие — вот в чем дело.

— Но, черт возьми, мы у вас не служим! — сказал Ричард Дин.

— Вы в этом уверены? Разве все вы не играли свои роли для моего развлечения и своей прибыли? К примеру, вы, Дин, охотно выполняли мои приказания. Я был одним из режиссеров, снабжающих вас талантом, которого сами вы лишены.

— Я могу и не взять ваш проклятый чек!

— Можете, Дин, но возьмете. Да вы даже согласитесь сыграть в «Питере Пэне» мистера Дарлинга и посидеть в собачьей будке, если чек будет достаточно крупным.

— Мы прекрасно поужинали,— сказал Бельмон,— и всегда будем вспоминать об этом с благодарностью. Не надо так нервничать. Я могу понять точку зрения Дина, но думаю, что он сгущает краски.

— Вы, конечно, если хотите, можете отказаться от моих маленьких прощальных подарков. Я скажу Альберту, чтобы он убрал бочку с отрубями. Альберт, вы слышали? Отнесите бочку на кухню — нет, погодите минутку. Прежде чем решать, вам, по-моему, надо знать, что́ написано на этих бумажках. Два миллиона франков на каждой.

— Два миллиона! — воскликнул Бельмон.

— Имя получателя на чеках не проставлено. Вы вправе написать любое. Быть может, мистеру Кипсу захочется пожертвовать этот чек на медицинские исследования по выпрямлению спинного хребта. Миссис Монтгомери может даже захотеть купить себе любовника. Дин вложит деньги в съемку фильма. А то ему, по-моему, грозит что-то вроде некредитоспособности.

— Все это как-то не совсем прилично,— сказала миссис Монтгомери.— Можно подумать, что вы считаете нас, своих друзей, корыстолюбивыми.

— А разве ваш изумруд не доказательство тому?

— Драгоценности, полученные от мужчины, которого любишь,— совсем другое дело. Вы и не представляете себе, доктор Фишер, как мы вас любим. Платонической любовью, правда, но разве она не такая же настоящая, как... ну эта... сами знаете какая.

— Я, конечно, знаю, что никто из вас не нуждается в двух миллионах франков, чтобы истратить их на себя. Вы все достаточно богаты, чтобы эти деньги отдать, хоть я и сомневаюсь, что кто-нибудь из вас это сделает.

— То, что наши имена не значатся на чеках, несколько меняет дело,— сказал Бельмон.

— С налоговой точки зрения,— согласился доктор Фишер.— Я был уверен, что так будет удобнее. Но вы лучше разбираетесь в таких делах, чем я.

— Я думал не об этом. Я думал о человеческом достоинстве.

— Ну да, понятно, вы хотите сказать, что чек в два миллиона франков менее оскорбителен, чем чек в две тысячи.

— Я бы выразил это несколько иначе,— сказал Бельмон.

Впервые за этот вечер заговорил Дивизионный. Он сказал:

— Я не финансист, как мистер Кипс или мсье Бельмон. Я простой солдат и не вижу разницы между тем, берешь ли ты икру или берешь чек.

— Браво, генерал,— сказала миссис Монтгомери.— Я как раз это хотела сказать.

Мистер Кипс пояснил: — Я ведь не возражал. Только задал вопрос.

— Я тоже,— сказал Бельмон.— Раз на чеках нет наших имен... Я просто хотел внести ясность для всех нас — особенно для мистера Дина: он ведь англичанин. Это мой долг как его консультанта по налоговым вопросам.

— И вы советуете мне взять? — спросил Дин.

— При таких условиях — да.

— Альберт, оставьте бочку с отрубями на месте,— сказал доктор Фишер.

— Но кое-что еще неясно,— сказал мистер Кипс.— Вы заявили, что там шесть хлопушек и пять бумажек. Это потому, что мистер Джонс не участвует?

— Мистер Джонс будет иметь те же возможности, что и все вы. Каждый по очереди подойдет к бочонку с отрубями и будет там искать свою хлопушку, вы ее дернете, стоя возле бочонка, а потом вернетесь к столу. Точнее говоря, если вы вообще вернетесь.

— То есть что значит — если? — спросил Дин.

— Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, советую выпить еще по рюмочке портвейна. Нет, пожалуйста, не туда, Дин. Я вам уже говорил: не против часовой стрелки.

— Вы хотите, чтобы мы совсем захмелели,— сказала миссис Монтгомери.

Дин заметил: — Вы не ответили на вопрос мистера Кипса. Почему только пять бумажек?

— Я пью за здоровье вас всех,— сказал доктор Фишер, поднимая рюмку.— Если вы даже откажетесь вытягивать хлопушку, вы все равно заслужили ужин, потому что помогаете мне провести последнее исследование.

— Исследование чего?

— Жадности богачей.

— Не понимаю.

— Ах, этот милый доктор Фишер! Так любит пошутить,— сказала миссис Монтгомери.— Допивайте, мистер Дин.

Все выпили. Я заметил, что они порядком опьянели,— я один, сколько бы ни пил, был безнадежно обречен на тоскливую трезвость. Я себе ничего не налил. Решил больше не пить, пока не останусь дома один и не смогу упиться, если захочу, до смерти.

— Джонс не выпил за наше здоровье. Пусть. Сегодня все правила по боку. Я уже давно хочу испытать предел вашей жадности. Вы подвергались большим унижениям и терпели их ради награды, которая за этим следовала. Наш ужин с овсянкой был предпоследней пробой. Ваша жадность оказалась сильнее любого унижения, которое я мог для вас изобрести.

— Да какое же это было унижение, милый? Вы просто тешили свое необыкновенное чувство юмора. И мы получали такое же удовольствие, как и вы.

— А теперь я хочу знать, способны ли вы из жадности преодолеть даже страх, и вот я устроил то, что можно назвать ужином с бомбой.

— Это еще что за чертовщина — ужин с бомбой?— Вино сделало Дина агрессивным.

— В шестую хлопушку помещен небольшой заряд — вероятно, смертельный, который взорвется, когда один из вас дернет за язычок. Вот почему бочка с отрубями поставлена на значительном расстоянии от нашего стола и почему хлопушки глубоко закопаны, а бочка закрыта крышкой, чтобы туда случайно не попали искры от одного из костров. Надо добавить, что бесполезно и, вероятно, даже опасно мять и прощупывать хлопушки. Во всех одинаковые металлические футляры, но только в одном из футляров то, что я называю бомбой. В остальных — чеки.

— Он шутит,— сообщила нам миссис Монтгомери.

— Может, и шучу. Вы это выясните в конце ужина. Разве игра не стоит свеч? Смерть не наверняка вам грозит, даже если ваш выбор падет на опасную хлопушку, и я даю вам честное слово, что чеки во всех случаях там лежат. На два миллиона франков.

— Но, послушайте, если кто-нибудь умрет,— сказал Бельмон, часто моргая,— это же будет убийство.

— Ну почему же убийство? Вы все тут будете свидетелями. Нечто вроде русской рулетки. Даже не самоубийство. Мистер Кипс, я уверен, со мной согласится. Тот, кто не желает играть, пусть сейчас же выйдет из-за стола.

— Я-то уж безусловно не буду играть,— сказал мистер Кипс. Он огляделся вокруг в поисках поддержки, но ее не нашел.— И отказываюсь быть свидетелем. Будет большой скандал, доктор Фишер. Это самое меньшее, что вам грозит.

Он встал из-за стола, и когда его горбатая фигура зашагала между кострами к дому, она мне снова напомнила маленькую черную семерку. Странно было, что такой калека первый отказался от смертельного риска.

— Ваши шансы — пять к одному,— сказал ему доктор Фишер, когда он проходил мимо.

— Я никогда не играл на деньги,— сказал мистер Кипс.— Считаю это в высшей степени безнравственным.

Как ни странно, слова его, казалось, разрядили атмосферу. Дивизионный сказал: — Не вижу ничего безнравственного в азартных играх. Я лично провел в Монте-Карло много приятных недель. И как-то раз трижды подряд выиграл на девятнадцать.

— Я иногда ездил на ту сторону озера в казино Эвиана,— сказал Бельмон.— Никогда много не ставил. Но в этих делах я вовсе не пуританин.

Казалось, они совсем забыли о бомбе. Вероятно, только мы с мистером Кипсом верили, что доктор Фишер сказал правду.

— Мистер Кипс отнесся к вашим словам слишком серьезно,— сказала миссис Монтгомери.— У него нет чувства юмора.

— А что будет с чеком мистера Кипса,— спросил Бельмон,— если его хлопушка так и останется там?

— Я разделю его на всех вас. Если только там нет бомбы. Вы вряд ли захотите, чтобы я ее делил.

— Еще по четыреста тысяч франков на каждого,— быстро подсчитал мсье Бельмон.

— Нет. Больше. Один из вас ведь вряд ли выживет.

— Выживет! — воскликнул Дин. Как видно, он был слишком пьян, чтобы взять в толк историю со смертельной хлопушкой.

— Конечно,— сказал доктор Фишер,— все может кончиться и счастливо. Если шестая хлопушка как раз и будет содержать бомбу.

— Вы что это — серьезно говорите, что в одной из ваших чертовых хлопушек есть бомба?

— Два миллиона пятьсот тысяч франков,— пробормотала миссис Монтгомери; она явно исправила цифру, названную Бельмоном, и уже в мечтах видела то, что доктор Фишер считал счастливым концом.

— Вы, Дин, я уверен, не откажетесь от этой маленькой игры. Я помню, как в «Пляжах Дюнкерка» вы отважно вызвались пойти чуть ли не на самоубийство. Вы были великолепны — во всяком случае, режиссер это великолепно поставил. И вам чуть было не присудили «Оскара», не правда ли? «Я пойду, сэр, если я могу пойти один». Это была замечательная реплика, я ее навсегда запомнил. Кто ее написал?

— Я написал ее сам. Не сценарист и не режиссер. Она пришла мне в голову вдруг, на съемке.

— Поздравляю, мой мальчик. Ну а теперь вот вам прекрасный случай пойти одному к бочке с отрубями.

Я никак не ожидал, что Дин пойдет. Он поднялся, допил свой портвейн, и я решил, что он последует за мистером Кипсом. Но, может быть, спьяну ему действительно показалось, что он снова на съемочной площадке, в воображаемом Дюнкерке. Он дотронулся до головы, словно поправляя несуществующий берет, однако, пока он вживался в старую роль, миссис Монтгомери не зевала. Она вышла из-за стола и с криком: «Дам пропускают вперед!» побежала к бочке с отрубями, рывком скинула крышку и окунула руку в отруби. Наверное, она вычислила, что сейчас у нее наилучшие шансы для счастливого исхода.

Мысли Бельмона, как видно, шли в том же направлении, потому что он запротестовал: — Надо было кинуть жребий, чья очередь.

Миссис Монтгомери нашла хлопушку и дернула за язычок. Послышался легкий треск, и небольшой металлический цилиндр выпал на снег. Вытащив оттуда свернутую трубочкой бумажку, она взвизгнула.

— Что случилось? — спросил доктор Фишер.

— Ничего не случилось, мой дружок. Все просто роскошно! Швейцарский кредитный банк, Берн. Два миллиона франков.— Она кинулась назад, к столу.— Дайте мне кто-нибудь ручку. Я хочу вписать мое имя. Он может потеряться.

— Я бы вам советовал не вписывать ваше имя, пока мы хорошенько все не обсудим,— сказал Бельмон, но она осталась глуха к его словам.

Ричард Дин стоял вытянувшись, как по стойке «смирно». Я ждал, что он вот-вот отдаст своему полковнику честь. Мысленно он, видимо, выслушивал приказ, поэтому Бельмон получил возможность раньше него подбежать к бочке с отрубями. Он помешкал, прежде чем вытащить свою хлопушку — тот же металлический цилиндр, та же бумажка; он самодовольно улыбнулся и подмигнул. Он рассчитал все «за» и «против» — и оказался прав, пойдя на риск. Это был человек, знавший, что такое деньги.

Дин произнес: — Я пойду, сэр, если я могу пойти один.

И все же не двигался с места. Может быть, режиссер в эту минуту распорядился: «Стоп!»

— Ну а вы, Джонс? — спросил доктор Фишер.— Шансы все уменьшаются.

— Я предпочитаю понаблюдать за вашим чертовым экспериментом до конца. Жадность побеждает, а?

— Если вы наблюдаете, вам придется рано или поздно принять участие в игре или же удалиться, как мистеру Кипсу.

— Что ж, я буду играть, обещаю. Я сделаю ставку на последнюю хлопушку. Это повысит шансы Дивизионного.

— Вы скучный, глупый тип,— сказал доктор Фишер.— Какая доблесть идти на смерть, если вы хотите умереть. Но, господи помилуй, что там вытворяет Дин?

— По-моему, импровизирует.

Дин по-прежнему стоял у стола и наливал себе еще рюмку портвейна, однако на этот раз никто не воспользовался задержкой, потому что оставались только Дивизионный и я.

— Спасибо, сэр,— сказал Дин.— Спасибо за добрые слова. Ведь и пьяная отвага — вещь невредная... Да, знаю, в данном случае это совсем не обязательно, капитан... Может, это и лишнее, зато блеска больше... Спасибо, сэр. Если вернетесь невредимым, разопьем еще бутылочку... «Кокберна» — вот как эта, надеюсь, сэр.

Я подумал, не будет ли он плести эту чепуху до рассвета, но, произнеся последнюю фразу, он поставил рюмку, лихо отдал честь и зашагал к бочке с отрубями, пошарил в ней, вытащил хлопушку, дернул и повалился на землю рядом с цилиндром и чеком.— Мертвецки пьян,— сказал доктор Фишер и распорядился, чтобы садовники унесли его в дом.

Дивизионный глядел на меня с другого конца стола. Он спросил: — Почему вы не ушли, мистер Джонс?

— Мне все равно нечего делать, генерал.

— Не зовите меня генералом. Я не генерал. Я командир дивизии.

— А вы почему остались, командир дивизии?

— Поздно идти на попятный. Смелости не хватает. Мне следовало первым подойти к бочке, когда шансы были лучше. Что там говорил этот Дин?

— По-моему, он играл молодого капитана, который вызвался сделать отчаянную вылазку.

— Я командир дивизии, а дивизионные не совершают отчаянных вылазок. К тому же в Швейцарии таких вылазок не бывает. Разве что эта — исключение из правил. Может, вы пойдете первым, мистер Джонс?

— А что вы думаете о конвертируемых облигациях? — услышал я голос миссис Монтгомери, которая спрашивала Бельмона.

— У вас их и так слишком много,— сказал Бельмон,— а доллар, по-моему, не скоро опять войдет в силу.

— Предлагаю вам подойти первому, командир. Мне деньги не нужны, а шансы у вас все-таки будут получше. У меня другие цели...

— Когда я был мальчишкой,— сказал Дивизионный,— я играл в русскую рулетку с игрушечным пистолетом, заряженным пистонами. Это было так увлекательно.— Но он не двигался с места.

Я слышал, как Бельмон говорит миссис Монтгомери: — Я-то подумываю вложить деньги во что-нибудь немецкое. Например, «Баденверк» в Карлсруэ платит акционерам восемь и пять восьмых процента — правда, русская опасность всегда налицо, не так ли? Будущее ведь довольно непредсказуемо.

Так как Дивизионный явно не желал двигаться, то пошел я. Мне хотелось, чтобы этот ужин кончился поскорее.

Пришлось долго разгребать отруби, прежде чем я нащупал хлопушку. Но я не чувствовал приятного возбуждения, как мальчик, стрелявший пистонами,— я спокойно взял в руки хлопушку, сознавая, что стал ближе к Анне-Луизе, чем когда-либо с тех пор, как дожидался в больничной палате и молодой доктор пришел сказать, что она умерла. Я держал хлопушку, словно держал ее руку, и слушал разговор, который шел за столом.

Бельмон говорил миссис Монтгомери: — У меня больше доверия к японцам. «Мицубиси» платит только шесть и три четверти, но двумя миллионами зря рисковать не стоит.

Я увидел, что рядом со мной стоит Дивизионный.

— По-моему, нам пора расходиться,— сказала миссис Монтгомери.— Боюсь, тут что-то произойдет, хотя в глубине души я уверена, что доктор Фишер просто над нами слегка подшутил.

— Если вы отошлете вашу машину с шофером, я вас подвезу, и мы по дороге обсудим, куда вам вложить деньги.

— Но разве вы не дождетесь, пока кончится ужин?— спросил доктор Фишер.— Теперь уже недолго осталось.

— Ах, это был такой замечательный последний ужин, но мне, бедняжке, пора бай-бай.— Она замахала нам ручками.— Спокойной ночи, генерал. Спокойной ночи, мистер Джонс. А где же мистер Дин?

— Подозреваю, что в кухне, на полу. Надеюсь, Альберт не возьмет у него чек. Он тогда уйдет от меня, и я потеряю хорошего слугу.

Дивизионный мне шепнул: — Конечно, мы можем просто взять и уйти, верно? Если вы пойдете со мной. Я не хочу уходить один.

— Мне-то лично идти некуда.

Хотя мы и шептались, доктор Фишер услышал.

— Дивизионный, вы с самого начала знали правила игры. Могли уйти с мистером Кипсом, прежде чем она началась. А теперь, когда шансов осталось маловато, вы перепугались. Подумайте о вашей солдатской чести и о награде. В бочке все еще лежат два миллиона франков.

Но Дивизионный не шевельнулся. Он продолжал смотреть на меня с мольбой. Когда человек боится, он нуждается в поддержке. Доктор Фишер безжалостно продолжал: — Если поторопитесь, шансы будут два к одному в вашу пользу.

Дивизионный закрыл глаза, опустил в бочку руку и сразу же нащупал свою хлопушку, но все так же нерешительно продолжал стоять.

— Если боитесь дернуть, идите к столу, Дивизионный, и дайте мистеру Джонсу испытать судьбу.

Дивизионный поглядел на меня грустным взглядом спаниеля, который пытается внушить хозяину, чтобы тот произнес магическое слово: «Гуляй!» Я сказал:

— Я первый вытащил хлопушку. По-моему, вы должны разрешить мне первому и дернуть.

— Конечно, конечно,— сказал он.— Это ваше право.

Я смотрел на него, пока он не дошел до безопасного места возле стола, неся свою хлопушку. Без левой руки мне не так-то легко было дернуть язычок. Замешкавшись, я увидел, что Дивизионный следит за мной — следит, как мне казалось, с надеждой. Может быть, он молился — в конце концов, я же видел его на ночной мессе, вероятно, он верующий, вероятно, он говорил богу: «Прошу тебя, добрый боженька, взорви его!» Я бы, наверно, молился почти о том же: «Пусть это будет конец», если бы верил, но разве у меня не было хотя бы полуверы, иначе почему же, пока я держал эту хлопушку в руке, я чувствовал близость Анны-Луизы? Анна-Луиза была мертва. Она могла еще где-то существовать, если существует бог. Я взял торчавший язычок и потянул за другой край хлопушки. Послышался слабый щелчок, и я почувствовал, как Анна-Луиза выдернула у меня свою руку и пошла между кострами к озеру, чтобы умереть во второй раз.

— Ну вот, Дивизионный,— сказал доктор Фишер,— шансы теперь равные.

Я никогда еще не испытывал такой ненависти к Фишеру, как в эту минуту. Он дразнил нас обоих. Он издевался над моим разочарованием и издевался над страхом Дивизионного.

— Наконец-то вы стоите под огнем противника, Дивизионный. Разве не об этом вы мечтали все долгие годы нашего швейцарского нейтралитета?

Глядя на мертвую, бесполезную хлопушку у себя в руке, я услышал печальный голос командира дивизии:

— Я тогда был молодым. А теперь я стар.

— Но там же два миллиона франков. Я знаю вас давно и знаю, как вы цените деньги. Вы женились на деньгах — вот уж нельзя сказать, чтобы вы прельстились красотой, но даже когда ваша жена умерла и оставила вам все, что у нее было, вам этого показалось мало, не то вы не стали бы приходить на мои званые ужины. Вот ваш шанс. Два миллиона франков, которые вы можете выиграть. Два миллиона франков за небольшое проявление храбрости. Военной отваги. Под огнем противника, Дивизионный.

Я посмотрел на стол в другом конце лужайки и увидел, что старик вот-вот заплачет. Я сунул руку в бочонок с отрубями и вытащил последнюю хлопушку — хлопушку, предназначенную для Кипса. Я снова потянул за язычок зубами, и снова раздался легкий щелчок — не громче, чем чирканье спички.

— Ну какой же вы дурак, Джонс,— сказал доктор Фишер.— Чего торопитесь? Весь вечер раздражали меня одним вашим присутствием. Да, вы не такой, как другие. Не вписываетесь в общую картину. И никому вы не помогли. Ничего не смогли доказать. Деньги вас не прельщают. Вы жадно хотите смерти. А такая жадность меня не интересует.

Дивизионный сказал: — Но ведь осталась только одна — моя хлопушка.

— Да, Дивизионный, верно, теперь ваш черед. Не отвертитесь. Придется играть до конца. Встаньте. Отойдите на безопасное расстояние. Я не Джонс и не хочу умирать.

Но старик не двинулся с места.

— Я не могу вас расстрелять за трусость, проявленную перед лицом врага, но обещаю, что эту историю узнает вся Женева.

Я взял два чека из двух цилиндров и подошел с ними к столу. Один чек я швырнул Фишеру.

— Вот доля мистера Кипса, можете разделить ее между остальными.

— А другой оставляете себе?

— Да.

Он улыбнулся мне своей опасной улыбочкой.

— А знаете, Джонс, у меня есть надежда, что в конце концов и вы не испортите общей картины. Садитесь и выпейте еще рюмочку, пока Дивизионный соберется с духом. Вы теперь человек вполне зажиточный. Относительно. С вашей точки зрения. Заберите завтра деньги из банка, припрячьте их хорошенько, и я уверен, что скоро и у вас появятся те же чувства, что и у остальных. Я могу даже снова устраивать свои ужины, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как развивается у вас жадность. Миссис Монтгомери, Бельмон, Кипс и Дин — все они, в общем, были такими же и тогда, когда я с ними познакомился. Но вас я таким создал. Совсем как бог создал Адама. Дивизионный, время ваше истекло. Не заставляйте нас больше ждать. Ужин окончен, костры догорают, становится холодно, и Альберту пора убирать со стола.

Дивизионный сидел молча; его старая голова была опущена над лежавшей на столе хлопушкой. Я подумал: «Он действительно плачет (я не видел его глаз) — плачет над утраченной мечтой о героизме, которая, наверно, тешит по ночам каждого молодого солдата».

— Будьте же мужчиной, Дивизионный.

— Как вы, должно быть, себя презираете,— сказал я доктору Фишеру. Не знаю, что́ заставило меня произнести эти слова. Их будто кто-то нашептал мне на ухо, и я их только передал дальше. Я пододвинул чек к командиру дивизии и сказал: — Я куплю вашу хлопушку за два миллиона франков. Отдайте ее мне.

— Нет. Нет.— Он произнес это еле слышно, но не воспротивился, когда я взял хлопушку из его пальцев.

— Что это значит, Джонс?

Я не дал себе труда ответить — у меня было дело поважнее,— да к тому же я и не знал ответа. Ответа мне не дал тот, кто только что шепнул мне на ухо.

— Стойте, черт вас возьми! Скажите же, ради Христа, что вы затеяли?

Я был слишком счастлив, чтобы отвечать, потому что в руках у меня была хлопушка Дивизионного, и я пустился вниз по лужайке к озеру — туда, куда, как мне представлялось, ушла Анна-Луиза. Когда я проходил мимо Дивизионного, он закрыл лицо руками; садовники ушли, и костры догорали.

— Вернитесь,— крикнул мне вслед доктор Фишер,— вернитесь. Джонс! Я хочу с вами поговорить.

Я подумал: «Когда дело доходит до дела, он тоже боится. Наверное, хочет избежать скандала». Но я ему в этом не помощник. Тут смерть — она принадлежит мне, это мое дитя, мое единственное дитя, мое и Анны-Луизы. Никакой несчастный случай на лыжне не может отнять у нас ребенка, которого я держал в руке. Я уже больше не одинок — это они одиноки: Дивизионный и доктор Фишер; они сидят по краям длинного стола и ждут грохота, который возвестит о моей кончине.

Я подошел к самой кромке озера, где склон лужайки должен был скрыть меня от них обоих, и в третий раз, но теперь уже с полной уверенностью в исходе, зажал язычок в зубах и дернул хлопушку правой рукой.

Дурацкий, немощный щелчок и последовавшая за ним тишина показали, что я кругом был обманут. Доктор Фишер украл у меня смерть и унизил Дивизионного; он доказал, что его богатые друзья действительно одержимы жадностью, а теперь сидит за столом и смеется над нами обоими. Да, этот последний ужин кончился для него удачно.

На таком расстоянии я не мог слышать его смеха. А услышал я скрип шагов, приближавшихся по берегу. Человек, увидев меня, внезапно остановился,— все, что я мог различить, был черный костюм на фоне белого снега. Я спросил:

— Кто вы?

— Ах, да это мистер Джонс,— произнес чей-то голос.— Конечно же, это мистер Джонс.

— Да.

— Вы не помните меня. Я Стайнер.

— Как вы сюда попали?

— Больше не мог вынести.

— Вынести чего?

— Того, что он с ней сделал.

В ту минуту мои мысли были поглощены Анной-Луизой, и я не понял, о чем он говорит. Потом я сказал:

— Теперь вы уже ничего не можете поделать.

— Я слышал про вашу жену,— сказал он.— Мне очень жаль. Она была так похожа на Анну. Когда я узнал, что она умерла, это было совсем как если бы Анна умерла снова. Вы уж меня простите. Я так нескладно выражаюсь.

— Нет. Я понимаю, что́ вы почувствовали.

— А где он?

— Если вы говорите о докторе Фишере, то он сыграл свою лучшую и последнюю шутку и, как я себе представляю, хихикает там наверху.

— Я должен его увидеть.

— Зачем?

— Когда я лежал в больнице, у меня было время подумать. Лицо вашей жены заставило меня задуматься. Когда я увидел ее там, в магазине, будто ожила Анна. Я слишком многое принимал как должное...

у него ведь была такая сила... он изобрел «Пасту Зуболюба»... он был всемогущ, почти как бог... мог лишить меня работы... мог даже отнять Моцарта. Когда она умерла, я больше не хотел слушать Моцарта. Поймите, прошу вас, ради нее. Мы никогда не были по-настоящему любовниками, но он и невинность умел превратить в грязь. А теперь я хочу подойти к нему очень близко и плюнуть в лицо этому всемогущему богу.

— Поздновато для этого, не правда ли?

— Плюнуть во всемогущего никогда не поздно. Он пребывает во веки веков, аминь. И он сотворил нас такими, какие мы есть.

— Он, возможно, и да, а вот доктор Фишер — нет.

— Он сделал меня таким, каким я стал.

— Что ж,— сказал я; мне мешал этот человечек, нарушивший мое одиночество,— ступайте туда и плюйте. Много это вам даст.

Он посмотрел вверх, туда, где простиралась лужайка, которая теперь едва была видна в гаснущем свете костров, но оказалось, что мсье Стайнеру не придется шагать вверх по склону в поисках доктора Фишера, потому что доктор Фишер шагал вниз, к нам, шагал медленно, с трудом, следя за тем, куда ступает,—ноги его то и дело скользили по ледяной тропке.

— Вот он идет,— сказал я,— поэтому запаситесь слюной для плевка.

Мы стояли, ожидая его, и, казалось, время тянулось бесконечно, пока он к нам подошел. Он остановился в нескольких шагах от нас и сказал мне:

— Я не знал, что вы тут. Думал, вы уже ушли. Они все ушли. И Дивизионный ушел.

— Взяв свой чек?

— Конечно. Взяв свой чек.— Он стал вглядываться сквозь темноту в моего собеседника.— Вы не один. Кто этот человек?

— Его фамилия Стайнер.

— Стайнер? — Я никогда еще не видел доктора Фишера в растерянности. Словно он оставил половину своего рассудка там, за столом. Он, казалось, ждал, чтобы я помог ему, но я этого не сделал.— Кто он, этот Стайнер? Что он тут делает? — У него был такой вид, будто он уже давно ищет то, что куда-то задевал, как человек, который переворачивает вверх дном набитый ящик в поисках паспорта или чековой книжки.

— Я знал вашу жену,— сказал Стайнер.— Вы заставили мистера Кипса меня уволить. Вы погубили жизнь нас обоих.

Мы все трое продолжали стоять молча, в темноте, на снегу. Мы все словно чего-то ждали, но никто из нас не знал, что это будет: издевка, удар или просто уход. Это была та минута, когда мистеру Стайнеру полагалось бы себя проявить, но он этого не сделал. Быть может, он знал, что его плевок так далеко не долетит.

Наконец, я произнес: — Ваш ужин был необычайно удачным.

— Да?

— Вам удалось унизить нас всех. А что еще вы намерены совершить?

— Не знаю.

У меня снова возникло ощущение, что он ждет, чтобы я помог ему. Он произнес: — Вот вы только что сказали...

Невероятно, но великий доктор Фишер из Женевы ждал, чтобы Альфред Джонс помог ему вспомнить... но что?

— Как вы, должно быть, смеялись, когда я покупал последнюю хлопушку, а вы знали, что получу я только негромкое пуканье, когда ее дерну.

Он сказал: — Вас я не хотел унизить.

— Значит, это была непредвиденная прибыль, а?

— В мои намерения это не входило,— сказал он.— Вы не из их числа.— И он скороговоркой произнес их имена, словно делал перекличку своим жабам: — Кипс, Дин, миссис Монтгомери, Дивизионный, Бельмон и еще те двое, что умерли.

Мистер Стайнер сказал: — Вы убили вашу жену.

— Я ее не убивал.

— Она умерла потому, что не хотела жить. Без любви.

— Любви? Я не читаю романов, Стайнер.

— Но вы же любите ваши деньги, верно?

— Нет. Джонс подтвердит, что сегодня я большую их часть роздал.

— А для чего вы теперь будете жить, Фишер? — спросил я. — Не думаю, чтобы кто-нибудь из ваших друзей к вам снова пришел.

Доктор Фишер сказал: — А вы уверены, что я хочу жить? Вот вы хотите жить? На это было что-то непохоже, когда вы брали хлопушки. А вот этот — как его? — Стайнер хочет жить? Да, может, оба вы и хотите. Может, когда дело доходит до дела, и у меня есть желание жить. Не то зачем бы я здесь стоял?

— Что ж, сегодня вечером вы позабавились,— сказал я.

— Да. Это все же было лучше, чем ничего. Ничто — вещь довольно страшная, Джонс.

— Странную же вы избрали месть,— сказал я.

— Какую месть?

— Только потому, что вас презирала одна женщина, вы стали презирать весь мир.

— Она меня не презирала. Возможно, она меня ненавидела. Никому никогда не удастся меня презирать, Джонс.

— Кроме вас самого.

— Да... Помню, вы это уже говорили.

— Это ведь правда, не так ли?

Он сказал: — Этой болезнью я заболел, когда вы вошли в мою жизнь, Стайнер. Мне следовало бы приказать Кипсу удвоить вам жалованье и подарить Анне все пластинки Моцарта, которые она хотела. Я мог купить и ее, и вас так же, как купил всех остальных — кроме вас, Джонс. Сейчас уже слишком поздно вас покупать. Который час?

— После полуночи,— сказал я.

— Пора спать.

Он минуту постоял, раздумывая, а потом пошел, но не по направлению к дому. Он медленно шел по лужайке вдоль озера, пока не пропал из виду, и его шагов не стало слышно в этом снеговом молчании. Даже озеро не нарушало тишины, волны не лизали берег у наших ног.

— Бедняга,— сказал Стайнер.

— Вы слишком великодушны, мсье Стайнер. Я еще ни к кому в жизни не испытывал такой ненависти.

— Вы его ненавидите, и я, пожалуй, ненавижу его тоже. Но ненависть — это не такая уж важная штука. Ненависть не заразна. Она не распространяется. Можно ненавидеть человека — и точка. Но вот когда вы начинаете презирать, как доктор Фишер, вы кончаете тем, что презираете весь мир.

— Жаль, что вы не выполнили своего намерения и не плюнули ему в лицо.

— Не мог. Видите ли... когда дело к этому подошло... мне его стало жаль.

Как бы я хотел, чтобы Фишер был рядом и слышал, что его жалеет мистер Стайнер.

— Очень холодно тут стоять,— сказал я,— так можно насмерть простудиться...— Но, подумал я, разве как раз этого я и не хочу? Если постоять здесь достаточно долго... Резкий звук прервал мою мысль на середине.

— Что это? — спросил Стайнер.— Выхлоп автомобиля?

— Мы слишком далеко от шоссе, чтобы его услышать.

Нам пришлось пройти всего шагов сто, и мы наткнулись на тело доктора Фишера. Револьвер, который он, по-видимому, носил в кармане, валялся возле его головы. Снег уже впитывал кровь. Я протянул руку, чтобы взять револьвер,— он может теперь послужить и мне, подумал я,— но Стайнер меня удержал.

— Оставьте это для полиции,— сказал он.

Я посмотрел на мертвое тело — в нем теперь было не больше величия, чем в дохлой собаке. И этот хлам я когда-то мысленно сравнивал с Иеговой и Сатаной...

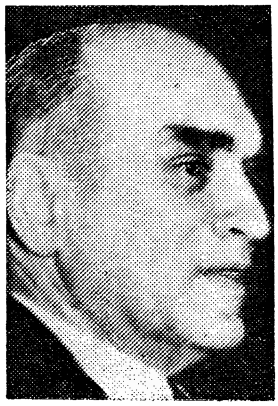
17

Тот факт, что я написал эту историю, довольно убедительно доказывает, что, не в пример доктору Фишеру, у меня так и не нашлось достаточно мужества, чтобы покончить с собой; в ту ночь мне и не нужно было мужества, у меня хватало отчаяния, но так как следствие показало, что револьвер был заряжен только одним патроном, мое отчаяние мне не помогло бы, даже если бы мсье Стайнер и не завладел оружием. Мужество губит отупляющая повседневность, а каждый прожитый день так обостряет отчаяние, что смерть в конце концов становится бессмысленной. Я чувствовал близость Анны-Луизы, когда держал в руке виски и потом, когда выдергивал зубами язычок хлопушки, но теперь я потерял всякую надежду, что когда-нибудь ее увижу. Вот если бы я верил в бога, я мог бы мечтать, что мы вдвоем когда-нибудь обретем этот jour le plus long. Но при виде мертвого доктора Фишера и моя хилая полувера как-то совсем усохла. Зло было мертво, как собака, и почему, скажите, добро должно обладать большим бессмертием, чем зло? Не было никакого смысла отправляться вслед за Анной-Луизой, если дорога ведет в ничто. Пока я живу, я могу хотя бы ее вспоминать. У меня были две ее любительские фотографии и записочка, написанная ее рукой, где она назначала мне свидание, когда мы еще не жили вместе; было кресло, на котором она сидела, и кухня, где она гремела тарелками, пока мы не купили посудомойку. Все это было как мощи, которые хранятся в католических церквах. Однажды, когда я варил яйцо на ужин, я поймал себя на том, что повторяю слова, сказанные священником на ночной мессе в Сен-Морисе: «Всякий раз, когда вы станете это делать, вы это сделаете в память обо мне». Смерть уже не была выходом — она была несообразностью.

Иногда я пью кофе с мсье Стайнером — он не пьет спиртного. Он рассказывает о матери Анны-Луизы, и я его не прерываю. Я даю ему выговориться, а сам думаю об Анне-Луизе. Враг наш мертв, и ненависть наша умерла вместе с ним, оставив нас с нашими столь разными воспоминаниями о любви. Жабы все еще живут в Женеве, и я стараюсь как можно реже бывать в этом городе. Однажды возле вокзала я встретил Бельмона, но мы не заговорили. Я много раз встречал и мистера Кипса, но он меня не видит, уставясь взглядом в тротуар, а единственный раз, когда я столкнулся с Дином, он был слишком пьян, чтобы меня заметить. Только миссис Монтгомери раз подвернулась мне в Женеве и весело окликнула меня из двери ювелирного магазина: «Не может быть, да это ж вы, мистер Смит!»— но я сделал вид, что не слышу, и поспешил дальше, на свидание с покупателем из Аргентины.

ГОЛЫШЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА.
Советский переводчик с английского и французского языков. В ее переводе издавались произведения Э. Хемингуэя, У. Сарояна, Г. Грина, С. Моэма, О. Бальзака и др.

ИЗАКОВ БОРИС РОМАНОВИЧ (род. в 1903 г.).
Советский журналист, публицист, переводчик с английского. Переводил (совместно с Е. М. Голышевой) произведения Э. Хемингуэя, У. Сарояна, Г. Грина, С. Моэма и др.



ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Из стихотворений последних лет

■

С польского

Последние стихотворения Ярослава Ивашкевича, одного из крупнейших польских поэтов XX века, помечены концом января и началом февраля 1980 года. В польских литературных журналах и еженедельниках стихи его продолжали появляться и после 2 марта 1980 года, как бы опровергая уже дошедшую до нас весть. В декабре 1980 года вышла книга стихов «Музыка вечером», которую Ивашкевич успел подготовить к изданию, но которой уже не увидел.

«Все вынырнуло вдруг из времени...» — так начинается стихотворение «Встреча». Вернулась и стала главенствующей в последней книге, как когда-то в первой книге стихов молодого поэта, стихотворная форма — восьмистишие; «Снова восьмистишия» — так назвал Ивашкевич горсть поэтических миниатюр в февральском номере журнала «Твурчость» 1980 года. Всплыли образы из разных и далеких друг от друга географических и историко-культурных пространств — образы, объединенные биографией и памятью поэта. И давний дом детства в Кальнике, на Украине (стихотворение «Сестре»), и читанная впервые еще в юности «Сорочинская ярмарка» Гоголя с ее «свиными рожами» и прочей фантастической чертовщиной (стихотворение «Аппассионата»), и памятные с детства строки хрестоматийного стишка для детей Марии Конопницкой об аисте (эпиграф к стихотворению «Аист в Рычиволе»), и водяные лилии, не только те, натуральные, на давних и дальних реках и озерках, но и те, что были одним из излюбленных мотивов изобразительного искусства начала века (стихотворение «Сон»). И полюбившиеся с юности на всю жизнь поэты: Анна Ахматова — Ивашкевич включил в свою последнюю книгу перевод ее стихотворения «Поэт» («Подумаешь, что за работа...»), Леопольд Стафф — Ивашкевич вспоминает его книгу «Высокие деревья» и включает в стихотворную ткань стаффовский образ задремавшего старика Гомера. И конечно же, музыка, недаром книга так и названа «Музыка вечером».

В рассказе «Sérénité» (см. «ИЛ», 1973, № 6) рассказчик — не совсем, конечно, Ивашкевич, но его сверстник, земляк, а в какой-то степени и двойник — признается: «...когда я оглядываюсь назад, все у меня группируется в синтетические образы, я уже ничего не вижу отдельно...» (перевод автора статьи). Подобным образом каменная церковь Покрова на Нерли сливается с виденными в других местах русскими деревянными церквами, а прекрасные польские юноши, жертвовавшие жизнью в годы фашистской оккупации, стоят на воображаемой картине как «убитые херувимы» (стихотворение «Ариетта»).

Многие восьмистишия представляют собой путешествия по польской земле, ближние и дальние, от прогулок в окрестностях Стависко под Варшавой, где последние пятьдесят лет жил и работал Ивашкевич, до автомобильных поездок вдоль Вислы: дорога пересекает Пилицу и другую речку — Радомку, при впадении которой в Вислу расположен городок Рычивол. «Пилица,— писал Ивашкевич в книге очерков «Путешествия в Польшу» (1977),— это красивейший приток Вислы, река, полная очарования, полная островов и мелей, лугов и кустарниковых зарослей, с множеством белых гусей на зеленых берегах». Ивашкевич еще раз оглядывается и на польские Татры, по кото-

---

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (1894—1980).

Польский писатель — поэт, прозаик, драматург, эссеист; общественный деятель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Государственных премий ПНР.

Советским читателям хорошо знакомо творчество Я. Ивашкевича. В русском переводе изданы трехтомный роман «Хвала и слава», исторический роман «Красные щиты», две книги о Шопене, неоднократно выходили сборники его избранной прозы. Вышло и восьмитомное собрание сочинений писателя. Прозу и стихи Ярослава Ивашкевича много раз печатала «Иностранная литература».

Публикуемые стихи взяты из книги «Музыка вечером» («Muzyka wieczorem», Warszawa, 1980), стихотворение «Встреча» было напечатано в журнале «Месечник литерацки» («Miesięcznik Literacki», 1978, № 2).

рым он,— хороший ходок и восходитель — любил бродить когда-то среди «вечных озер» и альпийских лугов, где все лето пасут своих овец польские горцы.

Очерк о Татрах в книге «Путешествия в Польшу» Ивашкевич начинает словами древнего автора: «Человек стóит столько, сколько он в состоянии возлюбить». Ивашкевич возлюбил много и до последних дней умел этой своей великой любовью к прекрасному миру делиться с людьми.

В. БРИТАНИШСКИЙ

Встреча

Все вынырнуло вдруг из времени из мрака
Блеск платья твоего и из лесу собака.

Залаяла вблизи и я вскочил невольно
Потом затихло все. И я стоял безмолвно.

Прошла ты рядом здесь над самыми цветами
Омытая росой как теплыми слезами

Закрытая листвой орешника и кленов
Желтеющих уже но все еще зеленых

В тени минувших дней туманная немножко
С кудлатым белым псом и в платьице горошком

Перевод Н. АСТАФЬЕВОЙ

Сон

Ночная бабочка или Офелия
Мне снилась — без сознанья и одна.
Лицо твое, как водяная лилия,
Лежало на воде в долине сна.

Ты трепыхала веками (крылами?).
К зеленым водам никла сень ветвей.
Шептал я: боже, смилуйся над нами,
жаль юности, жаль старости моей.

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Аист в Рычиволе

Дети кличут: аист, аист!
А он: кля-кля-кля...

Мария Конопницкая

Я как тот аист в Рычиволе,
Что свил гнездо средь проводов высоковольтных,
Под ним — пространство, электричество, и поле,
И писк птенцов, всегда голодных.

Костел, Красицкого [1] в былые дни знававший,
Красив — но аисту что в старине той редкой?
Червонноклювый, черно-белый, с гнездомачты
Аист клекочет — кля-кля-кля — точь-в-точь как предки.

Перевод Н. АСТАФЬЕВОЙ

© Jaroslaw Iwaszkiewicz, 1980.

[1] Игнацы Красицкий (1735—1801) — польский поэт.

Классик

Ты больше не пиши о всяких Рычиволах.
На скакуне буланом, среди пышных красок,
В венце, в зеленой тоге, сенью рощ лавровых
Держи свой путь и помни, что уже ты классик.

Тебе приличествуют скука и величье.
Вербеной чуть протри сомлевшие ладони.
На нимфу не гляди: нагая, неприлично.
Пой Лилибеум. Или Манфредонию.

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Вещи

Цветы, плоды, картины, книжные громады,
Руина клавикордов, черные футляры,
Вазоны, этажерки, рваных нот каскады,
Пюпитр для Библии, прелатский посох старый,

Хромые столики, былых времен булавы,
Кукла, конь из соломы, папоротник ржавый,
Корабль без паруса, и я над разореньем —
Большим, беспомощным, завороженным зверем.

Перевод Н. АСТАФЬЕВОЙ

Покинутый

Тот на премьере, тот на крестинах внука,
Тот уезжает, тот свой визит отложит,
Тот заседает, вот ведь какая штука,
Тот сожалеет, но быть у меня не сможет.

Тот чересчур уж стар, этот свеж как розан,
Старческий кашель ухо ему щекочет.
Песик во двор забрел, до чего ж хорош он,
Только никто принести мне его не хочет.

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Сестре

Ты умерла в мороз. Был снежный год.
И некого уже спросить мне: помнишь?
Прогуливаюсь к кладбищу — потом лишь
Дрожащими стежками память шьет.

А нынче ночью наш мне снился давний,
Как свечечка в руке, угасший дом.
И эхом ухо мне баюкал дальний
Цокот копыт коней перед крыльцом.

Перевод Н. АСТАФЬЕВОЙ

Аппассионата

Ночь. Кто стучит в ворота в эту пору?
Вихрь гонит листья через двор пустынный.
Днем бегавшая на веревке длинной,
Забилась сука в будку, будто в нору.

Уже в сенях стучит? Но кто же, кто же?
На небе тучи — как свиные рожи.
Луна сняла бельмо, и стало чуть светлей.
Нет никого, а на плетне дрожат рогожи.
Стук в комнату? Угадываешь чей?

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

В сотую годовщину со дня рождения Леопольда Стаффа

Откуда эта квинта? Квакают лягушки?
Но ведь уже ноябрь. В озерах спят на дне.
Откуда же гитара — то звонче, то глуше —
И кто всю ночь играет на порванной струне?

Высокие деревья старческие руки
Вздымают над водой во тьму без птичьих стай.
Вздох в вышине течет, словно река разлуки.

Ох, Польди, чистый звук, прошу, не исчезай!

Перевод Н. АСТАФЬЕВОЙ

Зной

Вот отцвели сирени. Отцветут жасмины,
И долго ждать придется, чтобы расцвели.
Белеет волос, блекнут глаз ультрамарины,
А небо меркнет в серой бархатной пыли.

Еще целуй листочек, пока он зеленый.
Еще дыши жасмином, пока он цветет.
Еще, коль жарко в полдень, ищи себе тени.
Тсс! Зной. Еще мгновенье — и Гомер заснет.

Цветение акации в запущенном парке

Из бурьяна взметнулись, как две длани Дианы,
Две стрелы одичавшего здесь ревеня.
И трепещут от ветра, будто веки той панны,
Что старательно смотрит, не смотреть норовя.

Не белели тут кисти пышней и снежистей,
А теперь над рабаткой — как клубы облаков.
Ветер, слишком уж мягкий, слишком нежащий листья,
Рвет, уносит в пространство пену белых цветов.

Эхо

Слышишь, звон колокольный эхом плывет издревле,
Тонкий, как дух полыни, серебристо-туманный,
Будто ладан кадила в церковке деревянной,
Светлой, как та, что дремлет над берегами Нерли.

Ухом к земле приникни, слышишь топот заветный?
Может, гул барабанов слух твой вдруг уловит?
Мертвая тишь. Миную Рашин, затем Фаленты [1].
Не окликнет Годебский, князь не остановит.

Счет

Тадеушу Кулисевичу [2]

Чтоб оглядеться, будь мужествен. Близишься к краю
Пропасти. Дальше не видно, сколько б ни тщился.
Счет пораженьям вести иль победам? Не знаю.
Кто это скажет мне? Кто проверять будет числа?

Белых и черных овец — напрасно пытаться
Счесть. Убегают стада. И над озером вечным
Так и стою в одиночестве, бедный баца,
Всех растерявший к концу — ни одной овечки.

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

«Ариетта»

Что это рождается и что это умирает?

Или это солнечная луговинка, на которой пасутся
крылатые сивки с лицом Бетховена?

Или это абрикосово-оранжевая бухта в Бискайском заливе,
в которой играют раковины и звучит тот единственный
сокровенный тон?

Или это ангелы в небе баюкают Юрка Либерта[3], а он сквозь
сон улыбается и говорит: не плачь, Ярослав, не плачь?

Или это убитые херувимы стоят на небе
Все в слезах?

Warte nur, balde
Ruhest du auch [1].

---

[1] Деревни близ Варшавы; здесь произошло сражение во время польско-австро-французской войны 1809 года; польскими войсками командовал князь Ю. Понятовский, в битве погиб польский поэт Ц. Годебский.

[2] Тадеуш Кулисевич (род. в 1899 г.) — польский художник-график; многие его работы изображают быт польских горцев в Татрах; баца — старший над пастухами во время летнего выпаса овец.

[3] Юрек — уменьшительное от польского имени Ежи; Ежи Либерт (1904—1931) — польский поэт, друг Ивашкевича.

[4] Последние строки «Ночной песни странника» Гёте в переводе Лермонтова:

Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Пилица

Брошенная лодка. Над Пилицей мгла.
Тянет воз лошадка, но и та прошла.
Треплются по лугу белых перьев тучи.
За лугами роща. Может быть, там лучше?

Что со мной сегодня — так щемит в груди
От дурацкой грусти, что все позади,
От дурацкой мысли, будто все впустую,
По мглистой Пилице уж не поплыву я.

Правнучке

Этот цветок, что порхает вверху разноцветный:
Бабочка. Слово такое тебе неизвестно.
Бабочек больше не стало. Одна только эта.
Может, и ей не прожить даже летнего дня.

Ты не печалься. Любуйся на синее небо.
В небе плывут облачка, то светля, то темня.
Солнце заходит и снова встает ежедневно.
Мир будет, Людка, прекрасен по-прежнему. И без меня.

Перевод Н. АСТАФЬЕВОЙ

Последняя песня странствующего подмастерья

Спокойной ночи, лазурь цветков, спокойной ночи, алость зари,
Спокойной ночи, птицы в саду и роза в цвету, что так хороша,
Спокойной ночи, тишь вечеров, кристальный тон таящих внутри,
Спокойной ночи, жаркая плоть и остывающая душа.

Прощайте, и любовь, и сон, и облаков жемчужный цвет,
Прощай, мучение ночей и свежесть утра на лице,
Спокойной ночи, песик мой, спокойной ночи, целый свет,
Спокойной ночи, тополь прямой — и Ты, стоящая на крыльце.

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

ЮСУФ АЛЬ-КУАЙИД

Война на земле Египта

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского В. КИРПИЧЕНКО

Омда [1]

Не знаю, с чего начать. Мне казалось: вчерашний день — самый значительный, я бы сказал — исторический в жизни моей семьи. Я уснул, опьяненный этим чувством. Но сегодняшние события повергли меня в смятение, и не знаю даже, какое чувство преобладает в моей душе. О, вчера был великий день. Впервые за столько лет в сердце мое вошла радость — наша честь восстановлена! Земля, которую отобрали в пятьдесят четвертом году, возвращена нашей семье! Нет, описать вчерашний день невозможно, не бывает счастья большего, чем возвращение земли. Испытав его, остается лишь умереть. В тот миг, когда до меня дошла весть о справедливом решении суда, восстановившем наши права на землю, я невольно взглянул в сторону кладбища: наверняка в это мгновенье рассыпался красный кирпич, положенный под голову моего отца. Перед смертью он сказал мне, что не будет знать покоя, покуда земля наша в руках чужаков, и твердый как камень кирпич не даст ему вкусить сладость вечного сна, а разрушить кирпич сможет лишь истинная радость.

И вот земля вернулась. Мужчины стреляли в воздух, женщины выкрикивали загруды [2], шум празднества утих лишь после полуночи. Я обессилел от полноты чувств. Сердце колотилось до боли в груди. Ложась спать, я предупредил домашних: пусть поутру не будят меня, надо же отоспаться за все эти годы — как-никак двадцать лет. На завтра особых дел у меня не было, и я подумал: дай-ка поваляюсь, понежусь, как в добрые старые времена. Вот так оно было вчера. Да, время летит! На рассвете, еще до того, как на подворье запели петухи, напал на меня кашель и не отпускал, пока я не выблевал все содержимое желудка. А потом уже сон не шел. С некоторого времени у меня вошло в привычку проводить все ночи в комнате моей последней жены. Кое-кто, может, и скажет: ясное дело — новая женщина всегда манит к себе. Но последняя жена для меня вовсе не новая женщина, мы прожили уже много лет. А привычка моя объясняется просто: у нее в комнате я отдыхаю. Мне нравится там... После приступа кашля началась головная боль, словно кто-то мотыгой молотит по черепу. Я понял: больше мне не уснуть — и поднялся с постели. Открыл окно, впустил в комнату свежий ночной воздух. Немного полегчало. На спокойной глади неба светились две звезды, словно их забыли погасить, а на северной стороне виднелась комета. Свет, вливавшийся в комнату через окно, был еще напоен синевой ночи, но к ней примешивались уже серые краски рассвета. Надо было ждать восхода солнца, когда я обычно выхожу во двор усадьбы. Я кликнул служанку, велел принести воды для умывания и омовения.

[1] Омда — деревенский староста. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Загруда — особый женский крик, выражающий радость.

МУХАММЕД ЮСУФ АЛЬ-КУАЙИД (род. в 1944 г.).
Египетский писатель, автор романов, повестей и сборников рассказов. Многие из них посвящены жизни египетского крестьянства. Первый роман Ю. аль-Куайида «Траур» вышел в 1969 г. На русский язык переведены повести «На хуторе аль-Миниси» (М., 1976) и «Это происходит в Египте в наши дни» (М., 1980). Повесть «Война на земле Египта» опубликована в Бейруте в 1978 г. Она войдет в сборник повестей Мухаммеда Юсуфа аль-Куайида, готовящийся к печати в издательстве «Художественная литература».

Она пришла с кувшином и медным тазом, полила мне. Вместе с водой из кувшина мне на руки выпал комочек земли. Я сдержался, не накричал на служанку. Жена подала чай. Поднеся позолоченную чашку к губам, я отхлебнул, чай показался мне горьким, я выплюнул его на таблийю [1]. Жена забыла положить сахар. Я сказал про себя: дай бог, к добру. Но испугался. А испугался не зря — вчерашняя радость была уж чересчур велика. Поделом этим сукиным детям. Завтра все, что было у нас отнято, вновь станет нашим. Но когда жизнь посылает такое счастье, становится страшно.

Во время утренней молитвы я то и дело сбивался, читая «Фатиху» [2], никак не мог сосредоточиться, а когда у меня стал дергаться левый глаз, я окончательно уверился: что-то должно случиться. После молитвы я спросил жену, какой нынче день, и, узнав, что не пятница, немного успокоился. Ведь известно: в пятнице есть злополучный час. Жена принесла поднос с завтраком. Я откинул салфетку, белый пар поднялся над стаканом горячего молока и тарелкой с яичницей. Но ни яичница, ни бобы, ни сыр, ни зеленые листья салата не пробудили во мне аппетита. Я разломил пополам лепешку, отщипнул кусочек, пожевал, с усилием проглотил и больше ни к чему не притронулся. Зато чаю выпил несколько чашек. Вымыв руки, сказал жене:

— Слава аллаху.

Ресницы ее задрожали, брови поползли вверх.

— Тебе не понравилась еда?

— Просто не хочется есть.

Я направился к шкафу, одеться для выхода. Жена подошла ко мне и прижалась полной грудью к моей спине. Я почувствовал неловкость, и чем сильнее она прижималась, тем хуже мне было — я думал о своем несчастье. Жена спросила, неужели я уйду без завтрака Я вышел, ничего не ответив. Из новой части дома, выстроенной специально для нее, перешел в старую. Там все комнаты были еще закрыты и царило безмолвие. Вот комната первой жены, которую в доме называют старшей госпожой. Она — мать моих взрослых сыновей. Напротив — комната второй жены, дальше — комнаты сыновей. Я повернул к загону для скота. Животные тоже еще спали, пережевывая жвачку. Их челюсти медленно и лениво двигались, но глаза были закрыты. Лоснились вылизанные языками донца пустых яслей. Не спал один лишь пес, он, едва я вошел в загон, кинулся ко мне, завилял хвостом и стал тереться о мою ногу. Убедившись, что скотина в порядке, я проверил амбары с зерном, с удобрениями и инсектицидами, сарай, где хранился инвентарь для полевых работ. Все было на месте, все заперто. Я вышел во двор. Никто не удивился, видя меня на ногах в столь ранний час. Возвращение земли, решили люди, гонит от меня сон. Ведь это не земля вернулась, возвратилась сама жизнь. Я сел, закурил. Стали подходить ночные сторожа, сдавать оружие и патроны. За ними явился сторож, дежуривший у телефона. Гляжу, идет как-то странно, ноги заплетаются и вид испуганный. Подал он мне тетрадь с записями телефонограмм, поступивших за ночь. Я рассердился: чего это вдруг он сует мне тетрадь, а не зачитывает, как всегда вслух, телефонограммы. И руки-то у него трясутся, и слова не идут с губ. Вырвал я тетрадь. Первая же телефонограмма объяснила мне все: моего младшего сына призывали в армию. Вот оно что. Да, с самого утра нынешний день сулил недоброе Я откинулся назад и, прислонясь спиной к стене дома, громким голосом призвал милость аллаха на своего покойного отца. Он всегда опасался удачи и часто говаривал: если жизнь несет тебе в правой руке великую радость, знай, левая наверняка пуста. И знаешь почему? Левой она отбирает все, что дает правой. Теперь-то я убедился: батюшка мой воистину был прозорливец.

Сторож по-прежнему стоял передо мной, а я держал в руке тетрадь и, не скрою, был в полной растерянности. Вспоминал прошлое. Отец мой умудрялся творить чудеса, да и я был когда-то не промах. Опять заболела голова. Мысли накатывались, как волны, то унося меня куда-то на край света, то возвращая на скамью возле дома. Я отпустил сторожа. Телефонограмма осталась у меня. Я смотрел перед собой невидящим взглядом. Когда моему отцу случалось попасть в подобное положение, он смеялся, и глаза его цвета весенней зелени блестели. Он говорил, смеясь: ничего, даже сам Абу Зейд [3] пролагал себе путь хитростью. Но я не мог ничего придумать. Подошедший ко мне телефонист был удивлен, увидев, что я сижу с потерянным видом, в клубах табачного дыма. Он вежливо осведомился о моем здоровье, но мне не хотелось ему отвечать.

---

[1] Таблийя — низенький круглый столик.

[2] «Фатиха» — «Открывающая», первая сура Корана.

[3] Абу Зейд аль-Хиляли — герой арабского средневекового эпоса

Стоящие рядом объяснили, в чем дело, указав на тетрадь, которую я держал в руке. Я вспылил, видя, как он рассмеялся, а телефонист сказал: все это, мол, пустяки, не стоит даже ломать себе голову. Подошел ко мне и шепнул одно только слово: маклер. Я не понял, что он имеет в виду, и он пояснил: маклер может обстряпать любое дело, даже самое сложное. Тут я вспомнил человека, которого вся округа называла маклером, забыв его настоящее имя. Он брался за все, оказывал любые услуги. А по профессии был учителем начальной школы. Его в свое время арестовали не то за взятку, не то за подлог, теперь уже не вспомню, и отдали под суд. Поскольку у правительства день что год, судебное разбирательство длилось несколько лет, сперва в районном суде, потом в провинциальном и, наконец, в верховном суде в Каире. В конце концов его осудили, он подал было апелляцию, но ее отклонили и подтвердили решение суда. Учителя уволили с работы и лишили учительского звания.

Я, наверно, вас заговорил. Странно, но едва человек начнет о чем-то рассказывать, слова как зернышки четок в руках имама — одно тянет за собой другое, и уже трудно остановиться или вернуться назад, объяснить непонятное. Слушая телефониста, толковавшего про маклера и его талант находить выход из любого положения, я колебался. С одной стороны, мне хотелось, чтобы сын пошел в армию и научился там уму-разуму. До каких пор ему оставаться баловнем?! Ведь я не вечен, и когда-нибудь он останется один. Но мне трудно было решиться отпустить его от себя даже на один день. Он у меня последыш. После его рождения я заболел, и сколько ни ездил по врачам, какими лекарствами ни лечился — все напрасно, болезнь не проходила. Тут-то я и понял: самое страшное для человека — потеря здоровья. Здоровье, оно дороже всех богатств. В конце концов сделали мне операцию, удалили простату. Предварительно мне объяснили: это единственно возможное лечение, другого выхода нет — и заставили дать расписку в том, что я согласен на операцию. Куда мне было деваться? Держа в руке карандаш, я думал: нет, дело это надо сохранить в тайне. Никто не должен заподозрить правды. Ведь удаление простаты означает утрату мужских способностей. Если об этом узнают в деревне, кое-кто может сказать: мол, я не гожусь больше в омды. Дескать, омда должен быть полноценным мужчиной. Самому-то мне это было неважно, сыновей у меня полон дом. И все же, вернувшись домой, я загрустил. И еще больше полюбил младшего. В деревне эту любовь объясняли так: он-де сын младшей жены, а она по годам годится в сестры моим старшим детям. И никто не докопался до истины. По дороге из больницы домой я долго размышлял, у которой из трех жен я буду ночевать, обдумывал свои отношения с каждой. Первая жена на дух меня не переносит. Вторая смертельно уязвлена тем, что после нее я женился еще раз. Оставалась третья. Я решил: лучше всего открыть тайну ей одной. Чувствовал я себя неважно, спал помалу, то и дело просыпался. Бессонница превратила мои ночи в кошмар. Я поставил у изголовья приемник и сердился, когда все станции заканчивали передачи, а мне еще предстояло полночи коротать в одиночестве. С тоской вспоминал я те годы, когда мне не хватало ночи, чтоб выспаться. Со временем я стал все больше бояться своей последней жены, молодость ее и свежесть внушали мне страх. Но и уйти от нее я не мог. Как оставить ее одну в большой комнате? Я молил аллаха дать мне силы выносить эту пытку, именуемую ночью, и продолжал жить у нее. Я часто спрашивал себя, зачем люди так мучаются? Не лучше ли сразу отдать богу душу, чем умирать вот так, медленной смертью?

Но вернусь к моему сыну. Мне трудно было расстаться с ним даже на один день. Впрочем, об этом я уже говорил. Но есть и другая причина моей привязанности к нему. Дело в том, что его старшие братья тоже не служили в армии. Моего первенца освободили от воинской повинности по закону о сыновьях омд. Следующий, или, как говорят у нас в деревне, его «поголовник», получил освобождение потому, что выучил наизусть Коран и стал факихом, знатоком слова господня. За третьего я уплатил двадцать фунтов отступного. И это в те времена, когда фунт был фунтом и стоил двадцати нынешних. Нынче все обесценилось, ни на чем нет божьей благодати. Мать моего четвертого сына была самой красивой женщиной в деревне. Эх, миновали безвозвратно славные денечки и многое с собой унесли. Вернутся ль они снова? Уверен, что вернутся. Тем более первые добрые вести уже дошли до нас. Так вот, с матерью четвертого сына я развелся, тайно, только на бумаге. А после развода он стал единственным кормильцем своей разведенной матери.

Здесь стоит, пожалуй, остановиться и пояснить один важный момент. Я не стыжусь говорить об этом. Чтобы тебя правильно поняли, лучше быть откровенным.

Вы еще, чего доброго, рассердитесь: как это, мол, египтянину не стыдно незаконными путями освобождать своих сыновей от выполнения патриотического долга и с помощью всевозможных уловок и хитростей обходить закон о воинской повинности, который в последние годы становился все строже. Быть может, вы даже воскликнете в гневе: как, разве все мы не дети Египта и не должны защищать свою родину ценой крови и жизни?! Вдобавок ведь я омда — лицо, ответственное за проведение мобилизации. А собственных сыновей укрываю. Что же скажут люди, на глазах у которых происходит это? Знаю, знаю все, что вы можете поставить мне в вину, предвижу: главным пунктом обвинения будет укрывательство сыновей от службы в армии в то самое время, когда на Египет обрушились три войны и судьба его была поставлена на карту. Понимаю: убеждать вас бесполезно, да и вряд ли вы захотите меня понять. Но все же смею утверждать: я — патриот и люблю Египет. Священная любовь к долине Нила у меня в крови, я унаследовал ее от отцов и дедов. Корни ее теряются в туманных далях истории, и она сильнее и глубже любви всех тех, кто сегодня болтает о своей преданности Египту и щеголяет громкими фразами. Дед моего отца вместе с безвестными аскерами встал плечом к плечу с Ахмедом Ораби-пашой, защищая честь Египта. Возможны ли более веские доказательства патриотизма? Что же до гибели одного из моих предков во время восстания Ораби, о ней я никому не рассказываю, это моя тайна. И здесь я впервые упоминаю об этом. Не надо забывать, что я омда. Отец мой говорил: если бы кто-то из нашей семьи погиб на войне, это подрубило бы корни семейного древа и оно полегло бы на землю, а ведь оно существует со времен мамлюков и турок. Нет, я не вправе легкомысленно относиться к его будущему. Сам-то я был бы рад, если б мои сыновья служили в армии. Воинская служба — сама по себе честь. Увы, первую ошибку я допустил, освободив старшего сына. С этого все и началось. Каждый из остальных сравнивал себя с предыдущим, и едва я пытался настаивать, мне возражали: мол, никто из старших в армии не служил. Времена теперь не те, доказывал я, и мы должны к ним приноравливаться. Мне хотелось, чтобы младший послужил. Но его мать твердила: нет, она ничем не хуже двух первых жен, и у нее такие же права. А что бы я стал делать, скажи она мне: разве мало того, что я терплю тебя с твоим пороком? Ведь она одна знает мою тайну. Вернувшись из больницы, я ночую только у нее, она самая достойная из моих жен. При таких обстоятельствах уход ее сына в армию чреват опасностью — а ну как тайна моя раскроется и станет известной не только домашним, но и всей деревне. Легко представить себе чувства матери, единственное дитя которой ввергают в преисподнюю. Да и сама военная служба нынче не та, что прежде. Армия и впрямь воюет, происходят сражения, и один аллах знает, когда все это кончится. Вот почему я должен, обязан действовать. Кто же отдаст своего сына на заклание?! Значит, придется обратиться к маклеру?

Есть и другое обстоятельство. Моя младшая жена давно хотела иметь второго ребенка. Почему уж она не понесла во второй раз, не знаю. В деревне такие вещи ведомы только женщинам, мы, мужчины, об этом разговоров не ведем. Но когда меня прооперировали и я сказал ей правду, она долго плакала и сокрушалась, что не успела родить сыну брата и тем избавить его от горького одиночества. Я тогда не принял это всерьез и напомнил: ведь у ее сына куча братьев. Нет, они не родные, возразила жена. Вот я и угодил в заколдованный круг, поняв: что бы ни случилось, мой младший сын должен оставаться при мне. Решив прибегнуть к услугам маклера, я успокоился и ощутил под ногами твердую почву. Дам ему сколько потребует, не пожалею никаких денег. Закон наших дней известен: если у тебя всего один пиастр, значит, тебе и цена пиастр. А у меня, слава аллаху, миллионы пиастров. И раз уж пиастр стал кумиром, мне бояться нечего. Скоро у нас людям будут делать хирургические операции — удалять сердца, а на их место вставлять золотые монеты достоинством в один фунт. И тогда по кровеносным сосудам вместо красных и белых кровяных телец побегут золотые пиастры. Вот когда возвратятся к нам почет и уважение и мы снова станем владыками Египта.

Я поднялся с места, вошел в дом. Младший сын все еще спал. Меня разобрало зло: вечно он дрыхнет до полуденной молитвы! Самое лучшее для него, подумал я, было бы отправиться на фронт. Но что поделать, обстоятельства сильнее нас! Я велел жене приготовить мне костюм для поездки. В деревне я, как и все, ношу галабею [1],

[1] Галабея — национальная одежда, род длинной рубахи.

правда, из хорошей заграничной ткани, но, собравшись куда-нибудь, надеваю костюм и самые модные темные очки. Побрызгаю на себя одеколоном и становлюсь франтом не хуже любого эфенди, занимающего высокий пост. Жене я сказал, что еду в маркяз [1]. Ни один человек в доме, кроме младшей жены, не смеет задавать мне вопросы о том, куда и зачем я еду. Только ей я предоставил такую привилегию. Жена не спросила о цели поездки. Я хотел было все открыть ей, желая предстать перед нею человеком влиятельным, способным творить чудеса, но побоялся, как бы слова мои не разошлись чересчур далеко, обрастая при этом всякими домыслами и комментариями. Тайна, учил меня отец, если о ней знают более двух человек, перестает быть тайной. А мы, именитые люди, на виду, нам все завидуют. Поэтому нужна осторожность. Конечно, рано или поздно все узнают о том, что я сделал, и это лишь придаст мне веса и уважения в глазах людей. Я вызвал машину и вышел из дома в сопровождении телефониста. Вскоре подъехала машина. Я сел на заднее сиденье. Телефонист, закрыв за мною дверцу, уселся рядом с шофером, взглянул в зеркальце, увидел в нем мое хмурое лицо и рассмеялся. Всю дорогу он пытался меня развлечь, уверяя, что не стоит переживать из-за такого пустячного дела. Я молчал, мне было ни грустно, ни весело. Встречавшиеся по дороге деревенские жители здоровались со мной, возле некоторых приходилось даже останавливаться. Кто-то предположил: уж не еду ли я в Каир поблагодарить власти за то, что мне вернули землю. Я не сказал ни да, ни нет, решил: так будет лучше. Пусть думают что хотят и не докапываются до истинных причин моей поездки. Проезжая мимо участков земли, которые вновь стали моими, я вспомнил все события вчерашнего дня и еще раз вернулся мыслями к отцу. Перед смертью он сказал мне: наше имущество непременно когда-нибудь к нам вернется. Я ответил тогда: сокрытое ведомо одному аллаху. Печальная история. Но раз уж теперь все беды позади, можно ее и рассказать, для развлечения. Года два спустя после выступления армии [2] отец поделил землю между нами — мною и моими братьями и сестрами. Но остался один участок, его только что купили, и документы не успели оформить — это ведь дело долгое. Поэтому и разделить его нельзя было.

Однажды утром в нашем доме появилась комиссия, присланная новой властью, во главе с офицером-уполномоченным. По словам пришедших, они располагали документами, подтверждавшими, будто наш отец — турок по происхождению и получил египетское подданство незаконным путем. Поэтому у него конфискуют участок земли, права собственности на который он в настоящее время оформляет. Что же касается нас, его детей, то, поскольку наша мать египтянка по отцу и матери и родились мы в Египте, нашу землю не отберут, кроме возможных излишков, изъятие которых предусмотрено законом об аграрной реформе. Ни у сестер, ни у братьев моих ничего не изъяли, но со мной вышло иначе. На мое имя было записано больше земли, чем на остальных. К тому же первая моя жена владела большим участком, который после свадьбы перевела на меня. И все, что сочли излишками, было конфисковано. Осталось у меня всего-навсего двести федданов [3]. В день, когда отбирали землю, отца разбил паралич, отнялась вся правая половина тела. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, даже у рта двигалась только левая сторона.

Тяжкие наступили дни. Бедняки, которым сон заменял ужин, смотрели на нас с ненавистью. Еще недавно ни один деревенский житель не смел проехать мимо моего отца верхом на осле — спешивался. Я уж не говорю о тех временах, когда отец мог всякого нарушившего его приказ привязать к дереву. Оно и сейчас высится перед нашим домом. Поистине, время меняет свои обличья подобно джинну. Пришли военные и отобрали землю. И на другой же день переменилось отношение к нам и поденщиков и арендаторов. Люди громко, иной раз даже в моем присутствии, злорадствовали по поводу болезни отца. И сам я стал с тоской смотреть в завтрашний день, боялся: а ну как умру, не дождавшись возвращения земли, но это значило бы умереть безбожником, разуверившимся во многих святых истинах, изуверившимся в главном — неизбежном торжестве добра над злом. Но, видно, не пожелал великий аллах, чтобы я предстал перед ним с душой, раздавленной несчастьями. Нежданно воссияла заря, дело пересмотрели и установили, что в жилах моего отца текла египетская кровь и вся семья наша истинно египетского происхождения, а основатель ее был главным смот-

[1] Маркяз — центр административного района.
[2] Имеется в виду национально-освободительная революция 1952 года.
[3] Феддан — 0,42 га.

рителем на строительстве великой пирамиды Хеопса, чему имеются исторические и строго научные доказательства. И вот вчера вышло решение вернуть нам землю. Удивительно, как быстро оно было принято. Медлительность египетского судопроизводства хорошо известна. Но тут, очевидно, были даны особые указания спешно восстановить справедливость по отношению к таким людям, как мы. Узнав о решении суда, я сказал себе: не так важно то, что вернули сегодня, куда важнее все то, что вернется к нам завтра.

Я снова ощутил жажду деятельности, в душе моей из-под груды пепла пробился живой огонек. Воспоминания о добрых старых днях окрыляли меня. Почему бы теперь не подумать и о выдвижении своей кандидатуры на будущих парламентских выборах? А этих сукиных детей из комитета Арабского социалистического союза [1] вышвырнуть хорошим пинком. Пусть жалуются в секретариат, я не уступлю. Я или они — только так может стоять вопрос. Хватит с них прошедших шестнадцати лет. Похозяйничали. Речи, аплодисменты. Кто знает, может, кого-нибудь из моих сыновей назначат на высокий пост. Наступают времена порядочных людей. Отец мой, бывало, говаривал, что народ египетский делится на порядочных людей и сукиных детей. В деревне порядочные люди те, у кого больше ста федданов на душу. Все, кто ничем не владеет, относятся ко второй разновидности. А между ними еще множество категорий: мелкие землевладельцы, рабочие, арендаторы, поденщики. Я говорю обо всем этом, чтобы вам легче было уразуметь, как велика была моя радость вчера вечером. А поняв это, вы поверите, что я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Времена переменились, и потому мой сын не пойдет в армию. Если вы жили в Египте до одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, вы поймете меня и найдете мне тысячу оправданий. Ну а ежели вы из тех, кто с молоком матери впитал нынешние странные взгляды, то наверняка не попытаетесь даже меня понять. Надеюсь, однако, ближайшее будущее поможет вам разобраться в моей истории. Моему поколению здорово не повезло. Выступление армии лишило нас не только земли, достатка и власти. Шестнадцать лет, считайте, вычеркнуты из жизни. А сколько мы могли бы за эти годы сделать ради блага любимой родины! Но слава аллаху, кошмар миновал, наступил долгожданный час спасения. Исчезла ненависть, и воцарилась любовь. Только бы кончилась эта бессмысленная война. Хватит побоищ и сражений, мир любезнее сердцу в тысячу раз.

Мы приехали в Этай аль-Баруд. Телефонист указал шоферу дом маклера. У дверей он вышел из машины — удостовериться, там ли хозяин. Я остался в машине. Утром телефонист предлагал мне самому не ездить, он, мол, привезет ко мне маклера. Но я отверг его предложение — визит маклера ко мне вызвал бы разговоры в деревне. Все знают: маклер появляется в тех случаях, когда требуется обойти закон. И как бы его появление в дни великой радости по случаю возвращения земли не возбудило у наших врагов сомнений в законности решения суда, дав пищу слухам о взятках, посредничестве и прочем. Далеко ли тут до неприятностей? Телефонист вернулся и громко сказал: пожалуйте, бей. Это обращение — я успел уже его позабыть — напомнило добрые старые времена. Я вышел из машины, неторопливо проследовал в дом и уселся в гостиной. Телефонист объяснил, что застал маклера спящим. Я в душе позавидовал человеку, которому ничто не мешает так долго спать. Пришел маклер с набрякшим лицом и опухшими от сна глазами Судя по красным полосам на его правой щеке, спал он на циновке и без подушки. Или, может, ворочался во сне, голова сползла с подушки, а он и не заметил. Усевшись перед нами, он поздоровался осведомился о здоровье, о делах и спросил, чем вызвана тревога, написанная на моем лице Я изложил ему суть дела. Маклер закурил и предложил мне сигарету Я курю только импортные сигареты и не люблю менять сорт, боясь кашля, но тут взял предложенную мне хозяином. Он спросил, не получал ли мой сын ранее отсрочку от военной службы Ведь он учится и имеет право на несколько отсрочек. Я засмеялся, чтобы не дать воли гневу и горю, закипавшим в груди. Парень, объяснил я ему, к сожалению, сущий лоботряс, не получил даже аттестата начальной школы, хоть я создал ему все условия — только учись. Но он проваливается на экзаменах год за годом Я снова платил за повторный курс — все было напрасно. Пришлось устроить его в частную школу в маркязе и внести плату за обучение, но тут его мать отказалась отпустить сыночка в маркяз, побоялась: мол, его старшие неродные братья

[1] Арабский социалистический союз был создан в 1963 году как объединение национально-демократических и антиимпериалистических сил. Во время правления президента Садата был фактически ликвидирован.

устроят ему какую-нибудь пакость. Ей-де приснился сон, будто они из зависти отравили его; а если я буду настаивать и отправлю его в школу, что ж, она поедет в город вместе с ним. Я, конечно, не согласился. А через несколько дней она обратилась ко мне с самой странной просьбой, какую только можно себе вообразить: чтобы я забрал сына и из старой школы, потому что он будет все время проваливаться, а это, дескать, отразится на его нервах и может серьезно подорвать здоровье. Да и получи он хоть университетский диплом, какая от этого польза? Пускай работают те, кому есть нечего.

Маклер, слушая меня, закурил вторую сигарету. Он выпускал в воздух кольца дыма, наблюдая, как они медленно тают в воздухе. Когда я умолк, он сказал, что, подрядись он избавить моего сына от военной службы, это принесло бы ему солидный куш, но он считает своим долгом дать мне иной совет: пусть парень идет в армию, это единственная для него возможность стать человеком. Я ответил, что ценю его совет и благодарю, но у каждого человека свои тайны. Сложные обстоятельства — о них мне не хотелось бы распространяться — побуждают меня действовать именно так, а не иначе. В другое время я и сам послал бы его в огонь сражений. Маклера мои слова не убедили, но он понял, что я не отступлюсь. Попенял мне, почему, мол, я не пришел к нему с самого начала. Как, говорю, разве я не приехал к нему сразу, как только пришла повестка? Но он пояснил мне, что имеет в виду под началом. Я должен был прийти к нему тотчас после рождения сына и предупредить: мол, не желаю, чтобы этот мой отпрыск служил в армии. Он тогда же и принял бы меры, дело давно было бы улажено и не стоило мне ни миллима.

Разговор постепенно пробудил маклера ото сна, стряхнул с него ленивую одурь. Знаете ли вы, спросил маклер, почему вашего сына призывают именно сегодня? Да потому, что несколько месяцев назад он ездил в маркяз за удостоверением личности. Одна из анкет — на основании их выдают удостоверение — пересылается в Каир, в мобилизационное управление, там проверяют отношение получателя к военной службе, и если он еще не призывался, ему немедленно направляют повестку. Знай я обо всем заранее, поговорил бы с секретарем бюро регистрации актов гражданского состояния. Дело это проще простого — анкету не пересылают в Каир, и до скончания века никто ни о чем не узнает. А ваш сын действовал без вашего и, разумеется, без моего ведома. Вот и возникла теперешняя ситуация. Назовем ее сложной, трудной, но она не безвыходна. Решение может быть найдено, и я возьмусь за дело, можете на меня положиться. Напряжение, сковавшее меня, немного ослабело, я успокоился и сказал ему: да, допущена ошибка, и надеюсь, он поможет ее исправить. Маклер заявил, что он к моим услугам, и попросил дать ему все необходимые сведения о сыне. Через два дня, условились мы, я снова к нему приеду. Телефонист напомнил, что повестка требует немедленной явки на призывной пункт, но маклер успокоил нас: омда имеет право предоставлять двухдневную отсрочку. Сам же он обещал связаться с уполномоченным призывного пункта и попросить его отсрочить призыв на неделю, а уж за это время он найдет какой-нибудь выход. С улыбкой, обнажившей желтые зубы, маклер намекнул: уполномоченный, мол, часто сотрудничает с ним, и именно он будет заниматься делом моего сына. Мы распрощались и вышли. Но я не успокоился, тревога не улеглась, как мне показалось, маклер взялся за дело без большой охоты. Все обращавшиеся к нему раньше рассказывали, будто он обещал им золотые горы и молочные реки. Возможно, со мной он повел себя иначе потому, как я — омда, в некотором роде представитель правительства. А может, его смутило присутствие телефониста—как-никак лишний свидетель. Надо будет, решил я, снова послать телефониста успокоить маклера, объяснить ему, что я никуда не езжу один, привык, чтобы меня сопровождал телефонист или сторож.

Дома никто ничего не знал. Я предупредил телефониста и сторожа, дежурившего ночью у телефона, чтобы они ни словом не обмолвились о повестке. Телефонист рассмеялся — телефонограмма нигде не зарегистрирована, словно ее и не было. Я принялся за дела. Конторский служащий принес план участка, возвращаемого мне по справедливому решению суда, и вместе с планом список феллахов, которые обрабатывали эту землю после ее конфискации, кто — по арендным договорам, а кто и купив наделы в рассрочку, по мизерным ценам. Я просмотрел список. Завтра пошлю человека в суд узнать, скоро ли будет готова копия решения и когда явится судебный исполнитель привести его в исполнение. Тем временем надо прощупать настроение людей, согласны ль они добром отказаться от земли, или придется прибегнуть к

помощи полиции. На то она, слава аллаху, и существует — и прежде всего для того, чтобы защищать обиженных вроде нас. Я ни за что не возьму землю, если на ней сидит арендатор. Арендная плата за феддан — тридцать фунтов в год. Да их еще облагают разными налогами и пошлинами. А если я тот же феддан включу в свои угодья и буду сам его обрабатывать, получу в год чистых пятьсот фунтов дохода. Возьмешь землю с арендаторами, а после их ни за что не выживешь. Нет, тут нужно стоять твердо. И вообще, считаю я, законы, определяющие отношения между землевладельцем и арендатором, должны быть изменены. Но разве кто-нибудь мог поверить, что нам возвратят землю? Если уж невозможное свершилось, надо думать, теперь многие «нововведения» будут отменены и вернутся старые порядки. Недаром наши деды говаривали: терпение открывает двери к желаемому.

Наступил вечер. Гостей в доме не было, и я решил поужинать в комнатах. С гостями я обычно ужинаю во дворе. Я пошел на половину младшей жены — ей, раз уж я больше никогда не женюсь, суждено навсегда остаться младшей. Старшая жена стояла на пороге своей комнаты и что-то проворчала, когда я проходил мимо. Я вспомнил о сыне и подумал: если, не дай бог, дело откроется, домашние мои первыми позлорадствуют. Отужинав и напившись чаю, я сел возле жены и рассказал ей обо всем. Сын, дал я ей слово, останется при ней, но, говоря это, почувствовал: жена не в состоянии понять меня до конца, слишком уж мало знает она жизнь.

На другой день телефонист съездил к маклеру и, вернувшись, успокоил меня: маклер — почувствовал он из разговора — дело сделает, но цену заломит бешеную. В назначенный срок я самолично поехал к маклеру. Он встретил нас, как и в прошлый раз, без воодушевления. Есть, сказал он, два пути решения проблемы. Первый — легкий и безопасный, второй — сложный и чреватый подвохами. Суть первого в том, чтобы добыть сыну заграничный паспорт и отправить его куда-нибудь подальше, пока не забудется история с мобилизацией. Этот путь я отверг с ходу, без обсуждения. 'Вот еще — отправить подальше! Мой сын должен находиться при мне, таков уж мой принцип. Ладно, сказал маклер, значит, этот путь не годится. И перешел ко второму. Долго объяснял он сложную и запутанную механику, и когда я уразумел, к чему в общих чертах сводится дело, в душу мою проник леденящий страх. Я понял: тут не обойтись без вмешательства посторонних людей. Но иного выхода не было. Нужда на все заставит пойти. Мне хотелось бы повременить с окончательным ответом до завтра, наедине с собой спокойно все обдумать и взвесить, но телефонист уговорил меня не откладывать дела: зачем еще ломать голову и портить себе кровь, когда выход найден! Я согласился на условия маклера, запнувшись лишь на последнем пункте, гласившем: впредь, до окончания дела, сын должен жить вдали от нашей деревни. Как долго, спросил я, две недели, месяц? Маклер взглянул мне в глаза и тихим, серьезным голосом ответил: долго, может быть, целых пять лет, но это необходимо, иначе все дело откроется. Присутствие сына в деревне явится уликой против всех нас и, того и гляди, доведет до тюрьмы. Я признался, что хотел предпринять последнюю попытку устроить сына в частную школу. Какая там школа! — воскликнул маклер. По всем документам ваш сын должен находиться в армии. Впрочем, получить аттестат начальной ли, средней ли школы — не проблема. Они продаются, и он лично знает в Каире, в Аббассии, одного врача, у которого целый склад аттестатов,— каждый за свою цену, в зависимости от ступени образования и высоты баллов. Мне стало не по себе, я чувствовал, что совершаю непоправимую ошибку: ну, спасу я сына от армии, а что его ждет в будущем? Вернувшись домой и рассказав все жене, я предложил ей уехать на какое-то время в деревню к ее родным Но — вот уж чего я не ожидал — она отказалась, заявив, что боится за себя и за сына. Семья их большая, разветвленная, у них много врагов, несведенные счеты кровной мести. Она — я не поверил своим ушам — хочет поехать в город, снять там квартиру и жить вместе с сыном, а я бы навещал их три раза в неделю или купил машину и жил с ними в городе, ежедневно приезжая в деревню Нет решил я, она смеется надо мной: ведь знает же, что я не могу жить вдали от деревни Здесь я как рыба в воде, а вытащи меня — умру. Да и как покинуть деревню, когда возвращаются наши золотые денечки?! Впервые за долгие годы забрезжило счастье. В сердце закралось подозрение. Тут жена под моим присмотром, и никому не проникнуть в ее комнату. А кто знает, что будет в городе, если она поселится там одна со своим непутевым сыном? Да, есть над чем задуматься. Знал бы я, какой оборот все примет, лучше бы отпустил сына в армию.

Я лег и попытался уснуть, но не мог сомкнуть глаз. Ворочался, слушал, как скри-

пит подо мною кровать, и вспоминал, как поскрипывала она в прежние времена, когда я был полноценным мужчиной. Вспомнил и о другой стороне дела, я о ней до сих пор не думал: ведь мне нужно еще найти юношу — ровесника моего сына, родившегося с ним в один день и внешне похожего на него, который пойдет вместо него в армию. Сразу, как мы вернулись от маклера, телефонист принес книгу регистрации рождений и стал изучать ее, а потом подал мне листок бумаги с выписанным именем: Мысри. Я рассердился и велел ему поискать другое имя. Знай вы причину, рассмеетесь и не поверите. Этот Мысри, сын сторожа, вышедшего недавно на пенсию, прославился на всю деревню своим умом и способностями. В школе он всегда первый, я и сам, по правде сказать, им восхищаюсь и хотел бы, чтоб он был моим сыном. Непостижимо устроен мир, как говорится, серьги достались безухому. В прошлом году Мысри бросил школу. Ведь все остальные дети у них в семье девочки. Отец не мог послать Мысри учиться в город: он арендует три феддана земли, и их нужно обрабатывать. Неисповедимы пути твои, господи! Мой сын — а я могу отправить его обучаться хоть в Китай — проваливается, парень же, у которого лишней рубахи нет, превзошел науки и всех обскакал. Мысри освобожден от военной службы — еще бы, единственный брат пяти сестер, а мой сын — господи, как ему нужно получить образование — должен идти в армию. Ну а телефонист заладил свое: самый подходящий парень — Мысри. Нет, велел я ему: поищи-ка кого другого. Ведь я — человек, и в груди моей бьется сердце, полное сострадания к людям; не люблю никого обижать. Телефонист сказал: ладно, одногодков Мысри много. И протянул мне список ребят, родившихся в один день с моим сыном. Проглядел я все имена и вижу: да, единственный, кто подходит,— это Мысри. Телефонист стал удивляться: что, мол, меня смущает, ведь я окажу Мысри услугу. Землю, которую арендует его отец, отберут у них и передадут мне. Так что отцовская пенсия останется единственным источником существования семьи, а она равна всего-навсего шести фунтам. Вот и придется Мысри искать работу. Не найдя ее — поскольку для этого нужна протекция,— он и сам добровольно пойдет в армию. Посылая же Мысри в солдаты вместо своего сына, я устраиваю будущее и его и семьи: в армии человек сыт, одет и у него крыша над головой, а я здесь позабочусь о его родне. Да разве мечтали они о чем-либо подобном?! Телефонист немного меня успокоил. Военная служба, добавил он, дает Мысри единственную возможность устроиться на хорошую должность. В вооруженных силах заведен порядок: каждый увольняющийся в запас получает назначение в какое-либо государственное учреждение. А не захочет увольняться, его зачисляют в кадры, присваивают офицерское звание и определяют соответствующий оклад. Парень в любом случае выиграет. К тому же — поклялся телефонист троичным разводом [1] — Мысри уже просил у него анкету для добровольного поступления на военную службу. Но анкеты распределяются уполномоченным по призыву. Узнав об этом, Мысри собирался пойти на призывной пункт. До их семьи уже дошла новость о том, что земля возвращается прежним владельцам. Конечно, это их удручило, особенно после того, как они услыхали историю феллаха, отказавшегося вернуть землю. Случилось все в одной из соседних деревень. Феллах оказал сопротивление полиции, и его убили. Мысри, куда ни кинь, пойдет в армию, под своим ли именем или под чужим. Какая разница, послужит он добровольцем или заменит сына омды?!

Но я еще не был убежден в том до конца и терялся в поисках справедливого решения. Беда моя в том, что я чересчур совестлив, терзаюсь из-за каждого пустяка. Таков удел всех порядочных людей, не зря их воспитывали и обучали в школах. А телефонист знай стоял на своем: мол, подобное решение вопроса прежде всего на руку сторожу и его сыну и уж потом моему сыну. В конце концов, он устал меня уговаривать, я — возражать, и я согласился.

— Ну, теперь благослови аллах...— сказал телефонист, уходя домой.

Маклер

Когда в делах невезение и затишье, лучшее времяпрепровождение — сон. Я следую этому правилу и пробуждаюсь, чтобы снова уснуть. Ворочаюсь с боку на бок, с живота на спину, кручусь, как колесо, просыпаюсь, лишь когда все тело задубеет,

[1] По шариату, для получения развода мужу достаточно трижды сказать жене: «Ты разведена». Обычай клясться троичным разводом распространен среди египтян.

заноет от лежания. Кости ломит, глаза заплыли, мозги отупели. Люди, проходя мимо моего дома и зная, что я сплю, восклицают во всеуслышание: «Прохвосту и сон не во благо!» А ведь я за свою жизнь никого не обидел, напротив, только и делаю, что оказываю людям услуги. Но так уж водится: едва дело сделано и надо оплачивать услуги, каждый видит во мне прохвоста и обидчика. Вот и сегодня, сплю я, как обычно, и вижу сон, излюбленный мой сон, хоть как-то утешающий меня в моих горестях: директор школы всенародно просит у меня прощения и приглашает снова учительствовать, а я — стаж-то мой вон какой — требую: нет уж, назначайте сразу инспектором школы. Директор принимает все мои условия и снова — теперь от имени министерства просвещения — просит прощенья; тогда я принимаю извинения и соглашаюсь с завтрашнего дня выйти на работу. И в этот сладчайший миг меня будит гудок автомобиля. Разозлился я страсть: очень уж хотелось досмотреть сон до конца! Автомобиль опять просигналил. Что такое! Машины в нашей деревне редкость, среди моих клиентов и автовладельцев-то нет. Все, кто ездит на машине, водят знакомство с сильными мира сего и с их помощью решают свои дела, у них всяких ходов и выходов — что волос на голове. Ко мне обращаются одни разнесчастные бедняки, которым и ткнуться-то некуда. Тут вошел один из моих сыновей и сообщил: приехали, мол, незнакомые гости. Выхожу в гостиную и вижу там омду одной из соседних деревень. Ну и дела! — подумал я. У омд в наши дни не осталось ни силы, ни веса. Прошли времена, когда омда был всемогущ. На мне была галабея — я спал в ней,— рот я прополоскал, чтобы отбить горечь. Визит омды меня не обрадовал. Человек он богатый, но богачи-то как раз и торгуются больше всех. Бедняк, он платит, сколько потребуешь, непонятно только, где деньги берет.

Я сидел без дела — никто не нуждался в моих услугах,— вот и решил, ладно, хоть что-то перепадет. Омда был в гостиной не один. Я узнал его спутника — телефониста из их деревни. Поздоровался, сел, справились друг у друга, как водится, о делах, о здоровье. Я, стараясь быть поприветливей, сказал, что приход их озарил мой дом, словно меня посетил сам пророк, и я счастлив видеть господина омду. Я могу, подхватил телефонист, поздравить омду — вчера вышло решение о возвращении ему конфискованных земель. В деревне устроили по этому случаю большой праздник. Следовало бы, конечно, пригласить всех уважаемых людей округи, но радостное известие пришло так неожиданно — омда не успел даже никого позвать. Впрочем, не беда — главное торжество состоится, когда омда фактически вступит во владение землей, и я могу заранее считать себя приглашенным. Я-то был уверен, что телефонист лжет, они и не собирались меня приглашать, просто хотел меня умаслить. Но я изобразил великую радость и поздравил омду; всякая его победа, заявил я,— это наша общая победа. Чья «наша», я, честно говоря, и не ведал. Встав поцеловать омду, я увидал свое отражение в большом зеркале. Лицо, сияющее от счастья, показалось мне чужим, не имеющим ко мне никакого отношения, принадлежащим какому-то другому, живущему во мне человеку. Я и слыхом не слыхал об этой истории с землей, но радость, которую мне пришлось изобразить, вывела меня из апатии. Я даже усмотрел в таком известии добрый знак. То, что у омды отобрали землю, а теперь вернули, важно не столько для него самого, сколько для его сыновей. А вот у меня, лишив должности, отняли мою честь и будущее моих детей. Да и сам я, с тех пор как лишился права преподавать в школе, стал похож на бесплодную пальму или обессилевшего старика. Потому-то слова телефониста отозвались во мне отрадным предчувствием. Ежели омда получил назад свою землю, может, и ко мне вернутся честь и должность. Это лишь вопрос времени.

После поздравлений воцарилось молчание. Принесли чай. Я поднялся с места — разлить его по чашкам. Омда достал из кармана пачку сигарет какой-то неведомой марки. Я быстро сходил в спальню, принес свои сигареты, стал угощать его, он — меня. Он, настаивал я, мой гость, а он твердил: мы, мол, друзья, а меж друзьями какие же церемонии. За чаем и сигаретами я почувствовал, как ко мне возвращается деловая хватка; надо бы, думал я, узнать, какое у него ко мне дело.

— Надеюсь, не случилось ничего дурного...

— Бог даст, обойдется,— ответил телефонист.

Омда откашлялся и сплюнул в пахнущий одеколоном платок. Огляделся по сторонам Я встал и закрыл обе двери — внутреннюю, ведущую в глубь дома, и наружную, выходящую на улицу. Снова сел — теперь прямо напротив омды. Он стал говорить. Я слушал. Телефонист время от времени дополнял рассказ омды и пояснял непонят-

ные мне места, постоянно напоминая тем самым о своем присутствии. Выслушав всю историю, я нашел ситуацию весьма сложной. Обычные пути, к которым я прибегал, обделывая свои дела, здесь, пожалуй, не подойдут. Омда не хочет, чтобы сын его шел в армию. Почему — это его дело. В душу человеку не влезешь, будь он даже твой брат. Каждый из нас — кладезь тайн. Способ, который я обычно предлагаю в таких случаях, прост: заинтересованное лицо разводится с женой, и сын становится таким образом единственным кормильцем матери. Я очень удивился, когда омда с ходу отверг это предложение. Последняя жена родила ему лишь одного сына, и мой способ вполне годился. Но омда замахал руками и решительно заявил:

— Нет, об этом нечего и думать.

Я раскрыл было рот, но омда прервал меня и сказал, что не стоит тратить время и силы на обсуждение заведомо неприемлемого предложения, лучше поискать какой-то другой выход. Я задумался. Сидящий передо мной человек как-никак был омдой, а это значило, что всякие уловки прежних времен, вроде отрубания пальца или выкалывания глаза, не пройдут. Что же делать? Мне не хотелось лишать его надежды, и я попросил время на размышление. Омда очень спешил. У меня создалось впечатление, что он вот-вот схватит меня за горло и не отпустит, пока я не отыщу выход. Я дал ему понять, что действую не один и должен кое с кем посоветоваться. Расходы, заявил он, его не пугают, он достаточно богат. Все имущие вначале говорят то же самое, но когда приходит время платить, трясутся над каждым миллимом. Дело, повторил я, очень сложное и сопряжено с большим риском. Он сказал, что надеется на меня. И уже на пороге, оглядевшись по сторонам, напомнил: следует соблюдать величайшую осторожность — мало ли что, даже самому хитроумному человеку трудно предусмотреть все опасности в подобной игре.

Омда с телефонистом уехали, а я остался обдумывать ситуацию. Полагаю, омда уже рассказал вам причину моего увольнения на пенсию. Спасибо ему, что избавил от такого неприятного дела. Я до сих пор с болью вспоминаю эту историю, камнем легла она на сердце, и что бы ни делал я, чем бы ни занимался, ни в чем не нахожу успокоения. Я был учителем, каких тысячи и тысячи на египетской земле. Сегодня мои бывшие ученики, встретив меня на улице, отворачиваются. Поверьте, я и не помню, с чего все началось. Есть у меня сестра. Муж ее умер, и осталась она молодой вдовой с сыном, а я — ее единственный родственник. Унаследовала она от мужа пять феддано в земли, от них было не столько дохода, сколько забот: именно из-за них она никак не решалась выйти замуж во второй раз. Любого, кто сватался к ней, мы подозревали — а ну как он положил глаз на ее землю. Так она вдовствовала, а время шло. Глядь, ее сын достиг уже призывного возраста. По закону его, как единственного кормильца матери-вдовы, должны были освободить от военной службы. Но, сказали ему в маркязе, для получения свидетельства об отношении к воинской повинности нужно ехать в Александрию. Вы будете смеяться, узнав, что меня дернула нелегкая самому отправиться с племянником в Александрию. Это был самый злополучный день в моей жизни.

Как сейчас помню, дело было зимой, в декабре. В деревне стоял такой холод, что стыли пальцы, но в Александрии погода была приятная, теплая. Дело, по которому я приехал, не вызывало вроде бы никаких сомнений, однако началась казенная волокита и ей не видно конца. Я познакомился с офицером из соседней с нами деревни, на погоне у него был орел [1]. Он рассказал, что пошел в армию добровольцем и выбился из солдат в офицеры. Феллах своего брата-феллаха всегда учует. Этот офицер услышал, как я разговаривал с кем-то на пороге его кабинета, подошел и спросил, откуда я, из какой деревни. Как только, говорит, заслышал твою речь, сразу вспомнил поля, и сакию [2], и плуг, и все такое. Познакомились мы. Повел он меня к себе домой. Помог решить мое дело и стребовал за это пять фунтов. Ему, поклялся он, из этих денег не достанется ни миллима, все раздаст другим людям. Я провел в его доме два дня и вернулся в деревню с племянником, а у того на руках было желанное свидетельство. На прощание офицер сказал мне: и дом его, и кабинет открыты для меня в любое время, и если потребуется какая услуга жителям нашей ли деревни или соседних деревень, он всегда готов прийти на помощь. Был он уже в возрасте, до пенсии ему оставалось совсем немного. Наверно, поэтому он и рискнул ввязаться в такое дело. Вся деревня сразу узнала, что я ездил с племянником в Александрию, и вернулись мы чуть ли не первым обратным поездом, имея документ об освобождении

[1] Орел на погоне — знак отличия майора.
[2] Сакия — оросительное колесо.

от воинской службы. Проблема призыва — она касается каждой семьи, и все жаждут ее решить. Народ повалил ко мне валом. Вот и вышло, что я теперь каждый день после работы садился на поезд и отправлялся в Александрию. Вскоре снял там себе квартиру, женился на городской женщине. Вторая жена моя была белотелая, холеная, зажил я припеваючи. Офицер никогда не отказывал в помощи, хоть многие просьбы, как я догадывался, были совсем простыми, и он выполнял их, так сказать, шутя и играючи. Зато стал он чаще говорить о трудностях жизни, о дороговизне, о ненасытной алчности людской.

Сфера нашей деятельности расширялась, расширился и круг участников. Поползли слухи. Полетели жалобы в различные инстанции. В моей александрийской квартире учинили обыск. Я сбежал в деревню, но меня разыскали и там. Началось следствие, вопросы, допросы, протоколы. Потом меня освободили под залог, но с работы, конечно, уволили. И остался я без всяких средств к существованию. Пришлось протягивать руку за помощью к тем, кто когда-то пользовался моими услугами. Правда, заработал я в свое время неплохо, кое-какие сбережения у меня были. Но, как говорится, аллах дал, аллах и взял. Нанял я известного адвоката, но моя александрийская жена свидетельствовала против меня. Сомнительные «занятия» мои, заявила она, ей никогда не нравились. Я решил с ней развестись, но добрые люди подсказали: мол, развод не в моих интересах, еще затаскает меня по судам, придется платить судебные издержки, вернуть остаток калыма[1] да оплачивать услуги адвоката. Хватит с меня и одного процесса. Я бросил жену так, без развода. Думал, она будет преследовать меня, но прошло несколько месяцев, а она не подавала признаков жизни. Наведя справки, я узнал, что жена моя, не расторгнув брака со мной, вышла замуж за другого. Тут я возликовал! Решил: упеку ее в тюрьму. Стал было разыскивать, где она поселилась, но найти не смог. Словно сквозь землю провалилась. Лишь после долгих поисков я выяснил: она вышла замуж за человека, работающего в Ливии, и уехала с ним.

Да, забыл сказать: офицера, моего земляка, уволили в отставку, а меня — на пенсию. Дело в том, что следствию не удалось раздобыть никаких письменных улик против меня. Я ни в чем не сознался, и единственным свидетелем обвинения выступала моя жена, которая вскоре исчезла. Все уверяли: меня должны оправдать. Но суд решил иначе: дело это, дескать, имеет политическую окраску, ибо связано с обороной страны, и нельзя доверять воспитание будущих граждан Египта человеку, который в свободное от работы время занимался тем, что помогал людям уклоняться от выполнения их священного долга — защиты родины! Нанятый мною адвокат объяснил, что перевод меня на пенсию свидетельствует о неуважении к закону. Если бы законы соблюдались как положено, меня бы оправдали. Теперь же мне остается искать защиты у аллаха. Я, признаюсь, тогда не понял, какое отношение моя деятельность имела к политике и защите отечества от злоумышляющих против него врагов революции. Ведь я всего-навсего помогал несчастным беднякам, не ведающим различия между буквой «алиф» и кукурузным початком, решить кое-какие сложные проблемы. А взвалил я на себя эту обузу, поскольку три четверти моих соплеменников неграмотны, так сказать, расплачивался за их отсталость. Клянусь, я считал, что поступаю как патриот. По сути дела, я выполнял те же функции, которые в Европе и в Америке возложены на различные общественные организации. И за это угодил под суд.

Люди стали называть меня маклером. Уж не знаю, кто первый произнес это слово, но само оно как бы служит мне оправданием, я ходатайствовал за всех. Даже имя мое забылось, ко мне обращались кто — устаз[2] маклер, кто — маклер-эфенди. Это наводит меня на некоторые философские размышления. Полагаю, как бывший учитель начальной школы я вправе пофилософствовать. Слово «маклер» означает посредник, и моя обязанность — посредничать между людьми, которые не могут сами защитить свои интересы, и правительством, интересы которого сложны и запутанны. Я нахожу выходы из запутанных ситуаций, и когда мне удается решить проблему, доставлявшую людям неприятности и огорчения, чувствую себя по меньшей мере Занати-халифом или Адхамом аш-Шаркави[3]. К слову сказать, Адхам был в родстве с моим дедом. Разли-

[1] Как правило, по условиям брачного контракта, при вступлении в брак выплачивается не весь калым за невесту, оставшуюся часть муж выплачивает жене в случае развода.

[2] Устаз — здесь: господин.

[3] Занати-халиф, Адхам аш-Шаркави — герои фольклорных преданий, защитники народных интересов.

чие между мною и ими лишь в том, что их оружием были меч и ружье, а я вооружен острым умом и изворотливостью. И обо мне можно легенды слагать. Воспеть все мои деяния смог бы только сказитель с ребабом, да и ему пришлось бы петь и играть все лунные ночи напролет, как в добрые старые времена,— увы, им никогда уже не вернуться на египетскую землю. Немало славных дел я совершил, и единственным счастьем моим было успешно довести начатое до конца. Теперь-то мне ясно: не окажи я людям этих услуг, само существование мое потеряло бы всякий смысл. Мне скрывать нечего, могу как на духу поведать, на что я способен: раздобыть удостоверение личности человеку, который и не рождался на свет, заключить брак между людьми, никогда друг о друге не слышавшими, продать землю, существующую лишь в воображении, передвинуть межевые знаки между полями, заполучить подписи нужных лиц под документами, которых они не читали. О, я могу многое. Но с особой охотой занимаюсь делами, связанными с военной службой.

Сперва, приступая к новому делу, я всякий раз надеялся: оно-то и будет последним. Но едва я успешно завершал его, сам не ведаю как, оказывался втянутым в новую махинацию. И они раз от разу становились все рискованнее. Ох! И зачем я все это рассказываю? Просто, наверно, мне хочется поплакать, оплакать мою судьбу, хочется, чтобы вы мне посочувствовали. А вообще-то самое худшее миновало. Несколько месяцев назад посетил меня мой старый знакомый, офицер из соседней деревни. Он, после того как был уволен в отставку, снова туда вернулся. Пришел он меня поздравить и сказал, что вышел закон, по которому лица, уволенные с работы в нарушение дисциплинарной инструкции, должны быть восстановлены. Предложил нам вдвоем подать заявление о пересмотре моего дела. Уж мы ли не жертвы беззакония? Я призвал его к терпению. Терпение, учили наши деды,— благо, а поспешность — она от шайтана. Не лучше ли выждать, пока кого-нибудь восстановят? Тогда и нам успех обеспечен.

Нервы мои успокоились. Работы стало больше прежнего. В деревне не было твердой власти, каждый делал что хотел, ничего не опасаясь. Приятель, с которым я сотрудничал в Александрии, убеждал меня ловить момент и не упускать возможностей — такое больше не повторится. Нынче египтяне действительно свободны. Впервые в истории Нильской долины. Каждый волен делать что ему заблагорассудится. Хочешь уехать, уезжай. Хочешь сбежать, беги. Все дороги открыты. Было бы чем платить. Есть у тебя пиастр, значит, и свободы у тебя ровно на пиастр. Знаю-знаю, вас прежде всего интересует дело сына омды. А я, прошу прощенья, пустился в истории, до которых вам, может, и дела нет. Просто захотелось поболтать. Заботы день и ночь давят на сердце. Тут и каменной горе не выдержать. Ну, будь по-вашему, возвращаюсь к истории сына омды.

После ухода омды сел я и задумался. Вспомнил его рассказ о возвращении земли. И почувствовал душевное успокоение: так, думаю, и ко мне вернется моя должность; только решил — как восстановят меня, брошу все свои махинации. Даже поклялся сам себе: дело сына омды будет последним. Поехал в маркяз. С моим-то опытом в подобного рода делах я обычно сразу находил ключ к проблеме, видел, с какого конца к ней подступиться. Но дело сына омды напоминало мне узелок на шелковой нитке — поди развяжи! По дороге в маркяз я встретил много знакомых. Люди ко мне в это время относились как-то неопределенно — вроде уже не чествли, как после увольнения, но и того уваженья, какое знавал я в пору славных моих ходатайств, не было. Хотя кое-кто уже поговаривал, что, возможно, я стану вскоре инспектором школы. В маркязе, на призывном пункте, я разыскал уполномоченного по мобилизации, кивнул ему — мол, надо поговорить — и вышел на улицу. Дождался уполномоченного, мы завернули за угол дома и уселись на берегу небольшого канала, подводящего воду к полям вокруг маркяза, под старым — старше самого городка — камфарным деревом. Уполномоченный был явно рад видеть меня.

— Привет, господин маклер.

Это «господин» прозвучало добрым предзнаменованием. Оглянувшись по сторонам, уполномоченный попросил, не мешкая, перейти к делу. Я изложил ему историю с сыном омды. Он сперва помолчал, устремив взгляд в небеса, потом встал, отбросил спичку, которой ковырял в зубах, улыбнулся и вдруг громко расхохотался. Заговорил, по обыкновению, о трудностях да о риске: а ну как, мол, все откроется. Я дал ему выговориться, а потом, тоже по обыкновению, заверил: такого ума, как у него, не сыщешь на всем белом свете. Это своего рода обычное наше состязанье. Цель уполномоченного — вытянуть из меня побольше. Я решил, брошу-ка ему приманку, и сказал:

— Да это сделка века!

Почувствовал, клюнуло. Черты лица уполномоченного разгладились. Немного поколебавшись, он вновь уселся на землю. Началась привычная игра — хождение вокруг да около. Он говорит о частностях и избегает главного,— а оно-то его больше всего интересует,— размера вознаграждения. Наконец, я поставил вопрос ребром, но он и тут уклонился, заявив, что дело сложное и, возможно, потребуется привлечь более широкий круг исполнителей. Все, конечно, будет сделано на месте, в маркязе. Помощь из Александрии или Каира нам ни к чему. А половину дела провернет сам омда, у себя в деревне. Услыхав это, я даже рот раскрыл от удивления.

— Но я,— добавил уполномоченный,— единственный среди вас государственный служащий да к тому же уполномоченный по мобилизации, значит, рискую больше всех. Если корабль пойдет ко дну, все вы спасетесь, кроме меня. Ты-то действуешь через меня, а сам остаешься в тени.

Я, желая для начала удостовериться, реально ли это дело, сказал лишь:

— Ну, пока рано делить доходы.

Но он наклонился ко мне вплотную, я даже почувствовал его дыхание на своем лице, и прошептал:

— Прежде чем приступить к делу, надо обговорить условия.

И напомнил известную притчу о жуликах: никто не видал, как воровали, но все увидели, как дерутся из-за добычи. Я не нашелся что и ответить. Дело-то, вправду, было непростое. Подумал: уж не отказаться ли? Но тут услышал голос уполномоченного:

— Через сорок восемь часов получишь ответ.

Я возликовал. Договорились: послезавтра я снова к нему подъеду. И распрощались. По дороге домой я все думал: ведь настанет же день, когда аллах спросит с меня за темные мои делишки; мне-то и самому они были не по душе, вечно дрожишь из-за них в ожиданье расплаты. Делаешь дело — трясешься. А едва доведешь его до успешного конца, вынырнут словно из-под земли какие-то типы, и каждый, твердя: он, мол, тоже руку здесь приложил, требует своей доли. А другой просто разнюхал что-то и не желает молчать. Тут-де нанесен ущерб интересам страны, и гражданский долг повелевает ему сообщить куда следует. Понимай так, что молчание тоже имеет свою цену. В конце концов самому остаются жалкие миллимы. А ведь выгодные дела подворачиваются не каждый день; пока дождешься платы, долгов набежит столько, что часто барыша не хватает с ними расплатиться. Прибавьте сюда ежедневный риск, вечную необходимость таиться, страх разоблачения, призрак тюрьмы, все время маячащий перед глазами. Сам-то я все готов вынести, страшно за детей: они ведь ни в чем не виноваты. Если скажу, что меня мучит совесть, вы засмеетесь и не поверите. Решите, хочу разжалобить. Но клянусь, когда б не нужда, нет, не пошел бы на это. Да и потом, добрая половина моих дел может сойти за помощь невинно пострадавшим. Хотя дело сына омды отнюдь не из их числа. Тут уж я не выступаю поборником справедливости. Нужда, повторяю, только нужда заставила меня с ним связаться. По правде говоря, сын омды должен идти в армию. Будь на его месте мой сын, ей-богу, сам бы взял его за руку да повел на призывной пункт И домой бы вернулся счастливый и гордый тем, что сын мой служит родине. Омда пожаловал ко мне в тяжкую для меня минуту. Я был на мели В доме ни гроша. А голод, он, известно, не тетка. Смысл этих слов не постичь, когда читаешь их в книге, да еще развалившись в кресле посреди уютной квартирки после плотного обеда. Чувствуешь какое-то приятное опьянение, добрая еда пьянит, точно вино. Потому-то и без толку говорить вам о голоде. Но все-таки вы должны знать: пенсию мою мне так и не выплатили ни разу, поскольку я был уволен по мотивам, порочащим честь.

Итак, продолжим нашу историю. В назначенный срок я встретился с уполномоченным за зданием призывного пункта. Выглядел он веселее, чем в прошлый раз. Угостил меня сигаретой, посмеивался. Сказал, что два дня подряд размышлял над делом сына омды. И всякий раз убеждался: оно не из легких. Но ради меня и ради тех несчастных, что прибегают к его помощи в трудную для них минуту, он сделает все, что нужно. Сын омды не пойдет в армию. Но придется привлечь к делу чиновника из бюро регистрации актов гражданского состояния, инспектора здравоохранения, еще двух чиновников из другого государственного учреждения и их непосредственного начальника, располагающего гербовой печатью. Слова его привели меня в ужас. Вся эта пропасть сообщников означала одно — мне достанутся лишь объедки. Я предложил обсудить главное. Тут у него тревожно забегали глаза, он отвел меня подальше

от дома, напомнив, что и стены имеют уши. Мы вошли на маленький участок, засеянный кресс-салатом, и остановились посредине. Запах зеленых листьев ударял в нос.

— Прямая линия,— начал уполномоченный,— суть кратчайшее расстояние между двумя точками. И в деле сына омды тоже есть такая линия, хоть и не совсем прямая.— Я сделал нетерпеливый жест.

— Не торопись,— спокойно сказал уполномоченный,— поспешность — от шайтана.

И стал излагать свой план, главным достоинством коего была абсолютная надежность. Мы отправились ко мне домой, там уполномоченный потребовал лист бумаги и карандаш и расписал весь план от начала до конца. Наверху вывел огромный заголовок: этапы осуществления. Ниже: участники операции. И еще ниже: расходы. Общие черты и главные пункты операции были разработаны. После его ухода я взял карандаш и склонился над листом со схемой, обдумывая детали. Дело захватило меня — что значит долгое бездействие! —и, быть может, впервые за последние годы голова моя работала с полной отдачей. После нескольких часов напряженной работы передо мной лежала кипа бумажек, исписанных мелким красивым почерком,— подробно разработанный план операции. Прошу прощения, но я хочу ознакомить вас с ним. Надеюсь, тогда и вы поймете, как несправедливо обошелся Египет с одним из талантливейших своих сынов.

I. ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

Каждый этап включает в себя комплекс мероприятий, тесно связанных одно с другим. Успех одного обеспечивает успех другого, а неудача может повлечь за собой провал всего дела. Этапы также органически связаны между собой, и план может быть реализован только при условии последовательного осуществления каждого из этапов.

Первый этап: ЗАМЕНА.

Речь, как явствует из названия, идет о подыскании человека, который пойдет в армию вместо сына омды. Этот этап завершится, когда найденное лицо будет готово вступить в игру. Дублер должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Согласиться пойти в армию не вместо сына омды, а как сын омды.

2. Быть уроженцем той же деревни и одногодком сына омды, рожденным в один с ним день.

3. Быть невоеннообязанным, чтобы не оказаться призванным дважды, иначе тайна была бы раскрыта.

4. Отдать нам все свои документы, как-то: удостоверение личности, военный билет, карточку избирателя, любые постоянные проездные билеты или другие бумаги. Все они будут храниться у нас или у омды в надежном месте, где заведомо не попадутся на глаза ни единой живой душе.

5. Не принадлежать к знатной семье или к семейству, связанному с ней узами родства. Лучше всего, если его интересы будут каким-либо образом связаны непосредственно с омдой или с близкими омде людьми. Ни в коем случае недопустимо, чтобы он состоял в каких-либо отношениях с врагами омды.

6. Необходимо получить свидетельство о естественной смерти дублера — лучше всего от болезни, о которой было бы известно многим жителям деревни. Поскольку решено, что у нас должен быть свой человек в отделе здравоохранения маркяза, мы не ограничимся получением официального свидетельства о смерти, а приложим к нему записку за подписью сотрудника отдела здравоохранения, где будет сказано, что дублер внезапно заболел и по причине отсутствия врача в деревне был доставлен в больницу маркяза и там скончался. Некоторые симптомы указывали, что болезнь его, возможно, была инфекционной. Поэтому проведено соответствующее освидетельствование тела, и оно погребено неподалеку от больницы. Во избежание кривотолков родственники умершего не были оповещены о его смерти, поскольку наша дорогая родина переживает тяжелое время. Враги грозят ей со всех сторон.

7. Отцу дублера, под соответствующую расписку, должны быть выданы необеспеченные чеки на его имя, на большие суммы денег, которые будут служить гарантией его молчания вплоть до возвращения его сына из армии, а также свидетельством в нашу пользу на случай разоблачения.

8. Дублеру следует внушить, что он — сын омды и должен вести себя соответствующим образом. Его надо познакомить с историей семьи, ее владениями, родственными и прочими связями и даже посвятить в кое-какие семейные тайны, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его происхождении.

Второй этап: ОРИГИНАЛ.

Сюда войдут мероприятия, связанные с самим сыном омды. Он должен покинуть деревню, оставить школу и не значиться в списках ни одного учебного заведения. Появление его в любом месте, в пределах провинции, грозит провалом всей операции. Все должны считать, что он находится в армии. Неплохо было бы сделать ему пластическую операцию. Лучше всего ему выехать за пределы страны. Если омда не согласен на отъезд сына, пусть хорошенько спрячет его в самом Египте.

Третий этап.

Не имеет названия, он включает в себя мероприятия по согласованию и увязке первого и второго этапов и их реализации. Переход к третьему этапу означает, что обе стороны усвоили свои роли и уяснили грозящие им опасности, а стало быть, можно, соблюдая величайшую осторожность, приступать к осуществлению плана. На третьем этапе будет выправлено удостоверение личности на имя сына омды — с фотографией дублера, с этим удостоверением дублер отправится в маркяз получить призывное свидетельство и проездных документов, дабы затем уже в качестве сына омды явиться в Александрию, в мобилизационное управление. Удостоверение личности на имя одного и с фотографией другого обеспечивает заведующий бюро регистрации актов гражданского состояния в маркязе. Получение удостоверения— одно из важнейших звеньев операции, во многом обеспечивающее ее успех. Останется проследить, чтобы оба главных действующих лица уехали из деревни в один и тот же день. Итак, дублер отправится в Александрию, и в первые дни его пребывания на сборном пункте необходимо установить за ним тщательное наблюдение, чтобы он не допускал ошибок и не раскрыл себя и всю операцию. Одновременно следует проконтролировать отъезд сына омды в возможно более отдаленное место и убедиться, что он не поступил ни в одно учебное заведение и не вошел ни в какое торговое дело. Такое положение обоих должно сохраниться вплоть до окончания срока военной службы призванного.

Четвертый этап.

Пока относится к области мечтаний — так сказать, к сфере неведомого. Наступит лишь с завершением последней фазы операции, когда горнист в последний раз протрубит в свой горн и истечет срок призыва. В этот решающий и опасный момент мы вступим в новый этап, его можно назвать: *восстановление прежнего порядка вещей.* Сын омды должен вернуться в свою деревню как честный гражданин, исполнивший свой патриотический долг, имея на руках свидетельство о прохождении военной службы, а на груди — знаки отличия и награды, полученные в армии. Перед дублером же — ему отдадут обратно все документы, удостоверяющие, что он благополучно живет и здравствует (то есть бумаги, которые хранились у нас),— откроются три возможности.

Первая — вернуться в деревню как бы после добровольной службы в армии одновременно с сыном омды. Он может объяснять дело так, будто, убедившись в трудностях солдатской жизни, отказался от мысли стать кадровым военным и предпочел личную свободу возможности дослужиться до офицерского звания. Тоска по родной деревне, любовь к спокойной мирной жизни взяли, мол, верх.

Вторая — уехать за границу. Мы обязуемся помочь ему всем необходимым.

И третья — поступить на должность, как и все демобилизуемые с военной службы. Он должен лишь указать командованию своей части желательный адрес будущего места жительства, чтобы не быть назначенным в родную деревню. Здесь возникнет еще одна небольшая проблема: назначение он получит под именем сына омды, а жить ему придется уже под своим настоящим именем. Проблема эта пустяковая и решается очень просто. Либо сын омды отказывается от должности в пользу другого, более нуждающегося в ней человека, то есть дублера под его настоящим именем, либо мы принимаем необходимые меры для того, чтобы должность была получена на имя дублера. Таким образом, оба действующих лица благополучно возвращаются в исходное состояние и наступает, как говорится, счастливая развязка.

II. УЧАСТНИКИ ОПЕРАЦИИ.

1. Маклер.
2. Уполномоченный по призыву.
3. Помощник уполномоченного.
4. Заведующий бюро регистрации актов гражданского состояния.
5. Служащий того же бюро, отвечающий за выдачу удостоверений личности.
6. Служащий призывного пункта, который берет отпечатки пальцев лиц, получающих призывные свидетельства.

7. Медбрат в отделе здравоохранения маркяза, определяющий группу крови.

8. Сотрудник того же отдела, выдающий свидетельства о смерти и разрешения на погребение.

9. Полицейский, на которого возложена роль связного между уполномоченным по призыву в маркязе и мобилизационным управлением в Александрии и который сопровождает призывников в Александрию.

10. Офицер, которому будет доверен контроль за поведением дублера в первые дни его пребывания на сборном пункте и поручено ежедневно осведомляться о его состоянии и давать ему необходимые инструкции. Я предлагаю, чтобы эту обязанность взял на себя уполномоченный по призыву, который имеет право свободного доступа на сборный пункт.

11. Лицо, которому будет поручено наблюдение за сыном омды после отъезда дублера, чтобы быть уверенными в строгом соблюдении всех поставленных условий.

III. РАСХОДЫ НА ОПЕРАЦИЮ.

1. Сто фунтов — получение удостоверения личности с фотографией дублера на имя сына омды.

2. Сто пятьдесят фунтов — получение свидетельства о смерти дублера, датированного числом, предшествующим дню его отъезда в Александрию, а также справки об обстоятельствах его смерти.

3. Двадцать фунтов — вознаграждение служащему призывного пункта, который возьмет отпечатки пальцев дублера для удостоверения личности и призывной карточки.

4. Сорок пять фунтов — полицейскому, сопровождающему новобранцев в Александрию, поскольку он будет первым лицом, которое должно признать дублера за сына омды.

5. Шестьдесят фунтов — другу, работающему в мобилизационном управлении в Александрии, за то, что он обеспечит возможность контролировать поведение дублера и подскажет ему, как лучше себя вести, чтобы не вызвать подозрений. Он же предупредит нас в случае опасности.

6. Триста фунтов — уполномоченному по призыву, который подвергается непосредственной опасности.

7. Триста фунтов — маклеру как главному организатору всей операции и лицу, связанному с омдой.

Примечания:

1. В список расходов не включены суммы, которые будут выплачены самому дублеру и его родным, поскольку это выходит за рамки соглашения и принадлежит к компетенции омды.

2. Расходы на проживание сына омды вдали от деревни в течение всех лет военной службы дублера оплачивает его отец, поскольку речь идет о безопасности его сына, и никому неизвестно, как долго будет продолжаться операция.

3. Расходы на переезды и проживание во время осуществления различных этапов операции в вышеприведенный список не включены.

КОНЕЦ.

Уполномоченный по призыву с самого начала сказал мне, что к операции придется привлечь многих участников. Я был несправедлив, подумав, будто он хитрит. Теперь-то я осознал подлинные масштабы дела. С уполномоченным все было улажено, и на следующий день я поехал к омде. Поехал один. Сошел с автобуса у моста и направился к нему домой. Дорогу я знал, и расспрашивать никого не пришлось. На деревенских улицах было много прохожих, в том числе молодых парней Знакомые здоровались со мной, а я все вглядывался в лица парней и думал, кто же из них заменит сына омды?

Омда сидел у себя во дворе, занимаясь делами. Он с равнодушным видом пожал мне руку. Я даже удивился такому приему. Спустя некоторое время велел одному из сторожей проводить меня в дом, что тот и сделал, выказывая мне всяческие знаки почтения. По-видимому, приглашение в дом омды считается здесь честью, которой удостаиваются немногие. Следом за мной пришел омда. Его, словно подменили. Он обнял меня, прося прощение за сухость, с какой встретил во дворе, и объясняя: мол, сделал это для виду — зачем привлекать внимание посторонних. Начался разговор о деле. Я показал омде план, подчеркнув, что сам его разработал. Омда слушал молча, а когда я кончил, долго думал, уставившись взглядом в окно. Потом покачал головой

и сказал: воистину, мы живем в проклятое время, если такие люди, как я, сидят без работы. Египет, заявил он, никогда не выберется из отсталости, и вот причина: умнейшие его сыны — он указал на меня толстым пальцем — лишены возможности участвовать в строительстве страны. Конечно, любой начальник боится умных подчиненных, но оставить такого человека без дела — это ли не заговор против интересов страны! С планом он в основном согласен, но есть у него и возражения. Во-первых, ни к чему выдавать чеки отцу дублера. Он и так получит полную гарантию того, что предоставляет сына в наше распоряжение не бесплатно. Кроме того, их — отца дублера и омду — связывают постоянные деловые интересы. Во-вторых, он считает нежелательным отъезд сына из деревни на долгое время. По этому пункту мы долго спорили, и в конце концов омда откровенно признался: парня нельзя отослать надолго из дома — на это не согласится его мать. Он у нее единственный, другого не будет. Раскрыть причину этого, сказал омда, он не может — тут семейная тайна. Ежели сын уедет в другое место, за ним последует и мать. Пойти на такой шаг он никак не может и по материальным и по моральным соображениям. Мы долго не могли прийти к соглашению на этот счет. Я настаивал на своей точке зрения, опасаясь за успех всей операции. Возражения омда черпал главным образом из области сантиментов. Наконец, я его убедил. Он согласился: да, сын уедет, но куда — осталось нерешенным. Уедет вместе с матерью. Омда обещал завтра же или в крайнем случае через день прислать ко мне дублера с его отцом. Тут мы подошли к главному вопросу — о деньгах. Оплату всех расходов, предложил омда, должен взять на себя я, а после завершения операции он выплатит мне всю сумму полностью. Я понял, он хочет гарантий. Вопрос этот всех волнует, каждый обычно задает вопрос: а кто мне гарантирует, что все будет в порядке? Как же это я отдам все деньги сразу? Нет, сперва заплати ты, а я потом все возмещу с лихвой. Иногда я соглашался с такой постановкой вопроса, особенно если расходы были небольшие. Но для подобного дела требовалась огромная сумма — очень уж много привлекалось людей,— а ведь каждый, прежде чем сделать шаг, тянет руку за мздой. Я объяснил омде ситуацию и почувствовал, что он колеблется. Пришлось сказать напрямик — мы не приступим к делу, пока не получим деньги хотя бы на первоначальные расходы. Омда заныл: я, дескать, слишком уж много насчитал, а ведь он как-никак и сам выполняет важные задачи. Никто не знает, чего ему будет стоить найти дублера да поселить сына вдали от деревни — ну и тому подобное. Спор наш закончился тем, что омда потребовал два дня отсрочки. Ладно, заявил я, но в таком случае отложим и приход ко мне дублера, ибо без денег это не имеет никакого смысла. Разозлившись, я почувствовал, как в душе моей закипает возмущение против этого бестолкового типа. Но едва служанка принесла блюдо с обедом, омда преобразился, стал радушным, любезным хозяином. И я, в который уж раз, подивился человеческой природе, особенно природе жителей египетской деревни. За обедом омда провозгласил меня своим близким другом и просил держать его сторону, а не тех, кто будет непосредственно выполнять операцию. И еще попросил по мере возможности сократить расходы, а он возместит мне каждый фунт, сэкономленный за счет других участников. Я с радостью дал ему такое обещание, ведь слова его означали, что вопрос решен.

Мы расстались, договорившись встретиться снова через два дня.

Сторож

Одна из наших деревенских пословиц гласит: «Стоит дважды ударить человека по голове, и он позабудет, где лево, где право». Наверно, сложили ее в хорошие дни. Нынче и не ударят, а доведут тебя до того, что уж больше не встанешь. Мои собственные злоключения — лучшее тому доказательство. Но сперва как положено расскажу, кто я и что я. Пришел мой черед вести повествование. И начну я его с того момента, который на всю жизнь врезался мне в память. Воспоминание о нем я унесу с собой в могилу, хоть и знаю, как тесны могилы у бедняков вроде меня. Все началось со стука в дверь, обычного стука, который может раздаться в любую минуту. В домах бедняков двери закрывают сразу после захода солнца — предосторожности ради, да и кто придет к нам — по делу иль с просьбою. Темнело, двери закрывались. Отлучившись с подворья омды — я охраняю его амбары,— пошел я домой ужинать. В деревне никто еще не спал. Отовсюду слышались звуки голосов, шум, в лавках и домах светились огни. В такое

время человек ощущает себя в безопасности, никакой злодей еще не посмеет выйти на промысел. Сунув в рот кусок сухой лепешки, я так и не смог проглотить его — чувствую, прямо дерет горло. Сделал знак рукой: налейте, мол, стакан чаю, да побольше. Жена остановила на мне долгий, спокойный, как стоячие воды, взгляд, и я понял, в доме нет сахара. Она сходила к соседке, взяла в долг несколько кусочков до конца месяца, когда мы получим продукты по талонам. Во мне волной закипал гнев. Стук в дверь напомнил мне об ударах судьбы, сыпавшихся на меня в последнее время. Первым ударом — хоть и не совсем неожиданным, но болезненным — было увольнение на пенсию. Я работал сторожем и числился на государственной службе. А когда достиг пенсионного возраста, из маркяза прислали конверт, небольшой такой, размером с ладонь, а в нем две бумажки. Телефонист взял печать, приложил сначала к подушечке, а потом к бумаге. Один листок забрал себе, мне отдал второй и сказал: с первого числа будущего месяца ты на пенсии. Стоя перед ним, я все старался понять, что же произошло. Такое уже случалось с моими сотоварищами в прошлые годы. Значит, не выходить мне больше на ночные дежурства. Не получать старую винтовку — ведь я к ней так привык — и положенный десяток патронов, не обходить по ночам деревенские улочки с винтовкой на плече ни зимой, когда холод леденит кровь, ни летом, когда жарко, как в печи. Не отдыхать, лежа на скамьях перед домами и вслушиваясь в настораживающую тишину ночи. Кто там? Кто идет? Как знать, будут ли люди по-прежнему уважительно называть меня шейхом стражи? Раньше я вечно жаловался всем на тяготы службы. А теперь вот мне горько с ними расставаться. После выхода на пенсию заработок мой ужасающе сократился. Раньше я получал девять фунтов с четвертью, а сейчас — четыре без четверти. Сразу переменилась жизнь, и люди стали относиться ко мне по-другому: бакалейщик больше не дает в долг. Имелась и еще одна причина для огорчения: как раз подошла моя очередь на повышение, меня, работающего дольше всех, должны были назначить начальником сторожей. Если бы нынешний начальник вышел на пенсию или умер, я бы занял его место. От обиды и не зная, чем заполнить образовавшуюся пустоту, я стал проводить все время в поле. Была там работа, не было — дома мне не сиделось, пусть от этого и набегали лишние расходы: приходилось готовить мне отдельно обед и ужин, кипятить два чайника чаю. Чтобы не тратить лишнего, я старался теперь есть только дома. Однажды проходил я мимо подворья омды. Дело было зимой, омда сидел на солнышке, а ведь оно в эту пору что дорогой плод, созревший раньше времени. Он подозвал меня, стал расспрашивать о делах, о семье. Посетовал я на бедность, и омда предложил мне охранять его подворье, скот, амбары и сад. Я возразил было: это, мол, входит в обязанности дежурного сторожа, но он сказал: так-то оно так, и порядок этот заведен был еще при его прадеде, но теперь другие правила — все это считается частными владениями омды, и он обязан нанять сторожа и платить ему из своего кармана. Один из мужчин, сидевших возле омды — у них только и дел что льстить омде и соглашаться с каждым его словом, да еще доносить обо всех деревенских делах,— сказал: омда-де хочет мне помочь. У него доброе сердце, и, не желая обижать меня милостыней, он предлагает мне работу. Владения омды — это часть деревенской территории, и их положено охранять одному из сторожей. Ведь омда служит правительству, и наш долг уважать его так же, как мы уважаем правительство, а потому, добавил льстец, я обязан с почтением принять протянутую мне руку. На другой день я приступил к работе. Владения омды мне были хорошо знакомы, но теперь моей обязанностью стало охранять их. О плате мы не договаривались. Мне достаточно было слова омды. К тому же его последняя жена — женщина щедрая и великодушная — кормила меня ужином и завтраком, поила чаем, а иной раз и угощала табаком. Все это я воспринимал как воздаянье за скудость, в которой мы жили последнее время.

В тот вечер жена омды захворала и не выслала мне ужин. Я осведомился о ее здоровье, мне сказали: она лежит в постели. Пожелав ей скорого выздоровленья, я пошел ужинать домой. Причина недомогания жены омды, показалось мне, вовсе не болезнь. Нет, здесь что-то другое, какая-то тайна. Последние дни она и правда плохо выглядела, побледнела, глаза ввалились. Но в чем тут причина? У всех жителей нашей деревни — богачей и бедняков — свои тайны, и совать в них нос неприлично...

Так вот, стук в дверь напомнил мне об ударах судьбы Разные они были, но уж один пришелся прямо, как говорят, по темечку и был так силен, что я даже подумал: все, кончилась моя жизнь. Какое-то время я думал о смерти как об избавлении. Но, услышав стрельбу на подворье омды, порадовался. Когда у кого-то из земляков радость, ликует вся деревня. Мне и в голову не пришло, что выстрелы эти предвещают нам всем

черные дни и радость одного обернется печалью и горем для других. Выстрелы, доносившиеся из богатого дома, никого не удивили: у богачей ведь праздники не кончаются, за одним тотчас приходит другой. Но вернулся домой мой сын, и я прочел на его лице небывалую тревогу. И все же прежде чем говорить о тревогах, познакомлю вас с сыном. Зовут его Мысри, он у меня единственный. Остальные пятеро — дочери. Он учился и окончил школу второй ступени в нашей деревне. Но учиться дальше можно лишь в городе, а значит, нужны деньги на жилье, еду, одежду, книги. К тому же мне нужен помощник и в поле и дома. Старею я, и кто-то должен меня заменить. Вот я и решил: хватит с него и второй ступени, но Мысри уж больно хотелось получить образование. Он в школе всегда был первым. Сыновья богатых отцов приходили в наш бедный дом, и он помогал им готовить уроки. Мы крепко поспорили с Мысри, он даже чуть было не ушел из дома; но под конец мы сошлись вот на чем: он поступит учиться заочно, а готовить уроки будет вместе с ребятами, которые каждый день ездят в среднюю школу, в маркяз. Да, трудно ему пришлось, но закончил он школу первым учеником.

Ну, стало быть, вернулся Мысри домой, лицо угрюмое, мрачное. Я спрашиваю, что, мол, за радость такая в доме у омды, почему стреляют и загруды выкрикивают, а он отвечает: настал самый черный день в нашей жизни. Я даже рот открыл от изумления. Сегодня, продолжает он, суд принял решение вернуть омде земли, конфискованные у него по закону об аграрной реформе и поделенные между крестьянами. Полиция, говорят, изымет участки у тех, кто ими пользуется сейчас, и передаст омде. Я сперва подумал, будто речь идет просто о перемене владельца.— земля будет принадлежать не правительству, а омде. Но Мысри засмеялся — горько так — и пересказал мне слова омды, который всем приходившим его поздравить заявлял: нет, мол, не приму ни клочка земли, если на ней сидит арендатор, я желаю получить свою землю свободной от аренды, а уж потом буду делать с ней что захочу — может, засею, может, застрою или сам сдам в аренду исполу. И представил я себе свой участок: три феддана, квадратный кусок земли, я возделываю его который год. Увидел мысленно и загон для скота, сакию, ее мы построили вместе с соседями, камфарные и эвкалиптовые деревья — ими обсажен участок.

Оба мы, я и Мысри, чувствовали себя слабыми и потерянными, Мысри казался даже слабее меня. Всю жизнь вроде был сильнее, а тут сник. Я не знал, что и делать. Хотелось мне выглядеть в глазах Мысри решительным и смелым. Вот я и высказал предположение: а не сплетни ли это, пущенные бездельниками, которые только и знают, что рассиживаться на скамьях да чесать языки. Да и кто посмеет отобрать у нас землю?! Но Мысри сказал: посмеют, дело это решенное.

Утром пошли мы в поле. Весна уже близилась к концу, теплынь стояла как летом, погода чудесная. Самые что ни на есть благодатные дни в году. А дел в поле столько — с утра думаешь: нет, целого дня не хватит все переделать. Мысри сел на краю поля и, спустив ноги в арык, стал бросать в воду обломки кирпича, следя за тем, как круги на ее поверхности разбегаются все шире, покуда не разобьются о берега арыка. Глянул я на Мысри да на поле, и пропало вдруг у меня всякое желание работать. Положил мотыгу и серп под дерево, пошел к сакии. В ковше было немного воды, я сполоснул лицо и вымыл ноги. Встал лицом к ветру, чтобы обсохнуть. Подумал было совершить омовение и помолиться — на мне был вчерашний долг, от волнения и расстройства я пропустил вечернюю молитву. В загоне сиротливо сбились в кучу буйволица, корова, осел и две овцы. Мы с Мысри вернулись домой. Непривычно мне было уходить так рано, я всегда оставался в поле до тех пор, пока все вокруг не начинало тонуть в вечерней мгле, и чувствовал, будто в чем-то провинился перед деревьями, арыками и землей. У дома омды толпился народ. Нас остановил один из сторожей, стал настойчиво предлагать шербета. От стакана с красным шербетом шел дразнящий запах. Но Мысри, отказавшись от угощения, рукой отодвинул сторожа с дороги. Тот едва не полез в драку, но потом рассмеялся: дураки, мол, отказываются от угощения омды. Дома нас ожидали несколько феллахов — они тоже арендовали землю, конфискованную по закону о реформе. Мы, говорят, тоже слышали о решении суда, почему же оно принято было без нас, никто нас даже не вызвал. Хотя нас, наверно, не стали вызывать потому, что мы не являемся в этом деле юридической стороной. Омда подавал в суд на правительство. Мы тут ни при чем. Одни утверждали: мы, мол, имеем право опротестовать решение суда. Другие заявляли: ладно, пока еще рано говорить об этом, подождем — пусть омда получит письменный текст решения и начнет его исполнять. Вот тут-то мы и выступим сообща.

Надо только держаться вместе. Но тут одна крестьянка — она после смерти мужа сама кормила семью — сказала: нет уж, вода все равно вверх не потечет и сопротивляться нам бесполезно, омда все одно землю отберет. Вдруг Мысри вскочил на ноги и воскликнул: «Нет! Этому не бывать! Мы жизнь положим за землю». На другой день в деревне только и было разговору что о земле, возвращаемой омде. Много ходило всяких слухов, но одно все знали твердо: омда требует свою землю назад.

Три дня провели мы в напряжении и страхе. Кое-кто, правда, утешал себя: у правительства, мол, день что год, и текст решения придет к омде годика через три — не раньше.

В тот самый день, когда суд вынес свое решение, омда потребовал машину, сел в нее вместе с телефонистом и отправился по дороге в маркяз. Все решили: теперь он вернется с приговором в руках, чтобы завтра же приступить к его исполнению. Но сосед, видевший, как омда возвращался из маркяза, уверял, будто никакого приговора тот не привез, потому что вид у него был растерянный и озабоченный, как у человека, на которого свалилась какая-то нежданная неприятность. На третий день явился полицейский офицер в сопровождении трех солдат на лошадях одинаковой серой масти. Такие наезды всегда заставляют сердце сжиматься от страха. Офицер собрал феллахов, арендующих те участки, которые решено возвратить омде. Принял он нас на подворье омды, в комнате, где хранится оружие. Был он немногословен, сказал лишь: есть, мол, решение передать наши земли омде, ибо они — его собственность. А поскольку до конфискации земель они не сдавались в аренду, то и возвращены должны быть также без арендаторов. Сохраняют силу только арендные договоры, заключенные с самим омдой. А те, что заключались с управлением аграрной реформы, отныне считаются недействительными. Потом офицер добавил: мол, он, хоть и полицейский, но египтянин и не забывает о том, что мы его соотечественники. Поэтому он предпочел встретиться с нами в дружеской обстановке, и дело, надеется он, будет улажено по-хорошему. Если же мы станем возражать, нас рассудит закон, а закон ясно и категорически заявляет: землю следует вернуть омде. Он, офицер, готов взять на себя роль посредника и напомнить омде о том, что его долг позаботиться о нас, не оставить нас без куска хлеба. Все мы люди и должны жить по законам любви и братства, а не ненависти и вражды. Один из нас встал и спросил: как же нам быть, нам и нашим детям? У вас есть господь, ответил офицер, и есть омда, он уведомит власти о вашем положении, и они примут соответствующие меры. Египет не оставит своих детей без земли и без работы. Египет уважает и чужестранцев, а уж о его собственных гражданах и говорить нечего!

Это — явная несправедливость, сказал другой феллах.

Таково решение суда, разъяснил офицер, и оно должно быть исполнено. Ну а что до того — справедливо или несправедливо само решение, то ведь оно вынесено на основании закона. Мы живем в эпоху господства законности, и ни один голос не может заглушить глас закона. Мы вправе обжаловать решение, но прежде должны его исполнить. Если дело пересмотрят в нашу пользу, нам немедленно возвратят землю. Он самолично проследит за исполнением.

Я благодарил аллаха за то, что Мысри не было с нами. Он мог бы натворить что угодно. И без того достаточно шуму, споров и слез. Офицер твердо стоял на своем: его обязанность — обеспечить возврат земли, и призывал нас вернуть ее добровольно. Он дает нам два дня сроку. А если кто заартачится — он примет законные меры и отберет землю силой оружия. Эти его слова вызвали всеобщий шум. Тогда офицер встал, поправил на голове фуражку и, выйдя из комнаты, направился к омде. Прибывшие с ним солдаты и сторожа, ожидавшие во дворе, отдавали ему честь. Мы же, качая головами и пожимая плечами, побрели по домам. Вышло так, будто офицер дал нам два дня сроку лишь для того, чтобы мы перессорились между собой. Кто-то заявил, что уедет из Египта, раз установились такие несправедливые порядки: отбирают последнее у неимущего и отдают тому, у кого и так всего вдосталь. Другой кричал: если мы мужчины, давайте продадим землю и скот, купим на вырученные деньги оружие и выступим против правительства! Да, случись такое в Верхнем Египте, добавил крикун, этому офицеру ни за что не уйти бы живым, охраняй его хоть целая армия. Мы разошлись, так ни о чем и не договорившись. Дело было в полдень. В поле я уже не пошел. К вечеру вернулся Мысри, пригнавший скотину. Пока его не было, я в одиночестве расхаживал взад-вперед по комнате, поглощенный тревожными мыслями. Что же делать? Как другие, так и я, хотя у меня с омдой особые отношения. Я ведь работаю на него, сторожу его добро.

Решил: подожду, увижу, как поведут себя остальные. Жена, видя мои терзания, робко заметила: а может, омда и оставит нам землю? Как-никак я его личный сторож, и он хорошо ко мне относится. Прикрикнув на нее, я решил: как бы ни обернулось дело, буду действовать заодно со всеми...

Тут-то и постучали в дверь. Громко, настойчиво. Собака, прикорнувшая у порога, ошалело вскочила на ноги и залаяла во всю мочь. Я открыл дверь. За нею стоял дежурный сторож. Омда требует тебя по важному делу, сказал он. Мне тогда и в голову не пришло, что за дело такое. Оделся я и собрался идти. Но жена, остановив меня, сказала, что у нее чайник вскипел. Сели мы со сторожем, выпили чаю, потом пошли. Я думал — у омды нашлась для меня какая-нибудь работа в поле на завтра и он хочет с вечера договориться. На подворье омды меня дожидался телефонист. Он предложил мне сесть, чем несказанно меня удивил, и послал сторожа принести нам чаю из дома омды. Видя, что я не решаюсь принять приглашение, телефонист ухватил меня за рукав и силком усадил рядом с собой на диван. Потом повел речь о том о сем, омда, мол, человек добрый, сколько жителей деревни облагодетельствовал, нету такого дома, где бы ему не были чем-то обязаны. Да только человек так устроен — добра не помнит, все, знай, завидуют богатству омды. А вот, говорит омда, совсем не такой, как прочие деревенские. Потому-то он за мной и послал, хочет просить меня о небольшой услуге. Он уверен: я ему не откажу, дело-то пустяковое. Я встревожился. Что это он все ходит вокруг да около. С тех пор как свет стоит, омда всегда омда, и отец его с дедом были омдами. А наша доля — всю жизнь налегать на мотыгу. Так и помрем с согнутой спиной да с ногою, увязшей в земле. Весь свой век спину гнем. Раньше, помню, омда только рот откроет — что-нибудь приказать, а мы уж кидаемся исполнять. Да, времени на разговоры он не тратил. Здесь явно что-то не так. У меня от страха мурашки поползли по телу — ну точно в поле уснул и по тебе полчища всяких насекомых ползают. А телефонист все говорил, говорил. Потом пришел омда. Я встал. Протянул он мне руку, поздоровался. Точно, случилось что-то, сказал я себе, не иначе правительство отменило решение о возврате земли. Обрадовался я и пуще прежнего почувствовал, как люблю я землю, представил, как завтра с утра отправлюсь на участок, ведя в поводу скотину. Я взял руку омды, мягкую, гладкую, в свои грубые, потрескавшиеся ладони, поднес ко рту — поцеловать. Губы ощутили холодок колец, которыми были унизаны мясистые пальцы, и теплоту кожи. Вспомнил вдруг: мяса-то я не ел с прошлого праздника, а сколько с тех пор времени прошло, сосчитать не мог. Омда милостиво разрешил поцеловать ему руку, думает, небось, для меня это великое счастье. Потом произнес:

— Храни тебя господь, сын мой!

Похлопал меня по спине и оставил руку на моем плече. Тяжелая была рука, сразу чувствовалось: хозяин ее всегда ел досыта. На моих-то руках и на руках тысяч таких, как я, мяса нет. Я побоялся, как бы омда не зашиб руку, хлопая меня по костлявой спине. Он направился к дивану и уселся, подобрав полы широкой галабеи — пошедшей на нее материи хватило бы на рубахи всей моей семье. Жестом пригласил меня сесть рядом. Я подхватил свой узкий подол, уселся на пол у его ног, но он поднял меня и усадил рядом с собой. На столике перед нами стояли чайник и три большие чашки с золотым ободком. Я все больше изумлялся, тем временем рос и мой страх. Пусть бы уж он скорее заговорил и кончилось это невыносимое ожидание, от которого у меня в висках стучало. Такой почет оказывают не за красивые глаза, что-то ему от меня надо. Наконец любезности кончились, перешли к делу. Телефонист объяснил, что услуга, которой хочет от меня омда, одновременно и легкая и трудная, и простая и сложная, но она вполне осуществима. Готов ли я ее оказать? Я ответил, что всегда к услугам омды. Телефонист помолчал, потом предложил омде говорить самому: так, мол, будет убедительней. Омда откашлялся, вытащил тонкий, как сигаретная бумага, платок, от которого по всей комнате запахло одеколоном. Сплюнул в него, снова откашлялся. И вновь я почувствовал: передо мной человек, всю жизнь евший досыта, едва он заговорил, от него потянуло запахом мяса, курятины, жира и жареного лука. Наклонившись ко мне, он спросил, что я решил насчет земли. Я немного успокоился, подумал: наверно, это и есть цель разговора, и ответил, что мы еще ничего не решили. При слове «мы» омда, вскинув брови, переспросил:

— Кто это, мы?

— Мы, феллахи,— ответил я,— которых прогонят с земли. Мы еще не решили, как нам быть, хотя большинство полагает, что землю надо отстаивать, если придется —

даже силой. Омда не рассердился на мои слова, лишь посмеялся и обещал отнестись ко мне иначе, чем ко всем прочим. Но ведь слово не воробей, заметил я, а слово мужчины все равно что клятва, и я считаю себя связанным с другими. Омда не дал мне договорить, заявив: он-де меня выделяет из всех именно потому, что хочет просить меня об услуге, а суть ее в том, чтобы Мысри, мой сын, совершил одно дело вместо младшего его дитяти, сына младшей госпожи, которая всегда кормит меня ужином и завтраком и любит как родного отца. Дело это сулит мне большие выгоды. Тут вмешался телефонист и разъяснил: омда ждет моего согласия на отъезд сына, все будет оплачено, и как только я скажу «да», мы обсудим все подробно, в том числе и сумму. Целых полночи они слово за словом излагали мне свой план. Невольно прислушиваясь к ночным звукам, долетавшим с улицы,— голосам сторожей, феллахов, разыскивающих пропавшую курицу или овцу,— я пытался уяснить, к чему все-таки клонят телефонист и омда. Телефонист сказал: Мысри должен будет пойти в маркяз и получить там важные документы вместо сына омды. А потом, добавил омда, Мысри возьмет в маркязе еще один документ, менее важный, в тот же день поедет с ним в Александрию и вернется до захода солнца. Все дорожные расходы омда ему оплатит. А почему, спросил я, этого не может сделать сын омды, зачем Мысри ехать вместо него? И тут на меня обрушился первый удар.

— Мысри,— сказал телефонист,— поедет не вместо сына омды, а как сын омды.

Сердце мое упало.

— Что же это за документ? — спросил я.

— Призывное свидетельство.

Слова эти произнес омда, небрежно махнув рукой, словно вопрос не заслуживал внимания. И не успел я опомниться, как телефонист спросил, согласен ли я. Голова моя туго соображала. Омда подал знак телефонисту, и тот наконец раскрыл до конца все карты. Говорил он быстро и сбивчиво, брызгая слюной. Капли ее долетали до моего лица. Мне стоило отчаянных усилий поспевать за его словами. Я попытался раз-другой остановить его, переспросить, но нет, прервать его было невозможно. Так и сидел я с отвисшей челюстью, руки как плети висели вдоль тела; я чувствовал, пот ручьем течет с шеи мне на грудь. Телефонист говорил о том, что два дня назад сыну омды пришла повестка в армию, то есть на военную службу. Но по особым причинам — а о них слишком долго рассказывать — омда не хочет отдавать в солдаты своего сына. Меня же он числит как бы роднею — недаром доверил сторожить его дом. Долго искал он выход из положения, но ничего не мог придумать. А если сын омды уйдет в армию, это будет трагедией для отца с матерью. И вот, наконец, они нашли выход, простой и легкий: пусть вместо сына омды пойдет кто-нибудь другой. А поскольку омда считает меня за брата, а Мысри любит как сына, почему бы Мысри и не пойти в солдаты вместо сына омды. Если я согласен, омда готов поговорить со мной всерьез. Он удовлетворит любую мою просьбу. Главное, чтобы я согласился помочь ему в этом несложном деле.

— Ты согласен?

На время воцарилось тяжелое молчание.

— Согласен на что?

Это уже я задал вопрос. Собеседники мои переглянулись, и на лице омды появились признаки гнева. Телефонист стал уговаривать его не волноваться. А до моего сознания все никак не доходил смысл «небольшой услуги», которой требовали от меня, вернее от Мысри. У меня пять дочерей и единственный сын, и, выходит, он должен идти в армию вместо младшего отпрыска омды, седьмого по счету сына в семье. Они все ждали моего ответа. Я не хотел ни отказываться, ни соглашаться и, имея обыкновение подолгу обдумывать всякие сложные для моего ума вопросы, попросил у них отсрочки. Но они отказали. Я не должен, предупредил телефонист, ни с кем советоваться, это может повредить омде. Мне сделано предложение, я должен его принять или отвергнуть. Но в любом случае хранить дело в тайне.

— А как же сам Мысри?

— Что Мысри?

— Ему-то можно сказать?

Телефонист объяснил, что Мысри следует вводить в курс дела постепенно, не говорить ему всего сразу. Неизвестно, как отнесется Мысри к такой просьбе. От нынешней молодежи всего можно ожидать. Я сказал им, что хочу посоветоваться сам с собой и поразмыслить наедине. Они не хотели меня отпускать, но я попросил разрешения

дать ответ завтра, добавив: все будет в порядке. Сам не знаю, для чего произнес я эту последнюю фразу. Каюсь, есть за мной такой грех, иногда у меня с губ срываются слова, смысл которых и до меня-то самого не доходит. Я обрадовался, что могу наконец уйти и они больше не будут меня терзать. Встал с места. Омда тоже поднялся и, удерживая меня за рукав, сказал: все в мире имеет свою цену, и каждое деяние — воздаяние, если ты согласишься, соответственной будет и награда. Но надеюсь, совесть не позволит тебе отказать мне в помощи в такой трудный момент. Потом он спросил:

— И много земли получил ты по аграрной реформе?

— Три феддана.

У меня, пояснил я, арендный договор с управлением аграрной реформы, и он зарегистрирован в сельскохозяйственном кооперативе. Вот уже пять лет нам все обещают передать землю в нашу собственность, и арендная плата тогда зачтется как плата за участок. Но дни идут, а мечты остаются мечтами. Теперь же стало известно, что землю и вовсе хотят отобрать. Тут вмешался телефонист. Вы, сказал он, указывая на нас с омдой, породнились. Услуга, которую ты оказал омде, связала ваши семьи кровными узами. Я в душе посмеялся над этими лживыми, лицемерными словами; кому-кому, подумал я, а уж нам-то с малолетства известно: в жилах у омды течет голубая кровь, она и пахнет по-особому. Ну а у нас, у тех, кому сон заменяет ужин, кровь красная, и запах у нее неприятный. Наверно, телефонист заметил усмешку на моем лице. Он спохватился и стал уверять: мол, говорит чистую правду. Ведь военная служба Мысри, или, как ее называют, долг, выплачиваемый кровью, действительно роднит семьи. Это наилучшее доказательство любви египтян друг к другу, любви, равной которой нет в истории.

— Что бы ни случилось, тебя не прогонят с земли,— сказал омда.

Он повторил это трижды. Достал бумажник, битком набитый новенькими десятифунтовыми билетами с острыми, как нож, краями, извлек из него маленький Коран в позолоченном переплете и поклялся, что расторгнет существующий арендный договор, но землю оставит мне, и я смогу пользоваться ею на условиях испольщины. Его земля — мой труд, а расходы и урожай будем делить поровну. Из урожая он будет вычитать арендную плату за землю, но не раз навсегда установленную, а в зависимости от того, какую культуру посадим в этом году. Если хлопок, плата одна, клевер — другая. Омда говорил долго, подробно высчитывал доходы. В руках толкового феллаха, который сеет по старинке и не слушает нескончаемой болтовни о национальной экономике и интересах страны, об экспорте, планах развития, один феддан, если его засадить садовыми культурами, может принести тысячу фунтов в год. А если обычными — не менее шестисот. Возьмем минимум, четыреста фунтов. Вычтем расходы на борьбу с вредителями, на орошение, на взятки и прочее. Остается двести фунтов с феддана. Три феддана дают шестьсот фунтов. За три года, которые Мысри прослужит в армии, ты получишь тысячу восемьсот фунтов, почти две тысячи. Корм скоту, питание семьи и топливо я по-родственному в расчет не беру. Если наш опыт удастся и ты окажешься дельным работником, я потом прирежу тебе еще земли. Соглашение это записывать мы не будем, все останется между нами. А людям скажем, что ты работаешь на моей земле за плату. К тому же ты будешь по-прежнему сторожить подворье за три фунта в месяц, из расчета десяти пиастров за ночь. Конечно, продолжал омда, он знает, что бояться нечего, никто на его добро не покусится, поэтому три фунта я получаю только за то, что сплю не дома, а на его подворье. И все же, учитывая огромную услугу, которую я ему окажу, он решил удвоить плату, я буду теперь получать двадцать пиастров за ночь. Шесть фунтов в месяц равны пенсии, которую выплачивает мне правительство. Простой расчет показывает, что мой ежемесячный доход составит двенадцать фунтов, а это больше зарплаты учителя начальной школы либо начальника почтового отделения или инспектора сельскохозяйственного кооператива и чуть поменьше жалованья господина офицера, начальника полицейского участка. Таким образом, продолжал свои выкладки омда, ежегодно ты будешь получать семьдесят два фунта, то есть двести шестнадцать фунтов за три года. Сложим это с доходами от земли и получим в итоге две тысячи шестнадцать фунтов. Мысри в армии тоже будет получать ежемесячно три фунта и десять пиастров. Если постараться, можно, воспользовавшись протекцией, перевести его в военную полицию. Тогда он получит подъемные и деньги на обмундирование, а жалованье составит пятнадцать фунтов в месяц, не говоря о бесплатном питании, проезде и прочих льготах. Его ежегодный доход составит сто восемьдесят фунтов, то есть пятьсот сорок фунтов за весь срок службы. Сложим все вместе — получается

две тысячи пятьсот пятьдесят шесть фунтов. Сейчас у нас конец июня 1973 года. Если Мысри явится на призывной пункт первого июля, он закончит службу первого июля 1976 года. Что значат три года в жизни человека! Они пролетят незаметно, в мгновение ока. А если Мысри не захочет демобилизоваться, то с первого июля 1976 вооруженные силы станут платить ему не менее двадцати фунтов, а то и все сорок. Тут все зависит от протекции и начальства, да и от самого солдата — сколько сумеет он заработать нашивок и наград. Жалованье за все годы службы выплачивается при демобилизации. Одновременно солдату предлагают остаться на сверхсрочную службу, дающую право получить через пять лет офицерское звание. Мысри ведь молод. Глядишь, дослужится до генерала, будет как наш начальник полицейского управления, представляешь себе? А если он откажется от сверхсрочной службы в армии — что ж, его право,— то получит официальное письмо от административного управления вооруженных сил в любое гражданское учреждение, где желал бы получить должность. Но Мысри — добрый феллах. Он, конечно, откажется от всех постов, которые будут ему предлагать в городах, не захочет стать ни городским головой, ни прокурором, ни инженером или доктором. Я знаю, он предпочтет быть учителем в начальной школе, в своей родной деревне — нести свет знаний бедным и обездоленным. Мысри очень горюет, лишившись возможности учиться дальше, но он будет светочем, озаряющим людям путь к знанию. Сколько стоит казенная, государственная должность?

Я не ответил. Во рту было сухо, сердце колотилось — вот-вот выскочит из груди.

— Пятьдесят федданов,— отвечал телефонист.

— Один феддан земли,— продолжал омда,— стоит две тысячи фунтов, не считая отступного, равного половине этой суммы. Получить должность — все равно что выиграть сто тысяч. Вот и прикинь, предложил мне омда, кто же из нас кому оказывает услугу.

— Нет-нет! — воспротивился телефонист.— Дело не в этом; главное, общие интересы — наши, личные, и всего Египта, дорогой нашей родины.

Вдруг все замолчали. Потом телефонист спросил, не было ли мне какого-нибудь знамения в ночь судьбы [1] в прошлый рамадан? Если видел, то все понятно — на мою долю выпало чудо. Ибо все, о чем говорил омда, относится к чудесам, о которых человек и мечтать не смеет, они случаются раз в сто лет. Мне, отвечал я, никогда не приходило на ум, что ночь судьбы может иметь хоть какое-то отношение к нам, беднякам. Испокон веку счастье дружило только с богатыми и удача выпадала вовсе не тем, кто в ней нуждается. Тут телефонист подошел ко мне, попросил меня открыть рот и поднять верхнюю губу. Долго разглядывал он мои зубы, потом со вздохом сказал: да, они не похожи на зубы удачливого человека. Вот будь у меня щель пошире меж двумя передними зубами, тогда я бы точно был счастливчик. Телефонист даже слегка сконфузился, но омда выручил его, больно хлопнув меня по спине и заявив: не беда, этот признак наверняка есть у Мысри. Когда-то, много лет назад, напомнил он, когда Мысри только учился ходить, он не раз говорил мне: этот ребенок — счастливчик. Даже поклялся, будто сказал тогда: счастье у него под ногами.

— Вы сказали, что у него счастливая нога,— поправил телефонист.

— Верно, сказал, что счастливая нога.

Я такого разговора не помнил, но знал: да, у Мысри между двумя передними зубами — широкая щель, и многие утверждали, это-де счастливый признак. Я стал прощаться, но омда объявил: нет, он не отпустит меня без ужина. Хлопнул в ладоши. Телефонист пошел поторопить прислугу. Я в душе благодарил аллаха, сподобившего меня вынести весь этот трудный и непонятный разговор, в котором упоминались неслыханные суммы. Сознаюсь, я даже усомнился, смогу ли верно передать его, и до сих пор не знаю, справился ли с такой задачей. Но я рассказал главное — этого достаточно.

Вошла служанка, неся на голове медный поднос, накрытый белоснежной салфеткой. Омда поднял салфетку, и от блюд, которыми был уставлен поднос, повалил пар. Я увидел торчащие ножки — не то гусиные, не то индюшачьи. У меня потекли слюни и челюсти свело, а желудок мой — почудилось мне — стал вдруг пошире оросительного канала, словно у меня уже тысячу лет не было во рту ни крошки. Но все-таки я сообразил, что ужин подан нам не случайно и все эти роскошные блюда приготовлены заранее.

---

[1] Ночь судьбы — по мусульманскому поверью, ночь, когда открываются «врата небес» и сбываются чаянья тех, кто это увидел.

Я сидел напротив омды, рядом со мной телефонист. Рядом с нами стоял сторож, мой приятель, держа в руках таз, кувшин с водой и салфетку. Я очень обрадовался нежданному угощению — ничего подобного мне в жизни и отведать-то не доводилось. Случалось, правда, мне выносили блюдо с объедками после гостей омды, и я, пристроившись где-нибудь за дверью, доедал их или, спрятав в укромное место, потом уносил домой. «Во имя аллаха»,— громко сказал омда и протянул руку к еде. Я увидел вещицу, похожую на вилы, которыми мы провеиваем пшеницу, только маленькую и сделанную из металла,— а вилы, как известно, деревянные. Она вроде называется вилкой. Ножи и ложки я знаю, у меня у самого есть в доме нож еще со времен моей женитьбы. И деревянные ложки нам вырезал мастер, когда я женился на матери Мысри, в придачу к сундуку и столику-таблийе. Я растерялся, не зная, чем же мне есть — вилкой или руками. Омда взял вилку и нож, отрезал кусок этого гуся (или индейки), а я все не смел протянуть руку, боясь, как бы омда не рассердился. Настроение у меня испортилось, я подумал: уж лучше бы они дали мне мою долю с собой, и я съел бы ее наедине без помощи всех этих предметов, ставших мне ненавистными, я даже поймал себя на желании выкинуть их в окно. Отложив вилку и нож, я взял ложку и стал есть то, что можно набрать ложкой: шурпу, рис, овощи, салат. Омда-то был в этом деле мастак с многолетним опытом застолий. А я давно уже отвык различать вкус еды. Он набивал рот мясом с блаженным выражением лица, словно занимался любимейшим своим делом.

После ужина я стал прощаться. Омда дал мне два дня сроку на размышление. Телефонист напомнил, что Мысри я должен вводить в курс дела постепенно, не раскрывая сразу все карты. Я пообещал и вышел. Шагал я понуро, уставясь в землю, с трудом волоча ноги. Домой я не пошел, а отправился к амбарам омды. Думал о Мысри. Ведь именно от него узнал я о том, что делается в мире. Пока Мысри был ребенком, все помыслы мои были сосредоточены на куске хлеба, на том, чтобы аллах не отнял его у меня. Прежде чем положить в рот кусок лепешки, я целовал ее с обеих сторон. По ночам, в долгой, тягучей темноте, мне хотелось лишь одного — хоть немного поспать. Утром я шел сдавать винтовку и старался не попасться на глаза омде: еще заметит ненароком и пошлет работать на своем поле. Весь день я мучился — от голода, недосыпа и усталости. Жизнь — сплошное мучение. Я старался не думать о недавнем разговоре с омдой, но то и дело мысленно возвращался к нему. Соглашусь ли я, чтобы Мысри шел в армию вместо сына омды?

— Невозможно!

Это слово само сорвалось с моих губ. Но разве могло оно рассеять страх за сына? Страх этот впился мне в душу, едва лишь я вышел из дома омды. Не надо, говорил я себе, ни о чем думать сейчас, иди домой, ляг, укройся старым, дырявым, как решето, одеялом и постарайся уснуть. Хорошо бы всхрапнуть, как все люди. По ночам, во время дежурств, я слышу людской храп. Люди ведь делятся на два сорта — одни спят без задних ног, другие мучатся бессонницей. У богачей сон покрепче. Так мне кажется, когда я прохожу ночью мимо их домов. И все-таки я вечно боюсь, как бы шум моих шагов не разбудил их. Правда, я нахожусь здесь, чтобы охранять людей порядочных от сукиных детей, но будить их не следует. Выйдя на пенсию, я надеялся отоспаться, но не прошло и недели, как снова стал сторожем у омды. Тут мои мысли снова вернулись к Мысри, и я позабыл о сне. Скажу лишь напоследок: недосып оставил заметные следы на моем лице. Глаза у меня всегда красные, даже издалека виден красноватый цвет белков. А ресницы почти все повыпадали. Нос как водопроводный кран, из него вечно капает; не то что наша колонка, из которой никому еще не удалось выдоить ни капли влаги.

У земляков только и было разговору что о Мысри: как это, мол, сын бедняка учится лучше всех? Где он ума поднабрался? Да от кого унаследовал такие способности? Мать Мысри в подобных случаях всегда говорила: люди, увидев в руке сироты пирожок, глазам не верят. Да уж, Мысри не чета всем прочим. Помню, когда он кончил школу второй ступени, я не знал, что и делать. Оно-то верно, лучше учения нет ничего. Заветная мечта — в один прекрасный день увидеть сына настоящим эфенди. Учился он прекрасно — первый ученик не только в классе, но и во всей школе. Вот и повадились дети кое-кого из нашей знати приходить к нам и просить Мысри с ними позаниматься. А люди, ломая голову над загадкой Мысри, говорили: бедняки-то на поверку — умные, а богачи — глупцы. Сам я этому не верил. Богач, он чего хочет — того

и добьется; захочет быть умным — он в своем праве. За деньги купишь ума сколько пожелаешь. В тот день, когда Мысри получил аттестат, вышла у нас загвоздка. Средняя школа, она в маркязе, а специальные училища — промышленное, сельскохозяйственное, педагогическое — только в столице провинции, большом городе, где живет сам губернатор. Вот мы с Мысри и поспорили: он хотел поступить в среднюю школу, а потом в университет — изучать языки, и потом, через много лет, стать там, в университете, преподавателем. А я считал: нет лучшей должности на свете, чем учитель младших классов в нашей деревенской школе. Мысри отказывался, толковал что-то о высшем и среднем образовании, а под конец сказал: мол, ладно, согласен стать школьным учителем, но только изучив в университете языки или законоведение.

Я, помню, смотрел на него с недоумением, никак не мог взять в толк, когда он успел все это узнать. Мне, понятно, очень хотелось, чтобы все вышло, как он и мечтает; но, пораскинув мозгами, я понял: нет, отправить Мысри учиться в город невозможно. Ведь там нужно где-то жить. Да и в школу надо ходить прилично одетым. Прибавьте сюда расходы на еду, на проезд да на тетрадки с книжками, карандашами и прочим. А мы и так еле концы с концами сводим. Так-то оно так, есть у меня три феддана земли и зарплата сторожа. Но и кормить мне приходится десять ртов: Мысри, пятерых его сестер, жену, мать с тещей, да и себя самого. Где же взять деньги, чтоб учить Мысри в городе? А жизнь там дорогая, как говорится, и за воду берут, и за воздух, каждый норовит последнюю рубаху с тебя содрать. Нет, не было у меня такой возможности.

Люди в деревне интересовались делами Мысри. Многие настаивали: посылай его в город учиться. Но я отвечал: видит око, да зуб неймет. Люди сердились, говорили: надо уповать на аллаха. Поди разберись, как все на свете устроено. Есть ведь поговорка про серьги, что достались безухому. Хотя на все мудрость аллаха. Как-то в поле завел я с Мысри разговор. Ты, сказал я ему, единственный мой сын при пяти дочерях. Не на что мне посылать тебя в город. Вот арендую три феддана, бог даст, приобрету их когда-нибудь в собственность. За один феддан можно получить постоянную должность. Правда, пока земля не моя, но я уверен, в конце концов она будет принадлежать мне. Этого дня мы ждем лет двадцать с лишком, и он придет. А после меня земля достанется Мысри. Сестры его выйдут замуж, а Мысри земля заменит образование. Подыщем ему достойную невесту, и пусть обзаводится хозяйством, семьей. Когда я умолк, Мысри поднял на меня глаза. Он еще не вымолвил ни слова, а я понял: покуда я говорил, Мысри повзрослел на десять лет. Зубы стиснуты, на глазах слезы. Он крикнул сердито: мол, закончит образование чего бы это ни стоило. Для него нет невозможного, и он не создан пахать землю, которая ему не принадлежит. Будет учиться заочно.

— Как так заочно?

Это я спросил. А из ответа его понял, что мы с ним как небо и земля: он знал массу вещей, о которых я и понятия не имел. Он может поступить в среднюю школу в маркязе, объяснил Мысри, живя дома, в деревне. Заниматься будет самостоятельно, а в конце учебного года сдавать экзамены. Он уверен: за три года успешно закончит школу.

Сам не знаю, зачем я все это рассказываю. Просто хочу, наверно, уйти от собственных мыслей. Но разве это возможно! Я ведь с самого начала не хотел соглашаться. Весь мир не стоит горстки пыли из-под ног Мысри. Но легко ли было отказаться после всех посулов и обещаний омды? Особенно смутили меня его слова насчет земли. Вчера я слышал: во многих деревнях землю уже вернули старым владельцам. Значит, и наша земля вернется к омде, хотим мы того или нет. Я вечно был голоден. За словами омды мне чудились горы еды — ею можно было досыта накормить все мои рты. И я заколебался. Во время разговора с омдой я был настроен решительно: откажусь, и все тут. Но теперь почему-то слова его бередили мне душу, прежней моей стойкости как не бывало.

Пришла ночь, и мысли нахлынули со всех сторон. Ни в эту, ни в одну из следующих ночей я не мог сомкнуть глаз, да и жил я тогда как во сне. Ночь казалась бесконечно длинной, а когда начинал брезжить мутный, серый рассвет, наступало какое-то странное успокоение, даже, пожалуй, отупение. Я шел в мечеть, совершал омовение, молился и все думал: надо бы с кем-нибудь посоветоваться. Но, боясь скандала и людских пересудов, хранил все про себя. Потом возвращался на подворье омды сдать дежурство. В тот раз замешкался я со сдачей и шел домой позже обычного.

Здесь подхожу я к самому главному в моем рассказе — разговору, который произошел между мной и Мысри, когда я вернулся домой в то страшное утро. Вы уж меня простите. Знаю-знаю, именно этот разговор интересует вас больше всего. Но я не стану говорить о нем. Не могу. Нет сил. Да и это было бы предательством по отношению к Мысри. Вы, наверно, рассердитесь и, разведя руками, скажете: вот, мол, старик посмеялся над нами, рассказал лишь то, что самому захотелось, а в самый решающий миг отступился. Все случившееся со мною и Мысри в то страшное утро не тайна. Рано или поздно вы это узнаете. Но только не от меня. А я пока попытаюсь вспомнить, о чем думал я потом, когда все уже кончилось. Каждый раз, бывая в мечети, я слышу слова имама: знай вы, что сокрыто за завесой грядущего, вы избрали бы настоящее. И когда в деревне случится какое-нибудь несчастье, люди говорят: о господи, суди нас, но будь милосерден. Умрет ли кто, погибнет ли урожай, или пожар спалит дома, крестьяне, возведя взор к небесам, повторяют: о боже, отведи от нас худшие несчастья.

Раньше и я верил этим словам. Но после горя, обрушившегося на меня, говорю во всеуслышание: нет, откройся мне даже самое страшное будущее, я ни в коем случае не избрал бы того, что случилось.

Друг

Понедельник, два часа тридцать минут пополудни.

22 октября 1973 года, что соответствует 26 рамадана 1393 года.

Да, нелегкая задача—рассказать ту часть этой горькой и странной истории, свидетелем которой я был. Чтобы успешно справиться с ней, надо, пожалуй, обладать талантом всех вместе взятых писателей, которые когда-либо существовали на земле, с тех пор как родилось искусство романа. Облегчая себе дело, начну с некоторых пояснений. Обратите внимание на важное обстоятельство: я пишу в два часа тридцать минут пополудни, в понедельник 22 октября. А стало быть, времени ему отпущено было очень мало — двадцать четыре года, четыре месяца и девять дней. Да разве это возраст? Хотите знать, почему я начинаю свою историю с недомолвок и околичностей? Поясню. Мое оправдание вот в чем — я боюсь. Боюсь, что вы не захотите это прочесть. Пусть история моя коротка, но она весьма печальна. А вы сейчас полны радости, вы торжествуете победу, озарившую землю Египта. Вам дано изведать счастье, которого не знали ваши деды и которого не увидят внуки. Ну как, согласны вы дочитать до конца мою историю? Ладно, вот вам картина: я сижу в кузове автомашины, выкрашенной в черный цвет, но в ярких лучах солнца она кажется серой. На желтой, как песок пустыни, табличке написан номер, под ним одно лишь слово — «армия». Передо мной стоит деревянный гроб, в гробу — Мысри. В кабине кроме водителя-солдата больной унтер-офицер, а между ними раненый солдат — мы подобрали его на дороге. Позади нас город Суэц. Мы направляемся в Каир, везем туда тело Мысри. Наша задача — сдать тело и получить на главном военном складе груз медикаментов. Глаза мои не видят ничего, кроме гроба, я все время стараюсь удержать его на месте, чтобы он не съезжал в сторону при каждом повороте и толчке машины. Прямо передо мной маленькое окошечко, за ним виден лишь кусок дороги, и я могу определять скорость грузовика. Мелькают придорожные столбы, и я стараюсь угадать: далеко ли еще до Каира. На плече у меня висит маленький транзистор, но из него слышится лишь хрипение. Правда, временами прорывается голос диктора, который тут же, при очередном повороте машины, превращается в неясное бормотание.

Мысри погиб вчера утром. Мне до сих пор кажется, будто он просто в глубоком обмороке и я ощущаю живое тепло, которое сквозь щели деревянного гроба исходит от его тела. Когда мы несли Мысри, чтобы положить его в гроб, тело было еще теплым; мне все чудилось: сердце его бьется и кровь бежит по жилам. Я думал: просто от всего пережитого он потерял сознание, но вот-вот очнется. Я и сейчас не верю и не поверю никогда, что Мысри погиб, хоть мертвое тело его у меня перед глазами. Смерть в бою — особая смерть, за последние дни я видел ее сотни раз. С Мысри не то, я не могу представить его себе мертвым, даже если этот гроб будет оставаться передо мной долгие месяцы. Время тянется тяжко и медленно. Мне хочется заговорить с Мысри, но гроб заколочен и нем. Я вспомнил о моем транзисторе, стал крутить регулятор настройки, пытаясь поймать хоть чей-нибудь голос. Грузовик как раз миновал поворот и ехал

теперь в другую сторону. Речь диктора слышалась ясно, она звучала торжественно и сурово:

— Канцелярия президента республики выпустила воззвание к нации, где сообщается, что Египет согласен с решением Совета безопасности о прекращении огня, принятым вчера на утреннем заседании. На вчерашнем вечернем заседании Совет безопасности, по предложению Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, принял еще одну резолюцию, которая предусматривает продолжение дискуссии об обстановке на Ближнем Востоке.

Грузовик снова повернул, и голос диктора пропал. Я глядел на гроб, он стоял недвижно, несмотря на тряску. Может быть, Мысри, подумал я, тоже вслушивается в слова диктора, стараясь уловить и осознать их смысл. В общем-то, понять все сказанное нетрудно. Гроб снова качнулся. Мне показалось, что Мысри все понял, разгадал, и покачивания гроба означают несогласие с тем, что сказано было по радио. Но, может, я ошибся, и покачивания эти следует понимать как желание высказать нечто недосказанное, унесенное с собой за последнюю черту, туда, где время уже не существует. Знаю, все это лишь игра воображения человека, пораженного крайней усталостью. И усталость эта не покидала меня, пока я не начал писать. Люди считают, что утомление проходит, стоит лишь человеку отдохнуть. Но мне не в силах помочь никакой отдых, усталость словно поселилась во мне. Истомленное сердце болезненно, надрывно стучит, рвется прочь из груди. Да, я должен писать, другого выхода у меня нет. Надо во что бы то ни стало освободиться от тайны, которую я ношу в себе, — тайны, затмившей все, что я видел и знал прежде. Важнее ее нет ничего в моей жизни, и напрасны бы были попытки с чем-то ее сравнить. Да и найдется ли в мире нечто подобное истории Мысри? Не думаю. Вот об этом я и буду писать. Ибо говорить о чем-то другом — значило бы предать Мысри и впасть в убийственную ошибку отрицания всеобщей связи между явлениями Нет, все взаимосвязано. Пускай поведу я речь только о Мысри, вы сами убедитесь, как все сплелось в тугой узел и бессмысленно даже пытаться отделить одно от другого.

Я начну с того далекого дня, когда мы познакомились с Мысри, со дня его прибытия в нашу часть. Не забуду, как в первый раз услышал я его голос. Именно голос, по-моему, создает первое впечатление о человеке. Голос Мысри звучал робко, в нем слышался крик души, мольба о помощи и участии. Уловив это, я взглянул на Мысри — глаза его тоже лучились каким-то особым теплом. Да, кстати, я совсем позабыл о правилах приличия, до сих пор не назвал себя. Дело в том, что в нашем рассказе нет автора, который обычно берет на себя обязанность представлять своих персонажей. Придется мне сделать это самому. Я — друг Мысри. Волею обстоятельств я сделался самым близким ему человеком. Ведь именно обстоятельства вершат судьбами людей, сталкивают их, сближают, а иногда и связывают неразрывно помимо их воли. Сейчас я задаю себе вопрос: что заставило меня так тесно сойтись с Мысри? Почему я принял так близко к сердцу его дела? И каким образом стал участником этой печальной истории? Не знаю, что и ответить. Во всяком случае никакой явной причины тут нет, хотя вроде и существует множество причин. Скажем, первая встреча и первое впечатление. Вечером того далекого дня, когда в нашу часть прибыло пополнение, я был дежурным по части и в мои обязанности входило принять новобранцев. Процедура известная, вопросы стандартные: имя, образование, дата призыва, дата прибытия в часть, место жительства, гражданская специальность, место работы до мобилизации, военная специальность. Новеньких было немного, всего восемь человек. Дежурный сержант отвел их в палатку, где они могли сложить свои вещи и отдохнуть с дороги. Прибыли они после десяти утра, поверка и назначения караульных и дневальных уже прошли. Спустя какое-то время новобранцы попросили разрешения ненадолго выйти из расположения части купить себе еды в лавочках неподалеку. Дежурный сержант отпустил их на час. Вернулись они без опозданий. Вид у всех был усталый, как обычно у новобранцев в день прибытия. Сержант, как положено, привел их ко мне для регистрации. Они выстроились в шеренгу и по очереди подходили ко мне со своими документами. Семеро, как выяснилось, получили подготовку санитаров, а один — брата милосердия. Я обратил внимание на его — воспользуюсь военным словечком — нестроевой вид. В нем не чувствовалось ни малейшей собранности, подтянутости. На погонах я не увидел лычек, хотя было ясно — он старший группы. Точно так же было ясно, что своему старшинству он вовсе не рад. Наверно, подумал я, следует сделать ему замечание о несоответствии его внешнего вида возложенным на него обязанностям, но

слова так и не сошли с моего языка. Что-то помешало мне их произнести, пожалуй, доброта, которая ощущалась в нем, и затаившиеся в глубине глаз смятение и тревога. Он показался мне слабым, нуждающимся в помощи существом, скорее всего глубоко несчастным человеком. Лицо типичного египтянина, смуглое, цвета нильского ила. Я стал записывать адреса. Старший предпочел быть последним, что тоже выглядело странно, он должен был бы назваться первым и представиться всем. Когда подошла его очередь, он стал передо мной навытяжку. Не разобрав его имени на протянутом мне документе, я спросил:

— Твое имя?

— . . . . . .

Он не назвал ни имени своего отца, ни фамилии, и мне пришлось переспросить еще раз. В документах значилось, что он окончил школу второй ступени в одной из деревень Дельты. В армию призван в александрийском округе. Оттуда направлен в Хильмийят аз-Зейтун, где получил назначение в медсанчасть. Прошел соответствующее обучение и теперь переведен в один из каирских военных госпиталей, я тоже там когда-то служил. В Каире у него не было постоянного места жительства, и он продиктовал мне адрес родных в деревне. Род занятий до призыва на военную службу — учащийся. Тут у меня возник первый вопрос: если он учащийся, то почему же его призвали? Я хотел спросить, почему он не воспользовался правом на отсрочку, но из-за спешки махнул рукой, не спросил. Быстро заполнил остальные графы, а когда задал ему вопрос о братьях и сестрах, он ответил, что у него пять сестер. Я положил перо и воскликнул:

— Как же так? Ведь ты по закону не подлежишь призыву!

Но тут он спохватился, хлопнул себя рукой по лбу и воскликнул:

— Ох, совсем забыл!

Объяснил: у него, мол, много братьев, он — самый младший. Семья, пробормотал он, большая, трудно все объяснить, поневоле запутаешься, тем более раньше ему никогда не приходилось отвечать на такие вопросы. Сам я человек городской, и все, связанное с деревней, воспринимаю как своего рода экзотику. И этот молодой феллах из неведомой деревни показался мне целым миром — непонятным и загадочным. Странно, конечно, что он, учащийся, попал в армию и не помнит всех своих братьев. Он стал объяснять, что учился заочно и поэтому не имел права на отсрочку. Говорил он как-то неуверенно, и объяснение это меня не удовлетворило. Тон его, да и вся манера держаться наводили на мысль: нет, за этим кроется какая-то тайна. Зародившийся во мне интерес стал как бы мостиком к нашему сближению. Мы оба ощутили потребность быть откровенными друг с другом. У сердца свои резоны, недоступные разуму, человеку свойственно искать себе друга, которому он мог бы открыть душу. Юноша этот, почувствовал я, страдает, ибо вынужден что-то скрывать, и ищет надежного человека, чтобы доверить ему свою тайну. Обычно когда я ощущаю в другом такую потребность,— независимо от того, чем хочет он поделиться,— я готов полюбить его. Он, как я понял по многим приметам, назвался чужим именем и данные, записанные в анкете,— не его. Единственное, что он знал твердо,— дату своего рождения.

На утренней поверке дежурный офицер выкликает всех по именам, и каждый, услышав свое имя, должен сделать шаг вперед. Все мы заметили, что, когда называли его имя, записанное в документах, он не откликался, приходилось повторять его по нескольку раз. Однажды дежурный чуть не зачислил его в отсутствующие; хорошо, стоявший рядом солдат толкнул его в бок. Офицер приказал ему быть повнимательней и насмешливо спросил:

— Ты что, своего имени не знаешь? Прочисти уши!

Но в следующие дни повторялась та же история — он не откликался. Я единственный обратил внимание на эту странность. Ведь он не дурак. Я-то знаю, как он умен и сообразителен, какая у него быстрая реакция. Через неделю командир части приказал ему показаться врачам, и те нашли, что со слухом у него все в порядке. Дело, стало быть, не в ушах. Так в чем же? Поверьте, я чувствовал, что он живет какой-то странной жизнью — в строю шагает невпопад, говорит заученными, чужими словами. Но взгляд, чувства, душевная тонкость — все это было его собственное. Не знаю даже, как все это выразить. Однажды вечером мы разговорились, и он долго толковал о тех, кто ложится спать голодным и едва сводит концы с концами. Эти его слова удивили меня: ведь по документам он числился сыном омды, а омды, как известно, люди богатые. Я выказал свое недоумение — с какой стати он так переживает за бедных и несчастных? Он с горячностью воскликнул:

— Да я один из...

И умолк на полуслове. А я не задал ему вопроса, вертевшегося у меня на языке. Несмотря на прохладу тихого осеннего дня, лицо его вдруг покрылось потом. Нет, я так и не спросил, почему он, сын омды, утверждает, что вышел из бедняков. Однажды ночью мы были в карауле. В четыре часа утра, когда я пришел снять его с поста, он показался мне необычно возбужденным. Вручил мне винтовку с полагающимися к ней десятью патронами и, направясь к своей палатке, сказал:

— Только этой ночью я понял, что испытал мой отец за долгие годы.

— Твой отец?

Он смешался, но все же ответил:

— Ведь он сторож.

Я едва сдержался. Сделал вид, будто не произошло ничего особенного, хотя понял: здесь явно какой-то из ряда вон выходящий случай. Что за всем этим скрывается? Следующие дни были трудными, как предродовые муки. Мы много разговаривали, но избегали говорить о главном. Он, по всему судя, устал носить в себе тяжкую, как чугун, и холодную, как сталь, тайну. Но я не хотел вызывать его на откровенность, вынуждать делиться со мной. У всех людей есть свои тайны, думал я, и он вправе хранить их про себя. Я сейчас и не вспомню, когда именно под напором страдания рухнули преграды в его душе. У нас имелись инструкции, которым мы были обязаны строго следовать, но, считая их формальностью, никогда не выполняли. Речь идет о вручении всем новобранцам металлических жетонов и заполнении заявлений о том, кому должны быть вручены денежные накопления в случае гибели солдата. Вскоре был получен приказ проверить наличие металлических жетонов у всех служащих части, а также заполнить бланки финансовых распоряжений и переслать их в соответствующую инстанцию. Наверно, все решил момент, когда Мысри получил жетон. Он долго разглядывал его, вертел в руках, а потом спросил у офицера, каково его назначение. На жетоне, пояснил офицер, выбито имя его владельца, номер воинского билета и группа крови. Его носят на груди на металлической цепочке, и он остается целым, что бы ни случилось с его владельцем. Металлический жетон — единственное, по чему опознают личность погибшего на поле брани, даже если его разорвет на куски. Жетон — свидетель того, что носивший его был героем.

Потом Мысри вручили бланк, на котором значилось, что нижеподписавшийся поручает командованию вооруженных сил в случае его гибели выплатить все причитающиеся ему денежные суммы такому-то; здесь надо было указать имя получателя, степень родства, адрес и номер ближайшего почтового отделения. Подпись распорядителя заверялась командиром воинской части и скреплялась печатью. Документ этот хранился в личном деле военнослужащего и становился после его смерти единственным основанием для финансовых и других расчетов. Ко всеобщему удивлению, Мысри отказался заполнить бланк. Вернее, он оставил незаполненной графу, где следовало проставить имя и степень родства. Но свое имя вписал и подпись поставил. Когда офицер поинтересовался, в чем дело, он отказался дать объяснения. Офицер сказал:

— В таком случае напиши хотя бы степень родства: мать, отец, сестра, например.

Но и от этого он отказался. А через два дня решил, что напишет всего два слова: законным наследникам.

Так и написал. И хотя от него требовали точности, заявил: этого достаточно, таково, мол, наилучшее решение. Все сочли его поступок следствием каких-то семейных распрей и полагали: все равно, хорошенько подумав, он укажет потом точное имя.

В тот день, когда происходила раздача бланков, чаша терпения его, как говорится, переполнилась. В полдень он пришел ко мне и сказал, что хочет поговорить о важном деле. Мы договорились встретиться после вечерней поверки и спуска флага и посидеть где-нибудь. Но вечером он куда-то скрылся, и я безуспешно пытался его разыскать. Мы встретились случайно на следующий вечер. Он спросил меня, отосланы ли уже из части финансовые распоряжения. Этого я не знал. Второй его вопрос показался мне странным: он спросил, имеет ли право изменить написанное. Увы, я и тут был не в курсе дела, поскольку мы привыкли смотреть на такого рода процедуры как на простую формальность. Нужно, высказал я предположение, аннулировать старый бланк и заполнить новый, потом заверить его по всей форме, а это не так уж просто.

Разъясняя, как надлежит действовать в подобных случаях, я не сразу заметил, что он старательно роется в кармане, словно пытаясь извлечь нечто глубоко запрятанное. Сперва он достал воинское удостоверение, затем вынул из него сложенный

вчетверо листок бумаги, тщательно разгладил его дрожащими руками и, тревожно блестя глазами, протянул мне. Ничего не понимая, я удивленно взглянул на него. Он указал глазами на листок, предлагая прочесть написанное, не задавая пока никаких вопросов. Это была копия документа. В верхнем углу значилось: министерство просвещения. Чуть пониже: Управление заочного обучения и адрес в Каире. Документ свидетельствовал о том, что владелец его получил аттестат об окончании школы второй ступени. Набранная им на экзаменах сумма баллов — более девяноста из ста. Общая оценка успеваемости — «очень хорошо». Я был всецело поглощен чтением. Мой собеседник легонько ударил меня по руке и молча указал пальцем — такие пальцы бывают лишь у земледельца-феллаха — на имя владельца аттестата. Я прочел:

— Мысри.

Палец переместился еще ниже, к фотографии. На ней я увидел лицо стоявшего передо мной человека. Правда, я не сразу понял, в чем дело. Я просто сперва уловил какое-то сходство в чертах лица. Потом решил, что у моего собеседника два имени: официальное и другое, указанное в аттестате,— обиходное, и он хочет подтвердить этот факт документально, чтобы иметь право проставить второе имя в финансовом распоряжении. Но весь этот ворох предположений, связанный с административными функциями, которые я выполнял в части, мгновенно улетучился после единственного произнесенного им слова:

— Я.

Он указал пальцем на приклеенную к аттестату фотографию деревенского юнца с тонкой полоской усов и слегка растрепанными волосами, при галстуке, утратившем форму от частого употребления. Галстук этот владелец фотоателье выдает всем приходящим к нему сфотографироваться на официальный документ; среди школяров, которым фотокарточки нужны для экзаменационной анкеты, бытует даже поверье, будто старый этот галстук приносит счастье. Пиджак и рубашка — собственность ученика побогаче, какого-нибудь сына омды, и он одалживает их всем нуждающимся. Это своего рода декорация. Палец медленно двинулся вниз, с силой надавливая на бумагу, словно пытаясь стереть напечатанные на ней слова. Дойдя до имени, он остановился у начальной буквы «мим», с которой начинается Мысри. Мой собеседник поднял на меня глаза и медленно произнес:

— А это мое имя.

И опять я не понял. Истинный смысл происходящего с трудом доходил до моего сознания. Пытаясь как-то разрядить напряжение, я засмеялся и спросил:

— Так в чем же все-таки дело?

Он смотрел вдаль, и вечерние огни отражались в его зрачках.

— В чем дело? В чем дело? О-о-о...

Он несколько раз повторил эту фразу и лишь потом начал рассказывать — сбивчиво и путано — обо всем, начиная с того дня, когда отец сообщил ему о предложении омды. Постепенно он воодушевлялся, черпая вдохновение в собственной истории. Черты лица его прояснялись, по мере того как события впервые выстраивались в его памяти в стройную цепь. Раньше ему редко приходилось разговаривать с кем-нибудь. Собственный голос опьянял его. Повествование облегчало его душу. Глаза широко раскрылись, словно он вдруг увидел жизнь в каком-то ином свете. Он сетовал, что не смог завершить образование и остановился на полдороге. Рассказывал, как перешептывались люди, когда он проходил по улицам деревни; вспоминал тот страшный день, когда отец открылся ему. Я слушал с ужасом, почти не веря его словам. Да, я ожидал всего что угодно, но только не того, о чем поведал Мысри. Впервые тогда я назвал юношу его собственным именем. Это было нелегко, ведь образ его уже был связан в моем сознании с другим именем, под которым я знал его с первого дня знакомства. Выслушав печальную историю Мысри, я засыпал его вопросами. Сперва решил было отложить их на потом, но понял: в душе у него накопилось столько горечи, что надо ей дать излиться немедленно. И я задал вопрос, который молотом стучал у меня в висках:

— Но почему ты согласился?

— У меня не было другого выхода,— отвечал он спокойно и грустно.

Ответ его меня не убедил. Он ищет, решил я, оправдания в собственных, да и в моих глазах поступку, оправдания, в которое сам не верит и в душе все еще сомневается. Но Мысри продолжал свой рассказ. Я не должен думать, сказал он, будто ему заплатили солидное вознаграждение. О деньгах он и не помышлял по очень простой причине — ни у него, ни у его семьи не было выбора.

— Мне было ясно: добровольно или против воли нам придется вернуть землю омде. Да, мы ходили по начальству, спрашивали, как же нам жить без земли. Нам отвечали: вопрос не в этом. Сначала верните землю, потом можете обращаться в суд. Правосудие открыто для всех, ведь Египет вступил наконец в эру справедливости. Но я знаю — все это обман: вопрос о земле не столько юридический, сколько политический. Когда мы говорили об этом с другими крестьянами, мнения разделились. Одни решили отдать землю и обратиться в суд. Другие стояли на том, что не отдадут землю, даже если им придется залить ее своей кровью, они, мол, готовы воевать и с правительством. Третьи поддались уговорам омды. В том числе и мой отец. Тут-то и возникла история с призывом в армию, и омда сказал отцу: если твой сын пойдет в солдаты, земля останется за тобой. Отец согласился, да и все в доме радовались такому повороту событий. Я сперва отказался наотрез, не хотел даже говорить об этом. Но родные смотрели на меня такими глазами, что я понял: от меня ждут жертвы. Да им это вовсе и не казалось жертвой — просто решением проблемы. Тогда я решил: отъезд из деревни для меня тоже выход. Кто знает, не найду ли я здесь свое будущее? Поверь, мне и раньше приходила в голову мысль пойти в армию добровольцем. А в газете — ее купил один из моих приятелей — я прочел объявление о том, что вооруженным силам требуются добровольцы и что им будут предоставлены значительные льготы. Я подумал, подумал и согласился. Дальше уже ничего не помню, не знаю даже, как добрался до Александрии. Оттуда меня направили в Хильмийят аз-Зейтун, и вот я здесь...

Прежде чем излагать дальше эту историю, я должен остановиться на одном вопросе, а именно: показать вам образ мыслей Мысри, как он, собственно, понимал мир. Мысри был немногословен, но стоило ему разговориться, он либо выражал непреклонную жажду мести, либо предавался мрачному отчаянию: он, мол, погиб, пропал. Я часто слышал от него эти слова, словно опаленные жгучей безысходностью. Они обжигали и меня; но, увы, я бессилен описать вам те чувства, которые я при этом испытывал. В такие минуты мне чудилось, будто и я — так или иначе — виновен во всем, что случилось с Мысри. Мысри жил не умом, а сердцем. В натуре его, как у всякого египтянина, переплелись жизнелюбие и умеренность, смелость и застенчивость, мужество и робость, показная покорность и скрытое бунтарство. Долго искал я словцо, которым можно было бы определить его характер, и наконец нашел — усомнившийся. Усомнившийся, неуверенный в себе юноша; впрочем, Мысри остался б таким же, доживи он и до девяноста лет. Я при этом не имею в виду его отношение к женщинам. Уверен: в его недолгой жизни не было женщин. Узнав его историю, я вопрошал себя: а стало бы Мысри легче, повстречай он на своем пути то, о чем люди твердят двадцать четыре часа в сутки и что они именуют любовью? Не знаю. Его неуверенность проистекала от вечных сомнений. Он воспринимал мир непосредственно, руководясь не разумом, а чувством, и, столкнувшись с реальностью, утратил всякую веру. Вы спросите: не явилось ли это причиной того, что с ним произошло? Тут я вам не могу дать ответ, ведь я не знаю, каким был Мысри до армии. Все оценки мои основаны скорее на догадках. Да, Мысри здорово не повезло. У каждого поколения египтян своя судьба. Судьба нашего поколения определялась тем,— не знаю, говорить ли все до конца? — что желания наши намного превышали возможности. Мы занесли ногу, ступили было, но под ней оказалась пустота. Тогда мы подняли головы, надеясь дотянуться до облаков, но небо над нами вдруг исчезло. И в тот самый момент, когда мы уже почти нащупали истину, лидер трагически ушел от нас, а ведь именно тогда он был особенно нам необходим. Слова эти сами собой вышли из-под моего пера. Будь у меня время на раздумья, я, пожалуй, никогда не написал бы их. Но я пишу в состоянии нервного напряжения, любое воспоминание о Мысри кидает меня в дрожь. Но нет, я не вычеркну своих слов о том, что Мысри не повезло, и об особенной неповторимой судьбе каждого поколения, раз уж они написаны черным по белому.

Вернемся к Мысри. Вся жизнь его была сплошным страданием. Однако я вовсе не намерен приписывать все, что с ним случилось, судьбе, року или приметам, начертанным якобы на нашем челе. Нет, все куда сложнее. Помню, приехав в его деревню, я нашел объяснение в огромной дистанции между белой громадой дворца омды, сияющей даже во мраке ночи, и жалкой лачугой, в которой ютились родные Мысри,— ее и домом-то не назовешь. Я нашел объяснение в различии между омдой, напоминающим великана слона, и отцом Мысри, схожим со скелетом, обтянутым кожей. Но я все топчусь на месте, не будучи в силах толком ответить на вопрос: почему же Мысри

пошел на войну? Не искал ли он достойной смерти? Но ведь у него была тысяча других возможностей встретить ее — хотя бы встать на защиту отцовской земли. Я не хочу распространяться здесь о родине, о патриотизме. Все мы любим Египет, но каждый по-своему. Да и какой Египет мы любим? Египет тех, кто вынужден умирать с голоду, или Египет тех, кто с жиру бесится? Но я перехватил у Мысри слово, обещав все разъяснить вам, а сам запутался, разболтался. Пускай же теперь Мысри продолжит рассказ...

Я пошел в армию вместо сына омды ради моих родных. Они настаивали на этом. И я пошел. Но как ни странно, обещанной за меня платы они так и не получили. Мы уступили нажиму, а уступив однажды, уже невозможно остановиться. Как-то во время отпуска я съездил в деревню. Всем, кто встречался мне, я говорил: да, я пошел в армию добровольно, поняв, что образования мне все равно не получить. Люди одобряли мое решение, называли его разумным и достойным. Советовали поступить в вечернюю школу, которые имеются в вооруженных силах, а получив среднее образование, идти в университет или в один из военных колледжей. Тогда уж передо мной откроются все пути. В деревне же я узнал: после моего отъезда омда стал тянуть с выполнением обещанного и не отдал отцу землю, отнятую у него на основании нового закона. Потом выделил отцу небольшой клочок, который отец должен обрабатывать на условиях издольщины, но даже и это несправедливое соглашение не пожелал никак оформить. Я возмущался поведением омды, собрался было идти к нему, но отец меня не пускал; в конце концов, сказал он, дело решится, а мое вмешательство может все испортить. И все же я пошел бы к омде, но он был в отъезде и до конца моего отпуска так и не вернулся в деревню.

— Я должен довести дело до конца,— твердо сказал Мысри.

Я спросил, что он думает предпринять, наверно, решил давить на омду, пока тот не выполнит своих обещаний? Но этот путь он решительно отверг, заявив, что ему и так стыдно смотреть в глаза землякам после того, как отец не выступил вместе со всеми против омды, откололся от них. Правда, другие тоже ничего не добились. Их главная ошибка заключалась в том, что они отдали землю омде и лишь потом обратились в суд. В результате дело утратило всякий политический характер, превратившись в одну из тысяч тяжб, которые годами копятся в судах. Пусть мне будет стыдно за отца, продолжал Мысри, но здесь есть один-единственный выход: раскрыть все дело.

— Каким образом?! — с удивлением воскликнул я.

— Добьюсь приема у командира части и расскажу ему все от начала до конца.

— Но ведь и ты понесешь наказание как соучастник.

— Согласен, иначе я не буду знать покоя.

— А что будет с семьей?

— Ничего, с голоду не умрем. Буду заботиться о них до самой своей смерти.

— А ты не боишься омды, ведь он способен на все!

— Горя бояться — счастья не видать. Я теперь никого не боюсь.

Долго говорили мы с ним. Потом я заметил: Мысри вроде засмущался, решил, наверно, что отнял у меня слишком много времени. Он стал поглядывать на часы, полночь была уже позади. Дело, как я говорил вам, было в рамадан [1]. А по ночам в рамадан я предпочитаю не ложиться до сухура [2], когда нас выстраивают на поверку. Не то перебьешь сон и потом уже не уснешь. Я объяснил это Мысри, но он, наверно, решил, будто я говорю это просто из любезности, и пришлось мне поклясться, что я — и не разговорись мы с ним — все равно бы не лег спать. Так уж у нас, горожан, повелось в дни рамадана.

Честно скажу, я был рад, что у нас наконец с Мысри состоялся этот разговор. И я получил ответы на многие мучившие меня вопросы. Я одобрял его решимость раскрыть все дело. Слушая его рассказ о том, как он вынужден был согласиться на предложение омды, я почувствовал горькое разочарование, словно лишился друга, которого успел полюбить. Но едва он заявил с гордостью, что никого и ничего не боится, я понял, что вновь обрел его, и решил: буду с ним рядом до конца.

Мысри прервал мои размышления, сказав:

---

[1] Мусульманский месяц поста.

[2] Время утренней трапезы в рамадан, до появления первых лучей солнца.

— Вообрази, что случилось бы, погибни я на войне. В каком положении окажется моя семья? И кто извлечет выгоду из моей смерти?

— Оставь эти мысли, не думай о том, что может произойти завтра или через несколько дней. Радуйся лучше — ведь нам так хорошо сегодня вдвоем. И пойми: это прекрасно, что нынешней ночью ты открыл себе самого себя. Не знаю даже, поздравлять ли тебя с таким открытием, ведь стоит человеку познать себя, и перед ним встают сотни проблем.

— Ну, это меня не волнует, я справлюсь с любой проблемой.

Я, сказал он, должен поздравить его с великим событием этой ночи — возрождением прежнего Мысри, который немедленно даст о себе знать.

— Поздравляю...— засмеялся я.

И запнулся — так непривычно было произносить его новое, вернее, его настоящее имя. Он договорил за меня:

— Скажи, поздравляю, Мысри.

Мы договорились, что завтра с утра начнем действовать. На утренней поверке он официально доложит обо всем дежурному офицеру, попросит направить его с рапортом к командиру части и удостоверится, что это занесено в журнал караульной службы.

На утренней поверке Мысри поднял руку и сказал, что просит направить его с рапортом к командиру. По какому вопросу? — спросил дежурный офицер. Дело это, ответил Мысри, личного характера, и он не может говорить об этом публично перед строем. Как ни настаивал офицер, Мысри не согласился добавить что-либо к сказанному. Офицер обещал занести все в журнал караульной службы и доложить командиру части.

После поверки Мысри не знал, куда девать себя, все валилось у него из рук. Я хотел было выйти с ним из расположения части и посидеть в какой-нибудь кофейне, но продолжался рамадан, и мы оба постились. У меня были кое-какие дела, но я, видя состояние Мысри, решил не отпускать его от себя. Нервы его, в ожидании предстоящего разговора, были натянуты как струна. Было десять часов утра. Доклад командиру части назначен на двенадцать. Но вскоре мы узнали, что командира части вызвали на срочное совещание в штаб округа, а потом он поедет в военно-медицинское управление. Никто не знал, вернется ли он после этого в часть или отправится домой. Трудно описать отчаяние, охватившее Мысри, он был вне себя. Полно, успокаивал я его, один день ничего не решает, стоит ли так переживать и нервничать. Сегодня среда. Если командир не вернется в четверг, то уж в субботу обязательно будет тут. Но Мысри не унимался. Потом лишь я понял у Мысри редкой силы интуиция. В два часа дня командир еще не вернулся, и я решил, что все откладывается на завтра. Но в шесть часов вечера вдруг появились все офицеры во главе с командиром части. Тут уж каждый почувствовал: предстоит нечто из ряда вон выходящее. Командный состав части немедленно был созван на совещание, и вскоре мы узнали: объявлена боевая готовность. Отпуска отменяются, весь личный состав должен находиться в расположении части, увольнения не разрешаются ни под каким предлогом. Эти меры не очень-то нас удивили. Было известно, что состоялся призыв резервистов и они должны прибыть в часть. Время от времени резервистов призывали для прохождения военной подготовки. Но на этот раз они прибыли с полным боевым снаряжением. Затем последовал приказ подготовить госпиталь к немедленной отправке на фронт. И все же Мысри настоял, чтобы командир его принял. Разговор их длился лишь несколько минут. Мысри вышел из кабинета командира со счастливым видом. Ничего не сказав мне, он направился в свою палатку и стал укладывать вещи. На вопросы мои не отвечал. Мне пришлось хорошенько встряхнуть его, тут он наконец обратил на меня внимание.

— Что произошло в кабинете командира?

— Я еду на фронт.

— Но все же, как прошел разговор?

— Да никак. Я не стал ничего ему рассказывать, а попросил отправить меня как можно скорее на фронт.

— Ну а твое дело?

— Какой может быть разговор о своих делах, когда начинается война.

— Кто тебе сказал про войну?

— Я чувствую это.

— Да ведь боевая готовность объявлялась не раз, а никакой войны не было.

— Нет, этот случай особый.

— И все-таки как же твое дело?

— Любое дело можно отложить на неделю, на месяцы, даже на годы, но откладывать освобождение наших земель больше нельзя.— Немного подумав, он добавил: — Вот выполним первую часть нашей священной миссии — освободим земли, вернемся, а там уж решим и наши внутренние проблемы. Это будет вторая часть нашей миссии.

— Значит, ты ни словом не обмолвился о своем деле?

— Нет, не время сейчас.

— Если тебе неловко — хочешь, я возьму это на себя?

Но Мысри отказался. В обычное время, сказал он, между ним и сыном омды тысячи различий, но теперь все стали равны. Имена, положение, обличье утратили всякое значение. Участие в освобождении египетской земли — это великая честь, неважно, под каким именем и в каком качестве. То же самое сказал он и командиру части, добавив, что только на фронте сможет вернуть себе утраченное самоуважение.

Вспоминая об этом, я думаю: неужели Мысри искал смерти? Чего желал он, уезжая на фронт, сражаться или погибнуть? Не потерпел ли он поражение еще до встречи с врагом, в битве с самим собою? Я не могу ответить на эти вопросы, но я пишу, и мне кажется, будто в жилы мои вливается кровь другого человека, ставшего мне особенно близким, роднее единокровного брата. Мысри больше нет. Слова эти я слышал от него не раз, когда он был еще жив. Увы, единственное, что я могу сделать для него — рассказать о нем и оплакать его смерть. Но много ли в том толку! Умерший уходит из жизни, а все остальные, даже самые близкие ему люди, продолжают жить. Так в чем же его вина? А я — в чем я виноват? Его история лишний раз убедила меня только в одном: нет в нашем мире справедливости. Если мы, люди, и вправду уважаем свое человеческое достоинство, наш долг — требовать у бога справедливости. А если он откажет, придется искать себе другого бога. Но справедливость имеет один-единственный смысл: дать права и силу бесправным. Прошу вас, не спрашивайте меня: а ты, что ты сделал, чтобы помочь Мысри? И почему перекладываешь ответственность на небесного владыку? Зачем окутывать эту историю метафизическим туманом и превращать ее чуть ли не в легенду? Где твоя вера в мощь человека, в его способность быть создателем и вершителем своей судьбы? Но вернемся лучше к Мысри. Его настойчивое желание скорее попасть на фронт удивило меня. Я пытался отговорить его, но он не желал и слушать, продолжая укладывать вещи. Я не мог понять его поведения. Согласно полученному нами приказу, на фронт отправлялся лишь определенный контингент людей, Мысри в него не входил. У каждого служащего в нашей военно-медицинской части своя специализация. От нас требовали санитаров, рентгенологов, лаборантов и поваров для полевых кухонь. Мысри же был братом милосердия. Они в приказе не значились, но он настоял на том, чтобы его включили в команду, отбывающую на фронт.

Таких людей, как Мысри, я раньше не встречал. Было известно: многие, особенно родственники высших военных чинов и прочих влиятельных лиц, всячески уклоняются от отправки на фронт. обрывают телефоны, добиваясь поблажек, да и сами влиятельные персоны названивают в часть и сладкими голосами уговаривают не отправлять их сыновей и зятьев на фронт, они ведь солдаты, а много ли проку сейчас от солдата в зоне Суэцкого канала! Ну и само собой, у этих солдат, отпрысков богатых семей, есть уважительные причины: один — владелец торговой фирмы, приносящий пользу стране, другой содержит семью. у третьего отец уехал по важным государственным делам за границу. Впрочем, какое это имеет значение — одним солдатом больше, одним меньше. Мысри оказался единственным в своем роде. Он так рвался на канал, словно был уверен, что там отыщет решение всех своих проблем или же смоет с себя в его водах коросту многолетнего терпения.

Наконец Мысри кончил укладывать вещи и подошел ко мне. Его словно прорвало, он заговорил с необыкновенным жаром. Сказал: мол, главная причина, по которой он согласился идти в армию вместо сына омды и не хочет сейчас поднимать этот вопрос, та, что в его поведении нет ничего зазорного: он не крадет, не наживается, а напротив — выполняет свой патриотический долг. Превыше всего он любит Египет. Единственная радость в его безотрадной жизни — это его имя. Он не знает, нарек ли отец его так умышленно или случайно, но он бесконечно благодарен отцу, ведь имя его

происходит от названия любимой страны[1]. Никогда еще я не видел Мысри в таком возбуждении — на разрумянившемся лице его блестели капли пота. Внутри его как бы рождался новый человек.

Перед самой отправкой Мысри спросили, не хочет ли он что-либо изменить в своих финансовых распоряжениях. Нет, заявил он, никаких изменений вносить не собирается. Потом Мысри отвел меня в сторону и предупредил: я единственный, кто знает его тайну, и если его не станет, мой долг — рассказать всю правду. При жизни его вечно преследовала несправедливость, и он не желает быть ее жертвой и после смерти. Теперь я выполняю свой долг. Но нет, я не намерен разжалобить вас рассказом о судьбе Мысри, вызвать у вас слезы сострадания. Я хочу вместе с вами подумать над тем, что же произошло. Не стану описывать моего прощания с Мысри, его отъезд среди ночи, не буду пересказывать слова, которыми мы обменялись напоследок.

На другой день в часть пришел приказ об отправке еще одной группы. Я попросился в нее — мне хотелось быть рядом с Мысри. Мы встретились, и я поразился происшедшей в нем перемене. Хотя он опередил меня всего на один день, мне показалось, будто прошли годы и юноша, изнемогавший под бременем своей тайны, превратился в бравого фронтовика. Он провел меня по расположению полевого госпиталя словно бы по родному дому. Времени было в обрез, и мы не успели толком поговорить. Я прибыл на фронт в пятницу, в полдень. Сутки спустя началась война. Едва закончилась переброска людей и снаряжения, мы начали рыть окопы и возводить укрепления из мешков с песком. Поставили палатки для командования, для операционной и других медслужб. Самая большая палатка предназначалась для раненых, ожидающих отправки в тыл. Была и еще одна — в ней, как сказали нам, разместится морг. Расчищая место для нее и вбивая колья, мы чувствовали, как сжимаются наши сердца.

После того как все наши объекты были замаскированы и вырыты укрытия для автомашин, мы установили походную кухню и поставили временные склады для медикаментов и боеприпасов — работа эта оказалась долгой и изнурительной. Потом мне еще предстояли кое-какие административные дела: подготовка журналов дежурств и караульной службы, проверка списков личного состава и прочей документации. Со всем этим тоже управиться было нелегко. Но мы, охваченные душевным подъемом, не чувствовали усталости. Вечером нам приказали лечь спать как можно раньше. Наш госпиталь не был стационарным, он назывался «полевой сортировочный госпиталь номер один». Название говорит само за себя: госпиталь наш расположится рядом с передовой и будет принимать раненых прямо с поля боя. Им окажут первую помощь тут же, на месте; легкораненые вернутся на передовую, другие останутся ждать отправки в тыл. Предусмотрены надлежащие меры и в отношении погибших.

Мы получили приказ направить группы, укомплектованные братьями милосердия и санитарами с носилками, в расположение наших передовых частей и поднять флаг с красным полумесяцем. По международным законам он должен охранять нас от обстрела во время боя. Начальник госпиталя выстроил санитарные группы, чтобы решить, какие из них отправятся на передовую линию. Она в то субботнее утро проходила по западному берегу Суэцкого канала. Построение началось в семь часов утра. Мысри стоял справа от меня. Одет он был в измятый, никогда не видевший утюга комбинезон. Думаю, ночью он клал его под циновку, на которой спал, чтоб хоть немного разгладить. Надо, объявил начальник, назначить людей для обслуживания боевых позиций. Мысри поднял правую руку и решительно произнес:

— Эфендим[2].

Не дожидаясь разрешения начальника, он сделал два шага вперед, встал перед строем и, отдав честь офицеру, заявил, что хочет первым отправиться на передовые позиции. Начальник, судя по выражению его лица, остался доволен. Ответив на приветствие Мысри, он приказал первым занести его имя в список. Я тоже хотел отправиться с Мысри на фронт, но мои административные обязанности требовали, чтобы я оставался в части. Комплектование групп быстро закончилось, Мысри был назначен командиром одной из них. Получив медикаменты, сухой паек, противогазы и фляжки с водой, фронтовые группы приготовились покинуть расположение госпиталя. Поговорить с Мысри мне не удалось. Последний раз я видел его помогающим товарищу нести носилки. Профиль Мысри четко выделялся на фоне песка пустыни. Он обер-

[1] Имя Мысри происходит от слова Мыср (Египет) и может быть переведено как «египтянин».

[2] Здесь — обращение к вышестоящему.

нулся к нам, и я заметил, что лицо его лоснится от пота. Их группа медленно двинулась на восток. Мысри шагал быстрее всех, мне показалось, что тело его устремлено вперед и даже изогнулось от напряжения, как туго натянутый лук. Мог ли я знать, что в последний раз вижу его на ногах?

Он отсутствовал пятнадцать дней. Согласно установленному порядку, люди, работавшие на передовой, регулярно сменялись. Но товарищи Мысри вернулись без него, то же произошло и в следующую смену; он оставался там, где было труднее всего. Потом поведение Мысри стало широко известно как пример редкого мужества. Нет, его не описать обычными словами — они кажутся вялыми, тусклыми, неспособными передать истинную суть вещей.

Наступило воскресенье, двадцать первое октября. До окончания рамадана оставалось десять дней. Луна восходила на небе лишь к концу ночи. Говорили, что на один из последних дней рамадана падает ночь судьбы и уж кто-кто, а солдаты, стоящие ночью в карауле, не пропустят ее. И именно в эту ночь, незадолго до полуночи, привезли Мысри. Он вернулся на носилках, принадлежавших его группе, раненный осколками снаряда в шею, живот и правую ногу с переломом кости. Доставившие его санитары рассказали: уже будучи раненным. Мысри продолжал оказывать помощь другим, пока, потеряв сознание, не рухнул наземь. Он потерял очень много крови, одна из ран успела нагноиться. Когда его принесли, я бросил работу и не отходил от входа в палатку, где им занимались врачи. По их лицам я понял, что он безнадежен. Но начальник госпиталя приказал сделать все возможное, чтобы спасти его. Мысри — я сидел возле него — в бреду всячески заклинал и молил меня обязательно съездить к его родным, помочь им добиться правды. Ведь я знаю, он сражался и погиб как Мысри, а не как сын омды, это надо доказать во что бы то ни стало. Пусть гибель его станет для родных залогом лучшего будущего. Нет, я не мог поверить, что Мысри умрет, кто, как не он, был создан для жизни. Сумей мы направить его в стационарный, базовый госпиталь, может, он и остался бы жив. Мысри бредил всю ночь. Наутро я получил распоряжение ехать в Каир, на центральный склад за медикаментами. Я хотел остаться возле Мысри, но ослушаться приказа не мог. Нам нужна была крытая машина. Оказалось, самая подходящая для нашей цели машина та, в которой перевозили тела погибших. Ее большой кузов с крытым верхом запирался, и в него очень удобно было грузить коробки с медикаментами. В то время как я оформлял документы, накладные и пропуска, зазвонил телефон, соединявший нас с командованием зоны Дежурный поднял трубку и услышал распоряжение прекратить огонь начиная с 18.45 сего дня. Не успели мы прийти в себя от этого странного приказа, как кто-то сообщил мне: Мысри умирает. Я опрометью бросился к палатке. Он уже скончался. Я вытянул ему ноги, уложил руки вдоль туловища и закрыл глаза. Доложил начальнику госпиталя, тот приказал взять тело в Каир. а оттуда — доставить в родную деревню погибшего, чтобы там его предали земле. Быстро было написано похоронное извещение, тело положили в гроб, все было готово.

И вот я сижу в кузове автомашины. По-прежнему слушаю радио, ловлю ускользающую волну. Снова донесся торжественный и суровый голос:

— В шесть часов сорок пять минут военный министр и командующий вооруженными силами маршал Ахмед Исмаил Али довел до сведения командиров всех воинских частей, что верховный главнокомандующий вооруженными силами отдал приказ прекратить огонь начиная с 18.45 по каирскому времени 22 октября 1973 года, если противник, со своей стороны выполнит взятое на себя обязательство прекратить огонь в это же самое время...

В Каир мы прибыли вечером. Сквозь окошечко я увидел город таким же, каким оставил его семнадцать дней назад. Маленькая девочка шла по улице с горячими лепешками в руках. Они жгли ей пальцы, и она смешно махала то одной, то другой рукой. На одной из темных, безлюдных улочек юноша и девушка вели серьезный разговор, взявшись за руки и неотрывно глядя друг другу в глаза. Старик просил милостыню у прохожих. Наконец мы добрались до госпиталя. Госпиталь, хоть и расположенный в центре большого, готового погрузиться в ночную тишину города, вдали от поля боя, был пропитан запахом войны. Мы внесли гроб с телом Мысри через заднюю дверь в помещение анатомического театра. Сняли крышку. Ночь уже почти наступила, и я не мог разглядеть лицо Мысри. Хотел зажечь спичку, но в городе соблюдалась светомаскировка, а у меня, человека военного, развито чувство дисциплины. Дежуривший в анатомичке санитар сходил в бакалейную лавку по соседству, принес два куска

льда. Мы раскололи их на мелкие кусочки и обложили со всех сторон тело Мысри. Потом я пошел наводить справки о грузе медикаментов, за которым прибыл; оказалось, центральный склад еще утром отправил его в нашу часть. Новая партия будет готова через три дня. Так неожиданно мне представилась возможность сопровождать тело друга в его деревню.

О подробностях поездки и обо всем, что случилось в деревне, расскажет вам господин офицер в следующей главе. Я завершаю свой рассказ. Хочу лишь добавить: хотя для меня, каирца, это была и не первая поездка в деревню, но именно тогда я, по сути дела, впервые увидел деревню, об этом мне хочется сказать несколько слов. Возможно, кое-кто из вас и возразит: это, мол, не имеет никакого отношения к войне, идущей на земле Египта, и ко всем связанным с нею историям и рассказам, которые, как надежная лошадка, приносят успех авторам из числа любителей заигрывать с властью — любой властью. И все же я выскажусь до конца.

В деревне главной моей целью было повидаться с родными Мысри — его отцом, матерью, сестрами. По рассказам Мысри я и раньше представлял их всех, теперь вот увидел воочию. На лице отца я прочел всю скорбь, терзавшую его душу. Не знаю почему, но особое чувство пробудила во мне его мать. С первого взгляда она показалась мне олицетворением египетской крестьянки. Я стал вспоминать, что же мне, собственно, известно о крестьянах, я долго разговаривал с ней, мне хотелось, чтобы она почувствовала глубокую душевную связь, существовавшую между мной и ее единственным сыном. Говоря со мной, мать Мысри то и дело принималась вздыхать и плакать. Но, стесняясь незнакомого человека, пыталась улыбаться сквозь слезы. Вымученная улыбка странно искажала ее лицо, не в силах стереть с него следы глубокого горя. На обратном пути я вспоминал, как родные Мысри всячески старались выразить мне свою любовь, и горький ком подкатывал к горлу. Все, что случилось потом — вы узнаете об этом из следующей главы,— заставило меня глубоко задуматься. Не знаю, вправе ли я делиться своими мыслями. Все же, с вашего разрешения, попытаюсь.

Я сидел перед домом омды. Глухая деревенская ночь наполнялась неясными звуками, происхождение которых я не в силах был разгадать. Внутри проходило расследование, а я сидел и думал, мысли набегали одна за другой, как волны. По дороге в деревню я своими глазами увидел безысходную нищету, и зрелище это разбередило мне сердце. Когда же наконец, думал я, аллах избавит Египет от мук и страданий?! Кто может ответить на этот вопрос? Но ведь, убежден я, и продолжаться так тоже не может. А история Мысри, где тут, скажите, справедливость аллаха? Разве истинная справедливость не в том, чтобы бедняки могли защищать свои права? Тем более право на их стороне. Но право перед силой ничто, грош цена ему, как испорченной винтовке, стреляющей назад, в грудь своего хозяина, или сломанному деревянному мечу. Все, чем владеют родные Мысри,— их руки. Омда силен. И всегда повторяет: мол, сила его от аллаха. Это похоже на правду. Но если аллах выбрал сторону богачей и решил помогать только им одним, беднякам ничего не остается, как искать себе другого бога. Кто знает, возможно, они и найдут его. Быть может, он и сам ждет их, ждет уже давно, с той поры, когда в нашем мире разверзлась пропасть между бедными и богатыми, становящаяся все шире день ото дня. Я думал: а ведь, вернувшись с фронта, мы обнаружим, что в стране назревает другая, не менее кровавая война. Мы, понял я теперь, совершили ошибку. В войне, закончившейся вчера, враг был не только перед нами, но и позади нас, и каждому выстрелу, который мы делали в сторону Синая, должен был вторить другой, в сторону Египта, также захваченного врагами — бедностью, отсталостью, бесправием и гнетом. Но мы этого не сознавали. Мы отдали все свои силы борьбе с врагом явным и упустили из виду скрытого, коварного, как раковая опухоль. Мы думали, эту миссию выполнят те, кто остался в тылу. Но они не оправдали наших надежд, и теперь наш долг — взяться за нее самим. Нельзя терять времени, если мы промедлим, опухоль разрастется, пронижет все клетки организма и исцеленье окажется невозможным. Боюсь, дело зайдет так далеко, что радикальная операция станет единственным выходом — придется из двух зол выбирать меньшее.

Вот так сама жизнь дала мне урок и подвела к выводу, что страна наша в некоем роде уподобилась кошке, пожирающей собственных детей. А дети пошли по стопам матери — крупные заглатывают тех, что помельче. Приглядитесь получше к нашей стране — что за странный мир! Спокойный и взрывоопасный, сложный и простой. Как переплелись в нем любовь и ненависть, пресыщенность и голод. Но ведь это наш

мир — вот в чем дело! Это наша страна, только чья, наша? Согласитесь: два слова «наша страна» полны весьма неоднозначного смысла.

О, как бы желал я — а что мне осталось теперь, кроме желаний,— как бы желал я, чтобы война продолжалась и я успел бы пролить свою кровь, защищая землю нильской долины. Но время войн кончилось, в Египте началась пора словопрений. А словоблудие, как известно, болезнь заразная, и земле египетской придется довольствоваться пустыми словесами. Так не будем же распространяться о своих желаниях. У меня сейчас одна задача — заставить себя замолчать. Схватить себя за руку, не дать ей чертить на бумаге слова. Когда мы захлебываемся в океане слов, молчанье достойнее.

(Окончание следует)

КИРПИЧЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА.

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Юсуф Идрис» (1980) и статей о современной египетской литературе. Переводила с арабского произведения аль-Харири, Нагиба Махфуза, Юсуфа Идриса, Юсуфа аль-Куайида и др.

ПЕТЕР ЯРОШ

Тысячелетняя пчела

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод со словацкого НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

Старый Мартин Пиханда с каждым годом все больше сдавал. Да если бы только с каждым годом! Жена его Ружена диву давалась, наблюдая за ним, и уж не прекословила ему ни в чем — лишь молча качала головой. Поражало ее и то, что эти мужнины перемены редко кто замечал. Кристина предавалась вдовьим печалям, у Само своих забот было по горло — семья-то большая, а остальному, стороннему свету до человека и дела нет. Вот еще посмеяться или порадоваться чужой беде — куда ни шло. Ружене казалось, что мужа и хозяйство уже не занимает — все-то тратит время по пустякам. Иной раз возвращались с поля вместе, и между гумнами дети, по обыкновению, дразнили старого: «Гори, гори, глобус!» Но Мартин теперь не гонялся за ними, не кричал, не бранился, лишь оживившись, покорливо улыбался. А проглянут удивленные ребятишки промеж густого кустарника, он скажет им весело: «Ну как, дети мои, сыграем в прятки? Вы будете водить, а я с моей старухой спрячемся!..» Ружена часто задумывалась над тем, как изменился муж, и вдруг ей представилось, что самое позднее через месяц Мартин умрет. И до того грустно сделалось, что она даже подобрела к нему. Стала готовить его любимые кушанья, прощала ему любую нерадивость. И все только удивлялась, что Мартин веселый, что ест в охотку, а то нет-нет да и начнет острословить. Остеречь бы его, намекнуть — не до шуток, мол, теперь, да Ружена все не отваживалась. Месяц, однако, прошел, а Мартин как ни в чем не бывало. Прошел год, другой, а Мартин живет себе поживает. Стала тут Ружену совесть терзать, и призадумалась она об исповеди. Исповедуешься-де в дурных мыслях, и сразу их как ветром сдунет. А еще бы лучше и Мартина затащить на исповедь — все-то он в последнее время в церковь не заглядывает. Думала она, прикидывала, как бы это ей мужа перехитрить, приобщить к вере. «Захвораю вот по правде или только понарошку, хотя нет, лучше без обману,— размышляла она,— а потом и изъявлю свою последнюю волю: муж мой Мартин, пойдем вместе на исповедь! А не заболею взаправду, Мартин пронюхает, и греха не оберешься».

Подошел день исповеди, и Ружена решила объявить мужу, чтоб подготовился. В доме его не было — подалась она на гумно. Мартин покуривал там со своими приятелями — Дулой и Цыприхом. Дула стоял, растопырив ноги, и распространялся о том, какого разбойника серба он повстречал, когда лет пятнадцать тому поехал в Нови Сад навестить семью земляка. Сперва сдружились они с этим сербом, вместе хаживали в корчму, на гулянки, а потом вдруг парень сделался вором. Он и Дулу стал подбивать: вместе, мол, обчистим немецкий банк в Белграде, а там улизнем в Южную Америку. Дула не поддался — серб прогневался. Схватились. «У того серба башка была,— заключил Дула свой рассказ,— тверже обуха на топоре. Под конец-то жахнул я его обухом по голове — что было делать! И глазам сво-

Окончание. Начало см. в № 5.

им не поверил: обух отбился, сплющился, изогнулся весь, а на его башке — ни малейшей вмятины!» Мужики глубоко вздохнули, нетерпеливо запостанывали, попыхивая цигарками,— сразу всем захотелось высказаться. «Я бы пошел с ним воровать!» — отозвался Мартин. Тут в гумно и вошла Ружена. «На воровство тебя потянуло?» — набросилась она. «Отстань, не твоего ума дело!» — оборвал ее Мартин. «Ах, и не моего ума дело! — взъярилась она.— Ты воровать наладился, нас срамить, себя под тюрьму подвести — и еще не моего ума дело!» Дула и Цыприх заулыбались, собрались уходить. «Ты, ты как та важская кума — ни совести, ни ума»,— накинулся на жену Мартин, когда товарищи ушли. «А ты, антихрист, ты-то каков? На исповедь пойдем! Вместе!» — не унималась Ружена. «Я? — удивился Мартин.— С чего это вдруг?» — «Ух, охальник, не выводи меня из себя! — взорвалась она.— Молиться забыл, в церковь носу не кажешь! Вот и не диво, что воровать тебя потянуло! Да еще святой исповедью не хочешь душу облегчить!» Мартин чуял, что с разгневанной женою сейчас сладу не будет, и примолк. А Ружена решила, что муж усовестился и покорился. Бросила донимать его. Но на другой день Мартин начал покряхтывать и прямо с утра взялся растирать себе плечо и колено спиртом. Жалобился, охал, но и поругиваться не забывал. Ружена сперва недоверчиво обходила мужа сторонкой, а потом обрушилась на него:

— И что это ты тут колдуешь с этим спиртом? С утра уже поллитровку на колено извел!

— Не видишь разве, ревматизм меня одолел! Такую боль и худшему врагу не пожелаешь, а тут изволь, терпи!

— Ревматизм? — подивилась Ружена.— Скажите, пожалуйста! — фыркнула она с презрением.— У меня, что ли, нет ревматизма? И в плече, и в ноге, о пояснице уж и говорить нечего!

— Ревматизм ревматизму рознь! Мне-то и согнуть колено невмочь, а левое плечо и вовсе отнялось! Как бог свят, мне б сейчас ни за что и на колени не встать — хоть убей.

— А к чему ты это стояние на коленях помянул, а? — насторожилась Ружена.

— Просто так, чтоб ты знала.

— Чтоб что знала?

— Что не могу на колени стать.

— Так уж и не можешь?

— Разрази меня бог!

— Ну-ну, не божись!

— Право слово, не встать мне!

— Я-то знаю, с чего ты вдруг так занемог,— пригрозила ему жена.— Исповедоваться тебе неохота!

— Охота, неохота, теперь это — дело десятое. Сама видишь, что не стать мне на колени... А позорить тебя в церковь не пойду, стойм-то еще оскорблю кого...

Ружена вдруг взяла да расплакалась. А успокоившись, жалостливо спросила мужа:

— С кем же я пойду на исповедь, неужто одним-одна?

Она побрела прочь, а Мартин, беспомощно дернув плечом, поглядел ей вслед. Когда захлопнулась за ней дверь, он обронил словцо, другое — просто так, скорее для себя:

— Что ж, раз не с кем — захвати собаку. Может, и ей исповедь требуется! А то брешет, шельма, из рук вон...

Всякий вечер видел Само Пиханда, как дети отходят ко сну с молитвами на устах. Что ни вечер, у спинок кроватей коленопреклоненно шепчут они слова горячих молитв, коим научила их мать. Что ни вечер, ложась с Марией в супружескую постель и задувая огонек керосиновой лампы, Само слышал, как молится жена. Преданно и

покорно благодарила она бога за минувший день. Скромно и робко просила у него хлеба, здоровья и счастья для детей своих, для мужа, для всей семьи и для себя. Когда она затихала. Само казалось, что она прислушивается, молится ли и он, или ждет, когда помолится. Вот-вот, казалось, Мария спросит его, почему он не творит молитвы. Но, должно быть, так и не хватало у нее на это решимости. Может, чуяла, что происходит с Само. Бога нет, твердил он себе. Пришел он к этому однажды и почти негаданно, как слепая курица к зерну. Но это прозрение вскоре предстало перед ним с такой очевидностью, что оставалось лишь удивляться, почему же не пришел он к этому раньше, и почему не приходит к этому всякий. Может, это открылось ему при чтении Библии, может, при взгляде на звезды, кто знает, но несомненно одно — не за чтением атеистических книг. К ним он обратился уже после того, как расстался с богом. Главным было, что он пришел к этому сам и первый себе сказал: бога нет. Мысли, почерпнутые им в той или другой книжке, лишь утверждали его в этом открытии. «Человек человеку бог! Религия лишь форма отчуждения. Не бог создал человека, а человек бога. Человек теряет себя, ибо растворяется в подобии бога... Своим существованием бог обязан человеческой мечте о счастье...» Открытие, что бога нет, сперва только успокоило его. А потом Само начал размышлять о том, как быть дальше. Как жить без бога? Бояться больше или меньше или вообще не бояться? Быть хуже или лучше? И после долгих великих сомнений и терзаний он сказал себе: «Живи, как жил до сих пор! Оставайся человеком! Человек был и пусть останется творцом всего сущего на земле! Человеку не нужен бог, чтобы быть и оставаться человеком!». Так он и жил, как до сих пор, а удавалось — старался быть и получше. Ни жену, ни детей, да и никого другого не попрекал тем, что они не такие, как он. Ни перед кем особенно и не раскрывался. В церковь не захаживал, но священника приветствовал еще издали. Лишь однажды вечером перед сном он открылся жене. Мария, по обыкновению, молилась в постели, лежа на спине. В коротеньком промежутке между двумя молитвами, когда Само решил, что она уже отмолилась, он приглушенно сказал ей: «А я, Мария, в бога не верую!» Она даже не вздрогнула, не охнула, только рукой закрыла рот и продолжала молиться. Потом прижалась к нему, тяжко и глубоко вздохнула и заплакала. Плакала безудержно, истово, словно хотела замолить грехи мужа. А на другой день о вчерашнем и словом не обмолвилась, разве что с той поры стала к Само более чуткой, ласковой и пеклась о нем, как о хвором ребенке. Само принимал ее заботливость и отплачивал тем же. Он и к отцу стал внимательнее. Видел, что отец не ходит в церковь, но поговорить с ним о вере, о боге не решался. «Неужто и отец отверовал? — размышлял он.— Или просто своенравничает? Отец любил старого священника, может, этот новый чем-то не потрафил ему?» Само решил подождать. Время подскажет, откроет правду. Как бы ненароком Крептух зашел к Само. Он без утайки сказал, что недавно беседовал с отцом и хотел бы потолковать и с ним. Само усадил священника за стол и, угостив молоком, расположился напротив. Выжидая, терпеливо улыбался. Священник полюбопытствовал, что он читает, какие газеты, книги и календари выписывает. Само рассказывал, священник вроде спокойно поддакивал, и вдруг его прорвало:

— Эти богохульские книги и брошюры, что у вашего родителя, вы тоже читаете?

— Читаю,— признался Само.

— А исповедаться в грехах потом не хочется?

— Не чувствую потребности.

— Ах вот оно что — не чувствуете потребности! Оттого-то вас уже год не видно в церкви?!

— Помолиться можно и дома! — сказал Само серьезно.

— Ну и какие они, эти ваши молитвы?

— Всякие! Чаще всего — работа!

Священник ненадолго примолк, потом, улыбнувшись, начал более мирно и осторожно:

— Диву даюсь, зачем вам эти гнуснейшие, богохульные бездельки. Вы же умный человек!

— Я любопытный человек, пан фарар.

— Опомнитесь, у вас же дети!

— Я не забываю об этом!

— Безбожниками люди везде гнушаются, на любой работе,— сказал строго патер Крептух и, подняв угрожающе палец, тут же резко ткнул им в сторону Само: — Не только за себя, но прежде всего за своих малых детей вы в ответе. А они хотят есть каждый день. Вам должно вести себя так, дабы воспитывать их со всей ответственностью и без изъяна. Я уповаю все же, что мы найдем общий язык. Храни вас господь!..

Но общего языка они так и не нашли. Само в церкви не показывался. Уже второй месяц работал сезонным каменщиком на железной дороге и втайне надеялся, что возьмут его на постоянную работу. Они чинили мосты, строили сторожевые будки. Из Гиб хаживали втроем — кроме Само еще двое железнодорожников, Ян Аноста и Биро Толький. Выходили они из дому утром после пяти, чтобы уже к шести заступить на работу. Аноста, двоюродный брат Мартина Пиханды, был на десять лет старше Само, но держался с ним накоротке. Биро Толький был мадьяр. Несколько лет назад, женившись, вошел в бедную семью пастуха и выучился хорошо говорить по-словацки. Оба они были людьми славными, и Само любил их. Проработав вместе с Само месяц и узнав друг друга, они доверили Пиханде свою тайну: «Мы двое, Ян Аноста и Биро Толький, изменим мир. Мы двое— словак и мадьяр — обновим Венгрию. Мы двое, Яно и Биро, изменим Австро-Венгрию!»

Само Пиханда, как громом пораженный, опустился на кирпич. Кирпич стоял на попа и, врезаясь в тело, причинял резкую боль. Но Само не замечал этого и вскочил лишь тогда, когда Аноста и Толький объявили ему: «Мы члены социал-демократической партии. Поклянись, что никому об этом и не пикнешь! Клянись!»

Само с перепугу поклялся.

Оба с облегчением рассмеялись.

— Да не обмирай уж так,— Аноста стал его успокаивать.— Вижу, мы тебя здорово напугали, а ведь никому из нас смерть не грозит. Напротив, все, что мы делаем, это ради лучшей жизни.

— К чему тогда клятва?

— Железнодорожникам строго-настрого запрещено быть социалистами,— объяснил ему Толький.— Иначе сразу расчет!

— А почему вас, социалистов, так боятся? — спросил удивленно Само.— Что в вас такого?

И тут обоих прорвало: они заговорили наперебой, будто хотели показать, как сладок для них запрещенный плод, будто старались выставиться перед Само своей исключительностью.

— Знаешь, что мы, социал-демократы, собственно, хотим? Какова наша программа? Мы — за равноправие между людьми независимо от национальности, расы, религии и пола. Мы добьемся для народа всеобщего избирательного права, демократизируем суд, законодательство, управление. Мы отменим постоянную армию, отделим церковь от государства и ее имущество передадим трудовым кооперативам. Мы, социал-демократы, обобществим леса, гидростанции, шахты, транспорт. Мы добьемся восьмичасового рабочего дня, уравняем в правах женщин, установим рабочий контроль Мы, социалисты, раз и навсегда разрешим в Венгрии национальный вопрос, предоставив равные права всем народам и народностям. И покончим с аграрной

проблемой. Для нас не существует вопроса, который бы мы не разрешили. Начало двадцатого столетия, дорогой Само, принадлежит нам, нам будет принадлежать и все...

— Неужто такое может статься? — с сомнением спросил Само.

— Должно статься... Мы будем все вместе бороться против предпринимателей, против буржуев и их государства. Начнем бастовать, а будет необходимо — возьмемся и за оружие. Уже бастовали строительные рабочие в Братиславе, портные в Комарно, рабочие в эмалировочной мастерской Штернлихта в Лученце, рабочие во Врутках, в Братиславе, в Будапеште и в Вене. Настанет час — начнет бастовать вся страна, вся Европа, весь мир... И вся страна, и вся Европа, и весь мир будут наши! Только нас должно быть много, намного больше, чем теперь. Вот и иди к нам, к социал-демократам! Иди без колебаний! Становись членом нашей организации, вступай в наши ряды!

— А разве мне можно? — удивился Само.

— Не можно, а должно!

— Я... я не знаю! — заколебался он.

В тот же день вечером Аноста и Толький навестили дома Пиханду. Принесли устав социал-демократической партии, объяснили ее принципы и программу, завалили Само старыми номерами журналов «Зора» и «Нова доба», дали почитать газеты «Непсава», «Арбайтер вохенхроник», «Ди вархайт». Сунули ему брошюру «Кто такие социал-демократы», а он в свою очередь должен был им обещать, что непременно прочтет все. Когда они ушли, у Само сперва закружилась голова, а потом и вовсе разболелась. Он отбросил все и лег спать. В постели рядом молилась жена. Да, молиться куда легче, подумал он и вздохнул. Жена нежно прильнула к нему. Он обнял ее, поцеловал, а почувствовав душистое, крепкое тело, забыл обо всех дневных заботах и терзаниях.

Целых две недели он вечерами бился над книжками и газетами. Аноста и Толький чуть ли не ежедневно спрашивали его:

— Читаешь?

— Читаю!

А на третью неделю Само ошарашил обоих.

— Ребята, язви вас в печенку, я с вами! — крикнул он им в по недельник.

Так Само Пиханда стал социал-демократом.

Еще в тот же вечер все трое напились у Герша. Утянулись в самый дальний угол корчмы и перешептывались там так таинственно и тихо, что их и слышно не было. Одну-единую фразу Аноста проговорил во всеуслышание:

— Само, я горжусь тобой!

Само приосанился: в этот момент он и сам гордился собой!

Пчельник был тих, спокоен. Приглушенному осеннему жужжанию пчел Само почти не внимал. На башне высоко над ним вызванивали воскресенье. Он потрогал ульи, мельком поглядел в них и отошел. Не тревожил пчелок, не дразнил. Вспомнил Орфанидеса, даже увидел, как тот наклоняется над ульем, целит указательным пальцем в пчел и говорит: «Человек — что эта пчела: лишь радение и труд его спасут!» Само улыбнулся и сел на лавку. Расправив под собой домотканый ковер, растянулся. По телу разлилась истома. «Был бы я помоложе,— думал он,— шмыгнул бы в улей к пчелам, потрудился бы усердно с ними. Что ни вечер, собирал бы я груду меда. А может, нашел бы себе пчелиную полюбовницу. Не какую-нибудь, а пчелиную матку, царицу. Большую, упитанную, полную неги и желания». На него стала находить дрема. Он блаженно улыбался виденьям,

мелькавшим перед глазами. Пчелиная царица взяла его в мужья, а пчелы вокруг жужжали и пели:

Женилось мотовило,
Женилку обломило...

Приблизилась пчелиная царица — она была гораздо крупней жениха. Он поклонился ей, она сразу же закинула его на спину и вылетела с ним из улья. Весь рой — за ними. Она летала, прыгала, скакала с ним по лугу, пока в конце концов не уронила. Он упал свысока, больно ушибся. Пчелиная пасть, склонившись над ним, с ревом выдыхала: «Не хочу тебя, не хочу тебя, не хочу тебя!» А когда пчелиная челюсть вот-вот, казалось, вонзится ему в горло, он завыл от страха и резко лягнул ногой. Жить захотелось...

Проснувшись, тотчас почувствовал боль в ноге. Потер ее, встал. Хрустнуло в лодыжке. Скрипнуло в колене. Он подошел к улью, заглянул в него и подумал со злостью: «Когда-нибудь плесну сюда бутылку керосину!»

Пчелы спокойно жужжали, словно пели. Он слушал мелодию, но смысла ее не постигал. «Ну и балда! — посмеялся над собой.— Мечтаю о том, что недоступно, а до того, что под носом, мне и дела нет! Ну разве не балда?»

Он вошел в сад, зеленая лужайка утешно ласкала взор.

Сорвал пучок травы, приложил к ноздрям.

— Ох, как пахнет, как чудесно пахнет!

И зашагал к дому уже спокойнее.

В одно воскресное утро прибежали к Само Пиханде запыхавшиеся Ян Аноста и Биро Толький.

— Живо одевайся, едем в Градок на собрание социал-демократов!

— И я тоже?

— Тоже!

Само, чуть поколебавшись, согласился. Уже через полчаса все трое, празднично одетые, бодро шагали на железнодорожную станцию в Кралёву Леготу. Дождались поезда, доехали до Градка и в приподнятом настроении сошли на перрон. Биро Толький привел их в большой зал, где шло собрание. Было там самое малое человек пятьдесят, но кутерьма стояла страшная. На сцене разглагольствовал щеголеватый мужчина средних лет. Говорил он по-венгерски, и многие, похоже было, с ним не соглашались, прерывая его возгласами и свистом.

— Непонятно! Не понимаем! — раздавались выкрики.

— О чем это он? — спросил Пиханда.

— Об избирательном праве! — ответил Биро Толький.

— Они что, не согласны с ним? — дивился Само.

— Слышишь ведь — не понимают, о чем речь! — толкнул его Аноста.

Шум, рев и свист усилились настолько, что оратора и вовсе стало не слыхать. В растерянности он замолчал, потом гневно стукнул по столу. Сидящие за председательским столом, да и многие в зале, помогали ему усмирять разбушевавшихся людей. Когда зал чуть попритих, на сцену взбежал молодой человек.

— Словацкие социал-демократы требуют, чтобы собрание велось не только на венгерском, но и на словацком языке! — прокричал он и захлопал сам себе.

Многие в зале присоединились к нему, но были и такие, что воздержались от аплодисментов.

— Ставлю вопрос на голосование! — продолжал молодой человек.

— Ура, ура! — раздались голоса.

Из-за председательского стола вскочил разъяренный мужчина и обрушился на молодого человека на плохом словацком языке:

— Ты сам не могла ставить на голосование!

— Ставлю! — повторил молодой человек.

— Нет! Для этого есть председатель. Это сепаратизм и политика раскола.

И вдруг — сцепились. Слетели оба со сцены и оказались среди взбудораженной толпы. Само и оглянуться не успел — а вокруг него уже все дрались. Мадьярские и словацкие социал-демократы вцепились друг другу в волосы. Само оглянулся и увидел возле себя Биро Толького — тот изумленно смотрел на него. «Ударить, что ли, Биро? — оторопел Само.— Нет, я не могу! Может, Биро меня ударит?»— размышлял он, выжидая. Биро улыбнулся ему и, стремительно повернувшись, стал лупцевать первого разбушевавшегося мадьяра, который попался под руку. У Само глаза на лоб полезли, когда он увидел, как мадьяр бутузит мадьяра. Неужто свет перевернулся? Или Биро Толький уже не мадьяр? Все это так ошеломило его и озадачило, что он как вкопанный замер посреди этой сумятицы.

— Ну-ка, помоги! — окликнул его Аноста.

Само раздвинул руки, но не сразу определил, кого стукнуть. Он видел только, как Биро изо всех сил надсаживается, чертыхаясь и громко вопя, а противник постепенно одолевает его. Само подскочил к Биро на подмогу, схватил парня сзади в охапку и понес к дверям, протискиваясь сквозь толпу. Но прежде чем он успел добраться до выхода — драка прекратилась. Столь же внезапно, как и началась.

— Собрание будем вести на венгерском и на словацком языках,— крикнул в зал мужчина из президиума.— Президиум согласен! Я буду переводчиком! — сказал он и повторил то же по-венгерски.

Само не переставал удивляться, видя, как люди, еще минуту назад колошматившие друг друга, теперь, смеясь, обмениваются рукопожатиями. Мадьяр в его объятиях уже перестал метаться и обратил к нему улыбающуюся физиономию. Само опустил его на пол и в замешательстве поклонился. Тот обнял его, чмокнул в лоб и был таков...

Само вернулся к Аносте и Толькому. До конца собрания он, с удивлением озираясь, наблюдал этих странных, столь переменчивых в своих отношениях людей. И лишь мельком, вполуха слушал то, что говорилось со сцены об избирательном праве. Всерьез они об этом думают или просто комедию ломают? Вот же, разрешили нам на собрании говорить по-словацки, и тебе как-то чудно. Ты и рад, и вроде робеешь. Скажешь мадьяру: я словак и хочу говорить по-словацки, и мадьяр с тобой соглашается. И впрямь особое чувство. А ведь так могло быть всегда. Сколько сил потрачено на то, чтобы человеку дозволили говорить на языке, который он впитал с молоком матери. А ведь с какой пользой можно было бы употребить эти силы! Нас бы теперь и рукой не достать! Гордостью Европы были бы, не иначе! Между тем стали оглашать резолюцию, и Само очнулся от задумчивости. Он выслушал длинное обращение к правительству с требованием, чтобы в Венгрии было узаконено всеобщее избирательное право. За резолюцию голосовал и он. На этом собрание кончилось. Аноста пригласил их на пиво, а в корчме Биро Толький поделился с ними:

— Я мадьяр! А сегодня у меня такое чувство, будто я впервые боролся и за словаков! Я дрался за них, однако не думаю, что тем самым предал мадьяр. Пойми, Аноста, и ты, Пиханда, это для меня дело не простое. Не легко выступить против своих, хотя и знаешь, что за тобой правда! Но я живу среди вас, жена словачка, дети говорят по-словацки лучше, чем по-венгерски, я знаю, что с вашими требованиями нельзя не считаться. Нужно разрешить словацкие школы, журналы, книги, ввести словацкий язык в судебные органы и, ко-

нечно же, все это предоставить и другим народам Венгрии: словенцам, сербам, хорватам, русинам, румынам, всем, всем! А пока этого не произойдет, в Венгрии не будет покоя. Знаю я и другое: в нашей социал-демократической партии и то не все ладно. В руководстве партии — это, к сожалению, надо признать — есть еще немало венгерских шовинистов. Они и поныне считают, что национальный вопрос в Венгрии — не проблема. Утверждают, что национального вопроса вообще не существует, а есть лишь вопрос эксплуататоров и и эксплуатируемых...

Биро Толкий протянул руку к рюмке, выпил одним духом сто граммов палинки и смело взглянул Аносте и Пиханде в глаза. Оба ошеломленно взирали на него и вдруг, обхватив с двух сторон за плечи, прижались к нему...

Они вышли из корчмы, когда уже совсем завечерело. Опоздав на все поезда, потопали домой пешком. Все девять километров пели на морозе. И домой пришли охрипшие — едва говорили. Целую неделю шептали.

■

В последнюю неделю января тысяча девятьсот четвертого года три дня кряду стояли такие крепкие морозы, что у Мартина Пиханды замерзло на чердаке смородиновое вино.

Заметил он это на третий день, когда мороз вконец истерзал его старое тело. В то утро, по обыкновению, он проснулся первым в доме. Одеваясь, взглянул на часы — не было еще пяти. Месяц светил ясно и вместе со снегом вызывал, казалось, преждевременный рассвет. И хотя солнце об эту пору выходило только после семи, было так светло, что старику не пришлось, как иной раз, зажигать керосиновую лампу или свечку.

Уже одеваясь, он почувствовал, что горница, хотя с вечера и была хорошо натоплена еловыми дровами, к утру выстудилась. Он тронул ладонью кафельную печь, и его затрясло. Печь была остывшая, несло от нее холодом. Покуда он лежал под периной, где еще и сейчас спит Ружена, было как хорошо!.. Он поспешил одеться.

Сперва снял ночное белье. Сбросил его с себя быстро, даже сердито и все же на секунду-другую оказался голым посреди горницы. Тогда затрясло его снова, холод ощутимей всего впился в спину, потом в колени. Он набросил на себя исподнее, а когда потянулся за брюками, опрокинул стул.

Старик захолонул на мгновение, но тут же, встрепенувшись, выкинул руку, словно хотел ухватить и зажать в ладони шум, который произвел, да не тут-то было. Перина шевельнулась, приподнялась. Старая в чепце бросила взгляд в горницу, в сторону печи.

— Чего тебе неймется в такую рань? — пробормотала Ружена и опять улеглась.

— Лежи, лежи! — успокоил жену Мартин Пиханда.— Уже пять, я задам корму!..

Жена примолкла и, пока старик натягивал брюки, теплый кожушок и баранью шапку, похоже было, опять уснула.

Он вышел из горницы в сени и там помешкал: вспомнил о смородиновом вине. Он стоял в сенях, думал о вине, и у него было такое ощущение, будто делает он что-то дурное. Будто согрешить собрался. Будто Ружена за одной дверью, а Само с женой и детьми за другой точно знали, о чем он сейчас помышляет и что располагает сделать. Но он лишь дернул плечом, махнул рукой и двинулся. Стынь, сотрясавшая старое тело, непреодолимо погоняла его.

Он и теперь не зажег лампы. Да и ощупывать руками лестницу на чердак нужды не было — туда, хотя и тускло, проникал свет лун-

ного сияния, усиленного белизной снега. На чердаке он чуть постоял, приглядываясь к темноте, потом двинулся уже уверенно.

Бутылки стояли под оконцем в щипце, и было их не менее десяти. Старый Пиханда остановился над ними, словно раздумывая, которую почать. Взял крайнюю, откупорил. Поглядел бутылку на свет. Вино в полутьме чернело. Он обтер бутылку ладонью и хотел напиться. Приложив ко рту, опрокинул ее кверху дном, но из нее ни капли не вытекло. Старик дернулся, словно обжегся.

— Что за черт? — ахнул он.

Он снова поглядел на бутылку. Полная, холодная и в руке такая весомая. Опять попробовал отпить — пустое! Потихоньку-помаленьку он просовывал в нее мизинец, пока не наткнулся на лед. И сразу полегчало: а то за минуту до этого ужаснулся, что старые законы на свете уже не действуют и вино из бутылки не вытечет. А теперь опять все ладно! И старый Пиханда призадумался над мерзлой смородиновкой: согреть ее, что ли? Сперва все бутылки по очереди поднял и каждую откупорил. Но ни из одной и не капнуло. Так что ж, согреть? А согреешь — стекло лопнет! Помотав отрицательно головой, он повернулся к выходу. Шел по чердаку нога за ногу. Ой, как недоставало ему вина — он ведь с таким нетерпением ждал и надеялся, что оно согреет его. Холод сразу словно рванул его к себе и загнал в самую свою лютую сердцевину. Он быстро просеменил вниз по чердачной лестнице, пробежал кухню и остановился только на крыльце. Ему казалось, что он голый, словно на нем нет ни теплых бурок, ни брюк, ни тулупа, ни бараньей шапки — так стискивал холод все его тело. Он стал подпрыгивать на месте и растирать руки. Еще минуту-другую думал о вине, но, кое-как согревшись, тут же забыл о нем.

Брезжило, занималось холодное утро. Он перестал подпрыгивать и трястись. Задышал ровнее. Пар, который он выдыхал, тотчас превращался в иней, твердел. Он с любопытством озирался кругом. Ночью снегу не убавилось, не прибавилось. Следы, что проложили на снегу обитатели дома, остались нетронутыми. Он сошел с крыльца и задробил, затопал бурками по скрипучему снегу, словно хотел выгнать из него холод. К нему подбежал пес Дунчо. Весело вертя хвостом, радостно заскулил и притулился к ногам. Старик улыбнулся. Наклонился, легонько потрепал пса по буйной шерсти. Улыбнувшись опять, почувствовал, что на морозе и усы застыли. Они показались ему каким-то инородным телом, как бы даже мешали, хотя носил он их самое малое сорок лет. Он потрогал их, словно хотел снова свыкнуться с ними. Но усы и на ощупь были чужие. Ему показалось, что рука коснулась старого, влажного и холодного мха.

Старик ногой отстранил от себя пса и пошел ко двору. Отомкнул, вошел. Но сразу что-то остановило его. Звук! Он удивился, прислушался. Пес рядом яростно затявкал. Пришлось пнуть его, чтоб утих. Но тут же и погладил его, скулящего. И опять тот же звук, но еще пронзительнее. Эге, да это из коровника, из-под дверей. Вроде кто-то душит кого-то. Клушка! Так точно, клушка!..

Он кинулся к дверям коровника и отодвинул засов так резко, что даже колышек из руки выпал. Да бог с ним — он и не подумал нагнуться. Потихоньку, потихо-о-о-нечку открыл дверь и заглянул внутрь. За спиной заскулил пес. Куры кудахтали, квохтали, скотина всполошно топала. А под насестом из последних сил надрывалась белая курка. Перо взлетало кверху, надсадный хрип продирался из горла, а на курице топтался хорек и почти всю ее закрывал своим полуметровым телом. Старый Пиханда кинулся в коровник — и хвать хорька за хвост. А тот, ловко извернувшись, впился зубами ему в запястье. Он выпустил зверя, схватил вилы и злобно проткнул его. Тогда уже и пес, осмелев, цапнул мечущегося зверька за горло. По коровнику сразу разлился отвратительный запах. Хорек уже не дви-

гался. Старик отпустил вилы, поднял хорька. Хотелось закричать, но он лишь улыбнулся. Отворив дверь, бросил хорька на навозню. К трупику осторожно приблизился пес и, обнюхав, удалился. Куры и коровы в коровнике успокаивались. Старик вытащил платок и быстро перевязал рану. Потом опять вошел в коровник. Засветил фонарь и стал искать дыру, через которую хорек проник внутрь. Нашел ее под корытом и тут же привалил поленцем.

Старый Пиханда притомился и застонал — разболелось запястье. Оперся о стенку хлева, чтоб отдохнуть, но тут пронзительно замычала голодная корова. И другая голодно на него посмотрела. Два теленка забучали. Овцы замекали. Поросята захрюкали. Петух закукарекал. Старик глянул в ту сторону и увидел на земле окровавленную белую курку. Выбросил ее вон, а уж потом стал по очереди кормить скотину. Пес, по обыкновению, путался у него под ногами. В коровник вошел сын Само.

— Полежал бы,— сказал Само от дверей.— Я бы накормил их!

— Сам знаешь, сплю я мало, зачем же будить тебя.

— Успелось бы!

— Да уж ладно! Вот напои их...

Старый Мартин поглядел на сына — хотел сказать про хорька, да смолчал. Закрутив фитиль в фонаре, поплелся вон из коровника. Само последовал за ним.

Остановились они на снегу перед двором. Старик оглянулся, но на навозне у противоположных ворот, в полутьме, не разглядеть было ни курки, ни хорька. Он прикрыл ворота и сунул руки в карманы.

— Холодно,— сказал, и его опять затрясло. Он следил за тем, чтобы не видно было его обвязанного запястья, и потому не только больше натягивал рукав на левую руку, но и глубже засовывал ее в карман. Сын ничего не заметил.

— А вроде даже потеплело,— сказал Само.

Старик изумленно взглянул на сына и только сейчас осознал, что тот стоит на морозе в одной рубашке и безрукавке. Стоит с непокрытой головой и вообще непохоже, чтоб ему было холодно. И в руки снег берет, лепит снежки и с наслаждением метит в недалекую яблоньку.

— Попробуй-ка и ты!

— Мне, право, холодно! — повторил старый Пиханда.

Сын внимательно поглядел на него.

— Не простудился ли, часом? Жара нет?

Старик пощупал ладонью лоб.

— Да нет вроде!

— Пойди обогрейся, женщины уже в кухне затопили!

— А ты? — спросил старый, поглядев на тоненькую рубашку сына.

— Дров нарублю!

Сын пошел к дровянику, а старик — к дому. Шагал он медленно, осторожно, словно боялся поскользнуться. Оглянувшись, заметил, что сын из дровяника наблюдает за ним. Это покоробило его, но голова сына вскоре скрылась. Донесся стук топора. Старик передохнул с облегчением и стал тяжело подыматься по лестнице. Как-то слишком быстро притомился нынче. Неужто не сегодня-завтра хворь на него найдет? Насморк? Кашель? Взявшись за холодную дверную ручку, он снова затосковал по горячительному вину.

Во время передышки Само Пиханда услышал, как отец вошел в дом и затворил за собой дверь. Он дорубил начатое поленце, всадил топор в колоду и привалился к топорищу спиной. Сразу же сдвинул его и расшатал. Прислонился плечом к поленнице и застыл. Глазам Само Пиханды, почти тридцатипятилетнего, большого и сильного че-

ловека, крестьянина и мастера-каменщика, мужа проворной Марии, отца четырех сыновей и дочери, предстало старое лицо отца. Предстало таким, каким он увидел его, выглянув из дровяника и наблюдая за осторожными отцовскими движениями, за его медленными, робкими шагами к дому. Тогда-то и обернулся отец. Не иначе как заметил голову Само, высовывавшуюся из дровяника. И хотя Само видел отцово лицо лишь в профиль, от него не ускользнуло какое-то особое его выражение. Ни грустное, ни веселое. Ни удивленное, ни испуганное. А какое-то отрешенное, пустое, чужое. Живые глаза словно бы и не имели отношения к этому лицу, в них тоже было что-то чужое. Будто смотрели, но не видели. Что-то такое в отцовском лице, в глазах действительно было чужое и непривычное, иное, чем раньше.

Старый Мартин Пиханда в сенях обметал березовым веником бурки от снега. Из кухни доходил разговор жены с невесткой и визготня внучат. Вдруг, когда бурки были уже очищены, ему сделалось так жалко себя, что он не в силах был даже отворить дверь и войти в кухню. Он жалел себя потому, что ему холодно, что саднит укушенную руку, горевал, что в бутылках замерзло смородиновое вино. Он стоял и едва не плакал, а чтоб слезы и впрямь не потекли, весь подобрался, словно хотел уменьшиться в размерах. Дверь в кухню отворилась. Внучата с шумом выбежали в сени, но, заметив деда в таком непривычном положении, скорчившегося, сгорбленного и пугающе грустного, тут же смешались и утихли.

— Что такое, дети? — окрикнула их Мария.

— Дедушка! — вырвалось у Петера.

— Я это, я! — очнувшись, сказал старик хрипучим голосом.— Бурки вот обметал!

Он выпрямился, улыбнулся детям. Те опять ожили и вбежали в кухню. Но дверь осталась открытой, и старик, не отирая холодного пота со лба, следил, как они возятся у стола. Наконец бабка Ружена прикрикнула на них.

— А чтоб вас приподняло да хлопнуло,— ударила она кулаком по столу.— За стол, и завтракать!

Дети, как ни странно, стихли. Старик подождал, пока они усядутся за большой стол, и вошел.

— Доброе утро! — поздоровался.

— Доброе утро! — ответила ему Мария.

— Есть будешь? — спросила жена.

— А что дашь?

— Яйца всмятку, молоко.

— Неохота! Попозже...

— Как знаешь.

Обе женщины стали хлопотать вокруг пятерых детей. Старик стоял над ними и одного за другим оглядывал. Словно нарочно они уселись за стол сообразно возрасту. Во главе стола, на его месте, сидел двенадцатилетний Ян, по правую руку от него — одиннадцатилетний Само, рядом десятилетний Петер, потом девятилетняя Эма и, наконец, восьмилетний Карол. Дети ели в охотку, молча. Слышно было лишь чавканье, сопение, иной раз и тяжкий вздох. Старику казалось, что и еда — надсадная работа. Он обошел стол и каждого внучонка погладил по голове. Потом поглядел на жену, на невестку и направился к дверям кладовой.

— Ты куда? — спросила жена.

— На чердак! — бросил небрежно.

— На чердак? — заудивлялась она.— А что там?!

— Черепица лопнула,— сбрехнул старый,— снегу малость надуло.

— Откуда знаешь?

— Утром был!

Он отворил дверь в чулан. Успел заметить и внимательный взгляд жены, которым она безмолвно провожала его, пока он не закрыл за собою дверь. Взойдя по лестнице на чердак, он с натугой приподнял деревянный притвор и посмотрел в ту сторону, где под оконцем стояли бутылки со смородиновым вином. Ему сразу полегчало: и боль в руке перестала терзать, и холода в теле как не было. Он слышал, как сын в дровянике колет поленья на щепу, как кричат на кухне дети, но ему уже было не до чего. Трясущейся рукой потянулся он к бутылке. Схватил ее, но, когда захотел откупорить, она выпала из рук. Удар был приглушенный, стекло трескалось тихо, и все же с перепугу старик окаменел. Сперва он лишь стоял над разбитой бутылкой и изумленно на нее глядел. Вино не лилось, не растекалось, а торчало замерзшей горкой.

Он опустился на колени, наклонился к мерзлой смородиновке, взял ее в руки. На ощупь она была сыпкой, крошилась и мельчилась промеж пальцев и быстро таяла на ладони. Он вложил кусок льда в рот и пососал. И сразу ощутил запах и вкус. Глотнул.

— Вино, вино! Ох, и согреюсь! — бормотал он, и, набрав полную пригоршню ледяной каши, до отказа набил рот.

Встал.

Он жевал, чавкал, грыз, сглатывал. Облокотившись локтем на оконную раму, поднял глаза к меркнувшему месяцу. Большими стаями проносились под ним черные каркающие вороны. Они пролетали над домом словно черные лоскуты и исчезали где-то в заснеженных полях, лугах или в густых и темных подтатранских лесах. Старик мотал головой, пристально следя за вороньими стаями, и ему чудилось, что все они со своей высоты видят его в этом чердачном оконце. Вдруг вороны исчезли. Поля перед домом зазияли пустотой, месяц совсем померк. Старик осознал, что сын перестал рубить дрова,— двор и дом удивительно затихли. Вино ударило в голову как-то сразу. Он нащупал на лице капли и куски ледяной каши, стекавшей от углов рта к подбородку. Губы были холодные, закоченевшие. Он сунул в рот пальцы и потер щеки изнутри. Чудно-то как: губы холодные, а всему телу тепло. Это, должно быть, вино! Ну конечно, вино! Он снова нагнулся, набрал полную пригоршню ледяной винной каши и запихнул ее в разинутый рот. Он уже не грыз, не жевал, а только сосал и глотал. И вдруг его вырвало. В резком выдохе винная каша хлынула изо рта, обрызгав оконное стекло и стену. Старик попытался вздохнуть, но что-то острое недвижно застряло в горле. Он открывал рот во всю ширь, словно хотел что-то крикнуть, но из горла не вырвалось ни единого звука. Старик схватился за горло, потом за грудь — там еще сильно колотилось сердце. Все затуманилось перед глазами, он зашатался, стал падать, падать... И упал!

Куча щепы непрерывно росла, пока не сравнялась с колодой. Тогда Само перестал рубить и всадил топор в колоду. Нагнулся, набрал полную охапку щепы и пошел к дому. Дети уже доканчивали завтрак, а Мария собиралась мыть посуду. Он сбросил щепки в ящик у плиты и обернулся к детям. Двое из них, Эма и Карол, повиснув на руках у отца, тянули его в разные стороны. Они смеялись и кричали.

— Тихо! — одернула их Мария.— Марш в горницу! Поиграйте там, пока я здесь приберусь!

Дети неохотно отправились в соседнюю горницу. Само сел за стол, потом опять встал.

— Ты что, есть не будешь? — удивилась жена.

— Буду, только руки вымою!

Он вымыл руки в тазу, вылил воду в ведро и опять сел.

— А где отец? — спросил он, беспокойно оглядевшись.

— На чердаке! — сказала Ружена, не подымая головы от работы: она пришивала внучатам на одежку пуговицы.

— А что ему там делать? — не отставал Само.

— Не знаю! — дернула плечом мать.— Сказал, будто черепица лопнула.

Само поглядел на двери чулана, потом на потолок. Но тут жена отвлекла внимание, поставив перед ним завтрак: три яйца всмятку, ломоть хлеба и пол-литра горячего, исходившего паром молока. От вкусных запахов аж слюнки потекли. Само взял мягонькое очищенное яйцо, чуть сдавил его, посолил и целиком отправил в рот: и жевать не пришлось — оно и без того заскользило в глотку. Он сглотнул, и яйца как не было.

Вдруг на чердаке что-то приглушенно бухнуло.

Потолок захрустел, казалось, вот-вот треснет.

Само, Мария и Ружена в удивлении переглянулись. Мать встала, отложила шитье. Будто ждала, что там опять громыхнет. Но наверху было тихо, и старая взорвалась:

— Что он там только выкомаривает, гмырь чертов?!

Само встал, подошел к лестнице и громко крикнул:

— Оте-е-ец!

Никто не отозвался.

— Никак оглох?! — кипятилась Ружена.

Само растерянно и вопрошающе поглядел сперва на мать, потом на жену. Что за чертовщина! Само повернулся и опрометью взбежал по лестнице на чердак. Обе женщины втиснулись в чулан и ждали у лестницы.

— Святый боже! — вырвалось у Само, и обе женщины внизу оцепенели.

— Что там, Самко?! — всхлипнула жалобно мать.

— Сюда! Наверх! — надсаживался Само.

Мать, обычно такая спокойная, сразу затряслась. И уже с воем и плачем стала карабкаться вверх по ступеням.

— Не плачьте, мама! — утешала ее невестка, а сама рукой вытирала глаза.

Они поднялись наверх и в ужасе застыли. Старый Пиханда лежал навзничь, все лицо — красное.

— Муж мой! — закричала Ружена. Она рухнула на колени, коснулась лица умершего.— Кровь!

— Нет! — сказал Само.— Это вино!

— Вино? — оторопела мать.

— Подавился,— сказал Само,— проглотил, должно быть, осколок стекла...

Обе женщины разрыдались.

Пока они громко плакали, вздыхали и всхлипывали, Само тихо стоял над ними и над мертвым отцом и незаметными движениями утирал слезы.

Спустя время женщины притихли — обе только хлюпали носом. И Само уже отпустила судорога, сжимавшая челюсти и горло. Мать взглянула на сына так, словно ждала ответа, объяснения. И тут Само понял: испугалась, боится! Он подошел к ней и крепко обнял. Материно тело сперва дернулось, потом успокоилось. Она нагнулась и стала платком вытирать измазанное лицо мужа.

— Как же теперь быть с ним? — спросил Само тихо.

Мать с минуту колебалась.

— Негоже тут его оставлять! — отозвалась она на удивление твердым голосом.

— Позвать на подмогу? — предложила Мария.

— Нет! — резко оборвала ее старая.— Сами управимся!

И сразу же поднялась. Согнувшись — видать, схватило в пояснице,— обошла тело мужа и остановилась у него в ногах. Глянула на

сына, на невестку — обоим кивнула. Нагнулась и обхватила мужнину левую ногу. Мария посмотрела на Само — казалось, не решалась, робела. Но Само подал ей знак — и она, встав возле свекрови, обхватила правую ногу покойного. Сдвинулся с места и Само. Он подошел к голове отца, присел на корточки и, просунув руки ему под мышки, подтянул тело на себя. Потом потихоньку выпрямился, приподняв отца. Тут же поднатужились и женщины.

Все двинулись медленно, осторожно.

Напрягая все силы и тяжело дыша, они доволокли отца к чердачной лестнице. Само, сгибаясь под ношей, стал спускаться. Женщины собрались было последовать за ним, но обе на узкой лестнице не уместились.

— Постой! — приказала мать сыну.

— В чем дело?

— Не умещаемся мы обе на лестнице!

Женщины отпустили покойника.

Беспомощное тело старика, нелепо прогнувшись в плечах и пояснице, теперь всем весом упиралось в грудь Само. Женщины бестолково топтались на месте.

— Дайте, мама, я попробую! — предложила невестка.

— Справишься? — спросила свекровь.

— Поживей вы там! — подгонял их Само.

Наконец мать на чердаке решилась и стала передавать невестке мужнину левую ногу. В эту минуту Само выпростал одну руку из-под мышки, чтобы утереть вспотевший лоб. Но не успел: Мария не удержала ногу отца, тело переломилось в поясе и выскользнуло из Самовой руки. Падало оно коротко, упало тяжело. Жена на чердаке закричала, мать ахнула. Само, до смерти напуганный, сбежал к неподвижному телу, лежавшему на спине. В одно мгновенье спустились с чердака и женщины. Все трое в ужасе смотрели на покойника. Потом робко заглянули друг другу в глаза. Сглотнули слюну, покашляли. Шумно вздохнули. Потоптались на месте.

— Бедный мой старик! — отозвалась наконец мать.— Всю жизнь надсаживался, всякий день о куске хлеба радел и даже после смерти нет ему покоя!

Она опустилась на колени возле мужа и погладила его по лицу. И следом резко вскинула глаза к сыну и невестке.

— О том, что стряслось, никому ни звука! — сказала она строгим голосом и в первый раз осенила себя крестом над покойным. Бледная, обессиленная и печальная, поднялась с колен и пошла к дверям. Оперлась о стену, постояла и опять пошла. Оборотилась. Глаза ее блестели от слез.

— Перенесите его в горницу! — наказала.— Сама обмою!

В эту минуту на дворе неистово взлаял пес, но так же внезапно и утих. А уж потом пронзительно завыл.

Но длилось это недолго — когда они выбежали, пса уже не было. Посреди сада на белом снегу следы его кончались и дальше — ни знака. Словно сквозь землю провалился или испарился, или длинным прыжком скакнул в дальнюю даль. Одно несомненно: с того дня больше его не видели, а был то преданный пес. Долго еще вспоминали его голос, его последнее завывание. Мать Ружена говорила, что он отошел в невозвратное искать своего хозяина.

Вдовица Кристина Срокова, воротившись домой, села в темной горнице на скамью у окна. Сквозь стекло глядела она на темнеющую снежную январскую белизну. Вдруг крепкое, красивое тело тридцатилетней женщины пронизал холод. И словно вместе с этим холодом ударила в голову мысль об отцовской смерти!

Надумав еще раньше затопить печь, теперь она подошла к ней,

разворошила тлеющие угольки, собрала их кочергой в кучку и кинула на нее две щепки.

Беспомощно остановилась посреди горницы.

Да, редко в этом доме бывал отец! Но теперь, когда она осознала, что он умер, ей мучительно недоставало его. Ей казалось, что вместе с ним ушло из мира что-то большое. Словно опустела не только горница, кухня, но и изба перестала быть избой, словно где-то позади нее исчезло и несколько холмов, словно поредел лес и убыло воды в ручьях и реках. Шаткой походкой прошла она горницу и поглядела на столик под окном. Там в небольшой рамке тихо улыбался с фотографии покойный муж — Матей Срок. Она взяла фотографию в руки и порывисто прижала к груди.

— Ах, Матей, Матей, и зачем ты меня оставил одну?!

Она застонала, вздохнула, поцеловала карточку и вернула ее на прежнее место. Потом опустила руку за пазуху и осторожно достала обрамленную фотографию покойного отца. Как раз нынче она незаметно украла ее у матери. Она поглядела на отца, тронула пальцем его лоб, нос и рот и поставила фотографию возле карточки мужа. Не отрываясь глядела на оба эти лица. Отцовская фотография была старая, и отец, когда фотографировался, был в том же возрасте, что и муж ее, Матей, когда умер. Эти двое умерших друг возле друга на какой-то момент показались ей родными братьями. Вот так, глядя на них в упор, она подвигалась все ближе и ближе к постели, пока наконец не рухнула на нее с безудержным плачем.

Вскоре она задремала. В полусне явился ей в какой-то дымке отец: он то брал в руки пилу, то замахивался топором, то ворошил вилами сено; но все время она видела его сбоку или со спины и ни разу, ни на секунду не увидела отцовского лица. Она вздыхала во сне, ерзала и крутилась на перине до тех пор, пока что-то тяжелое не придавило ей грудь. Она вскрикнула, очнулась ото сна и широко раскрыла глаза.

— Это ты? — ахнула она.

— Разбудить тебя хотел,— прошептал Юло Митрон и снял с ее груди широкую ладонь.

— Больно как сделал!

— Я хочу тебя, сейчас, сию минуту! — вскричал Юло Митрон, целуя ее.

— Нет! — сказала Кристина и, оттолкнув от себя голову Юло, встала.

Митрон стремительно вскочил, протянул руку к женщине, но тут же одумался. Покорно склонил голову. Кристина из горницы перешла в кухню. Съежившись у печи, стала раздувать тлеющую золу и подкладывать на нее сперва щепки, поменьше и потоньше, а когда огонь забушевал, расшумелся, запылал — толстые, тяжелые и объемистые поленца. Юло Митрон, остановившись на пороге между кухней и горницей, наблюдал за ее скупыми, но спорыми движениями, от которых исходила такая дразнящая зазывность; потом присел на скамью у стола. Грохнул тяжелой мебелью — Кристина обернулась. Улыбнувшись коротко, села у печи на ящик со щепой.

— Ты же хорошо знаешь: я не могу жить без тебя,— сказал Митрон, не спуская глаз с Кристины.

— Не говори так, у тебя жена есть,— отозвалась она.

— Ну ее! Детей мне не народила!

— И дети будут!

— От этой-то? Ни в жизнь!

— Любит она тебя!

— Не хочу! Не хочу ее! Я только тебя, Кристинка... Десять лет только о тебе думаю, по тебе тоскую... Когда на тебе женился Матей, я чуть не повесился...

— Ты ж ведь женатый был!

— То-то и оно! Когда ты в девках была, у меня еще оставалась надежда... Дело-то какое: женился я рано, потом служил в армии. А как воротился — глазам не поверил, до чего хороша ты вдруг стала... Томился я по тебе каждый вечер! Уж было решил: содею что-нибудь, если не над собой, так хоть над женой, а тебя заполучу... А тут ты вдруг взяла да вышла за Матея Срока! Двоюродный брат мой, это правда, но я готов был убить его... Не серчай, но когда в лесу его деревом придавило, что-то глубоко внутри меня взорвалось: поделом тебе, Матей Срок, поделом тебе, братец мой, нечего было у меня ее отбирать! И только когда он помер, слеза по нему скатилась.

На мгновение над ними нависла тишина.

— Ступай! — отозвалась Кристина.

— Я должен был тебе это сказать!

— Хорошо, а теперь ступай прочь!

— Так и знай: разведусь или жену выгоню, а ты моей будешь!

Юло Митрон резко отодвинул стол — эдак на полметра от себя,— и тут же скрылся за дверьми кухни, которыми хлопнул так, что они чуть не соскочили с петель.

Прояснело еще до обеда. Солнечные лучи ворвались в просторную кухню и заплясали по нагому телу покойного Мартина Пиханды. Ружена обмывала его сама: мокрым льняным полотенцем слегка касалась холодной мужниной кожи, ничего не говорила и лишь покачивала головой, словно вдруг все поняла. Еще совсем недавно она, словно вихрь, отгоняла от усопшего внучат и невестку, а теперь успокоилась. Одному Само велела остаться. Он стоял поодаль, тупо глядел на недвижное и большое отцовское тело и не чувствовал ни горя, ни даже грусти. Он был совершенно опустошен, не мог слова выговорить. А матери сейчас было не до него. Обмыв мужа, она едва заметно махнула рукой, и Само протянул ей новый костюм, помог одеть отца.

Побритого, умытого, одетого, обутого и причесанного Мартина Пиханду положили в гроб. Поместился он в нем с трудом — скорее всего потому, что новые ботинки были на высоких каблуках. Но лежал он спокойно, и Само какое-то время казалось, что отец вполне смирился со своим теперешним состоянием, что ему хорошо и что он доволен, если, конечно, он мог еще смиряться, если ему могло быть хорошо или он мог быть доволен. Но спокойный вид отца подобным же образом подействовал и на сына. Само лишь глубоко вздохнул и уже без отвращения коснулся отцовских сложенных рук. Холод, который ощутил, не испугал его — он не был для него неожиданным. Он слегка сжал отцовский палец, потом еще два, но отец на пожатие не ответил. Только сейчас Само как бы осознал, что отец действительно умер, и его глаза налились слезами.

— Иди могилу копай! — сказала мать за его спиной.

— Я? — вздрогнул он, отпустил отцову руку и обернулся к матери.

— Ты! — повторила строго мать.

— А что же могильщик Ленч?

— Захворал!

Он понял, кивнул. Вышел в сени, надел кожух, натянул рукавицы, нахлобучил баранью шапку. В амбаре взял кирку, лопату и мотыгу. Вскоре он был на погосте. Чуть повыше самой свежей могилы откинул лопатой снег, очистил землю, взмахнул киркой. А всадив ее, понял, отчего как раз сейчас могильщик Ленч захворал. Земля была тверже камня, промерзнув, пожалуй, на целый метр. Кирка отскакивала от нее, лопата сгибалась. Но яма все равно становилась все глубже и глубже.

Уже смеркалось, когда с покойным Мартином Пихандой пришли проститься двое его ровесников, шестидесятичетырехлетние Дула и Цыприх. Когда-то хаживали они вместе в школу и на гулянки. Наделы их лежали рядом, вот и хозяйствовали они вместе, каждый, разумеется, на своем не очень-то щедром клочке земли. Старики поздоровались с женой покойного, утешили ее добрым словом, а потом уж остались одни у гроба приятеля. Посидели малость, встали, принялись кружить вокруг Мартина да обглядывать его.

— Нда-а, Марош, у тебя уж оно позади! — вздохнул Цыприх.— И возможно, не так тебе и худо!

— А, братец, брось! Все ж таки лучше кверху макушкой, нежели носом,— возразил Дула,— даром что Ружена и вырядила его хоть куда.

— И впрямь вырядила! — согласился Цыприх.— Краше он и на свадьбе не был... Костюм новый, рубаха белая, глаженая, галстук, ботинки! Половину добра унесет с собой в могилу...

— Одно плохо: тесно ему как-то в гробу. Маловат купили! — сказал Дула и, нагнувшись, стал изучать покойника.— Слышь, братец,— вырвалось у него неожиданно,— а Мартинко-то наш вроде как вытянулся, удлинился, вырос, что ли...

— Ладно тебе пороть чепуху! — осадил его Цыприх.

— А ты глянь!

— Ну, длинен изрядно... Метра у тебя нет?

— Есть! — сказал Дула.— Да ты разве знаешь, сколько в нем при жизни было?

— Ровно сколько во мне! Тютелька в тютельку! На военной-то рядом стояли, в одной шеренге. Сто восемьдесят пять сантиметров — что я, что он.

— Так измерь его!

Дула вытащил из кармана метр, подал Цыприху, и тот взялся промеривать покойника.

— Ботинки меня с толку сбивают!

— Ну и разуй его!

Цыприх колебался с минуту. Оглянулся к дверям, прислушался, но, не обнаружив ничего подозрительного, быстро снял с покойника ботинки и обмерил его босого. И тотчас обул снова.

— Верь не верь, а он на пять сантиметров длиньше!

— Выходит, все ж таки вырос!

— Но когда? Не после же смерти?!

— Не болтай! — сказал Дула.

— Я еще вчера видел его живого,— твердил Цыприх.— Мы разговаривали, стояли рядом, так он был вровень со мной. А может, даже чуть меньше, потому что начинал горбиться... А теперь вдруг на целых пять сантиметров длиньше...

— Может, который человек после смерти и растет,— пустился в рассуждения Дула.— Всю жизнь тело гнет его к земле, а как помрет, оно спокойно и выпрямляется... Вытягивается! Удлиняется! Вырастает!

— Ерунда! — возразил Цыприх.— Это все равно как ты бы сказал, что не живи он совсем, то стал бы и вовсе длиннющим!..

Они сели, поглядели друг на друга. Но ни минуты не могли усидеть на месте. Заерзали на стульях, встали, снова сели.

— Может, подымим при товарище? — спросил Дула.

— А почему бы и нет! — согласился Цыприх.

Оба как по команде сунули руки в карманы, вытащили трубки, табак и, не торопясь, основательно их набили. Прикурили. Потягивали они со смаком, и дым вился над покойником.

— Хороший был мужик! — сказал Дула.

— Хороший, хотя и незаконнорожденный! — согласился Цыприх.

— Как так незаконнорожденный? — подскочил Дула.

— А ты не знаешь? — улыбнулся Цыприх.— Отец об этом рассказывал... Они с его отцом дружили. На лошадях возили сюда в Градок и Микулаш соль из польской Велички. У старого Матея Пиханды не было детей, и вот, сказывают, однажды, когда он в очередной раз отправился в Величку за солью, приехал в Гибе Янко Краль [1], тот самый стихотворец. Он гостил у нашего Якуба Грайхманна [2], ну и навестил Матееву жену. Потом родился наш Мартинко!

— Злые языки,— недоверчиво качнул головой Дула.

— Тому уж шестьдесят четыре года, откуда тебе знать, было оно или не было!

— Было иль не было, теперь уж все одно! — сказал Дула.— Только вот поклянись тут при Мартинко, что никому не скажешь, что мы тут открыли, когда обмерили его. Клянись!

— Клянусь! — сказал Цыприх.

— Клянусь! — повторил Дула.

Они встали, отвесили поклон усопшему и вышли.

В сенях стояла бывшая зазноба Пиханды — Жела Матлохова. Стояла молча, недвижно, хотя Ружена и задирала ее:

— Пришла, бесстыжие твои глаза!

— Пришла! — сказала Жела.

Из кухни выглянул Само. Поглядел на мать, на Желу Матлохову.

— Пусть войдет, раз пришла! — сказал он громко, повелительно.

Жела Матлохова благодарно взглянула на Само — тот махнул рукой в сторону передней горницы. Она кивнула, поняла. Медленно прошла к дверям, отворила их и еще раз обернулась. Само опять подбодрил ее движеньем руки. Она вошла, прикрыла за собой двери. Тут же привалилась к ним и долго стояла так... Она глядела на покойного Мартина Пиханду, то прищуривая глаза, то широко раскрывая их. Ее и тянуло подступить к гробу, да какая-то сила не пускала, приковывала к дверям. И так хотелось поговорить с покойным, она и рот уж открыла, но не смогла и словечка выговорить. Крепко сжала рукой горло: невысказанные слова душили ее, не давали вздохнуть. Она протянула к покойному Мартину руки и потом потихоньку опустила их к своему обессилевшему телу. Передернулась, затряслась. Боль и горе судорогой исказили лицо, и она обеими ладонями закрыла его. А потом, нащупав ручку, отворила двери и с плачем выбежала вон. Во дворе почти налетела на Ружену. Не проронив ни слова, пронеслась мимо вдовы, как безумная выскочила на улицу и умчалась прочь.

Пораженная Ружена долго смотрела ей вслед. Не удержалась, выглянула из-за дома на улицу. В вечернем полумраке увидела, как Жела Матлохова, широко размахивая руками, уносится в проулок между домами на противоположной стороне. Когда она скрылась, Ружена повернулась, провела пальцами по удивленному лицу и вдруг обомлела от мысли: «Неужто Жела и впрямь его любила?!» Она вздохнула. Ей показалось, что в эту минуту она простила Желку.

На третий день были похороны.

Пришел священник Крептух и в присутствии Само постоял над усопшим, тихо творя молитву. Само не мог разобрать ни единого слова, ибо священник очень невнятно бубнил что-то себе под нос. Наконец он осенил покойного крестным знамением.

— Жаль, что меня не было в его последний час,— сказал пастор Крептух.— Легче было бы ему отойти...

— Отошел он легко, даже слишком легко,— проговорил Само.

— У многих в этот миг настает просветление. Кто знает, воз-

[1] Краль Янко (1822—1876) — словацкий поэт и деятель национально-освободительного движения 40-х гг.

[2] Грайхманн Якуб (1822—1897) — словацкий поэт, драматург, уроженец села Гибе.

можно, и у него оно настало бы, хотя в последние двадцать лет он не захаживал в храм божий,— сказал пастор с упреком.— И ты, по всему видать, на меня сердце держишь?!

— На вас — вовсе нет! — сказал Само.

— Так неужто на бога? — удивился пастор.

— С ним я не знаком.

— Безбожники! — вскричал священник и побежал к дверям.— Если бы не твоя мать, женщина богобоязненная, так и ноги моей в этом доме бы не было! И его бы хоронить не стал!

— Церковный налог он платил! — перебил его Само.

— Не богохульствуй! — замахал пастор Крептух руками, осенил себя крестом и поспешно вышел из комнаты. Спустя минуту он уже приглушенно разговаривал с матерью. Само не знал, надо ли ему выйти или остаться с отцом. Он решил было накрыть гроб крышкой, но в этот момент в кухне усилился шум голосов: к двум прежним присоединился третий. Двери скрипнули и отворились. В них стоял брат Валент.

— Я не смог приехать раньше,— сказал он.— Гермина больна, лежит в постели...

Само понимающе кивнул.

Братья взглянули друг на друга и обнялись. Валент подошел к гробу — взял отца за руку. Движение было столь стремительным, что дернулось все тело покойного. Даже гроб сдвинулся. Сын погладил отца по лицу, поцеловал в лоб, а потом поднял глаза на Само:

— Какие были его последние слова?

— Не знаю! — отозвался Само.— Он умирал один...

— Один? — удивился Валент и вытер бледный и вспотевший лоб белым платком.— Как же вы могли... Так внезапно!

Он обомлел, заметив, что Само улыбается.

— И фарар минуту назад толковал о том же! — сказал Само и подошел к гробу — в последний раз поглядеть на отца. Он видел, как отцово тело день ото дня разбухает и уже еле умещается в гробу. Не находя тому объяснения, он даже рад был, что отца вот-вот похоронят. Валент, тоже это заметивший, тихо хлюпал в платок. И вдруг Само ужаснуло видение: погребенный отец растет под землей, разбухает, раздается вширь, пока не покрывает собою весь земной шар. Отец и после смерти путешествует! Он побывает везде, объемлет всю землю!

Неприятное чувство охватило Само...

Двери горницы растворились настежь, и толпа провожающих хлынула в помещение. Односельчане, друзья и родные попрощались с покойным. Само и Валент накрыли гроб крышкой. Мужчины подняли его, вынесли во двор и поставили на козлы. Тетушки вокруг склонили головы, точно черные вороны. Ружена и внучата заплакали.

Пробил звездный час фарара.

У многих мурашки пробежали по спине от его спесивой и злобной речи.

После прощальной церемонии процессия медленно двинулась к кладбищу, сопровождаемая звоном четырех колоколов. А на кладбище к нему присоединились детские голоса и трубы пожарников.

Наконец гроб опустили в могилу.

Барабанная дробь земли перебила плач и стенания погребального колокольчика.

Вдруг все смолкло, лишь глухо потрескивал гроб под тяжестью земли и полнилась верхом могила...

— Вишь, как оно бывает,— наклонился Дула к Цыприху.— Потрезвонят по тебе десять минут, и все дела!

После веселых поминок человек долго чувствует себя винова-

тым. Само выбежал утром из дому босой, в одних гатях[1] и увяз в глубоком снегу. Он набирал его пригоршнями, умывал лицо, грудь и руки. Снег был сыпкий, холодный, а тело горячее. Само чувствовал, как снег тает, если подержать его подольше у кожи. От холода пробирала дрожь. Снеговая вода ручейком струилась по лбу, затекая в глаза, рот и нос: он смачно чихнул. Меж тем незаметно подошел брат.

Само вздрогнул, когда рядом раздался голос Валента:

— Заболеешь!

— Да ты что! — выпрямился Само.— Снег мне в радость. Я со вчерашнего какой-то смурной... Есть неохота!

— Мне тоже! Собаке вот несу!

Само увидел у брата в руке миску с демикатом[2], в котором крупными монетами перекатывались кусищи хлеба. Демикатовый запах защекотал ноздри. Само даже сглотнул.

— Нет у нас собаки! — сказал он и, отбросив снег, вытер руки о платок.— Ее уже не накормишь!

— Как так? — удивился Валент.

— Пропал наш пес! В тот самый день, когда отец дух испустил. Забыл сказать тебе.

Они подошли к собачьей конуре, из которой свисала на снег тонкая цепь с мелкими звеньями. Само поднял ее, позвякал ею и снова уронил в снег. Она свернулась как гадюка.

— Издох? — спросил Валент, опустив миску на снег к самому концу цепи, словно пес был привязан к ней по сю пору.

— Вовсе нет! — махнул рукой Само.— Словно бы испарился... Несколько дней не выпадало тут снегу, собачьи следы были ясно видны. Когда я в тот день пришел сюда, следы вились вокруг конуры, но пса нигде не было. Вроде бы никуда не убегал, и крыльев у него тоже не было...

— Брось! — нахмурился Валент.— Что-то ты выдумываешь!

— А к чему мне? — спросил серьезно Само.— В церковь не хожу, ни в какие чудеса не верую!

— Странно! — сказал Валент и задумался.— Собачьи следы, говоришь, были только вокруг конуры?

Само кивнул.

— Может, пес учуял покойника, сорвался, прыгнул аж на лестницу и дал деру...

— Не видывал я, чтоб собака без разгону прыгала на десять метров!

— Значит, украли его! — сказал Валент.— Вы все примолкли возле отца в доме, вор воспользовался случаем, огрел пса по голове, сунул его в мешок и исчез.

Говоря это, он так разошелся, что нечаянно наступил на миску с демикатом и перевернул ее. Демикат впитался в снег, а куски хлеба стыли на морозе. На белом снегу осталось большое пятно.

— Может, оно и так,— уступил Само, улыбнувшись. Вдруг ему стало жалко растерявшегося брата. Он поднял миску.— Ничего,— повторил он мягко и указал на хлеб,— потом куры склюют...

Валент хотел еще что-то добавить, но, увидев, что Само направляется к дому, молча пошел за ним. Сделав несколько шагов, обернулся. Конура стояла опустелая, и только рядом, посреди мерзлого собачьего помета, благоухал демикат.

Ясным, солнечным январским днем 1904 года (к тому времени Австро-Венгрия здравствовала уже немало столетий) в Верхней Венгрии[3],

[1] Полотняные штаны.

[2] Старинное национальное кушанье: сырная, чесночная или заправленная мукой тминная похлебка с хлебом.

[3] Так называлась территория Словакии до распада Австро-Венгрии в 1918 г.

а иначе в Словакии, покатили на лыжах по глубокому снегу Само и Валент Пиханды. Сперва с натугой, еще не промявшись и не обретя второго дыхания, братья поднялись над селом, взойдя неторопливо на Кралёву, потом недолго спускались по откосу и вскорости опять стали восходить по Ружьяковой ложбине. К мосткам над Вагом слетели в отвес. На мостки взбираться нужды не было — реку прочно сковало морозом. Казалось, прозрачный лед пророс до самого дна. Ан нет: подо льдом шевельнулась рыбка. Блеснула и замерла. Оба присели на корточки, с минуту разглядывали ее, а потом застучали по льду, но она и не шелохнулась. Братья прыгали над рыбкой, гомонили, горланили, пока потеху не прервали пронзительные звуки паровоза. Спустя минуту над ними вдоль откоса прогромыхал поезд. Они до изнеможения махали ему.

Само заметно погрустнел.

— Как завижу поезд, такая тоска меня разбирает,— сказал он тихо,— что враз бы шарахнул за ним и бежал, бежал на край света...

— Неужто даже в Америку, как другие? — улыбнулся Валент и резко стеганул палкой по снегу.— И тебе уже дома невмочь?

— Нет, я останусь тут! — твердо сказал Само и рванул на лыжах так ходко, что брат поотстал на несколько метров. Но вскоре Само оборотился, улыбнулся: — А ты бы уехал?

— Я? — рассмеялся Валент.— Мне хватает того, что у меня есть, да и потом — родина превыше всего!

— Родина, родина, родина! — взорвался Само.— Что это за родина, когда с пятью детьми еле сводишь концы с концами, когда в школе дети не могут говорить, читать и писать на своем родном языке, когда у тебя нет права голоса... А потом еще удивляются, что словаки охотно ходят в церковь?! Да это же единственное общественное место, где хотя бы иногда говорят по-словацки... А, к чему сейчас скулить?! Мы же вышли с тобой поразмяться, так ведь?! Что зря душу травить...

И Само опять улыбнулся. Похлопал младшего брата по плечу, натянул рукавицы и вновь двинулся. Валент слушал брата сперва удивленно, то возражая ему, то соглашаясь, но теперь тот был уже в добрых двадцати метрах от него. С невероятным усилием Валент догнал брата и, едва переводя дыхание, прокричал ему в спину:

— Ты что, социалист, Само?!

Само перестал смеяться, остановился и воткнул палки глубоко в снег; нагнулся, набрал в ладони рыхлого снега, слепил хрупкий снежок и прицелился в запыхавшегося Валента.

— Испугался, что однажды отберу твой пай на фабрике? — засмеялся он.

— Нет, этого я не боюсь! — решительно возразил Валент.— Капитал одолеет всех мечтателей и фантазеров. Капитал сам себя всегда защитит! И когда будет словацкий капитал, будут и словаки!

— Ну, Валент, ты заговорил как истый капиталист! — сказал Само, уставившись на брата.

Валент развел руками:

— Что поделаешь?

Они снова тронулись. Шагали и восходили медленно, не торопясь. Само впереди словно бы вдруг притомился, и потому расстояние между братьями не увеличивалось, не уменьшалось. Чем выше они поднимались, тем холодней становился воздух. Братья бодро прошагали Переднее взгорье, наискось перерезанное дорогой и заваленное лесом. Вверх на Среднее взгорье множились на снегу следы. Если заячьи и лисьи кончались где-то у Вага, то здесь, наверху, в глубокой чаще виднелись следы косуль и оленей. Доскользив до Заднего взгорья, где на обширной, в два гектара, поляне стояла кошара, они затосковали по огоньку. Само отворил кошару, заглянул в нее.

— Добро! — сказал он и стал снимать лыжи. Прислонив их к кошаре, вошел внутрь. Бросил в очаг кусок бумаги, несколько щепок и сухих чурок. Вздул огонь быстро, еще до того, как вошел в кошару Валент. Само слышал, как снаружи тот отряхивает лыжи, насвистывает. Когда брат наконец открыл дверь, Само поразило, почти ослепив, солнечное сияние: вместе с белым снегом оно словно гикало от радости, раздвигало поляну во всю ширь, сгребало в охапку весь мир разом.

— Красота-то какая! — сказал Валент, ввалившись в кошару.

— Ясный день, и впрямь замечательный! — согласился Само.

Валент подсел к крепнувшему огоньку и стал согревать над ним руки; потирая ладони, он то и дело взглядывал на брата, а потом вдруг взял да и выпалил:

— Иной раз жалею, что не остался крестьянином или не стал каменщиком, как ты!

— Жалеть нечего! — улыбнулся Само.— Тогда и тебе пришлось бы стать социалистом... А этого, видать, ты боишься!

— Дорогой брат, все это одни фантазии! — вздохнул Валент.— Я пока не жалею о том, что сделал. А сейчас вот не нарадуюсь, что дома. Чувствую себя здесь вроде безопаснее. Поверь мне! Воздух чистый, подтатранский! А в Праге одна копоть и дым, грязь да пыль. Губительный воздух. А сама жизнь! Сложная, неестественная, сплошное притворство. А тут такая красота! Чистехонький снег, благостный зимний воздух, синее небо... Жить бы здесь да жить... В радости и веселье!

— А выжил бы ты здесь? — опять улыбнулся Само.— Сам видишь, ишачу в поле, да еще по свету брожу, каменщиком подряжаюсь... И не я один. Отстраиваем Дебрецен, в Будапеште на парламенте наши имена [1], в Темешваре [2], в Вене, в Братиславе обновляем старые дворцы, возводим новые... Нелегкая это жизнь! Дети растут без отца, тоска в чужом краю заедает, а что наработаешь? Пятнадцать гульденов в неделю, ежели повезет, да горбатишь при этом по двенадцать часов в сутки... У тебя, брат, иной хлебушек, полегче будет!

— Тебе так кажется,— вздохнул снова Валент,— но это не совсем так. У меня свои заботы! И еще какие! Судья подчас вдвойне раб...

Братья умолкли... Огонь полыхал, но по краю уже чернели угольки. А когда молчанье слишком затянулось, они потушили огонь и вышли из кошары. Полуденное сияние было в самом разгаре. Они прищурились, но все равно на глазах выступили слезы. Они утерли их, пристегнули лыжи. Взглянули друг на дружку.

— Ну, жми долиной вниз! — сказал Само брату.— Да держись хотя бы метрах в пятидесяти от меня, а то сшибемся.

Звонили к обеду, когда промерзшие мужчины подкатили к дому. Они стряхнули с себя снег, поели и сели к печи, где гулко трещали раскаленные сосновые дровишки. Смоляной дух приятно дразнил ноздри, даря голове и телу истому и успокоение. Но Само не сиделось у печи. Он то и дело вставал и беспокойно сновал по горнице, потом снова подсаживался к печи и нежно касался ее теплых боков, словно оглаживая тоскующую по любви женщину. Он не обронил ни слова, лишь вздох иной раз соскальзывал с его губ.

Брат Валент приглядывался к нему, потом подошел, положил руку на плечо и подбадривающе сказал:

— Не тревожься, все в конце концов образуется.

Само так и подбросило.

— Иди ты к богу со своей сомнительной философией! — взревел

[1] В строительстве здания будапештского парламента накануне первой мировой войны принимали участие и словацкие каменщики, совместно с представителями других народностей Венгрии.

[2] Ныне Тимишоара в Румынии.

он как ужаленный и грохнул кулаком по столу.— Когда оно образуется? Через сто лет? Через двести? Я хочу сейчас!

— Без терпенья нет спасенья! — сказал раздраженно Валент.

— К черту такую покорность! Она лишь питает зло, губит в человеке всякую надежду и сеет отчаяние. Пороть надо покорных!

— Я не покорный! — сказал Валент.— Я верю в прогресс. А это не покорность! Свет исподволь меняется, капитал меняет его. Вырастут новые фабрики, будет больше работы. Нужно только терпеливо ждать!

— Сколько же еще ждать, может, до смертного часа? — оборвал его Само и рассмеялся.— Или ты думаешь, со мной кто-то поделится? Не будь, Валент, таким, как все эти святоши с тугими карманами! Утешаешь, призываешь к терпению, обещаешь, и ни черта больше! От этих речей и крупицей соли не разживешься!

— А какой твой совет? — посерьезнел Валент.— Уж не хочешь ли ты прикончить парочку соседей да присвоить их достояние?

— Пускай поделятся с теми, у которых нет ничего или почти ничего. Нужно дать всем возможность жить!

— Тогда и ты поделись с первым же христарадником, что придет к тебе за подаянием!

— Я голь перекатная!

— Это говорят все, у кого что-то есть. И ты святоша, и ты лицемер!

Словно захмелев, Само вдруг дико завертелся, засмеялся. Он протягивал свои мозолистые ладони брату, поплевывал на них и знай вертелся и смеялся. Валент сновал вокруг брата, пытался ухватить его за вытянутые руки и прекратить эти подскоки и верчение, но Само все время ускользал от него. И вдруг, неожиданно остановившись, перестал смеяться и на ладони поплевывать.

— Ты меня жутко напугал! — вскричал Валент.— Потешаешься надо мной или правда спятил?

— И то и другое! — сказал Само.— Мне и смешно стало, и жалко самого себя. Ты мой брат, а понятия не имеешь, что я делаю, как живу. Даже не веришь, когда я про это рассказываю. Как же тогда поверит фабрикант, у которого я требую большего жалованья?! Разве он укоротит мне рабочий день? Высмеет, да и все! Или жандармов на меня нашлет... А работать все равно надо — не работай я, все помрем с голоду. В два ночи встаю. Завтракаю куском хлеба и запиваю глотком палинки. С полтретьего до пяти кошу свое жалкое поле. В шесть, если повезло найти работу, заступаю каменщиком. Полдничаю в десять каким-нибудь хлебовом, а потом кладу кирпичи до двух дня. Обед! А каков он, обед? Обыкновенно — картошка с молоком, редко когда кусок мяса или сала, а уж колбаса и вовсе роскошь. В четыре дня кончаю смену и сразу же — опять в поле. Кошу, ворошу, а вечером задаю корм скотине. К восьми только дух перевожу, ужинаю чем бог послал и — на боковую. Некогда ни почитать, ни порисовать, ни повырезать, в два-то часа опять все сначала!..

— Ты так изображаешь, брат, будто принял на себя все мирские печали! — засмеялся Валент.

— Смеяться нечего! А то поменяйся со мной хотя бы на полгода!

— Что ж! Выжили наши, не пропаду и я!

— Это ты сейчас так говоришь!

— Вырастил же нас отец?

— Сам знаешь как! Не мог сладить с нуждой, так на бога воз роптал. Да ничего не изменилось: нищим был, нищим и остался, разве что сделался к нищете равнодушен, а я как раз этого и не хочу!

— Чего же ты, собственно, хочешь?

— Прежде всего — разнести этот мир! — стукнул Само тяжелым кулаком по столу.

— Мир разнести тебе захотелось?! — взъярился Валент.— Крушить захотелось? А почему? Лишь потому, что ты не богат? А кто же после тебя все восстанавливать будет? Гордишься, что ты член социал-демократической партии Венгрии. Но был бы ты последователен, так не стал бы ее членом, ибо не можешь полностью согласиться с ее программой. Отчего твоя хваленая партия не отстаивает и национальные права народов Венгрии? Ты же с этим не согласен! А разве ты заодно с мадьярскими «газафишагами»? [1] Они же готовы утопить в ложке воды всякого, кто ныне, в году одна тысяча девятьсот четвертом, не считает себя мадьяром!

— Я не согласен с ними, ясное дело!

— А будто твои мадьярские соратники по партии придерживаются иных национальных принципов!

— Ты только наполовину прав! — сказал Само серьезно.— Есть в партии и такие, о которых ты говоришь,— я не с ними. Но большинство мадьяр в партии не таковы. Большинство за то, чтобы всем народам Венгрии были предоставлены равные национальные права. Именно потому в нашей партии кроме мадьяр есть и словаки, и румыны, и словенцы, и хорваты, и многие другие. Лишь объединившись, мы заставим венгерские власти признать всеобщее избирательное право. Оно необходимо народу уже сейчас, чтобы он мог выбрать таких депутатов и такое правительство, которое дало бы ему хлеб, национальные права, восьмичасовой рабочий день, повысило бы самую низкую заработную плату. А кто за все это последовательно борется? Одни мы, социал-демократы! Мы знаем: национальная идея неразрывно связана с идеей социализма, который по природе своей полностью исключает господство одного народа над другим. Более столетия священники и учителя боролись за наши национальные права, да так почти ничего и не добились. Одиночки! Пеклись о нации, о народе, но о нем-то как раз и забывали. Вот и остались одинокими! Все надо делать по-другому! Надо поднять народ!

Само замолчал и поглядел на зимний вечер за окном. Зажег керосиновую лампу, подложил дров в печь, закурил. Он спокойно дымил, глядел на брата и улыбался.

— А не найдется ли у тебя бланка заявления в партию? — пошутил Валент и приглушенно рассмеялся в ладонь.

— Кабы ты не изгалялся,— сказал серьезно Само,— возможно, я и нашел бы...

— Ты, ей-богу, Само, говорил словно апостол социал-демократии! Я почти поверил тебе! Ох, было бы все так просто, как ты тут расписывал! Но каждая твоя фраза, если превратить ее в дела, приведет к потокам крови, к гибели уймы людей. Все, о чем ты читаешь в «Словенском тыжденнике», «Ставительском роботнике», «Непсаве», «Фольксштимме»,— все это лишь распрекрасная теория. Красивые и мирные сказки. А жизнь — дело другое, на практике все иначе. Революция, братец мой,— это великие жертвы, море крови, разруха и бедствия, а результаты весьма туманны. А я не охоч до всяких туманностей! Потому и не возьму у тебя бланка заявления в партию. Послушать можно, но не больше! Так-то вот!

— Трусишь?

— Ну что ты! — усмехнулся Валент.— Просто не жажду быть революционером.

— Стало быть, всем доволен?

— Какое там! — ответил Валент.— Но я против того, чтобы лилась кровь и гибли люди. Верую, что всего можно добиться мирным

---

[1] Шовинисты в Австро-Венгрии.

путем. Всего, о чем ты говоришь! Я таков и другим не буду, да и не хочу быть!

Стая детишек слетелась на Дудачов двор.

В теплых бурочках месят они снег, точно капусту в огромной бочке. Хватают его руками, лепят снежки и пронзительно визжат. Старый Дудач, выглянув в окно, улыбнулся и окликнул внучат. И тут же ввалилось в дом пятеро маленьких снеговиков.

Бабка Пиля Дудачова, сходя с чердака, вскрикнула, затрясла руками — чуть не выронила миску с мукой.

— Ну и паршивцы, недотепы, погибели на вас нет! — ругалась она.— Бурки-то отряхните от снега, воды в доме не оберешься!

Она спустилась к расшалившимся внучатам и давай их отпихивать: не дай бог еще ввалятся такие заснеженные в кухню.

Старый Дудач, отворив кухонную дверь, стоял и спокойно улыбался.

— Ну заходите, заходите,— зазывал их дед в кухню, отряхивая от снега. Младшенького он взял на руки и прижал холодное его личико к своему.

— Подсаживайтесь к печи! — распорядилась бабушка Пиля.— И ни шагу, пока не обсохнете!

Старый Дудач рассадил внучат у печи, помог им снять пальтишки, а Пиля тем временем выложила на стол хлеб, отрезала пять ломтей и намазала их маслом.

Мария Пихандова появилась в дверях кухни и остановилась на пороге, еле переводя дух. Поглядела на своих детей, уплетавших за обе щеки хлеб, и улыбнулась.

Вошла, поздоровалась.

— Не поспела за ними,— говорила, отпыхиваясь,— убежали от меня.

— Вот и хорошо, что пришли! — сказал отец.

— Они только что поели, ни к чему им...

— Не болтай! — одернула ее мать,— гвозди и то бы смолотили! Намажь и себе хлеба!

— Говорю же, мы только что ели,— повторила Мария и скинула с головы белую шаль, закрывавшую ее фигуру до пояса. Она сложила шаль возле себя, расстегнула кацавейку и положила руки на свой тяжелый живот. Отец и мать внимательно следили за ней. Мария оглаживала живот, словно ласкала и согревала в себе человечка.

— Что у вас нового? — спросила мать.

— Поделили имущество.

— Как?

— На три части. Старая поле не захотела. Дом себе оставила.

— Так я и знала! — вырвалось у Пильки.— Ох и дуреха ты... Тебя нешто там не было?!

— Что я могла? — засмущалась дочь.— И так ладно!

— Надо было пополам все делить. Одну половину вам, вы ведь за старым до последнего часа ходили и старую тоже обихаживаете... А вторую половину поделить между Валентом и Кристиной...

— Хватит им и того, что есть! — поддержал отец дочь.— Еще и от нас кой-чего получат, когда наш час пробьет...

— Дак у нас тоже три дочери...

— Вот видишь, сама-то хочешь по справедливости, а другому не позволяешь,— засмеялся Дудач.

— Старый долдон! Тут небось разница! Дочери-то наши замуж повыходили... Мы и сами за собой до смертного часа присмотрим...

— Кто может знать, какой конец грядет!..

И, верно, пререкались бы они до второго пришествия, кабы Ма-

рия не встала и не подошла к матери. Взяла ее за руку, поцеловала в щеку, улыбнулась.

— Я довольна, мама,— сказала она тихо.— Я уже примирилась... Все на свете захватить никому не под силу.

Мать обомлела и на миг потеряла дар речи. Но вскоре отозвалась, и слова ее звучали уже поспокойней:

— Ни о чем другом, кроме как о твоих детях, не печалюсь. Глянь-ка, сколько их у тебя! Пятеро у печи, шестого под сердцем носишь... А что дальше будет?!

— Справимся, мама, слава богу, у нас крепкие руки...

— Да будет ли что взять в эти руки?

Старый Дудач налил в кружку молока и подал дочери.

— Выпей, Марка! Покамест у меня еще найдется что подать в твои руки!

Дочь приняла кружку, улыбнулась отцу, поблагодарила.

— И я пить хочу! — Маленькая Эма примчалась от печи и потянулась к кружке.

Кружка скользнула к ней в ладони.

А пока Эма пила молоко, самый старший Мариин сын, двенадцатилетний Ян, что до сих пор потихоньку ел, прислушиваясь к разговору, подошел и положил деду на плечо руку.

Дудач улыбнулся ему, кивнул головой, словно собираясь спросить его: «Ну а ты чего бы хотел?»

— Дедушка,— стыдливо начал внук,— а сколько у вас гектаров поля и луга?

Теперь примолкли и женщины — они аж рты открыли от удивления. Подошли к деду с внуком, стали по обе стороны. Дудач взглянул на жену, на дочь, погладил усы, потом дунул на ладонь, будто хотел сдуть с нее пушинки, и привлек внука к себе. Они разговаривали так тихо, что женщинам пришлось нагибаться, чтобы разобрать слова.

— От родителя мне досталось два гектара,— начал Дудач,— да за женой получил еще два, стало быть, всего у меня четыре...

— Четыре гектара и три дочери?

— Так! — подтвердил Дудач.— Твоя мать — одна из них.

— А когда вы умрете...

— Господи, да что ты плетешь! — оборвала его мать.

— Дай ему договорить! — остановил Дудач дочь и подбодрил внука: — Ну говори, я слушаю!

— Когда вы умрете,— снова собрался с духом Ян,— каждая ваша дочь получит примерно один гектар и тридцать аров...

— Точно! — подтвердил Дудач.

— Тогда к нашему гектару и семидесяти арам прибавится то, что получит мама, и всего у нас будет три гектара...

— Ну ловок считать! — горделиво сказала бабушка и, наклонившись, погладила внука по светлым волосам. Жестяная кружка, которую подала ей Эма, с грохотом упала на пол.— Тьфу ты, эмаль потрескается! — заругалась она, подняла кружку и, словно забыв про сметливость внука, стала внимательно рассматривать голубую эмаль. Мария подсела к отцу.

Дудач ободряюще улыбался внуку. Тот продолжал:

— Нас теперь пятеро детей,— он опять смутился, посмотрел на мать и на ее выпуклый живот,—...скоро нас будет шестеро...

— Вот негодник, и во что только нос не сует! — подивилась мать, но тут же, улыбнувшись, взлохматила ему волосы.

— Ну договаривай, что хотел! — подзадорил внука Дудач.

— Я хотел только сказать...— покраснел мальчик,— что, когда нас будет шестеро, каждому достанется от этих трех гектаров по полгектара...

— А, может, ты за женой что получишь! — перебила мать сына.

— А если не получит? — спросил Дудач.

— Дак не возьмет же он такую, у которой ни кола ни двора! — вскинулась с визгом старая Пилька.

— А ну как бедную полюбит? — поддразнил женщин Дудач.

— Батюшки светы! — не унималась Пилька.— Уж в этом деле человек волен себе приказать.

— А вдруг не прикажет?

— Я приказывать себе не стану,— осмелел Ян.— Женюсь на той, которую полюблю.

Он гордо поглядел на мать, на бабку и снова покраснел.

— А у тебя уж есть какая на примете? — пошутил Дудач.

— Не знаю! — сказал Янко и покраснел еще пуще.

— Успеет еще! — обронила Мария.

— Если возьмешь бедную,— Дудач притянул внука поближе,— будет у тебя только полгектара и будете вы оба голь перекатная...

— Бедность — святое дело,— быстро перестроилась бабка Пиля.

— Если будет у тебя пятеро детей,— продолжал Дудач,— поделишь между ними полгектара... Каждый получит десять аров, а это выходит меньше, чем наш сад...

— А с чего будут жить мои дети? — спросил Ян.

Ребята у печи завизжали — всем сразу захотелось положить в печь одну плошку. Мария прикрыла живот шалью, а старая Пилька от удивления цокнула языком.

— С чего будут жить твои дети? — повторил вопрос Дудач, и тихий его голос едва выскользнул из-под усов,— этого уж я тебе не скажу. До этого самому придется додуматься... Горбом своим их прокормишь!

— Тогда я лучше не женюсь! — выпалил мальчик. Он повернулся, вышмыгнул из-под руки деда и бросился к дверям.

— Яно! — крикнула сыну вдогонку мать, но он не воротился. С большой натугой она встала на ноги и заторопилась к дверям.

Остановившись на лестнице, увидела на снегу глубокие следы.

Она хотела снова закричать, но не издала ни звука. Потом расплакалась навзрыд, повторяя множество раз:

— Не хочу больше детей, не хочу!

И вдруг упала.

Он вошел в горницу тихо и в ту же секунду услыхал, как жена стенает в постели. Повитуха, сидя в изголовье, кивком велела ему подойти. Перина над женой то поднималась, то опускалась. Стоны раздавались через равные промежутки.

Он остановился над Марией, поглядел в ее сведенное судорогой лицо, тронул лоб, покрытый испариной, и взял за руку, сжимавшую перину.

— Марка, я здесь! — прошептал он.

Жена болезненно улыбнулась и открыла глаза.

— Все будет хорошо, Марка, не тревожься! — тихо сказал он.

Жена кивнула. Она чувствовала, как тело мало-помалу расслабляется, как с него сходит мучительное напряжение. Прерывистое дыхание становится глубже, ровнее. Она то открывала, то закрывала глаза и, наконец, уснула.

Повитуха коснулась плеча Само.

— Пойдем!

Он выпустил руку жены, встал и вышел за повитухой.

— Что случилось? — спросил он в сенях.

— Поскользнулась и упала.

— Выкинет до срока?

— Не-е! — ответила бабка.— Больше испугалась, чем ударилась. Выспится, и к вечеру все обойдется.

Из кухни выглянули дети и мать Ружена.

— Что с ней? — спросили все разом.

— Уснула! Уже лучше! — сказала повитуха, собираясь уходить.

— Куда же ты, погоди! — Ружена взяла ее за локоть.— Молока тебе приготовила.

И она силой втянула повитуху в кухню.

Неожиданно смерклось, время заторопилось к семи. Само Пиханда принес жене ужин в постель, похоже было, ей полегчало: она весело ему улыбнулась. Он спокойно воротился в кухню. Поусаживал ребятишек за стол, снял с полки высокий мягкий ржаной каравай, испеченный Руженой после обеда. (Он помог ей растопить пекарницу, а потом укладывал на посыпанную мукой лопату большущие колеса теста.) Взял нож и стал резать объемные краюхи, наполнившие ароматом всю кухню до самого потолка.

— Один хлеб? — сморщилась Эма.

Он остановился над ней, погладил по голове, улыбнулся.

— Хлеб, моя милая, одна из самых великих и самых вкусных человеческих выдумок,— ласково сказал он девочке.

Эма засмеялась. Другие дети тоже.

— Масло есть, только что спахтала! — сказала бабка Ружена и выставила на стол желтую горку. Само намазал хлеб маслом, и ребятишки с аппетитом принялись за еду. Жевали беззвучно и жадно глотали помасленные куски, легко проскальзывавшие в пустые желудки. Когда доели хлеб с маслом, бабушка налила им в кружки пахты, напилась и сама.

Керосиновая лампа, тускло мигая, качалась над столом. Тени детских головок скользили по стене, точно рассыпанные лесные орешки. В печи трещали смолистые сосновые дрова, тепло одурманивало едоков. Движения замедлялись. Самый младший, Карол, опустив голову на стол, задремал; остальные дети, осовело мигая веками, заметно попритихли.

— Спать, ребятишки! — приказала бабушка.

Исподволь и тяжело подымались утомленные тельца со стульев. А став на ноги, шатались из стороны в сторону. Бабушка вымыла детям руки, лица и уши и вместе с Само повела их спать в натопленную горницу.

Отец вынес из горницы лампу, и возня под перинами прекратилась. Ее сменило спокойное и глубокое дыхание. Само воротился в темную горницу, дотронулся до жены.

— Приду, как уснут! — прошептал он и собрался было выйти, но жена пожатием руки удержала его.

— Пройдусь вокруг дома,— сказал тихо Само,— поморозиться захотелось.— Рука жены расслабилась, пальцы разжались.

Само вышел на пустынную улицу. Поднял глаза к небу, на котором кишели мириады звезд. Он даже ахнул, глядя на это великое скопище точек, на эту сверкающую неоглядность, и резко втянул в себя стылый воздух. Захлебнул его столько, что защемило в горле. Он закашлялся, баранья шапка свалилась в снег. Он поднял ее и, отряхнув, нахлобучил на голову. Мороз пробрался под полушубок, сковал пальцы, ознобил ногти. Он сунул руки в карманы и зашагал. Обошел дом, двор и вдоль дощатой изгороди спустился на тихую, хрусткую, скрипучую дорогу: снег под бурками тихо поскрипывал. Потрескивало и в коленях, но после нескольких шагов все прошло. Остановившись, он оглядел дома, в которых едва теплились маленькие оконца и бесшумно, одно за другим, угасали. Его охватила тоска. Она раздирала и грызла грудь в ненужной сейчас вечерней тишине — до того жадно хотелось веселья, песен, музыки. Хотелось так неодолимо, что он, не выдержав, задробил бурками по рыхлому снегу.

Потом проскакал на одной ноге до соседской ограды, пнул ее и заорал на всю улицу, загайкал громко на месяц, завыл, как пес, и замяукал, точно подбитый кот. А под конец из глотки вырвался неестественно сильный, тягостный всхлип. Само стоял неподвижно в морозной тишине и слушал затихание собственного всхлипа, который пролетел вдоль улицы, вознесся над домами, скользнул по снегу и, раздвинув ближние горы, запрудил весь окрестный мир. И когда он стоял так, онемелый и коченеющий, будто стыдясь следующего шага, от Кралёвой и от Вага донеслись до него надсадно сопящие звуки и гудки вечернего поезда. Его словно толкнуло в ту сторону. Он резко повернул лицо к этим звукам и побрел, как лунатик. Налетел на соседнюю изгородь — аж в глазах засверкало. Он повис на ней и тряхануп как следует. Мечта, что влекла Само к поезду, обгоняла в его воображении вагоны и неслась над лесами и горами туда, где на берегу чистого озерца виделся ему хлеб, огромный, как город, а в этом хлебе — улицы шириной в две телеги. На улицах — нарядные люди со скрипками, цветами и лентами в волосах. И детишек — не перечесть. Когда дети хотели есть, они подходили к ближайшей стене и от этих хлебных улиц и домов отщипывали ломоть или корку. Когда хотели пить — шли к озерцу, полному хорошо взболтанной простокваши, а в ней нарезанного лука-скороды...

Мороз толкнул его в ноги и спину. Он опамятовался и тут же горько засмеялся над своим видением. Повернул к дому. Впервые с тех пор, как исчез пес, Само почувствовал, что ему недостает его лая. Он подошел к пустой, снегом заваленной конуре, обошел ее и голыми руками очистил от снега крышу и вход. Он закоченел весь, холод ознобил пальцы, но он все-таки попытался сдвинуть конуру с места, навалившись на нее всем телом. Дерево хрустнуло, но конура не поддалась — так крепко пристыла к земле. Улыбнувшись, он отказался от своей затеи. Обмел по самые голенища заснеженные бурки и вошел в тихий дом. Разулся в сенях и шмыгнул в горницу.

— Это ты? — отозвалась жена.

— Я!

— Долго-то как!

— Спи!

Он лег рядом, Мария тут же приникла к его плечу. Через минуту он ощутил на коже влагу.

— Плачешь? — спросил.

Жена не ответила, а сдавленно разрыдалась. Он повернулся к ней и нежно погладил по голове, по лицу.

— Болит у тебя что, Мария? — встревожился он.

— Не-а! Дай руку!..

Он протянул руку — она положила ее на свой вздутый живот. На миг перестала рыдать, замерла — под ладонью он ощутил тихое шевеление, едва уловимое постукивание.

— Жив! — сказал он, улыбнувшись.

Жена опять расплакалась. Натянула на себя перину, вцепилась в нее зубами, приглушая всхлипы. Немалое время прошло, пока Само чуть успокоил ее. Он разговаривал с ней, гладил, целовал, но она затихала лишь на миг — и снова накатывали на нее приступы плача.

— Я нарочно упала! — вымолвила Мария сквозь рыдания.— Я убить его решила, не хотела, чтоб живой родился...

Она судорожно впилась ногтями в мужнину руку, потом пальцы внезапно расслабились. Она тяжело рухнула в перины и впала в беспамятство. Само вскочил с постели, выбежал в сени и воротился с кружкой воды. Он растирал ей лоб и виски до тех пор, пока она не пришла в себя и не открыла глаза.

Мария опять судорожно приникла к нему. Сердце у нее заходилось, тело жарко пылало. И когда она снова расплакалась, тихо и горько, он поцеловал ее и уложил в мягкие подушки.

— Не думай об этом, Мария! — вымолвил он, а сам изо всех сил сдерживал подкатывавшие рыдания. Он закусывал губы, напрягал мышцы лица, но слезы все равно катились по щекам.

— Совсем обедняли! — тихо сказала Мария.

Склонившись, он уткнулся головой в ее грудь. Тяжкий стон вырвался у него из глубины души, но он тут же поднял голову и твердо сказал:

— Не тревожься, руки у меня еще сильные. А дети — дороже их нету богатства.

Старые стены приняли его слова и без отзвука проглотили их. В потолке треснуло, будто сквозь щелку в горницу хотели заглянуть звезды. Само допил из кружки остаток воды и поставил ее на столик. Улегшись снова рядом с женой, он широко распахнул глаза, словно решил никогда не закрывать их, словно хотел проникнуть сквозь густейшую тьму и разглядеть нутро самой дальней и неизвестной звезды.

■

По весне Само Пиханде казалось, что он вот-вот, словно дерево, выбросит корни и листья. Голова раскалывалась, во всем теле — тревога, ладони зудели. Подчас он смотрел на себя в зеркало с опаской: вдруг откуда-нибудь выбьются из него эти корни и листья. А взглядывая на солнце, иной раз думал, что и с ним у него есть какое-то сходство, вроде что-то роднит их. Он и солнце с превеликим трудом продирались сквозь зиму. Но солнце весной уже не только изо дня в день всходило и заходило — его благодатное тепло все пробуждало к жизни. И Само с радостью обогнал бы себя, так бы и выскочил из собственной кожи.

В конце марта и начале апреля он переделал все полевые работы — пропахал, засеял, посадил — и с каждым днем становился беспокойнее.

— Ох, женушка, надавал бы я кому-нибудь тумаков,— говорил он злобно,— враз бы измолотил кого! Попробовал бы кто меня оскорбить иль огреть по башке! У-ух, я бы с ним сквитался за это, ей-ей, кости бы переломал! Эх, Мара родная, вздул бы я кого, право слово, вздул бы!

— Коли тебе так приспичило, ударь меня! — предложила ему Мария.— Только в корчму сейчас не ходи, тебе ведь недолго и невинного изобидеть! Знаю, что с тобой! На стройку, в чужую сторону тебя потянуло. Вот что тебя смущает, терзает и злит!

— Да уж пойду, куда денешься! — сказал Само, оживившись.— Деньги надобно заработать! И, пожалуй, прихвачу с собой старшего — Яна. В школу ходить ему теперь не обязательно, вот пускай и попробует в подручных у каменщика!..

Как решил, так и сделал. Уже в конце марта стал сколачивать их бывалую артель. Перво-наперво слетал к мастеру. Петер Жуфанко-Змей изворачивался, долго скреб за ушами, кривил губы, хмурился и знай охал да ахал: куда, мол, к чертовой матери, тащиться им, да пропади она пропадом, вся эта каменщичья работа. Но так было только с первого раза: в обычае водилось поначалу артачиться, судить-рядить да надлежащим образом отнекиваться. Когда же Само явился к нему во второй раз, Змей от радости чуть не бросился его обнимать. Инструмент у мастера был уже приготовлен, рюкзак собран.

— Ну, Самко, я не против,— сказал он с улыбкой.— Не знаю только, в какую сторону нам податься?!

— На Кошице надо идти, потом повернуть на Мишковец[1], Дебрецен и Варадин-Великий,— живо разговорился Само.— Яно Аноста уж

[1] Ныне Мишкольц в Венгрии.

с неделю расспрашивает в поезде всех каменщиков. Мужики из Довалова намекнули, что вроде под Варадином есть работенка до самого лета, а то и до осени.

— Да так ли оно? — насупился Жуфанко.

— Дома у печи ничего путного не надумаешь! Идти надо. Поглядим — увидим!

— Что ж, я «за»! — повторил Жуфанко.

На том сошлись и остальные. Бенедикт Вилиш-Самоубивец предложил было наладиться в Краков, но дал себя уговорить. Матей Шванда-Левша согласился без единого слова. Мельхиор Вицен-Мудрец долго над предложением ломал голову, все мозгами раскидывал. Целую неделю перед отходом глаз не смыкал. Сновал от товарища к товарищу, то одно его не устраивало, то другое, но в конце концов со всем примирился. Из прежних артельщиков один Юрай Гребен-Рыба отказался идти — давно успел подрядиться в другом месте. Феро Дропа-Брадобрей колобродил по свету. А остальные все как один дали согласие.

Наши ребятки почти не изменились, разве что годков поприбавилось. Встречаясь, они уже величали друг друга не кличками, а настоящими именами. Словно совестились перед детьми.

Юному Яну Пиханде нечего было опасаться, что он будет один среди взрослых. Еще трое сверстников собрались в путь вместе с ним: Павол Жуфанко, Феро Вилиш и Юрай Вицен. Вся артель уже была в полной готовности, когда вечером девятнадцатого апреля прибежал к Само взволнованный Ян Аноста.

— Само, друг! — кричал он уже в дверях.— Вот и вышло по-моему, железнодорожники бастуют!

— Так вас и разэдак! — заматерился Само.— Именно сейчас, когда нам без вас не обойтись?!

— Да ты радуйся, болван! — гудел Аноста.— Государство теперь выполнит все наши требования! Нам повысят жалованье, сократят рабочий день, а тебя опять примут на чугунку!

Само сплюнул в сердцах.

— Послушай! — Само, подскочив к Аносте, схватил его за ворот: — Кто бастует? Где?

— Г-говорю же,— запинался Аноста,— железнодорожники в Будапеште бастуют...

— Поезда туда еще ходят?

— Пока ходят!

— Докуда будут?

— День-другой, а потом...

Само, отпустив Аносту, крикнул сыну:

— Яно, мигом обеги всех! Завтра утром садимся в поезд!

Уже в пять утра все вдевятером зябли в Градке на станции. С нетерпением ждали поезд из Микулаша.

— Придет? — без устали спрашивал Мельхиор Вицен железнодорожников.

— Придет! — кивали те.

Поезд в самом деле пришел, и каменщики, взойдя в вагон, вздохнули с облегчением. Проводник был не на шутку встревожен. Мельхиор Вицен, самонадеянно осклабившись ему в лицо, спросил:

— Будьте добры, пан кондуктор, скажите мне, правда ли, что в Пеште бастуют железнодорожники?

— Так точно!— подтвердил проводник.

— Раз бастуют, значит, есть причина! — заметил Само.

— Какая причина? — ухмыльнулся Мельхиор Вицен.— Пускай скажут спасибо, что работенка есть. У нас и того нету! — Он повернулся к кондуктору.— Скажите, а чего, собственно, они добиваются? Турнут их как следует, так и вовсе ни с чем останутся! Нам, каменщикам, похуже, чем вам, и то помалкиваем!

— Устройте и вы забастовку!

— Как же нам бастовать, когда у нас нет постоянной работы? — не унимался Мельхиор Вицен.— Мы зависим только от того, что нам предложат.

— Тогда и не жалуйтесь! — отрезал кондуктор.

— Вы ж вот не бастуете! — поддел проводника Мельхиор Вицен.

— Кто знает, глядишь, и за околицу не выедем, а вам уж вылезать придется! — сказал кондуктор, прокомпостировал последний билет, взял под козырек и вышел.

Поезд вскарабкался на Штрбу, и мужчинам становилось все веселей. Достав бутылочки с палинкой, принялись угощаться. Они удалялись от забот, оставленных дома, а о тех, которые поджидали их, пока не ведали. В Попраде они уже оживленно пели и обмирали от восторга, любуясь заснеженными Татрами со стороны Спиша, откуда им редко выпадало их видеть. В Иглове многих уже одолел сон, а в Кошице пришлось высаживаться. На станции, потерявшись в толпе пассажиров, они сразу осиротели. Поезда приходили, но не отходили. Железнодорожники метались взад-вперед, о чем-то заговорщицки перешептывались и ни на один вопрос не отвечали. За спиной пассажиров творилось что-то неведомое. Люди встревожились, раскричались. Наши каменщики пытались расспросить кой-кого о работе, да все безуспешно.

— Придется топать дальше! — решил Жуфанко.— До Дебрецена, а то и до самого Седмоградска.

Наконец дело пошло на лад.

Они сели в первый же поезд. Какое-то время разглядывали окрестности, потом задремали, и лишь четверо юнцов продолжали беседовать дотемна. В Мишковец прибыли поздно ночью. Там они опять расспрашивали о работе, и опять все впустую. Да и с поездами не лучше! Взбудораженные железнодорожники досадливо отмахивались от них. Наконец, выяснилось: придется ночевать на станции. Они составили четыре лавки, завернулись в кожухи и попытались вздремнуть.

А утром отправились в Ягер. И там опять наждались до одури, опять понапрасну искали работу. Поезда ходили все реже, все с бо́льшими перебоями. Была ночь, когда они добрались до Дебрецена, а в Варадин-Великий дотащились лишь на другой день к обеду. К счастью, повстречали несколько местных словаков, присоветовавших им податься в недалекое местечко Элешд. Там, дескать, начали строить большие склады. Пешком и на телегах, усталые и сонные, доплелись они до Элешда и остановились там в первой же ночлежке. Утром двадцать четвертого апреля Элешд стал полниться тысячами местных бедных крестьян и сельских рабочих. Каменщики слонялись среди них и только попусту спрашивали о работе — никто и говорить о том не хотел. Все, крича и разглагольствуя, ждали открытия митинга.

— Провалиться мне на этом месте, если мы найдем здесь хоть какую работу! — горестно сказал мастер Жуфанко.

Каменщики растерянно озирались, слушая брань и угрозы седмоградских крестьян и рабочих. На возвышенном месте посреди толпы объявилось несколько ораторов, требовавших на румынском и венгерском языках у тисовского правительства[1] избирательного права, повышения заработной платы и цен на сельскохозяйственные продукты, сокращения рабочего дня... Голоса ораторов почти тонули в мощном одобрительном гуле. Вдруг, откуда ни возьмись, появились вооруженные солдаты и жандармы в пешем и конном строю. Пытаясь прервать ораторов, они призывали собравшихся разойтись. Началась потасовка. Крик, рев и грохот непомерно усиливались. Жандармы и

[1] Иштван Тиса (1861—1918) — глава правительства Венгрии в 1903—1905, 1913—1917 гг., проводил милитаристскую политику.

солдаты неожиданно открыли стрельбу, а верховые с шашками наголо врезались в толпу. Выстрелы не прекращались. Стенания раненых, вопли испуганных и стоны умирающих огласили все кругом. Люди беспорядочно разбегались. Упавшие наземь были тут же затоптаны. Каменщики, невольно сгрудившиеся вместе, отступали в глубь улиц, к домам. Вдруг сын Пиханды Яно взвыл от боли и судорожно схватился за грудь. Глаза вытаращены, рот раскрыт. Он зашатался и упал бы, если бы отец не подхватил его. С другой стороны парнишку поддержал Жуфанко. Ян потерял сознание, ноги у него подкосились. Силач Матей Шванда кинулся к Яну, сгреб его ноги в охапку, и они втроем быстро поволокли его к ближайшим домам и садам. Артельщики ограждали их от толпы, в паническом страхе проносившейся мимо...

Они остановились в каком-то саду на краю местечка... Опустили Яна на молодую траву. Все склонились над ним, пытаясь привести его ь чувство, унять кровь, сочившуюся из груди. Но мальчик закатывал глаза, дыхание его слабело. Вдруг хрип прекратился, лицо резко побледнело, оцепенело тело, глаза остекленели. Ян умер. Осознали они это не сразу.

— Сынок мой! — выдохнул с мукой Пиханда и закрыл покойному глаза. Сведенными судорогой губами поцеловал сына в лоб. Встал, зашатался. Шванда поддержал его. Товарищи вокруг тихо завсхлипывали. Жуфанко вытащил из кармана четвертинку палинки, протянул Пиханде.

— Выпей!

Не сознавая, что делает, Само хлебнул и вернул фляжку.

Кто-то снял кожух — прикрыть покойного. Тут объявился хозяин сада. Они даже не заметили, как он приблизился.

— Умер? — спросил он по-венгерски.

Само кивнул.

— Перенесите его в дом,— сказал хозяин, дополнив свои слова выразительным жестом.

Мужчины подняли мертвого мальчика и понесли через сад к дому.

На два следующих дня хозяин, мадьяр Иштван Иллеш, приютил восьмерых живых липтовских каменщиков и одного — мертвого. Он предоставил липтовчанам ночлег и стол, не рассчитывая на вознаграждение. Разумеется, они помогали ему чем могли. Вскопали заступом сад, накололи дров, кормили волов. Тем временем Иштван Иллеш нашел доктора и выправил разрешение похоронить Яна. После похорон каменщики стали собираться в путь. Поблагодарили хозяина и, сложившись, хотели заплатить ему, но он не принял от них ни гроша. Да еще в дорогу дал хлеба и домашних колбасок. Иштван Иллеш направил их к своему двоюродному брату в Дебрецен, надеясь, что там они подыщут работу. Но в Дебрецене Пиханда с поезда не сошел.

— Лучше побираться буду, а здесь не останусь! — сказал он.

— Ворочусь-ка и я с Само! — решил Матей Шванда.

Остальные артельщики сошли на дебреценской станции. Подождав отхода поезда, они с печалью в душе проводили обоих. В вагоне Пиханду и вовсе захлестнуло горе.

— Не надо было оставлять тут мальчика,— сокрушался он.— Надо было увезти его домой! Как я теперь жене на глаза покажусь?!

Матей Шванда успокаивал его, утешал, уговаривал. На сей раз как-то быстро доехали до Кошице. Железнодорожники, правда, были раздражительны, вспыльчивы и по всякой малости обрушивались на пассажиров. А Шванда и вовсе оробел, обнаружив на станции, что у них не осталось денег, чтобы продолжить путь. Они вошли в вагон, но минуту спустя снова вышли.

— Вы что тут мотаетесь взад-вперед? — окрикнул их кондуктор.

— Денег нет на билеты,— признался Шванда.

— Садитесь! — кивнул кондуктор.— Сегодня и так вас свезем! Только молчок! Железная дорога, стерва, не обеднеет!

Пиханда поплелся к окну и безмолвно смотрел, как, убегая, меняется окрестный пейзаж. До самого Попрада он не сдвинулся с места, не проронил ни слова. А Матей Шванда и не тревожил его. На станции в Попраде Пиханда вдруг поднялся и сорвал с полки свой рюкзак.

— Ты куда? — Матей схватил его за руку.

— Сойду! — Пиханда попытался выдернуть руку.

— Не пущу!

— Невмочь мне ехать домой, Матей! — сказал в смятении Пиханда.— Уж лучше пешком. Пока дойду, может, наберусь духу!

— Нет,— сказал Матей.— Воротимся вместе!

Пиханда подчинился, сел на место. Поезд миновал Штрбу, Важец, Выходную, стал не спеша спускаться к Кралёвой Леготе.

— Бери свои манатки, спрыгнем! — разбудил Пиханду Матей Шванда.

Спрыгнули они у гибовской сигнальной вышки, а когда поезд спустился мимо них в долину, увидели напротив — по ту сторону колеи — стрелочника Пуллу. В женском платке на голове, он козырял убегающему поезду.

Не удержавшись, оба загоготали. Корчась от смеха, поддерживали друг друга, чтобы не упасть. Стрелочник Пулла подбежал к ним.

— Что случилось? — спросил он растерянно.

Шванда пальцем указал на его голову.

Пулла схватился за голову и сам рассмеялся.

— Я аккурат корову доил,— начал он объяснять,— а тут поезд загрохотал... Ну я и выбежал в чем был. Корова у меня совсем дурная — ежели не жена доит, лягается как ошалелая. Вот я и повязываюсь платком, а то, не обмани ее таким манером, ни в жисть не позволит подсесть к вымени... Ну а вы-то как?

— Сына у меня убили,— сказал Само Пиханда.

— Боже великий, сына! — вскричал стрелочник Пулла.— Как так? Где, за что? Что же это такое?

— В другой раз, Яно! — сказал Матей Шванда.

Простившись со стрелочником, они сбежали к реке.

Перешли вброд Ваг, взобрались на Глинище и немного поодаль в низине увидели Гибе. Без труда спустились к ближним гумнам, встретили первых односельчан. На вопросы не отвечали, не здоровались, а все как-то испуганно поспешали. Остановились они лишь во дворе — перед дверьми дома Пихандов, но войти не решились. Скинув с плеч рюкзаки, ждали. Вскорости на пороге появилась Мария. Хотела поздороваться, но, вглядевшись в них, обомлела. Сбежав по ступенькам, остановилась перед ними.

— А Янко где? — выдохнула она. Склонив головы, мужчины молчали. Мария вскрикнула, подскочила к мужу.— Где ты оставил Янко?! — кричала она, тормоша его.— Где ты оставил нашего сына?

Пиханда зашелся в рыданиях.

После смерти сына с Само Пихандой что-то стряслось. Случилось это не сразу, не вдруг, а наступало исподволь, незаметно, но оседало в нем прочно, и в конце концов эта его перемена стала очевидной для всех. Впрочем, обо всем по порядку!

Сперва он вознегодовал на свое ремесло. В один прекрасный день, склонившись — с виду спокойно — над своим инструментом, он крепко изругал себя: «Эх, Само, Само, осел ты безмозглый, из-за своего бродячего ремесла сына погубил! Поделом же тебе! Разбогатеть вздумал, заработанными на чужбине грошами нужду захотел одолеть?! Вот уж поистине одолел! Ощерилась она тебе в лицо пуще прежнего, а заодно с ней и гнусная зубастая смерть! Знай терпи да скули! Реви, горбаться и копошись, душе твоей все равно уже не полегчает, и сыну

жизни не воротишь!» Он брякнулся на колени и, задыхаясь от рыданий, кулаками стал молотить инструмент. Он завывал, крючился, выпрямлялся, до крови отшиб костяшки пальцев. Потом, схватив мешок с инструментом, взбежал на чердак и яростно швырнул его в угол. В тот же день он отправился к Аносте и Толькому — сообщить им, что выходит из социал-демократической партии Венгрии. Оба понимающе переглянулись. Решили — Само действует сгоряча, но со временем одумается и вернется в партию. Но напрасно они ему потом что-то вдалбливали, попусту уговаривали. Аноста в конце концов даже возмутился:

— Ведь не социал-демократы твоего сына убили! Убили его как раз те, против кого мы боремся, те, что отказывают народу в правах. Добейся мы их, никто ни в одно собрание не посмел бы стрелять. А кто будет бороться за это вместо тебя? Я или Биро? Ты хочешь сиднем сидеть и выжидать?!

Само лишь досадливо махнул рукой.

— Ни на какие собрания меня уже не затянешь! — сказал он.

— Да ты самый настоящий байбак! — вздохнул Аноста.— Что за дурость наперед зарекаться!.. Ты же человек, не скотинка! Или сразу подставь рога, пусть тебя привяжут к корыту!..

Тут уж и Само вскипел:

— Теперь-то я не дам себя околпачить! Никому! Даже тебе, Аноста! Ты хочешь свободы, братства, равенства между людьми — да, действительно за это кто-то должен бороться! Но все эти криводушные пророки, что десятилетиями нам толкуют об этом и морочат нас своими сказками, все эти пророки и фарисеи сами-то перед ружьями не встанут! Нет, не хочу даже слышать об этом! Заплатил я слишком дорогую цену!

Ян Аноста и Биро Толький остались ни с чем. Вскоре Само попытался взять в оборот и брат Валент. Прежде он гнушался политики, а теперь всей душой ратовал за словацкую национальную партию[1]. Едва успев выразить Само соболезнование, он сразу же приступил к делу.

— У меня открылись глаза. Можно сказать, я национально проснулся. Мы должны держаться бок о бок, и тогда нам окажутся под силу великие дела. Раз до сих пор мы сумели сохранить себя как нацию, значит, мы не только отучимся пить, но у нас будет и своя сильная партия, своя политика, свой капитал и культура. Наша словацкая национальная партия добьется для словаков в венгерском отечестве всего, чего до сих пор не добились ни штуровцы[2], ни Матица[3], ни разные «требования»[4], меморандумы[5] и союзы, вместе взятые! Мы требуем разумного порядка для тружеников! А ты решил отлеживаться на печи? Ты же всегда был полон идеалов. Сам себе станешь противен, братец! Наскучит жить в таком болоте!.. Проснись, Само, проснись!

Само опять досадливо, с ухмылкой на лице, сплюнул.

— Я знаю свое!

— Что ты знаешь? Ничего ты не знаешь!

---

[1] Словацкая национальная партия объединила в 1872 году национально-патриотические силы (в г. Мартине). Впоследствии выражала интересы словацкой буржуазии, все более скатываясь к национализму.

[2] Штуровцы — соратники Штура Людовита (1815—1856), идеолога и руководителя словацкого национального движения 40-х годов XIX века, поэта, филолога.

[3] Матица Словацкая — словацкая культурно-просветительная организация, созданная в 1863 г. В 1875 г. упразднена венгерскими властями. Восстановлена в 1919 г., после образования Чехословацкой буржуазной республики.

[4] Имеются в виду «Требования словацкого народа» — программа демократических преобразований в революционной Венгрии, утвержденная в мае 1848 г. в городе Липтовский Микулаш общенародным Словацким собранием.

[5] Меморандум словацкого народа, или Мартинская декларация 1861 года, принятая в г. Мартин; содержала требования выделения и автономии населенной словаками территории Венгерского королевства.

— Что дерьмо смердит!

— А-а,— устало махнул Валент рукой.— Все равно когда-нибудь придется призадуматься!

— Вот тебе бы — в самый раз! — сказал Само.

— Мне? — удивился Валент.

— Ну и родня у меня! — вскричал Само разгневанно.— Кристина спуталась с женатым! Ты обрюхатил девушку, а потом преспокойно женился на другой. Все мы наказаны. Отец подавился стеклом, а сын мой погиб от сволочной пули! А вам все еще мало насилия? Баламутить хотите, а потом подыхать или других убивать?! А зачем? Толку-то что? Одни мертвые да калеки!

Само рухнул на лавку, закрыв лицо ладонями. Когда он очнулся, в дверях стояла Мария. Со страдальческой улыбкой обнимала она свой тяжелый живот. Само вскочил, всполошно кинулся к ней и легонько коснулся ее живота.

— Этого не отдам! — вскричал он.

Вот так мы, возможно, до срока лишились революционера! Э-эх, а каким бы революционером Само мог стать! Но теперь, казалось, он окончательно порвал со своим прошлым и ничуть не сожалел о нем. От того, кем был, отрекся, кем станет — пока не знал...

Время валило вперед. Оно кувыркалось, перекатывалось то быстрей, то медленней, но не останавливалось. Само Пиханде казалось, что оно всасывает его в свою бездонную пасть, которая навсегда за ним захлопывается. Из этих тисков он не в силах был вырваться: ни убежать от времени, ни перегнать его. Само входил в него неотъемлемой частью, был его послушной молекулой. Менялись времена — менялся и он. После рождения сына Марека он ненадолго успокоился, смирился с тем, что случилось. Даже Мария не поминала покойного Янко. То ли забылась в хлопотах о новорожденном, то ли сознательно не хотела говорить о том, что причиняло ей боль. Внешне все оставалось по-прежнему. Само обихаживал пчел, но особого почтения к пчелиной царице уже не испытывал. Иногда он подремывал в пчельнике, но теперь его не одолевали видения. Впрочем, ему вообще перестало что-либо сниться. Вечером он засыпал внезапно, словно день погружал его в густое масло, а утром просыпался как ужаленный, почти с криком. Иногда гудело в голове, резало глаза, но он не замечал этого. Самоотверженно, преодолевая в себе сомнения, он упорно, даже истово, а то и злобно переливал в кадушки мед, собирал урожай в садах и на поле, косил, свозил, молотил и снова пахал и сеял... Когда ж по весне бурей смыло с поля навоз и смело посеянный хлеб, он принял это спокойно. Натаскал навозу и снова засеял. Да и все происходящее вокруг него и в мире принимал он спокойно, попусту не тревожился. В начале января прибежали к нему Аноста и Толький, но ничего не добились. Вперебой рассказали о кровавом воскресенье в Петербурге, когда царские войска ранили две тысячи и убили свыше тысячи человек, направлявшихся к царю с петицией об улучшении условий жизни в России. Он выслушал их, но остался холоден.

— Вот о том-то я и говорил! — только и обронил он.

— А что ты говорил? — вскинулся Аноста.

— Мы ровно пчелы,— сказал Само спокойно.— Никто не избавит нас от нашей работы, а забот всякий добавит! Стоит чуть поднять голову, как нас уже гнут к земле. Когда царь, когда король либо император, другой раз нотар или священник, а станем слишком высовываться, всех изведут!

— Вот ты о чем! — неприязненно поморщился Аноста.— Уж никак ты и в церковь повадился? Неужто опять по вечерам молитвословишь? Наделал в штаны, вот-вот, и думаешь, этого никто не заметит.

— Оставь меня в покое, революционером я не буду! Не желаю, чтоб перебили всех моих детей, не желаю, чтобы меня прихлопнули или вздернули на веревке. Вот и все! Я смирился с тем, как живу, потому что знаю — лбом стены не прошибешь. А станет совсем невмоготу, так, что хоть в гроб ложись, оно и само изменится... — сказал спокойно Пиханда.

Аноста махнул безнадежно рукой и вместе с Тольким убрался восвояси. Какое-то время они не тревожили Само. В пору, когда дозревала трава и наливались колосья, он нанялся возчиком — возил в Машу древесный уголь. Буренки степенно плелись по дороге, а Само, щелкая бичом, шагал впереди. Однажды его ударило дышлом в спину. Оглянувшись, он остолбенел: от задымившегося древесного угля занялся воз, и коровушки совсем ополоумели. Он с трудом выпряг их. Но и это он принял спокойно. В июне опять примчались к нему Аноста и Толький.

— Ура, ура! — кричал в восторге Аноста.— Основана наша словацкая социал-демократическая партия!

— Ну и что? — обронил Само.

— Неужто ты не хочешь стать ее членом?!

— А зачем?

— Тьфу, да ты помрешь, а так и не дойдешь до истины,— белел нился Аноста.

— А какова ее программа? — спросил с улыбкой Само.

— Прежняя, но партия — наша, словацкая! — восклицал Аноста.

Само взглянул на Биро Толького — тот молчал.

— А ты, Биро,— спросил он его,— ты-то теперь будешь в которой: в венгерской или словацкой?

Биро смущенно почесал голову.

— Я, ей-богу, не знаю, как мне и быть,— пожал плечами Биро Толький и испытующе поглядел на Аносту.

— Это уж твоя забота! — ответил тот.

— Вот задача! — терзался Толький.— Хоть я и мадьяр, а живу среди вас, словаков, почти всю жизнь... Пожалуй, мне надо быть с вами и в одной партии...

— Правильно, Биро! — оживился Аноста и обнял товарища.— Ты мудро решил, ты же наш... А как ты? — повернулся он к Само.

— Нет! Отстань от меня!

— А, чтоб тебя... — вскричал Аноста.— Ты еще не очухался ото сна?

— Говорю тебе, оставь меня в покое!

Они ушли — Само полегчало. К политике, казалось, он потерял всякий интерес. Работал и ждал. Не знал, чего ждет, но ждал. Будто надеялся, что придет, случится что-то необыкновенное. И вдруг оно случилось! На исходе лета вспугнутый чем-то конь убил мельника. Зерно дозревало, и сельчане обеспокоились, кто его смолотит. Само ожил. Он обошел всех, от кого зависело дело, молил, просил, грозился и, наконец, получил мельницу. Чтобы арендовать ее, продал землю. И вот так стал мельником на Перепутье.

■

Само Пиханда со всей семьей переселился на арендованную общинную мельницу — в трех километрах ниже Гиб.

Мельница высилась над рекой Гибицей, метрах в двухстах до ее впадения в Ваг. На своем многокилометровом извилистом пути от истоков в предгорьях Криваня речка вбирала в себя уйму ручейков, речушек и родников. У мельницы ее течение становилось бурным, бегучим и легко вращало огромное колесо. Воды тут везде было с избытком. Неподалеку в Ваг впадала речка Боцянка, чуть повыше — Черный Ваг.

Мельница стояла на Перепутье. Проезжим по главной дороге из Градка через Гибе на Спиш, или из Липтова через Чертовицу в Верхнее Пригронье до Брезно, или же в обратном направлении, не миновать было мельницу. От нее рукой подать было в Кралёву Леготу, Довалово, Вавришово, да и в Сварин. Здесь мололи зерно хлебопашцы из Гиб и окрестностей, в основном из Порубки и недалекой Кралёвой Леготы. До железнодорожной станции было меньше километра. Близ мельницы обреталось несколько домкаров[1], и в двух-трех шагах выстроил виллу скульптор Штробль[2]. Ежедневно вокруг мельницы толклась прорва людей. Гибчане, что шли на поезд и с поезда, учащиеся, бродяги, лесники и рыбаки, железнодорожники и дротари, цыгане и купцы, священники, учителя и случайные путники. Само Пиханда не уставал диву даваться и уж через неделю поделился с женой: «Тут, пожалуй, куда способнее быть корчмарем, нежели мельником!» Осенью, весной и зимой всякий день приезжали крестьяне — то с зерном, то за мукой, отрубями и мякиной для скота.

Мать Само Ружена пробыла на мельнице несколько месяцев, но спалось ей там неспокойно. Она воротилась в село и стала домовничать у Кристины. Однако нет худа без добра: Самовым ребятишкам не приходилось каждый день — и в снег и в слякоть — топать в школу и обратно. Иной раз по два, по три дня жили у бабушки.

Само решил разбогатеть.

Мало было обмолота, он еще обрабатывал землю — ту, что арендовал у Валента,— и свой клочок при мельнице. Держал коров, овец, поросят, кур, гусей и уток. Мария, размечтавшись об индюшках, достала выводок. С индюком, правда, было хлопотно — наскакивал на людей. Речка у мельницы всегда кудрявилась форелью. И, разумеется, в мельничихиной кухне не переводился рыбий дух. Само надсаживался, как лошадь, но не жаловался. Трудился сколько мог и сколько хотелось. За тяжелой работой как-то легче жилось.

Две овчарки сторожили мельницу.

Ночами они так лаяли, словно собирались лаять до скончания века.

— Горшки починяю, оплетаю! — раздалось однажды под вечер у мельницы.

Дети скучились вокруг дротаря, и Мария позвала его в дом. Дротарь сел на низкий стул, короб поставил рядом. Мария принесла три дырявых горшка.

— Вот этот больно уж прохудился,— указала она на один.

— Чинил я и похуже,— сказал дротарь.— Если горшок стоящий, можно все жестяное дно сменить.— Улыбнувшись, он с любопытством оглядел Марию и принялся за дело. Мария разрешила детям смотреть, как он чинил первый горшок, а потом погнала ужинать и в постель.

Мельница однозвучно отбивала свою мелодию.

У каждой мельницы она своя.

Само вышел из мукомольни к дротарю весь белый, поздоровался и пошел умываться.

— Ох и проголодался я! — сказал он, вытираясь большим льняным полотенцем.

— А его позвать? — спросила Мария, указав на дверь, за которой еще постукивал дротарь.

— Позови!

Подождав, пока дротарь кончит работу, они пригласили его к сто-

---

[1] Малоземельные крестьяне, владевшие домом и небольшим участком при нем.
[2] Алайош Штробль (1856—1926) — венгерский скульптор.

лу. Он вымыл руки и, бодро сев за стол, принялся с аппетитом закусывать.

— И охота вам бродить вот так по свету! — заметил Само.

Дротарь поднял на него удивленный взгляд.

— А кто ж вам починит худой горшок? — спросил с улыбкой.

— И то сказать! — Мария взяла сторону дротаря.

— Да с прибытком ли вы? — не отставал Само.

— У меня жена, дети,— ответил дротарь.— А земли — кот наплакал, вот и делаю, что умею. Ремесло и короб от родителя получил, да и сыновья мои пошли по дротарной части. С горем пополам, а своим трудом кормимся. Зато чего навидался я на свете — ни за какие деньги не купишь. Во Франции однажды видел мужчину, у которого голова была что бочка из-под капусты, а высунутым языком он пятки свои облизывал...

Мария, недоверчиво поглядев на дротаря, улыбнулась.

— Не верите, ясное дело,— сказал он.— А я, право слово, не вру. Такого навидался, что не поверишь,— диво ли, что вы сомневаетесь. Видели бы вы женщину, у которой было тридцать пять ребятишек, а самый махонький мальчонок величиной с грушу — тоже бы глазам не поверили... Точь-в-точь с грушу, ничуточки не больше. Пляcал, прыгал, говорил, в одежке ходил, а сам с грушу. Сказывали, ему уже тогда сорок стукнуло. То был Янко Грашко[1]! Как бог свят, Янко Грашко!

Само рассмеялся, Мария толкнула его локтем.

— Что ж, у него и глаза, уши, зубы — все было? — спросила она.

— Все на месте, как у всякого. Он даже курил, и сигарета была не намного короче его... Сплел я ему из тонкой проволоки мебелишку, чтоб есть и спать было на чем. От радости он в момент на меня вскарабкался, а потом мы оба упились. Он — из наперстка, я — из стакана.

— Где это было? — спросил мельник с улыбкой.

— В Швейцарии,— спокойно ответил дротарь.— Да я видел там и другие вещи...

— Ну рассказывайте, рассказывайте! — весело подбодрил Само дротаря, когда тот ненадолго примолк. Само вдруг сделалось приятно, хорошо. И хотя из вежливости громко не смеялся — веселился он от души.

Мария улыбалась.

— В Альпах видел я глубокую пропасть! — продолжал дротарь.— Крикнешь в нее — три дня не откликается. Я тоже громко крикнул... Дыра была черная, темная, глубокая. Я и впрямь три дня дожидался не емши не пимши, пока эхо воротилось. Исхудал я тогда — поднесь в тело никак не войду! Вот, сами посудите! — Дротарь указал на свое отощалое тело.

— Кушайте еще, кушайте! — вскочила Мария и положила ему на тарелку добавки.

— Отчего же в Швейцарии не остались? — спросил мельник.— Работы не было?

— Серединка на половинку. И разве я мог бы забросить дротарский короб? Это же все равно что предков обесчестить. Можно, наверно, и больше где заработать, да деньги прах: ну их, в тартарарах! Так-то я сам себе голова, хожу по вольной волюшке и делаю свое дело,— он спокойно развел руками.— Людям нужен, радуются, когда меня видят. Не будь дротарей, сколько бы худых горшков на свете водилось?! Хуже нет, когда собрался похлебку варить, а горшок течет. Вот и не диво, что люди привечают дротарей. Боже, чего только не надавали мне! В Турции один магометанин прямо-таки всучил мне гармошку с поющим соловьем. Играешь на гармошке, а соловей поет,

[1] Персонаж словацких сказок.

аж слеза прошибает. В Польше, к примеру, достался мне ножик, который вовек не затупится: сам себя точит, а острие ничуточки не уменьшается. В Германии работал я месяц у одного умельца, так тот подарил мне мельничку, которая все, что ни попадает в нее, в вино обращает. Вложишь картофелину, она смелет ее, а в стакан вино течет. Кусок хлеба сунешь — такая же история!

— Мне бы такую мельничку! — вздохнул Само.— Я бы тут же корчму открыл...

— Кто про что, а ты все про корчму! — вмешалась жена.

— На старости лет и я за это возьмусь! — сказал дротарь.— Поброжу еще пару годков по белу свету и осяду. Корчму открою. Пройдете мимо — заходите, поднесу чарочку!

Они встали из-за стола, и Мария принялась мыть посуду. Дротарь все топтался вокруг короба, все вглядывался во тьму. Само уже и расплатился с ним, но он все как-то мешкал уходить.

— А нельзя ли мне переночевать у вас? — спросил дротарь.

Само взглянул на жену — та кивнула.

— Что с вами делать, ночуйте! — согласился Само.— Только не будет ли мельница вас тревожить?

— Я крепко сплю!

Дротарю постелили в прихожей и сами улеглись спать. Мария под периной посмеялась еще над дротаревыми побасенками и задремала. Но Само привиделся дурной сон. Будто ночью он убил дротаря и украл у него волшебную мельничку. Молотил на ней зерно, молотил, и в большие бочки стекало красное вино. Он попробовал вина и вскрикнул. То не вино было, а кровь. Кинул он мельничку в ручей, и из нее сразу забила кровавая вода. Мельница мелет, да уж не выстукивает: тук-тук-тук, а все — вина, вина, вина... Само проснулся потный, истомленный. И до чего же обрадовался, увидев дротаря живым и веселым.

— Благодарствую за ночлег, за хлеб-соль. Честь имею! — откланялся дротарь.

Само проводил его до дороги. Воротившись, споткнулся об один из починенных горшков. Пригляделся — а горшок полнехонек, и второй тоже, и третий.

— Ты чего в эти горшки налила? — крикнул он Марии.

— Я? — изумилась жена.— Дротарь, должно, налил воды в них, не текут ли, испробовать.

— Да не вода тут!

— А что ж это может быть?

Вынесли горшки на свет — вгляделись.

— Клянусь богом — вино! — оторопел Само, попробовав красной жидкости.— Что ни есть — натуральное!..

Мария заломила руки.

— Неужто он и вправду?.. — прошептала она испуганно и не договорила.

Само выбежал, остановился посреди дороги, но дротаря и след простыл.

Не было случая, чтобы нищий Гагош, шагая мимо, не заглянул на мельницу. Ходил он в чистом, хоть и латаном платье. Длинный, серый брезентовый плащ свободно ниспадал с плеч до самых пят. Правой рукой сжимал он большую палку, на левом плече болталась объемистая сума. На вид ему было лет пятьдесят, высокий, худой, даже костлявый, лицо украшала густая, с проседью борода и усы. Глаза — живые, любопытные. Говорил он звучным, сочным голосом, а когда смеялся, поражал всех белыми блестящими зубами. Уже многие годы, правда с перебоями, появлялся он в Липтове, откуда и родом был. На два-три месяца запропастится, потом опять тут как тут. Люди привыкли к нему и, не дожидаясь, пока он попросит, совали ему в

карман чего-нибудь поесть. Что ни год, исхаживал он всю Австро-Венгрию, знал все тамошние языки. А было их — по его уверению — около десяти. Он никогда ничего ни у кого не украл, и люди с радостью встречали его.

— Что нового на свете? — спросил его Пиханда.

— Много чего, пан Пиханда, много! — вздохнул Гагош, внимательно наблюдая за мельником, сыпавшим зерно на жернова...

— А что именно, пан Гагош?

— Не знаю, что вы имеете в виду, только все бурлит. Народ в больших городах бунтует, не хочет мириться с нищетой. Да и с какой стати? Не все же могут вроде меня взять в руку посох, повесить на плечо пустую суму и податься в мир. Мне-то все одно: ни жены, ни детей. Под любой елиной может смерть прибрать, и никто по мне не хватится. Зла на свете много, пан Пиханда, и его все больше становится.

— Будет война, пан Гагош?

— Для войны, пан Пиханда, нужны три вещи: деньги, деньги и деньги!

— Кто надумает воевать, тот и деньги найдет.

— И то сказать! — подтвердил Гагош.

— А как насчет революции? — продолжал Само.

Нищий ухмыльнулся.

— Революции?! — Гагош растерянно покачал головой.— Все хотят ее, и все боятся... Господам нужна одна революция, бедноте — другая, каждый хочет свою, а десять революций зараз быть не может. Одна проглотит другую. Быть революционером тоже вроде бы стало модой. Нынче иной закричит погромче в клозете и уж считает себя революционером. Я, к примеру, поверил во французских коммунаров, а разве я революционер? Черта с два! Перевернул я только свою жизнь, и все. Ни во что больше я не вмешивался. Я мог стать адвокатом в Прешпорке или лекарем в Пеште, а вот заделался нищим... Так оно, пан Пиханда, такой уж я революционер. Себялюбец! Себя-то я потешил, все отринув, и вполне доволен тем, что принесет мне завтрашний день. Себя-то я переломил, а вот на большее меня не хватило, и потому я остался в одиночестве. Изменить свет или даже одного человека — для этого мало тешить только себя, для этого надо пожертвовать, может быть, жизнью, а я на это уже не гожусь! Ну, оставайтесь с миром, я пошел! Прощайте!

Само задумчиво слушал его, потом побежал за ним следом.

— Подождите, пан Гагош!

Он положил нищему в суму кусок хлеба и сала.

— Благодарствую!— сказал грустно Гагош.

— Не забывайте нас!

Гагош кивнул и пошел. Само глядел ему вслед, раздумывая над тем, что тот поведал. И вдруг обнаружил, что мельница работает вхолостую. Он снова взялся за дело.

Настала осень.

Трудно приходилось Само Пиханде с женой и детьми: только и успевай поворачиваться. Ведь надо было скосить и обмолотить хлеб, выкопать картошку раньше других. Едва управились с осенними полевыми работами, как уже всякое утро начали объявляться перед мельницей возы с зерном. Подчас набивалось их с десяток. Крестьяне со всей округи стояли возле упряжек, покуривали, беседовали и ждали, когда придет их черед сгружать мешки. В эти дни Само молотил от зари до зари. А когда на два, на три часа задремывал, заступала его жена и старшие мальчики — Самко и Петер. Иной раз на мельнице пособляла и десятилетняя Эма или хотя бы нянчилась с грудным Мареком.

Как-то после обеда приехал с зерном приятель мельника Матей Шванда. Привез на возу свою дочку Зузу и Эму Пихандову. Обе девочки, соскочив с воза, кинулись в кухню и сообщили: «Мы будем делать уроки!» — «Сперва поешьте да присмотрите за Мареком,— сказала им Мария.— С обеда не умолкает, а мне все недосуг побыть с ним на солнышке. Поучите уроки и во дворе!» Девочки охотно согласились...

Матей Шванда, поздоровавшись с Марией, пошел на мельницу к Само.

— Ну как: молоть лучше, чем стены класть? — спросил он.

— Через год скажу,— ответил мельник.

— Вдесятером ладимся в Пешт, тебя будет не хватать!

Само лишь пожал плечами.

— Там, говорят, один кавардак да забастовки — Гагош сказывал. Так что особо не наработаете.

— Увидим, Пешт — город большой!

Погожий осенний день выманивал людей из дому. Не один крестьянин в ожидании обмолота стянул с головы шапку и, прищурив глаза, подставил лицо солнышку. Эма и Зуза вынесли в кузовке в сад маленького Марека. Положили его на траву. Мальчик забавлялся пестрыми лоскутиками. Девочки вокруг него дурачились, смеялись, гонялись друг за дружкой. У реки, в ивняке, стали играть в прятки. Вдруг над ними с вырубки донеслось громовое: «Береги-ись!» Девочки и головы не успели поднять, как в ивняк рухнул обрубленный и окоренный ствол дерева...

Эма перепугалась и затихла.

— Зузка? — крикнула чуть погодя.

Ответа не было. Она подошла к месту, куда грохнуло дерево, и пронзительно завизжала. С воплем пробежала она мимо улыбающегося Марека и во дворе между подвод упала. Крестьяне соскочили к ней, подняли, стали приводить в чувство. Очнувшись, она, как безумная, глядела в сторону ивняка и беспрестанно твердила: «Там, там, там!» Из мельницы выбежали Матей Шванда, Мария и Само.

Мария погладила дочку по голове.

— Что случилось, доченька?

— Там, там! — повторяла Эма.

Припустились к ивняку. От вырубки вниз по откосу летели кубарем лесорубы. Сбежали к реке и обутые-одетые пошли вброд. Мария сгребла в охапку Марека. Мужики, раздвинув кустарник, остановились над Зузкой.

Мощные мужские руки отвалили ствол. Матей Шванда склонился над дочкой. Она уже не дышала... Матей встал, сорвал с головы шапку, сунул в карман. Оторопело оглядел всех, словно не мог поверить в то, что видит перед собой. Все отворачивались, отводили глаза. Матей Шванда опустился на колени возле дочери — поднял ее на руки и пошел к своей подводе... Крестьяне, лесорубы и Само с женой двинулись следом. Шванда в замешательстве остановился у телеги, доверху набитой мешками. Мужики подскочили к возу и вмиг разгрузили его. Матей положил мертвую дочку на телегу и только теперь предался горю...

После Зузкиной смерти Эма сделалась какой-то потерянной. Она боялась оставаться одна в горнице, боялась ходить в лес, а смеркалось — убегала со двора домой. И дома сидела тихо, разговаривала мало. Само с Марией замечали перемену в дочери и по возможности приглядывали за ней. Случалось, молоко пьет — кружку опрокинет, дровишек в печь подкинет — обожжется. А двери хлопнут — вздрагивает.

— Что ты такая пугливая, Эмочка? — спросила ее Мария.

— Боюсь, мама!

— Чего ты боишься?

— Не знаю, но боюсь!

— Пока мы тут с отцом, ничего не бойся! — Мария привлекла дочку к себе.

Эма навзрыд расплакалась.

На рождество выпал снег, и Гибица замерзла. После Нового года похолодало еще больше. В эту январскую стужу, оледенев, перестало вертеться и деревянное мельничное колесо. Само Пиханда отвел воду и вместе с сыновьями принялся топором обрубать с колеса толстый пласт льда. Работали они вчетвером все послеобеденное время, и, когда уж было управились, кто-то вдруг открыл затвор. Ледяной поток в мгновение ока отшвырнул их почти к проруби, вымочив до нитки. С трудом выбрались они к мельнице, и Само крепко выругался. Увидев, что сыновья целы и невредимы, приказал: «За ним, ребята! Кто нагонит мерзавца, может хоть топор всадить ему в спину!» Они кинулись к запруде, но широко вокруг — ни души. Только длинные человечьи следы на снегу вели к лесу. Само Пиханда погрозил неизвестному топором, и все бегом воротились к мельнице — мокрая одежда на них вмиг застыла. Мельница, правда, снова застучала, колесо раскрутилось.

Два дня спустя, под вечер, кто-то пытался поджечь мельницу. Мария, возвращаясь после дойки, заметила огонь и разбудила всю семью. Не прошло и получаса, как пожар был потушен.

— Тут что-то неладно! — сказал Само, спустил с цепи обоих псов и оставил их бегать вокруг мельницы. Псы лаяли до полуночи, потом утихли. Под утро лай раздался снова, но, пока Само выбежал из дому, один пес уже лежал в саду отравленный. Следы вели от ограды к лесу, и по ним Само пустил второго пса. Здоровущая овчарка, взяв след, одним мощным прыжком скрылась в лесу. Воротилась она час спустя — вся окровавленная, с оторванным ухом. Само, вооружившись мясницким ножом и топором, наладился в лес. Как только Мария его не удерживала, и на колени перед ним падала — все понапрасну. Само пошел, раненый пес бежал впереди. Менее чем в двух километрах от мельницы набрел он в лесу на место схватки. Пес бешено лаял. На снегу валялись окровавленные клочья одежды, собачье ухо и три оторванных человеческих пальца. Кругом — пятна крови. Само нагнулся: на одном пальце был золотой перстень. Он снял его, очистил в снегу от крови и сунул в карман. Огляделся. Ничего подозрительного нигде не увидел и воротился домой. Мария уже высматривала его из сада, а завидев, радостно замахала руками. С этого дня на мельнице на какое-то время воцарился покой...

Само, как и прежде, трудился на мельнице не покладая рук. И пусть не все, но многое бы шло своим чередом, не вздумай Эма однажды после полудня перешагивать через привод. Стремительно вращающиеся ремни подхватили сперва юбку девочки, а потом втянули ее целиком — она и охнуть не успела. Пока Само остановил мельницу, привод истерзал хрупкое тело ребенка. Ножиками соскребали его с железных колес, с ближайших стен и пола. В конце концов и хоронить-то почти было нечего. От отчаянья Само не в силах был даже завыть. Мария совсем истаяла в горе. Детский протяжный плач надрывал душу. В какой-то момент в неожиданном приступе злобы Само хотел поджечь мельницу, но товарищи удержали его.

— Боже, если ты есть, будь проклят! — взревел он, подняв лицо к небесам.

— Не богохульствуй! — Мария упала на колени и истово стала молиться.

— Встань! — Само поднял жену.— Там помощи не ищи! — Он указал кверху.

Мария в руках у него разрыдалась.

— За что жизнь так карает нас? — простонала она.

— Одолеем и это! Прожитого не пережить, прошедшего не воротить. Что делать, надо смириться! — Жену-то он утешал, но когда оставался один, душа яростно восставала: «Нет, я никогда не примирюсь с этим, до последнего часа буду корить себя!» Почти обезумев, он убивался, горевал, тосковал по дочке и в одиночестве плакал навзрыд. Страшная смерть дочери так потрясла его, что он стал даже испытывать зависть к заботам других. «Да разве может что-нибудь сравниться со смертью моей Эмы!» — убеждал он себя и, когда ненароком на скорбных поминках услыхал разговор Аносты с Козисом,— остолбенел от удивления.

— Отдавал я топор наварить,— сказал Козис.— Острие хорошее, да топор тяжел стал...

— Ты и обух менял? — спросил Аноста.

— Вот еще! Обух-то прежний.

— Тяжел, говоришь? У меня легкий, обрубной. Твой, должно, двадцать восьмой будет[1].

— Да ты что! — встрепенулся Козис.— Двадцать третьи были самые большие, а двадцать первые слишком легкие, а вот двадцать вторые — в самый раз: ни легкие, ни тяжелые.

— Двадцать третьи самые большие? Тоже скажешь! Как же так?! — удивился Аноста.

— А вот так! Палота Вазатай торговал ими — и до чего же хороши были топорики.

— Острие на них больно широкое! Не нравились мне, «румынки» куда лучше. С таким широким острием разве что плотники их покупали.

— Плотники?! — засомневался Козис.— У них-то ведь водились топорики с узким острием, чтоб можно было пятку отсечь. Разве стешешь ее широким острием? Узким-то плотник стесывал запросто, а там уж углублял обухом или долотом.

— Долотом? — снова удивился Аноста.— Такого я и не видывал.

— Ей-ей, долотом! Так часто работают.

— Да ты, должно, ошибаешься... А еще говорят, на все руки мастер!

— Это ты ошибаешься!

— А может, мы оба ошибаемся?

Мужики обменялись косыми взглядами и повернулись друг к другу спинами. Само опустил голову: «Неужели и меня когда-нибудь будут заботить такие вещи?» Печаль и скорбь захлестнули его.

На следующий день наведался на мельницу священник Крептух и без околичностей объявил, зачем пожаловал.

— Бог ниспослал вам испытание, Пиханда! — воздел священник руки.— Вернитесь к нему — вам станет легче, духом воспрянете!

— Уходите! — Само кивнул на дверь.— Справлюсь сам.

А справлялись с горем Само и его жена по-своему: оба с головой ушли в работу и хлопоты о все еще немалой семье. Само, похоже было, даже перегибал палку, словно хотел усыпить собственное сознание, приглушить назойливые мысли и всякие сомнения. Изнуренный донельзя, он подчас застывал на миг — задумывался. Мозг сверлили вопросы: «А имеет ли все это смысл? И для кого я так надрываюсь? Для детей? Ах дети, дети мои! Один за другим уходят они туда, откуда нет возврата...» И все-таки, несмотря ни на что, он не давал печали и сомнениям одолеть себя. И перемогаясь, сжимая зубы, еще ожесточеннее, еще яростней, от зари до зари работал в поле и на мельнице. Он исхудал, отощал, за несколько месяцев стал кожа да кости. Мария тревожно приглядывалась к мужу, а по вечерам, уже в постели, ласково прижимаясь к нему, говорила:

[1] Топоры различаются по длине лопасти в сантиметрах.

— Надорвешься, Самко, захвораешь!

— Со мной все в порядке!..

— Сейчас, а потом что?

— По-другому я жить не могу, Мария! — отвечал он решительно.

Случалось, на мельницу захаживал Ян Аноста. Он тоже заметил, как истаивает Пиханда в работе, и это его немало сердило.

— Во всем надо меру знать, дорогой! — отчитывал он его.— Что говорить, твой отец тоже в работе зверь был, но и отдохнуть любил. Я старше тебя — дольше знал его. Вот уже сколько годков он в могиле, а у меня стоит еще печь, которую он сложил тридцать лет тому. Да, умел класть! Мастак был! Как-то мы свод возводили — вшестером в один ряд,— так он всегда первым управится и нас поджидает. Напевает отдыхаючи, покамест мы до его уровня не вытянем. Однажды пошли мы покупать в Кокаву поросят,— засмеялся Аноста.— Пешим порядком, конечно! Купили и выпили, как положено. После магарыча вскинули корзины с поросятами на спину — и айда! Но на Волчьей яме твой отец зачем-то нагнулся, корзина со спины свесилась, а поросята — не будь дураки — возьми да и выпрыгни! То-то смеху было! Два часа мы их ловили, хе-хе! Ан опять же посидели, отдохнули... Так что во всем надо меру знать...

— Ты никак поучать меня пришел? — спросил Само.

— Не-а, боже сохрани.

— Мария тебя подослала, так ведь?!

— Выдумки! — запротестовал Аноста.— Не поучать пришел, а просто повидать хотел. Если не скучно тебе, могу рассказать кой-какие новости...

— Валяй! — махнул Само рукой.— Только не агитируй!

— Уж я таков, иначе не умею! — засмеялся Аноста.— Хочешь узнать новости, придется потерпеть... Парень ты хороший, известно, да вот жаль, что невзлюбил ты нас, социал-демократов...

— Опять завелся? — повернулся к нему Само.— При чем тут «невзлюбил»! Неправда... Просто хочется покоя... И своих забот хватает!

— Не гляди только в свою мучницу, в ней одна мука хранится. А кругом — люди. Спину гнешь, надрываешься и думаешь, что, коли кинешь детям пригоршню денег, они будут счастливы. Ан не хлебом единым жив человек. С тех пор как у нас, у словаков, есть своя партия, у нас появилась надежда, что мы вскоре добьемся и своих прав. А не выйдет по-хорошему, вырвем их силой! Мы уже не одиноки. С нами плечом к плечу и чешские социал-демократы. Они поддерживают нас в вопросах политических, национальных и деньгами помогают...

— А я, по-твоему, что должен сделать? — перебил его Само.

— Вернуться к нам, быть с нами...

— Знаешь, Яно, оставь лучше меня в покое!.. — вздохнул Пиханда.— Не могу я двоиться, а то и троиться! Многого ты от меня захотел...

Аноста опечаленно кивнул и пошел прочь.

Время летело быстро, точно во сне. Нищий бродяга Гагош измерял его регулярными, раз в год совершаемыми посещениями мельницы. Само Пиханда никогда не забывал спросить его:

— Война будет, пан Гагош?

Гагош отвечал всегда одинаково:

— Пан Пиханда, для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги!

Времени убывало, денег на свете прибывало, но в основном не это занимало Само Пиханду. В первый раз после долгого перерыва засвистал он от радости, когда старшего сына Само приняли в Градокское

лесоводческое училище. А потом и вовсе у него душа взыграла, когда он увидел, с какой ретивостью сын взялся за учение. Спустя время возрадовался он во второй раз: брат Валент написал ему, что сын Петер может поступить в Ружомберке в учение к знаменитому часовщику Крапсу. Петер от счастья расплакался.

— Ну же, ну! — лохматил Само ему волосы.— Еще на радостях с тобой что приключится!

— Отец! — вскричал Петер.— Я изобрету часы без заводки!

С Петером в Ружомберок отправился и Само Пиханда — хотел познакомиться со знаменитым часовщиком Крапсом и своими глазами увидеть, где сын будет обучаться часовому мастерству. Присоединился к ним и Валент. Крапс был невысокого роста, приятным на вид и в обхождении. Было ему, пожалуй, лет под сорок. Он оглядел Петера испытующе.

— Глаза у тебя здоровые? — спросил он.

— Да, да, конечно! — с воодушевлением ответил Петер.

— Ну-ка поди сюда! — подозвал мастер юношу к рабочему столу и, выдвинув ящик, вынул из него маленькое часовое колесико.— Сколько зубцов на этом колесике?

Петер вгляделся в колесико и уже через секунду улыбнулся мастеру Крапсу:

— Тридцать!

— Завтра можешь приступать!

Они простились с Крапсом и ушли. По дороге Валент обнял племянника за плечи.

— Жить будешь у нас, комнатенку я тебе уже приготовил,— и, повернувшись к Само, добавил: — С расходами на Петера не утруждайся, все беру на себя...

— Нет, я не могу от тебя это принять! — возразил Само.

— Это вовсе немного, да и ненадолго,— сказал Валент.— Скоро Петер сам начнет зарабатывать. А пока пусть живет и питается у меня. Все равно готовим каждый день...

Они вошли в дом Валента. Его жена Гермина усадила их за богатый стол, а когда они отобедали, Петер с удовольствием занялся своим маленьким двоюродным братиком Марианом, а Само и Валент — столовым вином и душистыми сигаретами.

— Пришел доктор Вацлав Кршенек! — доложила служанка.

Валент бросился навстречу гостю. Через минуту подвел его к столу.

— Мы вместе учились в Праге,— сказал он Само.— Познакомьтесь, это мой брат Самуэл.

— Кршенек.

— Пиханда.

Сели и после обязательных славословий Гермине, еде и питью, на кои доктор Кршенек не скупился, после нескольких рюмочек доброго вина, после обмена новостями из Праги и Словакии они разговорились более доверительно. Доктор Кршенек, полный, плечистый, хоть и невысокий мужчина, элегантно одетый, с живыми глазами, округлым лицом и намечающейся лысиной, был весьма любознателен.

— Чем вы занимаетесь? — спросил он по-чешски.

— Я мельник,— ответил Само.— А вы где работаете? В суде, как Валент?

— У меня своя контора, к тому же я еще адвокат и юрисконсульт Чехославянского единства[1] в Праге.

— Я и не слыхал о таком обществе,— сказал Само.

— Н-да, общество,— усмехнулся Кршенек.— Впрочем, это действительно общество. И мы полагаем — очень даже важное. Я ведь прав, Валент? Знаете, в определенном смысле мы возвращаемся к тради-

[1] «Чехославянское единство» (1896—1914) — пражское общество, ставившее целью сохранение и развитие культуры славянских народов Австро-Венгрии.

циям Великой Моравии и начинаем оттуда, где кончил Святоплук[1]. У вас есть, пан Пиханда, сыновья, которые бы хотели учиться? Я имею в виду — в Праге или где угодно в Чехии...

— Да, есть! — отозвался Валент.— У Карола, к примеру, живописный талант, и по окончании гимназии он мог бы продолжать учение в Пражской Академии художеств. Программа Чехославянского единства включает и деятельность, направленную на поддержку словацких студентов. Кроме того, это общество, как ты говоришь,— обратился Валент к брату,— поддерживает и углубляет чешско-словацкие взаимосвязи, организует совместные встречи, одним словом, стремится обновить процесс сближения чехов и словаков, равно как и остальных славян на территории Австро-Венгрии.

— Действительно, это неплохое дело! — произнес Само.— Однако, думается, для вас обоих весьма небезопасное...

— Это нас не остановит! — сказал Валент.

— Объединение чехов и словаков в рамках Австро-Венгрии — вещь крайне важная. Чехи осознали потери, понесенные ими в результате равнодушного, а подчас и отрицательного отношения к словакам. Нельзя не считаться с тем фактом, что словацкая территория — самый естественный рынок сбыта для чешской промышленности, что наша Словакия может стать опорой чешской политики и мостом к славянскому востоку, к России...

— Это, я бы сказал, точка зрения чешской стороны,— отозвался Валент.— Доброжелательная и для нас приемлемая. Но нынче уже и словаки осознают, что они должны — и сейчас и в будущем — опираться на братский чешский народ. Что нам теперь остается? Народ, лишенный школ, просветительных организаций, культурных обществ. Освоение лишь мадьярской культуры подвергает опасности наше словацкое бытие, а экономическая зависимость словаков от венгров ослабляет нас и в политической борьбе. Поэтому я считаю, что кроме культурного сближения с чехами должно наступить и экономическое единение чехов и словаков...

— Я держусь того же мнения,— сказал доктор Кршенек.

— Я не против того, о чем вы оба здесь говорили,— раздумчиво начал Само.— Но, думается, добиться этого будет очень трудно. И не только трудно — даже опасно! Правительство в Пеште ничего подобного не потерпит. Я не могу себе и представить, чтобы это удалось. А тут еще Вена. Ей тоже не по нутру, когда в Австро-Венгрии объединяются славяне... Диву даюсь, как еще не запретили это Чехославянское единство!

— Мы не политическое, а культурное общество,— сказал Кршенек,— а такое общество Вена не вправе запрещать!

Валент налил всем вина и первый поднял бокал.

— Будем здоровы! Удачи нашему доброму делу!

Они выпили до дна, и Само стал собираться в путь. Поблагодарил Гермину за гостеприимство, попрощался с братом и доктором Кршенеком. Отозвав в сторонку сына Петера, снова наставлял его, как себя вести, что ему делать и что не делать, и настойчиво просил относиться к себе повнимательней. Когда они прощались, у Петера в глазах стояли слезы. Само стало жалко его. Наклонившись к сыну, он поцеловал его в лоб и шепнул на ухо: «Не бойся, выдержишь! Ты ведь добился чего хотел!»

В поезде Само взгрустнулось. С какой-то печалью размышлял он о том, что слышал у брата, и о том, о чем поведал ему Аноста. Он мысленно возражал, задавал вопросы. То являлся ему Кршенек, то Валент, Аноста или нищий Гагош. Он сердился, ссорился со всеми и

[1] Святоплук (Святополк) — последний правитель Великоморавской державы, раннефеодального государства западных славян в IX—X вв. С распадом его (около 906 г.) словаки были оторваны от наиболее близких им по языку и культуре чехов и на целое тысячелетие вошли в состав Венгрии.

тут же мирился с ними и смеялся. Наконец задремал. И хотя сон, пожалуй, длился не более получаса, он чуть не проехал Кралёву Леготу. Проснулся лишь тогда, когда поезд дернулся на разъезде. Соскочить успел, да в вагоне забыл марципановый медовый пряник — большое съедобное сердце.

Он долго о нем горевал.

Само Пиханда не ведал покоя: у него все время было такое ощущение, будто трещит и лопается кожа — вот-вот он выскочит из нее или выколупнется, словно косточка из сливы.

Дела семейные теперь были таковы, что он мог бы жить поспокойней, отдохнуть, полентяйничать — ведь когда-то так мечталось об этом. Мария была сама доброта, да еще по-прежнему привлекательна, красива. Сын Самко, успешно закончив лесоводческое училище, работал помощником лесника в недальнем урочище на Черном Ваге. У второго сына, Петера, истекли годы ученичества. Оба стали зарабатывать — делали подарки родителям, а при надобности помогали и деньгами. Словно договорившись, каждый месяц поочередно посылали брату Каролу небольшие суммы на его учение в гимназии. Младший, Марек, пошел в первый класс и хорошо учился. Мельница работала без перебоев, и нехватки в обмолоте не было. А Само все чего-то недоставало. Перед Аностой, перед братом или женой он делал вид, будто внешний мир мало занимает его. Но Марию трудно было провести: она видела, как он жадно читает выписанные «Работницке» и «Народне» газеты[1], как что-то выискивает в них и мучится над прочитанным. У случайных путников, заворачивавших на мельницу, он выспрашивал, что делается в Пеште, Вене, в Прешпорке, Кошице, Кежмарке, Ружомберке или Микулаше. Снова зачастил в корчму к старику Гершу. В корчме Само прислушивался к разговорам: то за одним столом, бывало, посидит, то за другим. Пил он мало, никогда не напивался. Все, похоже было, принюхивается к чему-то, а к чему, должно, и сам не знал. Одни вещи обрели определенность, другие лишь угадывались. Из вечера в вечер и крестьянам в корчме у Герша приходилось решать новые сложные проблемы своего хозяйства. Они вздорили, ругались, а порой и рукам волю давали. Один из старомильцев[2] ушел как-то домой с ножом под лопаткой. И все потому, что более прогрессивно мыслящий собеседник никак не мог убедить его в том, что сельскохозяйственное производство становится интенсивным, что богатые крестьяне, помещики и крупные землевладельцы оптом закупают машины и механизмы, что исчезают целинные земли и на поля ложатся первые искусственные удобрения. «Сожрут нас, проглотят, разорят и высмеют!» — кричал не один мелкий крестьянин в тоске и страхе перед помещиком. Небывало окрепло сопротивление венгерскому правительству, устойчивость режима слабела, государство стояло на пороге распада. В начале второго десятилетия двадцатого века внутриобщественный и политический кризис достиг апогея. Над страной нависло грозное предостережение: «Либо Венгрия станет демократическим государством, либо распадется!» Но правительство в Пеште оставалось глухим, хотя поэт и ошеломил его стихами:

Величайшие в мире уши,
Когда вы научитесь слушать?

Ищейки ретиво ринулись защищать государство, но вопреки их усилиям, вопреки револьверам под мышкой, жандармам, вооруженным гусарам, винтовкам и штыкам на улицах росли баррикады и множились кровавые понедельники, вторники, среды, четверги...

---

[1] «Рабочая» и «Национальная» газеты.

[2] Консерватор, придерживающийся старых национальных традиций.

Обо всем этом писали газеты, возглашали ораторы на тайных и открытых собраниях, а поздней и из тюрем. Обо всем этом толковали в корчмах, трактирах, кофейнях, гостиницах, борделях, в кабинетах — правительственных и неправительственных,— в постелях любовниц.

Само Пиханда чувствовал и понимал: что-то должно произойти!

Да, что-то обязательно произойдет!

Это ощущали, понимали, на это надеялись сотни тысяч людей в Австро-Венгрии, и Само ничуть не удивился, когда сын его Петер в один из своих приездов домой объявил:

— Я вступил в социал-демократическую партию!

— Стало быть, ты уже не хочешь чинить и изобретать часы? — спросил отец.

— Почему? — Сын сделал большие глаза.

— Коль ударился в политику.

— Ну, знал бы ты, в каком согласии живут часы и политика,— рассмеялся Петер.

Само Пиханда не удивился и тогда, когда его второй сын Самко, мастер-лесовод, сообщил ему:

— Я уезжаю в Америку!

— Ты — и в Америку? — спросил отец.

— Мы поженимся с Евой Швандовой и вместе уедем.

— С Евой?

— Читал бы ты письма, что шлет ее отец из Америки! Он и нас зовет, обещает помочь на первых порах. Евина мать тоже согласна...

— Так с Евой, говоришь?

— А ты разве не знал? — заудивлялся Самко.— Мы с ней почти два года как вместе... Маме я уже все сказал. А повезет, воротимся при деньгах.

Само Пиханда не смел противиться. Сыграли свадьбу. Молодожены собрались в Америку. Евин отец Матей Шванда купил и выслал им билеты на пароход, и весной одна тысяча девятьсот четырнадцатого года они в Гамбурге отчалили от берегов Европы.

Само Пиханда не грустил, но и не радовался.

Все кругом неудержимо куда-то катилось. Это тревожило, возбуждало его. Он что-то чуял, а вот что — он и сам точно не знал. Иной раз его даже передергивало при мысли: а уж не бунтовщик ли я? И когда в мае пожаловал Гагош, Само, по обыкновению, спросил его:

— Война будет, пан Гагош?

— Видите ли, пан Пиханда, для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги! — как всегда, ответил нищий.

— А что, если деньги на войну уже имеются, пан Гагош?

— Про это мне ничего неизвестно, пан Пиханда!

Да и Пиханда не знал ничего, он лишь смутно предчувствовал: что-то должно произойти.

К черту! К Перуну! Дьявол бы все побрал и замотал! Пропади все пропадом! Провались оно в тартарары! Чтоб все сгинуло! Клятая работа!

Что-то обязательно стрясется!

И — стряслось!

На исходе июня тысяча девятьсот четырнадцатого года в тихую мельницу вбежал запыхавшийся нищий Гагош. Споткнувшись о порог, упал. Из его сумы высыпались на пол цветные стеклышки, блестящие мелкие камешки, заржавелые гвозди, огрызки хлеба и два облупленных крутых яйца.

— Пан мельник! — пронзительно закричал Гагош с пола.— Пан мельник!

— Здесь я! — отозвался Само Пиханда снизу, от привода.

Гагош неуклюже поднялся с пола, перешагнул через суму, соскользнувшую с плеча, раздавил ногой одно яичко. Он рванулся к лестнице и стал поспешно спускаться. Уже почти у самой земли наступил на край широкой штанины и шлепнулся навзничь в открытый мешок муки. Мешок опрокинулся, мука взвихрилась и обсыпала стенавшего нищего. Само Пиханда рассмеялся. Гагош вскочил и, растерянный, испуганный, схватил смеющегося мельника за рубаху.

— Вот и стряслось, пан Пиханда! — вымолвил он на одном дыхании.

— Что стряслось? — спросил Пиханда, все еще борясь с приступом смеха.

— В Сараеве убили наследника престола Франца-Фердинанда и его жену Софию!

— Ну и что? — сказал сперва Пиханда, а потом изумился: — Да неужто?!

— Будет война, пан Пиханда! — закричал нищий Гагош.— Вы точно говорили, будет война! — словно обезумев, повторял он и без устали дергал Пиханду за рубаху.

— Никогда я этого не говорил! — оторопел Пиханда и схватил Гагоша за руки.

— Будет, будет! — неистово твердил Гагош и, высвободив руки, снова опустился на рассыпанную муку.— Будет, побей меня бог, будет! — Он расплакался и закрыл ладонями испачканное мукой лицо.

Пиханда с минуту стоял перед ним неподвижно, потом упал на колени.

— Война? — выдохнул он тихо и тронул Гагоша за руку.— Из-за двух человек — и война?

Гагош поначалу не отвечал — он лишь плакал и кивал головой. Но, внезапно притихнув, взглянул Пиханде прямо в глаза.

— Скажу вам то, чего никому здесь не говорил! У меня тоже трое сыновей и шестеро внуков...

Пиханда набрал полную горсть муки и стал просеивать ее сквозь пальцы. Ни слова не говоря, он лишь удивленно глядел то на Гагоша, то на пустеющую ладонь, словно спрашивал себя: «Прав он или помешался?»

Нищий Гагош оказался прав: в Сараеве студент Гаврило Принцип застрелил наследника австро-венгерского престола и его жену. Уже с неделю из вечера в вечер мужики обмозговывали это событие в кузнице Ондро Митрона. Однажды Само Пиханда тоже заглянул туда. Мужики даже его не приметили — до того были заняты разговором.

— Я вот что скажу,— раздувая мехи, говорил крестьянин Ян Древак,— наследников престола у нас вдосталь... Небось многие в Вене даже обрадовались, когда Фердинанда кокнули! А наш дряхлый восьмидесятичетырехлетний император австрийский, король чешский и венгерский, уже шестьдесят шесть лет нами правит и на тот свет, похоже, не собирается... Это я только к тому, что наш Франтишек Йозеф, Франц-Иосиф, Ференйожка, и до ста лет протянет, а до той поры про Фердинанда и думать позабудут!

— Драка будет, ребята, ей-ей, будет! — отозвался мудрец Мельхиор Вицен.— Пойдет кутерьма! Вена сербу этого не спустит...

— А ты откуда знаешь? — оборвал его Само Пиханда.

— И ты тут? — удивился, глубоко затягиваясь цигаркой, Бенедикт Вилиш.

— Откуда, откуда? — покосившись на Само, Мельхиор Вицен с умным видом покачал головой и развел руками.— Все к тому идет: Белград уже долгие годы как бельмо в глазу у Вены и Пешта...

— Из-за этого еще не обязательно войне быть! — сказал Биро Толький.

— А ее и не будет! — присоединился к нему Ян Аноста.— Вернее, нельзя, чтоб была! А если и соберется, то надо этому помешать!

— Ты опять агитируешь? — оборвал его Мельхиор Вицен.— Зря тут стараешься, пойди лучше шепни Франциожке, пусть тебя послушает!

— На войне дерутся такие, как мы с тобой,— не сдавался Ян Аноста,— или как твои сыновья... Не позволишь им взять в руки оружие — войны и не будет... И уж конечно, сам его ни за что не возьмешь...

— Ох ты и ухо-парень,— подивился Юрай Гребен.— Их же укокошат! Откажешься воевать — свои же пристрелят, то-то и оно!

— Если все поступят так,— стоял на своем Ян Аноста,— никого не пристрелят

— Ладно, ребята, войны-то еще нету! — урезонивал их кузнец Ондро Митрон.— Да и будет ли, кто знает?! А если и будет, так скорей всего просто такая маленькая. Бабахнем раза два-три из пушки, поблестим саблями, чтоб постращать серба, и все дела!

— Неохота мне, право слово, воевать,— отозвался брат кузнеца — Юло Митрон.

— А кому охота? — спросил Пиханда.

— Я на всякий случай засолю корову в кадушке,— сказал Петер Жуфанко.— А то и две!

— И сам в ярмо впряжешься? — ухмыльнулся Мельхиор Вицен.— Нам, каменщикам, война, пожалуй, на руку. Порушат дома — на двадцать лет работенки хватит...

— Лишь бы какая пуля и тебя не порушила! — сказал Ян Аноста.

— Сербия от нас — не ближний свет, пули сюда не долетят.

— Я вот что скажу,— вступил в разговор снова Ян Древак, но Само Пиханда уже не дослушал его. Он вышел из кузни так же незаметно, как и проскользнул в нее. Уже вечерело, а Само вдруг стало невообразимо жарко. Он весь покрылся потом, тело будто горело. Он бегом прошмыгнул меж домов за околицу и, спустившись к речке, разделся. Вошел в студеную воду по колено, лег на спину, перевернулся, намочил голову. Зачерпывая воду ладонями, обливал лицо, набирал ее ртом и прыскал далеко перед собой. Продрогнув, вылез из воды. Оделся и растянулся в сухой, неросной траве. Посмотрел вверх— на звезды и задержал взгляд на месяце.

— Что же будет, братец, правду скажи?! — обратился он к месяцу.— Или и тебя придется прикончить?!

Само улыбнулся, вообразив, как расстрелянный месяц сперва изойдет кровью, а потом закувыркается и упадет в какую-нибудь липтовскую долину... Затрубили вдруг трубы. Забряцало оружие, зацокали лошадиные копыта. Ноги уперлись в стремена, и острия сабель рассекли тишину. Сербы крикнули: «Месяц — это нашей мести первое победное ядро!» Само пронзило видение того, как месяц давит липтовчан, и он в страхе открыл глаза.

Но месяц спокойно скользил по небу и то и дело нырял в редкие облака, словно натягивая праздничную рукавицу. И молчал. Само неотрывно следил за ним. Безмолвие вселенной успокаивало его. Дикие и грозные видения, только что явившиеся ему, внезапно рассеялись.

И пришла война!

Только мгновенье прикидывалась она незаметной. Пала на людей легонько, почти как манна небесная. Возможно, поэтому ее благословил и священник Доманец пресловутой фразой: «Солдат стреляет, господь бог ядра подает!»

— А ну как он и ваши ядра оторвет? — спросил его Само Пиханда.

— Боже упаси! — ужаснулся священник Доманец.

— Ведь они вам уже без надобности...

— Сын мой злосердный,— вскипел священник,— волосы на теле тебе тоже не надобны, однако ж они есть у тебя! Воля божия неисповедима...

Священник осенил себя крестным знамением и хотел было перекрестить Само, но тот, сплюнув, отвернулся.

То была не манна небесная, ниспосланная на людей. Вместо пищи на зубах заскрипел свинец.

Работница ружомберкской бумажной фабрики Мария Радкова крепко обняла и прижала к себе часовщика Петера Пиханду.

— Что же будет с нами? — простонала она.— Тебе нельзя идти в армию, ни за что!

— Тогда придется хорошенько меня спрятать,— сказал Петер и улыбнулся.

— И спрячу! Под кровать, в погреб, на чердак!

— Везде найдут... Доказчиков и шпиков столько, что и мыши у них на учете!

— Господи, была б у меня волшебная палочка, обратила бы я тебя в невидимку или в Янко Грашко...

— Была б она, мы бы войну заколдовали!

— Дорогой!

— Дорогая!

Они отдавались друг другу, забывая о себе, о своих руках, ногах, о губах. После долгих мгновений любви, покорившись истоме, они как бы едва отыскивали и узнавали свое собственное существо, хотя и знали его назубок. И, слившись в объятии, долго лежали в величавом покое. Когда позже, среди ночи, Петер Пиханда зажег свечку и стал одеваться, Мария со всхлипом кинулась к нему снова.

— Нет сил терять тебя,— шептала она ему в лицо голосом, полным страха и тревоги.

— Я уж постараюсь, моя хорошая! — обещал Петер спокойно, обнял ее и добавил: — Если успеем, в ближайшие дни поженимся!

Разгоряченный, он выбежал во влажную летнюю ночь. Оглянулся на маленький окраинный домик, в котором жила Мария с матерью. Вдруг удивленно остановился, прислушался. До него доносился какой-то гул, потом он уловил и пение, говор, крики. Петер Пиханда снова двинулся, с каждым шагом невольно прибавляя ходу. А когда, еле переводя дыхание, выбежал на главную улицу, то ошеломленно попятился и замер. Перед его глазами возникло необычайное зрелище: близилось людское шествие. Торговцы, адвокаты, купцы, студенты и профессора, богатые ремесленники и государственные чиновники держали высоко над головами горящие факелы, а их жены и дочери несли лампионы на длинных тонких палочках. Все пели боевую, патриотическую венгерскую песню, гомонили, визжали, свистели. Допев до конца песню, принялись дружно выкрикивать и скандировать: «Да здравствует война! Да здравствует война! Да здравствует война!» Петер Пиханда не знал, когда и откуда очутилась в его руках палка. Злость, исподволь накипавшая в нем, вдруг сотрясла его. С криком, диким и пронзительным криком: «Скоты, скоты, скоты!» — Петер бросился вперед и стал палкой сбивать на землю пылающие факелы и зажженные разноцветные лампионы. Шествие расступалось, женщины и девушки визжали, мужчины, увертываясь от него, отскакивали. Вдруг возле Петера вырос его товарищ — часовщик Вавро Масный и повис на руке, сжимавшей палку.

— Ты что здесь куролесишь? — крикнул Вавро ему в самое лицо.— Брось, беги, вот-вот нагрянут жандармы.

— Отпусти руку! — взревел Петер.

— Не пущу!

— Пусти! — Петер рывком освободил руку.— Лучше помоги разогнать эту свору.

И Петер Пиханда снова замахнулся на факелы и лампионы, которые, озорно дразня пламенем, сомкнулись вокруг них. Снова упало наземь несколько факелов, снова разлетелось брызгами несколько лампионов. Но продолжалось это недолго. Петера и Вавро настигли жандармы. Они грубо схватили их — и повели.

— За решетку их! — орали из толпы.

— Это русские шпионы!

— Панслависты [1], в кутузку их!

— Оскопить их!

Петер Пиханда и Вавро Масный, увлекаемые жандармами, исчезли в темных улочках. Толпа разрасталась, она опять выстроилась в ряды и двинулась. И уже не выкрикивала, а ревела — безбоязненно и дерзко: «Да здравствует война! Да здравствует война! Да здравствует война!»

И война здравствовала!

Европейские националисты всех мастей решили потешить старый континент веселой военной баталией. Охотники до войны, правители, министры, представители крупного и мелкого капитала считали своим долгом и честью славить войну и сеять ее смертоносное благо по всему свету. Великолепный, можно сказать величественный, спор за новый христианский или нехристианский раздел мира начался с благословения церкви и политических партий. Европейские социал-демократические партии, девственно зардевшись, застыдившись, как обесчещенная барышня, и покрывшись багровыми пятнами, точно стареющая женщина, согласились с решением и целями мирового капитала и поддержали войну. Лишь такие слепцы, как Ян Аноста и Биро Тольки, словно ничего не уразумев, в знак протеста вышли из социал-демократической партии. После столь неблаговидного решения, в коем товарищи не преминули тут же упрекнуть их, они безобразно налакались и позволили себе, эдакие скоты и невежи, вместе с прочей им подобной ослепленной сволочью, с отцами, матерями, женами и детьми солдат, гнусно ругать войну, оскорблять ее и проклинать всеми клятвами, за что проповедник слова господня Крептух отчитал их принародно с амвона. А вот кому война с самого начала пришлась не по душе — так это солдатам на фронте. У них, у ворчунов, она застряла в зубах — и всего-то лишь потому, что в их телах застрял свинец. Даже сапожник Скленка и тот ругал войну. Пришел он как-то к молодому ученику Скове и спрашивает:

— Который сапог ты шьешь?

— Уже второй, пан мастер! Левый!

— Ну-ка покажь правый! Правый!

— А я еще его не тачал...

— Как так? — вскричал сапожник Скленка.

— У этого солдата нет правой ноги, пан мастер!

— Туды ее растуды, эту войну! — заматерился мастер Скленка.— Эдак из-за нее и половины прибытка лишишься!

Мастер Скленка подошел к окну, поглядел в ту сторону, откуда чуял войну, погрозил кулаком и закричал возмущенно: «Стерва, если пожалуешь — голову сверну!»

Петера Пиханду и Вавро Масного две недели допрашивали. Сперва им предъявили обвинение, что они собирались предать Австро-Венгрию, потом — что они русские шпионы. Тем временем обстоятельно изуча-

[1] Сторонники панславизма — идеи объединения славянских народов под главенством русского царя в конце XVIII — начале XX в.

ли их прошлое: расспрашивали часовщика Крапса и всех его учеников и подмастерьев, проверяли родителей, не обошли даже Марию Радкову, напрасно пытавшуюся получить с Петером свидание.

Однажды утром — а прошел уже месяц тюремных мытарств — вывели их обоих в поле и, приказав ждать, оставили одних. Раз не удалось вменить им в вину злой умысел, решили уличить в побеге.

С этой целью в ближайших кустах затаились вооруженные солдаты, то и дело выдавая свое присутствие кашлем или зажженной сигаретой. Петер и Вавро спокойно легли на траву и, жуя сочные стебли, слушая пение жаворонков, стали ждать. До обеда они и с места не сдвинулись. Когда дозвонили последние колокола, их грубо окликнули, нарушив блаженную дрему, и погнали в казарму. Через два часа их одели в военную форму. Поручик Сечин, в чью роту определили парней, поставил их на два часа по стойке «смирно» и ругал с таким остервенением, что чуть сам не задохнулся: «Пиханда, ах ты скотина эдакая, свинья панславистская! А ты, Масный, подонок, молокосос, хулиган сопливый! Курвиное вы отродье, фискалы вражьи, замарашки, уроды, девственники! Так вы не любите войну?! Так вас и разэдак, пусть меня кондрашка хватит, если я не научу вас любить войну!» Он унялся лишь тогда, когда Вавро Масный рухнул на землю — у него выступила на губах пена и угрожающе задергалось тело...

Через несколько дней Петер Пиханда и Вавро Масный со всеми остальными сели в поезд и в спешном порядке отбыли в 32-й прешовский стрелковый полк

Музыка играла, парни по призыву отправлялись в казармы, а из казарм — в вагонах для скота — на фронт. Они до того торопились, что не успевали поднимать цветы, которые бросали им под ноги расторопные барыньки. А барыньки вели себя с такой горячностью, словно они-то и были самыми главными персонами в этой войне. Они тосковали по солдатам уходившим, но в уголке сердца тлела надежда, что на смену этим придут новые, что их, барынек, не минут, не обойдут стороной всяческие радости и удовольствия, которые всегда сулит мужское скопище. Для дамочек и проституток война пахла не столько порохом, сколько дразнящей мужской плотью. Они верили, что герои солдаты, идущие на смерть, обязательно позаботятся о том, чтобы после себя оставить ростки жизни... А на станциях душераздирающе плакали солдатские матери, жены и сестры; мучительно раскрывая объятия, они выпускали из них сыновей, мужей и братьев. Отцы немели в предчувствиях, а заплаканные солдатики по углам хлюпали в носовые платки. Горе, боль, плач и приступы тягостной тоски они сурово глушили в себе. Старались не давать воли страху, неуверенности, стыду. Приказы хлестали их и гнали вперед...

Петер Пиханда и Вавро Масный навоевались до одури. В Прешове задержались недолго — через неделю и их бросили в Галицию на передовую. Оба были ранены. Петер — в левую руку, Вавро — в левую ногу ниже колена. Это были легкие сквозные ранения, и к исходу октября оба снова были на фронте. Рождество провели в небольших военных перестрелках, но уже в январе над ними навис приказ: освободить окруженный Перемышль и вытеснить русских с Карпат! Австро-венгерские армии развернули мощное наступление. Русские ствечали тем же. Оба генеральных штаба рассчитывали на молниеносную войну, и движение армий началось почти одновременно. Высоко под облака взлетал крик подбадривающих себя солдат, но их вздохи никли в траве. Блистательные атаки пехоты и кавалерии с обеих воюющих сторон успешно отражались пулеметами. Обеим армиям не оставалось ничего иного, как зарыться в землю. В снегу, на морозе солдаты рыли отверделую землю, углубляли окопы, сооружали глубоко разветвленные системы полевых укреплений, ставили проволоч-

ные заграждения и хитроумные устройства огневых барьеров. Последовал апокалипсический ураганный огонь артиллерии, дабы уничтожить возведенные укрепления неприятеля, но шли недели, месяцы, а обстрелы не приносили успеха. Солдаты мерзли и умирали в окопах. Жертв было столько, что мертвых не успевали хоронить, а раненых отвозить в тыл, откуда поезда доставляли все новые и новые людские резервы, пушки, боеприпасы, перевязочные средства, обмундирование...

— Я тут долго не выдержу,— сказал Пиханда.— Еще неделя, две — и мне конец. Я даже не знаю, за кого воюю и для чего. Плевать мне на всю Галицию, на кой она мне сдалась. Ну скажи, Вавро, ты знаешь, за кого воюешь?

— За пана императора и его семью! — выпалил Вавро.

— Пусть вся Вена целует меня в задницу! — взъярился Петер.

— Разом или по одному? — спросил Вавро Масный.

— Балда!

— Да что я — разом! — засмеялся Вавро.— Для этого нужен зад, что твой Пешт!

— Вавро, ей-богу, я еще сегодня перемахну,— решил вдруг Петер Пиханда.— Пойдешь со мной?

Вавро Масный молчал.

— Пойдешь? — толкнул его Пиханда.

— Не знаю!

Пиханда встал и выглянул в сторону русских окопов. У виска просвистела пуля — он опять опустился на корточки. Отодвинувшись от товарища, он старательно завернулся в шинель и склонил голову. На него нашла дрема. В видениях предстала перед ним большая пуховая перина, больше липтовской деревни. На перине он увидел себя — рядышком с Марией Радковой. Оба были голые, теплое летнее солнышко светило им, а возле перины стоял большой круглый стол. И был он до того большой, что за ним удобно восседали все словаки и дружно уписывали первосортные яства. Наевшись, они принялись близ стола сооружать огромное здание — общее жилище. Только Петер и Мария продолжали разлеживать на мягкой перине. Он то вежливо ее обхаживал, то грубо лез к ней, а Мария смеялась и не упорствовала...

Петера Пиханду внезапно разбудила взорвавшаяся перед ним граната. Рудольфа Карбанца из Микулаша убило, а его легко ранило в руку.

— Вавро! — крикнул Пиханда.

— Жив! — отозвался Вавро Масный.

— Пора, бежим к русским!

— Я не пойду! — отказался Вавро.

— Почему, дурачина?

— Плена боюсь больше войны.

— А я иду! — решил Петер Пиханда.— Живи тут как знаешь, а я и вправду пошел! Прощай, Австро-Венгрия, честь имею, война!

Петер Пиханда обнял Вавро Масного, отбросил винтовку и выглянул из окопа. Русские атаковали на левом фланге, а здесь, на правом, было временное затишье. Петер Пиханда выпрыгнул из окопа и поднял над головой руки. Побежал. Возле него бежали другие солдаты с поднятыми руками, оглядывались, спотыкались, падали, опять вставали, но бежали вперед... Вскоре он достиг первых русских окопов.

— Стой, австрияк! — окликнул его русский солдат и упер ему в грудь штык.

— Я славянин! — крикнул Петер Пиханда.— Словак!

Русский схватил его за шинель и втащил в окоп.

На другой день Петера Пиханду вместе с остальными пленными погнали в тыл. Конвойный вдруг крикнул им: «Вот вы уже в России, вам теперича хорошо, сволочь австрийская!»

Петер Пиханда оглянулся — он и не заметил, как они перешли русскую границу. Засмеялся — вспомнилось, как он когда-то представлял себе границу. Это была бескрайне длинная красная линия, впрочем даже не линия, а длинный красный поперченный кусище сала, от которого в любое время можно отрезать шматок... А чтоб такая была граница?! Он поглядел снова под ноги, потом назад...

...Нигде ничего, лишь ровная земля, снег, мерзлая трава, кусты и вдалеке отдыхающая пахота...

Карола Пиханду погнали на войну прямо со школьной скамьи. Он и месяца не проучился в Пражской Академии художеств, как пришлось надеть военную форму. Горестно простившись с родителями и упрятав книги, рисунки и картины в деревянный сундук на чердаке, отправился он в Кошице в распоряжение 9-го гонведского полка[1]. В первый же день встретил там двух земляков, Павола Жуфанко и Юрая Вицена.

Каролу было так грустно, горько и тоскливо, что уже в поезде он украдкой всплакнул. А на просторном дворе кошицкой казармы, снова встретившись с земляками, он и вовсе разрыдался. Они не успокаивали его, не унимали его всхлипов. Павол Жуфанко с пониманием похлопал его по плечу и тяжело вздохнул.

— Пройдет! — сказал он сочувственно.— Обвыкнешь! Нам с Юраем тоже не сладко пришлось, а видишь, теперь нас и слеза не прошибает... Да мне-то каково? Сперва я оттрубил на военной три года мирных, а нынче настоящая война завязалась, и кто знает, когда этот кошмар кончится?! Я жениться хотел, дом отремонтировать, детей растить, а вот изволь воюй... Поплачь, Карол, хоть полегчает тебе. Как бы там ни было, но никогда не бывало так худо, чтобы не могло быть еще хуже...

Мужики, которым выпало счастье не попасть под призыв, продолжали по вечерам собираться в кузне у Ондро Митрона. Мудрец Мельхиор Вицен и Само Пиханда, проводившие по два сына на поля австро-венгерских сражений, сошлись еще больше, чем в те поры, когда вместе хаживали на приработки. Встретившись, они непременно останавливались, глядели испытующе друг на друга, и обычно тот или иной спрашивал: «Отозвался какой?» — «Нет! А твои?» — «Ни один!» А как-то угостили они друг друга табаком, закурили, и Мельхиор Вицен произнес свою уже обязательную фразу: «Поганая война! Для кого смерть, для кого подаяние, для всех страх, гибель и злодеяние!» Тут подскочил к нему Ян Аноста и возмущенно крикнул: «Коль ты такой умный, так скажи мне, для чего эта война? И почему пушки стреляют туда, куда стреляют??!» Мельхиор стоял и молчал. «А куда они должны палить?» — спросил кузнец Ондро Митрон, перестав бить по наковальне. Ян Аноста воскликнул: «По Вене, прямо по императорскому борделю!» — «Там тоже наша работа!» — отозвался Петер Жуфанко. «Два дома я в Вене построил!» — «Чихать тебе на них! — кипятился Ян Аноста.— Они ни твои, ни мои! Да и на черта они мне... Мне хоть и мало того, что имею, да на чужое не позарюсь. Монархия — вот утроба ненасытная. Большая, а хочется ей быть еще больше. Вздумала урвать кусок у России или у Сербии и ради этого гробит половину своих мужиков. А кто станет потом поля обрабатывать? Кого поезда будут возить? Вот те бог, ребята, добром оно не кончится! Не может добром кончиться! Целые народы в грош не ставят, но долго этому не бывать! Однажды проснемся — а у нас топоры в руках!» Ондро Митрон ударил дважды по наковальне, потом удивленно покачал головой и жалостливо поглядел на приятеля: «Аноста, Аноста, однажды тебя так прижмут, что сделаешься маленький,

[1] Гонвед — название венгерской армии в середине XIX — первой половине XX в.

с морковку... Три дня буду тебя потом ковать на наковальне, чтоб ты вытянулся, да ничего путного из тебя уже никогда не получится!»

Само Пиханда возвращался домой поздно вечером, усталый и раздраженный. Не тянуло его ни пить, ни курить, не хотелось работать. Зерна для помола становилось все меньше, а когда в свободное время он принимался за рубку дров или починку ограды, хватало его не более чем на час. Ничто не занимало его. Когда бывал дома, что-то гнало его в поле и в лес, а из лесу бежал скорей домой, на мельницу. Случалось, целый день пройдет, а он и словом не обмолвится ни с женой Марией, ни со своим одиннадцатилетним сыном Мареком, а то просто старался не попадаться им на глаза.

Когда в тот вечер он воротился из кузни домой, испуганная Мария с плачем кинулась к нему на грудь и без устали причитала:

— Что с нашими детьми, почему они не отзываются, почему не пишут?!

Само отстранил жену и устало сел за стол. Поклевал что-то, но вскоре и еда ему опротивела.

— Уж лучше бы им обоим стать шпионами и предателями! — Он злобно стукнул кулаком в стол и недовольно покосился на портреты двух сыновей-солдат, которые мать любовно выставила на полку.— Дали бы лучше себя арестовать и гнили бы в любой грязной и вонючей дыре, отдали бы себя лучше на съедение крысам, чем вот так! Дураки мы были, что об этом загодя не подумали, нынче-то ни за грош упекут за решетку! Ух, какие же мы недоумки!

Само Пиханда сжал голову ладонями и вперился в тонкую щербинку на столе. Мария тихонько подошла к нему и, слегка коснувшись волос, прошептала:

— Помолиться бы тебе — оно и полегчало бы.

Он резко дернул головой, глаза его запылали гневом:

— Мне уже никто и ничто не поможет.

В первые дни и недели в русском плену Петер Пиханда хватил лиха. В прифронтовой полосе пленные ютились в деревянных загаженных и плохо отапливаемых избах. День и ночь сжирали их вши, терзали блохи, сосали клопы и изводила чесотка. Офицеры обращались с ними грубо и жестоко, честили их, разносили за всякую мелочь, принуждали часами бессмысленно бегать по двору или делать приседания. Пища скудная, а то и вовсе никакой. Пленных мордовал голод. В такие минуты, обычно по вечерам, в стонущем бараке Петер проваливался в фантасмагорические сновидения. Упорно являлась ему полная миска теплых галушек с брынзой и со свиными шкварками. Он погружал в нее трясущиеся руки, набирал полные пригоршни и жадно запихивал в рот. Он просто давился галушками, глотал их, не жуя, и терял сознание от их пронзительного запаха... Только галушек не было и в помине! Озябшие, грязные и иссохшие от голода тела пленных чахли и недужили. И все же редко кто из них роптал: так или эдак, а в плену было лучше, чем гнить в окопах. Голод, холод и хвори терзали их меньше, чем фронтовой страх. Они стойко переносили и руготню офицеров: «Сволочь австрийская!», и каждодневную надсаду, заставляли себя терпеть любые лишения. Изо дня в день они рыли за линией фронта огромные ямы. В одни хоронили пленных, умерших от ранений, тифа и других болезней, в другие — убитых русских солдат. Бросали их в ямы, словно сгнившие, трухлявые и ненужные деревяшки, посыпали известкой и закапывали. Не один пленный, сморенный голодом, холодом и изнурительной работой, валился с ног прямо на краю общей могилы и, теряя сознание, чудом в нее не скатывался. Но среди охранников случались и добрые парни. Они частенько разрешали пленным выкапывать закоченевшими пальцами из-под снега свеклу или картошку, оставшиеся на фронтовом поле. Вот так Петер Пиханда однажды обломал два ногтя. На пальцах

обнажилось живое мясо и долго сочилась кровь. Но карманы его были полны картошки, а в руках — две сахарные свеклы. В бараке он согревал их собственным телом и украдкой сырыми грыз. Он засыпал с набитым желудком и с несказанным блаженством думал о Марии Радковой. Чудилось ему, что она сидит рядом на твердом топчане, дует ему на саднящие пальцы, берет его усталую голову в ладони и ищет в ней вшей... За какую-то одну неделю почти половина пленных в бараке занемогла куриной слепотой. Многие сочли это за счастье: хотя бы не нужно идти работать! И Петер Пиханда с опухшими незрячими глазами несколько дней пошатывался из стороны в сторону. Ночью в страхе он жмурился и тер глаза, а днем с надеждой щурил их на теплое солнце. Кто знает, может, все и ослепли бы вконец, не привези охранники откуда-то большие бочки с капустой. Капусту поделили между солдатами, и каждый умял ее по меньшей мере кило пять. Сперва, правда, их всех прохватил небывалый понос, и схватки полуослепших пленных у выгребной ямы были, пожалуй, пояростней фронтовых. Но зрение к ним вернулось, куриную слепоту как рукой сняло, и в один прекрасный день начальник охраны объявил им, что на следующий день они отправляются в тыл России, на поля, в деревни, на городские заводы. Начальник охраны, улыбчивый русский солдат, особо расположенный к Петеру, шепнул ему: «Не бойсь, Петер, теперь лучше будет, ты в Питер поедешь». Питер, Петербург, Петроград! Петер Пиханда не смог сдержать слез и на другой день с радостью влез в товарный вагон... Неторопливо удалялись они из фронтовой полосы в глубь России, неторопливо удалялись от окопной войны, которая лишь теперь в поезде казалась бессмысленной и смешной... До Петрограда тащились целую неделю. Там Петера Пиханду определили на Путиловский завод.

Жандармы и их пособники шныряли от дома к дому, реквизируя у крестьян зерно. Кристина Митронова бесстрашно повисла у пристава на руке, рывком поворотила его к себе и указала на три мешка зерна, оставленных ей в амбаре: «Уж никак этим прикажете нам кормиться до нового урожая? Мой муж воюет в Галиции или еще где у черта на куличках — в Бессарабии, в Сербии, не то на итальянском фронте,— а вы меня тут обираете?» Жандарм дернул рукой, высвободился и строго сказал: «Таков приказ! За реквизированное зерно получите деньги!» — «А на кой ляд они мне?! — выкрикнула Кристина.— Все равно нигде ничего не достанешь. Не у перекупщиков же покупать? Тогда и дом пришлось бы вскорости продать, а все одно подохли бы с голоду!» Жандарм обронил скупо: «Война есть война!» — кивнул своим, и все двинулись к соседнему дому.

Само Пиханда молча стоял в пустой и притихшей мельнице. Уже давно он отвел воду и колесо перестало вертеться. Ян Аноста, возвращавшийся как-то пешком с железной дороги, остановился на мельнице и язвительно заметил: «Эх ты, мельник без муки!» Пиханда обвел руками опустевшую мельницу и сказал, задетый за живое: «Ты что ж, известняк мне прикажешь молоть?» — «И не подумаю,— возразил Аноста.— Просто знаю одно: будет еще хуже... Глядишь, придется таскать рыбу из рек и зверей из лесов... А когда и то изведем, накинемся на лесные плоды и коренья. Но запросто может стать, что и это нам запретят». Пиханда повернулся к Аносте с недоуменной улыбкой: «Интересно знать, кто это может нам запретить?!» — «Война, голубчик, война! Нашлют солдат и на нас!» — «Надо будет, подымусь и против войны!» — сказал Пиханда. «Против войны не больно-то попрешь! — ухмыльнулся Аноста и, примостившись на весах, стал скручивать цигарку.— Нужно подняться против тех, кто войну затеял и не намерен с ней кончать». Само взял у Аносты из руки уже дымившуюся цигарку и затянулся. «Тогда надо убить императора!» — сказал он раздумчиво и возвратил цигарку Аносте. «Одно-

го убьешь — двух на престол посадят!» — рассмеялся Аноста. «А ты разве знаешь, что надо делать?» — спросил недоверчиво Само Пиханда. «Пока не знаю, но не сегодня завтра все до этого додумаемся»,— сказал Аноста и протянул цигарку Пиханде, подсевшему к нему на весы. Так они сидели, курили, затягиваясь от одной цигарки, а за их спинами скрипел распахнутым окном ветер.

В девять часов утра в трактир к Гершу вошли двадцать пять до зубов вооруженных жандармов, а перед трактиром в ожидании их остановились две лошадиных упряжки. Жандармы уничтожили у корчмаря все припасы, напились пива и окружили костел. Пристав показал священнику Доманцу предписание и беспокойно затоптался на месте. Доманец прочитал бумагу и сокрушенно сказал: «На то воля божия!». Он осенил себя крестом, вернул бумагу приставу и, поглядев на колокольню, добавил: «Но прежде чем сбросите их, дозвольте в них зазвонить». Пристав кивнул и сделал знак рукой подчиненным. Четверо жандармов взбежали на колокольню, раскачали колокола и пронзительно затрезвонили. К костелу стали стекаться женщины, дети и мужики. Жандармы примкнули к ружьям штыки. Священник Доманец стоял недвижно, лишь глаза его налились слезами. Внезапно колокола стихли, окна на башне распахнулись и следом на землю упал самый малый звон. Люди внизу охнули, сгрудились вместе, многие женщины заголосили. Когда уже и четвертый звон лежал на земле, жандармы погрузили их на подводу и двинулись к лютеранской церкви. У церкви их дожидался священник Крептух. Он прочитал предписание, спокойно вернул его, осенил себя крестом и попросил пристава: «Дозвольте напоследок и в эти зазвонить». Пристав снова кивнул и сделал знак рукою подчиненным. Вскоре колокола затрезвонили. Народ вокруг опять загомонил, поднялся недовольный гул, женщины плакали, дети отчаянно визжали. Священник Крептух с достоинством вошел в раскрытые двери церкви, приблизился к алтарю, опустился на колени и стал творить молитву. Люди пытались протиснуться к нему в церковь и попятились лишь тогда, когда пристав выстрелил в воздух. Колокола стихли, окна на башне распахнулись, и самый малый колокол вылетел в оконный проем. Он переворачивался в воздухе, кувыркался, и его язык благовестил до тех пор, пока он глухо не упал в траву. Народ вокруг охнул, гомон усилился, женщины завыли, заскулили, заломили руки высоко над головами, а дети опять развизжались. Жандармы залязгали штыками, выступили вперед и остриями почти уперлись в женские груди. Раздались выкрики: «Долой войну!», «Пусть господа воюют!», «Сына у меня убили!», «Дети мои, сироты, отца у вас извели!» Женщины стали проталкиваться между штыками и отступили лишь тогда, когда пристав снова выстрелил. Тем временем глухо плюхнулся в траву второй звон и в окне колокольни предстал взору третий. Анна Жуфанкова вырвалась вперед, пригнувшись нырнула под штыки и в один миг оказалась за спинами жандармов. «Задержите ее!» — раздались выкрики. Двое-трое жандармов повернулись, шагнули к Анне Жуфанковой, но тут же остановились. Анна Жуфанкова стояла на том самом месте, куда падали колокола. Вдруг она пронзительно выкрикнула: «Сына моего вы замучили, сына моего погубили!» Она развела руки, раскрыв объятия падающему колоколу, что отлепился от башенного окна, и опять воскликнула: «Сын мой, Палько, иду к тебе!» Народ вокруг испуганно безмолвствовал. Мгновение могло казаться, что Анна Жуфанкова и впрямь поймает руками большой колокол и, удержав на весу, мягко положит в траву. Но колокол надвое разрубил объятие женщины и всей своей тяжестью вмял ее в землю. Народ сперва лишь тихо охнул. Жандармы, забыв про осторожность, опустили штыки и в ужасе застыли. Но уже минуту спустя женщины и дети неистово закричали, завизжали, завыли. Все большим кольцом обсту-

пили колокола и раздавленную Анну Жуфанкову. Ни у кого не хватало духу приблизиться к ней. С башни сбежал запыхавшийся жандарм и объявил своему начальнику: «Самый большой колокол не удается сбросить, в окно не проходит!». Пристав кивнул с пониманием, и жандарм только сейчас углядел недвижную Анну. Он дернулся всем телом и в ужасе прикрыл рот рукой. Тихо охнул, отвернулся. В дверях церкви показался священник Крептух. Перепуганный жандарм указал на страдалицу. Священник обмер, плотно сжал губы и стал протискиваться сквозь толпу к покойной. Опустился возле нее на колени, взял ее руку и послушал пульс. А уж потом, прикрыв ей глаза, осенил крестным знамением, встал и тихо сказал: «Душа ее уже в царствии небесном, позаботьтесь о теле ее!». Он прошел к церкви меж плачущими и причитающими женщинами, но в дверях путь ему преградил Само Пиханда. «Вы, значит, тоже потворствуете войне, на это есть и ваше благословение,— сказал он со злой ухмылкой.— Наши сыновья, скорей всего, будут убивать пулями из этих колоколов!» Священник не ответил, лишь склонил голову и покорно вошел в церковь.

Само Пиханде все чаще снились кровавые сны. Многие были такими упорными, что он стал их бояться и утром вспоминал о них с неприязнью. Он не осмеливался рассказать о них даже Марии, изо дня в день сокрушавшейся о своих трех сыновьях. Само спешил убраться на пустую мельницу, но и там, как бы исподтишка и незаметно, сны вновь подкрадывались к нему. Во снах он ночи напролет воевал с неприятелем неподалеку от мельницы. Строчил из пулемета и отбивал атаки. И пока вражьи пули щадили его, он сеял смерть полными пригоршнями. Зачастую после ночного боя с противником земля вокруг мельницы была сплошь покрыта трупами. Он убивал без колебаний и содрогнулся лишь тогда, когда уложил собственных сыновей. Сердце его разрывалось от горя. Рыдая над сыновьями, он пытался воскресить их, но все его усилия были напрасны. Пришлось похоронить их тайком и немедля, чтоб трупы не нашла родная мать. О таких снах он, конечно, не рассказывал жене и, проснувшись посреди ночи, старался не шелохнуться, даже не издать громкого вздоха — не то еще она, пробудившись, начнет его о чем-то расспрашивать. Он обычно лежал недвижно с открытыми глазами до самого рассвета, и ночь, словно бы в наказание, сделалась для него пыткой. Одному Аносте он как-то рассказал сон о том, как вознамерился убить императора. А дело было так: купил он на черном рынке десять гранат и десять оштепков[1]. Разрезал оштепки пополам, вынул из них нутро и вложил туда гранаты. Обвязал их ленточкой, завязал ленту бантиком, положил все в рюкзак, взвалил на спину и отправился в Вену. Постучал в императоровы ворота и сказал постовому: «Я несу императору гостинец от липтовчан!» К императору его пропустили и дозволили с поклоном вручить оштепки. Само, протягивая гостинец, промолвил: «Пусть вечно здравствует наш император!» Император, невесть почему, погрозил Само пальцем, взял оштепки, набитые гранатами, и с укором сказал: «О мой подданный, нам ведь хорошо известно, что здравствовать вечно невозможно. Стало быть, здравствовать не вечно, а лишь столько, сколько возможно. У человека есть костяк, который выдержит и двести пятьдесят, и триста лет, но мало кто им в полную меру попользовался. А вот я постараюсь!» Император хвастливо осклабился, вытащил из рюкзака оштепок, проглотил его и тут же взорвался... Аноста посмеялся сну Само, а потом, посерьезнев, сказал: «Настанет время — будем на «ты» с императором!» А вскорости Само Пиханда и вовсе был потрясен: престарелый император Франц-Иосиф действительно помер! Какое-то время Само даже не покидало

[1] Копченый овечий сыр.

неприятное чувство, будто и он причастен к его кончине. Потом успокоился. А вот Ян Аноста весело опять посмеялся и сказал Пиханде доверительно: «Ну, не говорил я тебе, что нехватки в императорах нет?! Нынче на престол взошел Карл[1], так что можешь опять видеть сны!»

В пять утра была тревога, так как итальянцы отравили всю долину газами. У солдат слезились глаза, и они теряли зрение. Сотни полуослепших солдат, среди них и Карола Пиханду, и Юрая Вицена, распихали по вагонам и отправили на лечение в Вену. Две недели доктора закапывали им лекарство в глаза, пока они вновь прозрели. Но терпеть стоило — им дали отпуск. «Боже, не может этого быть!» — вздохнул Карол Пиханда на станции в Кралёвой Леготе и уставился на Юрая Вицена, который тоже изумленно озирался вокруг. «Во сне это или наяву?!» — пробормотал Юрай Вицен и ущипнул себя за щеку. И лицо у него прояснилось, и глаза засмеялись. «Ура, мы дома! — крикнул он во весь голос.— Ведь три года здесь не были!» Карол и Юрай обменялись взглядами, прослезились, обнялись крепко и зашагали в родную деревушку — к родным и близким. Они свалились на них как снег на голову: кто чуть в обморок не упал, а кого и вовсе кондрашка едва не хватил от негаданной радости. «Неужто войне конец?» — вырвалось у Марии Пиханд овой при виде сына, и лишь минуту спустя она охнула и закричала. Кинулась к нему на грудь и жалобно расплакалась. Потом затискала обоих в объятиях и насилу затащила на мельницу и Юрая. Само Пиханде слезы тоже замутили глаза, и он чуть не отсек себе топором палец, торопясь наколоть дров и подживить огонь в печи, чтобы еда поскорей согрелась. Тринадцатилетний Марек не спускал с брата глаз и без устали расспрашивал обо всем. «Похоже, что и ты пошел бы воевать!» — сказал со смехом Карол. «Хоть сейчас!» — выразил готовность Марек. «Дурачина ты, простофиля!» — одернула его мать... И вот Карол Пиханда и Юрай Вицен с месяц наслаждались жизнью: помогали родителям в поле, несколько раз нагружались в корчме с приятелями и что ни вечер засыпали в постели зазнобушки. И не заметили даже, как затянули на неделю побывку. Уложились наскоро, простились с родными и в великой спешке отправились в свою роту. Там их сперва чуть не расстреляли в наказанье, а потом приговор отменили и без промедления погнали на передовую. Итальянцы яростно сопротивлялись. Наши предпринимали смелые атаки. В Пьяве[2] убитые плавали в собственной крови. Карол Пиханда и Юрай Вицен сражались плечом к плечу денно и нощно. Но тринадцатого июля тысяча девятьсот семнадцатого года их ранило. Обоих в один день, в один час, в одну минуту и даже в одну секунду. Осколки одного и того же артиллерийского снаряда вспороли Каролу Пиханде живот и разорвали кишки. Сначала он потерял сознание, потом пришел в себя. Но в военном лазарете, куда был доставлен, снова лишился чувств. Другим осколком покалечило Юраю правую ногу под коленом. Положили его в тот же самый лазарет, что и Пиханду, и даже койки их оказались рядом. «И ты тут?» — спросил Карол друга, вновь очнувшись. «Уже почти час гляжу на тебя»,— сказал Юрай и взвыл от боли. «Больно?» — спросил Карол. «Жуть!» — признался Юрай. «А я уже ничего не чувствую»,— сказал Карол. Пришли трое военных врачей. Осмотрели Карола, покачали над ним головой, велели перебинтовать его и повернулись к Юраю. Они бережно касались раненой ноги парня, но он все равно ревел от боли. Карол на соседней постели тихонько запел. Юрай сжал зубы и со слезами на глазах спросил врачей: «Отрежете мне ногу, да?» Один из них похлопал его по плечу: «Лежите спокой-

[1] Карл I (1887—1922).

[2] Река в Италии, в районе которой в первую мировую войну шли ожесточенные бои.

но, постараемся помочь вам. Операция будет сегодня».— «Вы что, отрежете мне ногу?!» — кричал Юрай. «Тихо, тихо!» — унимал его врач. А Карол рядом продолжал петь:

Уж как плохо нам, родная,
подломилася под нами,
ох, кленовая доска,
ох, постелюшка узка.

Братец плотник у меня,
он сколотит дотемна
постель расписную,
с милой в ней усну я...

Врачи ушли, Карол ненадолго умолк. «Знаешь, должно быть, я умру во время операции»,— сказал Юрай Вицен. И, тяжело вздохнув, добавил: «Мне ничего не останется, как только умереть, потому что без ноги жить не смогу». Карол не ответил, лишь снова негромко запел. Вскоре пришли санитары, переложили Юрая на носилки, потревожив при этом ногу. Юрай кричал и выл от боли, а Карол не переставая пел. Уже завечерело, когда истерзанного Юрая принесли назад. Он долго лежал неподвижно на спине и потихоньку плакал. Потом повернул голову к Каролу Пиханде и хриплым голосом сказал: «Отрезали мне ногу, Карол!» Он сглотнул судорожно, шмыгнул носом и, приподнявшись на локте, поглядел на Карола. «Слышишь,— крикнул Юрай Вицен,— ногу отрезали!» Карол Пиханда не ответил — он был мертв.

Само Пиханду, Марию и Марека захлестнуло горе. Они словно оцепенели, не в силах даже содрогнуться — сперва лишь недвижно и немо смотрели на похоронку, лежавшую на столе. Почтарь клал ее туда с опаской и, как только она коснулась стола, мгновенно отдернул руку, словно страшился ее. Пиханды долгие часы не могли поверить, что их Карол мертв. Их уже душило горе, да так, что было невмочь воды проглотить, уже судорогой сводило живот и слезы застилали глаза, дрожали пальцы и деревенели губы, а они все еще не могли открыто взглянуть друг на друга, произнести слово «смерть» или выкрикнуть сыновнее имя. И вдруг сразу и как-то неожиданно зашлась в крике Мария: «Карол мой!» И тут они покорились. Взвыли, залились слезами. Плакали все трое безудержно и долго. Затеплили свечи, разложили на столе фотографии Карола, завалили всю горницу его рисунками и холстами, а потом все трое сгрудились вместе, обнялись крепко и вновь исступленно зарыдали...

Ян Аноста навещал теперь Пиханд ов чуть не каждый день. Посидит минуту, обронит слово-другое и побредет домой. Похоже было, будто его что-то сильно тревожит, а что — то ли он сам еще толком не знал, то ли сказать не осмеливался. Само Пиханда был на удивление спокоен и уравновешен. Он выслушивал Аносту, рассказывавшего о том, как по станциям с каждым днем все больше бродит обнищалых и голодных людей, а сам неторопливо выстругивал деревянную мутовку. «Если так дело пойдет,— отозвался он,— станем и мы побираться». И вдруг Ян Аноста вскипел, ругнулся непривычно скверно, вскочил и раскричался на Само: «Побираться, говоришь?! А кто тебе подаст? Вся Европа в горе и нищете. Молодые и здоровые парни, что могли бы работать, уже годы мотаются по фронтам... Покуда идет война — лучше не будет! А что делаем мы? Меня даже не очень расстраивает, что народняры [1], на чью удочку попался и твой брат Валент, отдались, как говорится, воле божьей! Но я лопаюсь от злости, видя, как социал-демократы послушно лижут императору пятки. Это измена народу! Неужто все мы сгинем покорно на фрон-

[1] Члены словацкой национальной партии, выражающей интересы словацкой буржуазии.

те? Неужто допустим, чтобы женщины и дети, старики и внуки наши околели от голода и болезней? Неужто пойдем на императорскую бойню послушненько, словно стадо телят?! Нет! Не-ет, в бога душу, нет! Воистину нет! Да хоть бы мне пришлось распушить всех социал-демократов, позабывших, каковы их обязанности! Я этого не допущу!»

— Мы не допустим! — сказал Само Пиханда.

— Как это? — удивился Аноста.

— А так, как слышишь,— я пойду с тобой! Даже если и придется схватиться со всем равнодушным миром!

— Само! — воскликнул Аноста.— Ты пойдешь со мной?!

— У меня для этого достаточно оснований,— сказал Само спокойно.— По крайней мере столько, сколько у тебя, а то и больше. С меня уже хватит сидеть сложа руки и тосковать в одиночку! Хочешь чего-то добиться — объединяйся с другими, которые того же хотят... Может, это давно надо было понять, но думаю, еще и сейчас не поздно... С нами творят что угодно, но однажды необходимо сказать: «Довольно!» Не то господа истребят всех наших сыновей, внуков и правнуков. Мы и впрямь точно пчелы! Тысячелетние рабочие пчелы! Мы пока еще не вполне осознали, что и у нас в запасе жало и что мы тоже можем ужалить[1]. Но это жало мы уже нащупываем в пальцах, уже поигрываем им, уже не прочь им и попользоваться. Нас столько дразнили, что мы, послушные, подняли головы! А стоит кому поднять голову, его тут же обзывают социалистом или коммунистом! А впрочем, в этом есть правда: если человек бедняк, голодранец или нищеброд, сознающий свою скудность, людскую беду, восстает против нее и решается все изменить — он, собственно, уже коммунист...

Они кинулись друг другу в объятия.

Через две недели, получив от императора за сына Карола три золотых и талон на дрова, Само Пиханда сказал Аносте:

— Видишь, какой я дурак! Еще недавно хотел убить императора, а император вон как вознаградил меня за погибшего сына!

Они поглядели друг на друга, опустили головы.

Само Пиханда зазвякал золотыми в ладони.

— Ох, до чего хочется выпить,— простонал он,— но эти три золотых я никогда не посмел бы пропить!

Первая песенка, какой Петер Пиханда выучился в русском плену, была «И мамаша хороша, и девчонка неплоха». Уже через неделю он знал ее назубок. Пел ее с другими пленными и рабочими Путиловского завода. Позже научился еще двум-трем песням, а через полгода знал их по меньшей мере дюжины две. Потихоньку, но прочно одолевал он русский язык и однажды был удивлен и горд самим собой, до чего свободно заговорил на нем. Поймал себя даже на том, что начал и думать по-русски. На азбуку потратил меньше недели, а уж потом читал любой клочок газеты, что попадал в руки. Прежде всего хотелось знать: как дома? Как на фронтах? От пленных, но больше от рабочих он узнавал кое-какие новости, из которых все-таки складывалась в голове определенная картина. Рабочие уверяли пленных: «Ничего, скоро поедете домой к матерям и женам». Но война продолжалась, на фронтах шли бои. Однажды один пленный, учитель Франик из Вруток, прочитал им резолюцию словацких пленных в России, в которой кроме всего прочего они заявляли: «Наша цель — свобода словацкому народу. Самостоятельная Словакия и самостоятельные чешские земли объединятся в одно государственное целое.

[1] «Жалить» по-словацки pichat — отсюда и фамилия Пихандов.

Мы уверены, что выражаем чаяния словацкого народа, требуя, чтобы Словакии в будущем государстве было обеспечено полное национальное самоуправление и свобода самоопределения и развития. Официальным языком во всех общественных учреждениях в Словакии должен стать словацкий, в чешских землях — чешский...» Слова учителя Франика пленные приняли с восторгом, а один из них громко спросил: «А что мы сделаем с императором?» И учитель Франик ответил ему: «То же, что и русские с царем,— дадим под зад!» По старому календарю это был конец февраля тысяча девятьсот семнадцатого, несколько часов спустя после того, как генеральная политическая стачка переросла в вооруженное восстание против царизма; несколько часов спустя после того, как русские дали своему царю под зад и установилось двоевластие: Советы рабочих и солдатских депутатов и Временное правительство. На Путиловском заводе в эти дни не работали, ибо администрация фирмы, в чьем ведении были и военнопленные, разбежалась. Нужно добавить, что и охрана, следившая за пленными, куда-то улетучилась. Военнопленные вышли на улицы Петрограда вместе с рабочими. Все пытались по возможности скорей разобраться в небывалой сумятице. В эти дни Петер Пиханда так близко принимал к сердцу все, происходящее здесь, словно и не был родом из словацкого Липтова. Он слушал и то и се, читал газеты и такие и этакие. И в тех и в других прославлялось свержение царя и говорилось о революции. Он не мог взять в толк: кому же верить? Временному правительству? Советам? Пытался разобраться, спрашивал рабочих, которых знал по Путиловскому заводу. И они позвали его на собрание большевиков. Часами, чередуясь по двое, по трое, они читали вслух «Правду» и «Известия», а потом обсуждали смысл статей. Петер Пиханда стал постепенно понимать, чего хотят большевики и почему хотят. Он кричал вместе с ними: долой двоевластие! Он верил вместе с ними: скоро вспыхнет настоящая пролетарская, настоящая социалистическая революция! А когда он собственными глазами увидел и услышал Ленина на Дворцовой площади, то уверовал до конца. Он стоял тогда среди рабочих, солдат и военнопленных в грязной австро-венгерской форме, и вдруг ему стало стыдно за нее. Стыдно за себя, за войну, за форму, которую он с радостью сорвал бы с себя. Уже тогда он решил, что должен смыть с себя этот позор, искупить его. Когда и как — в тот час на площади он еще не знал, но позже, в самые горячие дни октября, помогая Советам покончить с двоевластием, он внезапно прозрел: «Вот теперь настала пора, отныне я уже не буду стыдиться!» Каковы же были эти дни, когда Советы рабоче-крестьянских и солдатских депутатов с бою брали власть в свои руки? Великие? Незабываемые? Да такие, что Петер Пиханда забыл и думать о Марии Радковой!.. Ни о матери, ни об отце, ни о ком из близких не думал он в те дни, когда революционеры утверждали Декрет о мире, когда создавали новое правительство — Совет народных комиссаров во главе с Лениным и избирали Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Ленина он видел еще раз, даже руку ему пожал. Петер Пиханда тогда уже вступил в 6-й полк латышских стрелков. С того времени он бил буржуев смело и решительно. В схватках на улицах Петрограда, где 6-й полк латышских стрелков использовался для подавления контрреволюционных мятежей, Петер Пиханда получил первые уроки бойца Революции. Вскоре он отошел с полком к Ярославлю, где белые подняли восстание против советской власти. С великим трудом латышские стрелки штурмовали город, один из старейших в России. От города их отделяла верхняя Волга, и единственный железнодорожный мост через нее обстреливали белые из станковых пулеметов. Многие латышские стрелки пали, Петер Пиханда был легко ранен в ногу, но продолжал сражаться. И тогда, когда уже казалось, что положение латышских стрелков на другом

берегу Волги безнадежно, на помощь им был послан бронепоезд с командой матросов. Под его защитой стрелки проникли в город и вытеснили белых. Петер Пиханда не успел даже отоспаться в древнем городе, как пришел приказ двигаться на Казань. В том месте, где Волга резко сворачивает на запад, у Свияжска, латышские стрелки встретились с бандами Савинкова. В жестоких боях они отбросили контрреволюционеров за Волгу на восток к Каме, потом на Урал... Революция решительно зашагала по всей России, а с ней и Петер Пиханда...

В конце тысяча девятьсот семнадцатого года и в начале восемнадцатого стали появляться на свет первые «урлабята» [1]. У мужчин, словно тайком сбежавших домой из окопов, казалось, не существовало больших забот, чем приумножать свое потомство. Поэтому трудно было найти женщину, которая не разрешилась бы от бремени, если об ее юбку хотя бы только потерся муж на побывке. И рожали даже те бабы и девки, у которых мужей вовсе не было или они оставались на фронте. Не хватало самой малости, чтобы начали рожать и старушки. Неистовый плач, которым матери и жены сокрушались по сыновьям и мужьям, перемежался столь же частым смехом и радостью у колыбелей новорожденных. Однако немного было таких, как Само Пиханда, которые спросили бы себя: «А в какой мир рождаются наши дети?» Немного было и таких, как Ян Аноста, которые с отвращением ответили бы: «Нынешний мир, ей-ей, ломаного гроша не стоит!» И потому не диво, что Само Пиханда и Ян Аноста уже не одну неделю мудрствовали над тем, как бы улучшить нынешний мир, а главное, обхитрить войну. А если при этом мудрствовании они еще и поддавали лишку, то выкрикивали что есть силы: «Околпачим войну, отменим войну, запретим войну!» А когда протрезвлялись и снова спрашивали друг друга, как же все-таки отменить или запретить войну, то оба, не находя ответа, становились в тупик.

После долгих изнурительных раздумий они наконец решили написать правительствам воюющих стран — в Вену, Будапешт, Белград, Рим, Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон — словом, во все концы света «апелляционные» письма: «Досточтимые властвующие скоты! Вы, уродующие жизнь обожатели войны! Окажись вы хоть на полдня в окопах, враз бы узнали, что такое война. Если на протяжении месяца вы не отмените, не запретите войну и не подпишете всеобщий мир, то мы не только вас всех собственноручно выхолостим, но и дух из вас вышибем!» Ждали они месяц, ждали два, минуло полгода, а война продолжалась. Вдруг на исходе тысяча девятьсот семнадцатого года до них дошла весть, что новое большевистское правительство в Петрограде тотчас после революции подписало и издало Декрет о мире. «Эге, нашлись первые головы!» — спокойно обронил Само Пиханда. «Что толку, если остальные только крохами кормят, сулят всякое, а кончать войну и не думают?!» — махнул рукой Ян Аноста. «Потерпи малость, глядишь, до конца года все образумятся»,— не терял надежду Само Пиханда. Они покорно дождались конца года, а когда и после Нового года война продолжалась, решили действовать по-другому. «А для чего существует у нас социал-демократическая партия? — однажды под вечер вскричал удивленно Ян Аноста.— Уже многие годы болтается она без дела, холуйствует перед правительством, пятки ему чуть ли не лижет, а войны и словом дурным не задела! Пойдем-ка мы и впрямь, дорогой Само, в Микулашский секретариат партии и скажем нашим партийным руководителям, что они обязаны делать против войны! Именно так!» Сказано — сделано. Надели они черные выходные костюмы с жилетами, на головы — черные котелки, а в рюкзаки сунули последний шматок

[1] От немецк. Urlaub — побывка, отпуск солдат.

сала, половину колбаски, бутылку молока, краюху хлеба и несколько печеных картошек. Не забыли прихватить и чекушку палинки от Герша. В Кралёвой Леготе сели в поезд, в Микулаше вышли и — язык куда не доведет — попали к зданию, где размещался секретариат социал-демократической партии. Взошли они на второй этаж, поздоровались с дежурными социал-демократами, представились им и тут же, выложив снедь из рюкзаков, угостили своих партийных собратьев. Оба социал-демократа жадно ели и поддакивали всему, о чем Само и Ян им толковали. Первым повел речь Ян Аноста: «Приехали мы из Гиб, потому как нам очертела война. Хорошо было бы, если б против нее выступила и наша партия, в рядах которой есть люди и умные, и влиятельные. Если мы, думаю, стукнем по столу и выкрикнем в газетах, что не хотим войны, это вроде как половина народа крикнет!..» И Само Пиханда высказался: «И впрямь, пора кончать молодежь изводить. Один сын у меня погиб, а другой неведомо где в русском плену. Паренькам надо бы дома быть, хозяйство обустраивать и семьей обзаводиться во благо народу. Ведь и народу надо помочь из голода, погибели и нищеты выбираться. Кончится война — каждому враз полегчает. А потому — долой войну, долой!» Само Пиханда под конец речи немало напугал двух едоков. «Долой войну, долой!» — повторяли они, подъедая последние крохи. «Стукнем по столу и скажем «нет» войне!» — выпалил один. «В газетах крикнем: «Не хотим войны!» — добавил другой. Они утерли масленые губы, запили еду несколькими глотками Гершевой палинки, подали Само и Яну руки и, прощаясь с ними, не уставали повторять, что, дескать, и недели не пройдет, как они уничтожат эту клятую войну. Гибчане подхватили пустые рюкзаки и воротились домой. Целую неделю они дожидались, когда же собратья социал-демократы стукнут по столу и скажут «нет» войне, когда высмеют или обругают ее в газетах. Однако неделя прошла, а они ничего не услышали и ничего не прочли, что было бы против войны. В следующий понедельник они опять вырядились будто на праздник и отправились в Микулаш — на сей раз уже без рюкзаков. Поздоровавшись с изумленными старыми знакомцами — партийными чиновниками, они спросили их в лоб: «Так как же вы боролись всю неделю против войны, когда вы вовсе против нее не боролись?!» — «Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха! — зареготали социал-демократы.— Какие же вы простофили! Будто можно войне навредить, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха...» — «Ах вот вы как морочите своих товарищей?!» — заорал на обоих Ян Аноста и, взглянув на Само Пиханду, поплевал на ладони. Они схватили огорошенных чиновников, подмяли их под себя и накостыляли в хвост и в гриву. А собравшись уходить, увидели, что в дверях скалятся и гогочут им в лицо двое других молодцов. Один из них злорадно выкрикивал и при этом буквально давился от смеха: «Хе-хе-хе, свой своего бьет, хе-хе-хе-хе!».— «А вы кто такие будете?» — заорал на них расхрабрившийся Само Пиханда. «Мы из словацкой национальной партии»,— гордо изрек один. «Так это же сброд еще почище, эти паршивцы еще похлеще!» — взревел Ян Аноста и бросился на обоих. Вместе с Само Пихандой они задали им изрядную выволочку. А когда уже некого было тузить, Пиханда с Аностой переглянулись, и тут Яно сказал: «Айда, братец, не то еще и нам всыплют!» И они поспешно убрались восвояси.

Само Пиханда и Ян Аноста дальше — больше теребили Австро-Венгрию и бунтовали против войны. Немало придал им сил и приехавший к ним из Микулаша в начале апреля известный социалист Браздик. Улыбчиво пожурил он их за схватку, но тут же похвалил за ретивость и признал их двоих надежной опорой верхнелиптовских социалистов. Оба признанных и польщенных социалиста обменялись значительными взглядами и от умиления едва не пролили скупую

мужскую слезу. «Ведь уж давно пришла пора чему-то подобному,— посетовал Ян Аноста.— Наши земляки за морем пробудились, словацкие и чешские пленные в России высказали свою точку зрения, чехи всячески идут нам навстречу, и только мы дома до сей поры колебались и мешкали!» Социалист Браздик горячо поддержал мнение Аносты и объявил: «Времена изменились, отныне Австро-Венгрия и вся Европа, как, впрочем, и весь мир, услышат наш голос!» Свое взаимопонимание они втроем обмыли в корчме у Герша. Аноста и Пиханда угостили социалиста Браздика отличной палинкой и, проводив его на поезд, без задержки выступили принародно. Перед изумленными посетителями корчмы, которых вскорости было не счесть, они попеременно вспрыгивали на дубовый стол и наперебой разглагольствовали о демократическом равноправии, ратовали за социальную справедливость и за право на самоопределение народов Венгрии, поносили войну и ее зачинщиков. Люди сперва потешались над ними, указывая на них пальцами, словно на упившихся дураков, но потом стали их слушать, а некоторые даже криками выражали свое одобрение. На другой день нотар Карол Эрнест вызвал обоих в муниципалитет. Багровый от злости, он чихвостил их, сердито стучал по столу и угрожал арестом. Выкричавшись, успокоился, определил им штраф в десять золотых и строго-настрого запретил повторять подобные бесчинства. А под конец с лукавой улыбкой на лице шепнул тихонько: «Война еще идет, мои дорогие, а героев на фронте у нас по-прежнему маловато!» Само Пиханда и Ян Аноста испытующе поглядели друг на друга и усмехнулись: у них свое было на уме. Штраф нотара и его угрозы ничуть их не напугали. Не охладили их даже попреки и причитания жен: «Если себя не жалеете, так хоть о нас бы подумали!» Первого мая тысяча девятьсот восемнадцатого года, празднично одетые, отправились они утренним поездом в Микулаш. После четырехлетнего перерыва там впервые организованно собирались словацкие рабочие, крестьяне и горожане со всей округи. В переполненном дворе «У черного орла» танцевала группа молодых парней и девушек. Женщины и мужчины в приподнятом настроении им подпевали. Рабочие в выходных костюмах и шляпах потягивали цигарки. Крестьяне в безрукавках попыхивали трубками. Горожане поглядывали на карманные часы, на минуту оставляли их висеть на серебряных или золотых цепочках и снова прятали. Около десяти все выстроились в единое шествие. Во главе его, словно на огромной свадьбе, смеялись, размахивая флажками, молодые подружки в национальных платьях. Появились первые транспаранты. Само Пиханда и Ян Аноста держались друг возле друга. Уже после нескольких шагов они вытащили из рюкзака и развернули над головами лозунг: «Долой тисовскую правящую банду!» Гордо осматриваясь вокруг, они с удовлетворением читали и прочие лозунги: «Требуем самоопределения словацкому народу!», «Да здравствует всеобщее избирательное право!», «Все права — народу!», «Хотим восьмичасового рабочего дня!», «Требуем окончания войны!» Через час с небольшим шествие достойно и спокойно возвратилось к «Черному орлу». Под красным флагом рабочего союза зазвучал рабочий гимн, а затем песни: «Кто за правду воспылал», «Над Татрой зарницы!» и «Где родина моя? [1]» — все пели до тех пор, пока не объявились ораторы. В лавине рукоплесканий и восторженных возгласов ораторы смело говорили о первомайском празднике, который двадцать восемь лет назад стал праздником рабочих всех цивилизованных стран мира. В принятой резолюции они резко осудили войну и антинародную поли-

[1] Стихотворение словацкого поэта К. Кузмани (1806—1866), ставшее словацким патриотическим гимном; строки из «Над Татрой зарницы!» (стихотворение словацкого поэта Я. Матушки, 1821—1877) и «Где родина моя?..» (песня из пьесы «Фидловачка» чешского писателя Й. К. Тыла, 1808—1856) вошли в государственный гимн Чехословацкой республики.

тику венгерского правительства, требуя заключения постоянного и справедливого мира для всех европейских народов. Они требовали безусловного признания прав на самоопределение всех народов не только за границами монархии, но и народов Австро-Венгрии, а следовательно, и живущих в Венгрии словаков. И уже после того, как председатель наконец призвал присутствующих спокойно разойтись, многие еще повторяли последние фразы резолюции: «Да здравствует мир во всем мире!», «Да здравствует равноправие и свобода народов!». Само Пиханда и Ян Аноста еще на час застряли в Микулаше. Переполненными улицами пробирались они к железнодорожной станции, не говоря ни слова, лишь довольно и многозначительно переглядываясь. Впрочем, не о чем было и говорить, ибо сегодняшний день оправдал их ожидания. Проходя мимо жандарма, они гордо взялись насвистывать словацкую песенку. В какой-то лавке они накупили полрюкзака дешевых конфет, а на станции выпили по две кружки пива. В добром расположении духа друзья сели в поезд, где двое крестьян из Прибылины угостили их домашней колбасой и сливовицей. Не успев и обсудить с ними события дня, они должны были в Градке уже выйти, так как по неизвестным причинам поезд дальше не шел. В приподнятом настроении, но истомленные жаждой, вошли они в ближайший трактир напротив станции, решив выпить по кружке пива, а уж потом отправиться домой пешком. Неожиданно к ним подошел провокатор с рюмкой водки. Он чокнулся с ними и нагло потребовал: «Давайте выпьем за нашу победу в войне!»

— За войну я не пью! — отрезал Пиханда.

— И я нет! — присоединился к нему Аноста.

— Отчего же? — осклабился провокатор.— Это оборонительная война!

— Это грабительская война! — крикнул Пиханда и далеко оттолкнул провокатора.

— Ах вот вы как! — взъярился провокатор.— Знаю, что вы за пташки. И вы в Микулаше подрывали устои Австро-Венгрии?!

— А тебе что до этого? — накинулся на него Аноста.

— Австро-Венгрию нужно сохранить! — выкрикнул провокатор.

— Чтоб ее черт побрал! — не сдержался Аноста и сплюнул на пол.

— Да здравствует император! — воскликнул провокатор в притворном восторге.

— Да здравствует Чехословакия! — воскликнули разом Пиханда и Аноста.

— Смерть изменникам родины! — взревел провокатор.

Никто из присутствующих не сдвинулся с места, а кое-кто даже отвернулся от спорящих. И лишь от дальнего стола поднялись двое тайных агентов в штатском, подошли к Само Пиханде и Яну Аносте, мгновенно предъявили свои документы, и один из них сказал приглушенно:

— Вы арестованы за публичное подстрекательство народа и за измену родине! Пройдемте!

Пиханда и Аноста допили пиво и утвердительно кивнули. Аноста, вскидывая на спину рюкзак, зашуршал конфетами.

— По крайней мере будет что сосать! — сказал он весело.

И оба зашагали.

Когда в деревне узнали, что приключилось с Аностой и Пихандой, все перепугались. Их жены ломали руки и нескончаемо причитали. Мельхиор Вицен, не выдержав, осадил их: «Чего ревете?! Надо было раньше за ними присматривать да усмирять, пока время было. Получили, олухи, чего добивались! Вышучивали, баламутили всех, вот и поплатились. А теперь их, глядишь, и повесят!»

Обе женщины в ужасе умолкли.

Тюрьма при ружомберкском краевом суде была переполнена политическими заключенными, бастовавшими рабочими, изловленными дезертирами и крестьянами, резко и безоглядно сопротивлявшимися реквизиции своего имущества. Само Пиханда и Ян Аноста диву давались, сколько народу тут лоботрясничает, болтает о политике или просто так лясы точит. Одного из них, на вид внушающего доверие, Само Пиханда спросил:

— Нас всех повесят?

— Пусть только попробуют! — вскричал бородач и погрозил в неизвестном направлении.— Пусть только осмелятся, скоты, ей-ей, вот так, вот так скоро их переломаем! — Он вытащил изо рта длинную ржаную соломинку, сердито разломал ее и смял в ладони.

Само Пиханда и Ян Аноста удовлетворенно утянулись в уголок, развязали рюкзак и, угостив ближайших соседей по камере конфетами, сами принялись сосать и грызть их.

— Эх, Само, дорогой,— вздохнул Ян Аноста и хлопнул друга по плечу,— а мы с тобой парни хоть куда. Ни слеза нас не прошибла, не затряслись мы, не завздыхали от страха, не заскулили, когда эти ищейки нас сцапали... Ей-же-ей, крепкие мы с тобой парни, такие на дороге не валяются!

— Ну, Яно, друг мой,— занесся Само,— скажи мне правду, неужто мы и впрямь уже революционеры?!

— А то нет!

— Наши-то будут без ума от нас...

— Да мы и сами от себя без ума...

— А что, если нас тут изувечат?

— Наши будут и вовсе от нас без ума...

А их и вправду чуть не изувечили. Объявив изменниками родины, их срамили, унижали, поносили. Потихоньку, не торопясь, копили доказательства и собирались устроить процесс. Адвокаты Валент Пиханда и Ян Слабич понапрасну хлопотали, понапрасну молили, растолковывали — Само и Яна держали под арестом. Адвокаты только и успели им посоветовать: от всего отрекайтесь! И вот оба отрекались от всего до того смело и горячо, а иной раз с такой последовательностью, что в запале и возбуждении отреклись на следствии и от собственных имен. Пробегали месяцы, Яно Аноста и Само Пиханда уже давно подъели из рюкзака все конфеты и теперь в основном щелкали зубами, но их ни к суду не привлекали, ни из тюрьмы не выпускали. Яну Аносте и Само Пиханде трудно было бы даже предположить, до чего неузнаваемо изменилась ситуация на фронтах в июле того же года. Австро-Венгрия стонала, выла и начинала дробиться под мощными внешними военными ударами Антанты, а революционные выступления угнетенных народов гибельно сотрясали ее изнутри. Еще минуту! Еще каплю! Тюрьмы были переполнены. Арестантов было столько, что они дышали друг другу в затылок. В ружомберкской тюрьме приходилось спать даже в две смены, а иначе и не уместиться всем на полу. Ян Аноста с удивлением заметил: «Мало-помалу пол-Венгрии будет в кутузке!» Бородач издали пискливо засмеялся: «Вот уж тысяча лет, как вся монархия — кутузка!» И монархия словно чуяла свой конец. Но война все еще тянулась. В тюрьмах карали последних мятежных солдат. В деревнях насильственные реквизиции с помощью войск и жандармов перерастали в кровавые стычки. Рабочие забастовки угрожающе продолжались. Словаки приняли решительное участие в образовании самостоятельной Чехословакии, объединившей Чехию, Моравию, Словакию и Силезию. С каждым часом прибывало смелости, каждый день приносил головокружительные новости. 28 октября 1918 года Чехословацким национальным комитетом была наконец провозглашена самостоятельная Чехословацкая республика. А двумя днями позже, 30 октября, Словацкий национальный совет издал Мартинскую

декларацию словацкого народа, в которой словаки высказались за общее государство чехов и словаков.

31 октября выпустили из-под ареста Само Пиханду и Яна Аносту. Одиннадцать дней спустя в Компьене кончилась первая мировая война.

Эх, война! Как легко говорится, что она кончилась!

■

Оказавшись на свободе, Ян Аноста и Само Пиханда мигом заскочили к Валенту, заняли у него по полсотни крон и припустились домой, хотя родные и пытались удержать их. На станции они заказали себе по пиву, чокнулись и, весело переглянувшись, одним духом осушили кружки. «Клянусь богом, Яно,— воскликнул Пиханда,— просто не верится, что мы снова на вольной волюшке. Сцапали нас еще при Австро-Венгрии, а выпустили прямо в Чехословакию. Выпьем еще по рюмочке за республику!» Заказали, выпили. Сразу же снизошла на них радость и разобрала веселость. Обнявшись за плечи, они бойко задробили ногами и тут же запели. Никто и не обращал на них особого внимания — весь народ на станции был занят делом: кто пил, кто танцевал, а кто пел. Крик, галдеж, шум, пение, разговор и всеобщее веселье оборвал вдруг всадник на коне, ввалившийся в широкие и высокие двери станционного здания. Люди сперва завыли с перепугу, а потом закатились смехом. Старик на коне разбрасывал вокруг медяки и выкрикивал: «Это вам от генерала Дерека! Я генерал Дерек!» Люди бросались со смехом под коня, сшибались из-за медяков, а генеральский легкий конь танцевал над их головами.

Вдруг генерал выстрелил из пистолета в потолок и заорал: «Сколоты, такую монархию загубили! Éljen Magyarország! Да здравствует Австро-Венгрия!» И он снова давай стрелять в потолок, а конь бешено заплясал под ним. Покуда он стрелял, люди, вопя и визжа, пятились от него, но, как только он выпустил всю обойму и два раза щелкнул вхолостую, несколько мужчин подскочили к коню и стащили генерала наземь. Конь вздыбился, яростно заржал, опустился опять на четыре ноги, подкинул раз-другой задом, резко ударил копытами в воздухе — к счастью, никого не задел,— и наконец, рванувшись, гневно выбежал в открытые двери. Тем временем орава людей била, мутузила и пинала стонущего на полу генерала. Когда же он затих, люди вокруг него расступились, и те, что его охаживали, потихоньку стали выбираться из помещения. Само Пиханда и Ян Аноста, вытаращив глаза, наблюдали разыгравшуюся сцену и теперь, пожалуй, подняли бы генерала, если бы не пришел поезд. Скопище народу ринулось к нему, иные даже споткнулись о лежащего. Движущаяся толпа увлекла Яна и Само в свой круг и почти что в воздухе вынесла их на перрон. В невообразимой толчее они едва втиснулись в вагон.

— Думаешь, его убили? — спросил Пиханда, стоя на одной ноге.

Аноста лишь дернул плечом.

— Вот ведь признали теперь за нами язык, у нас своя республика, но господа такие и сякие остались,— сказал Аноста.— А главное, остались наши собственные паны. С этими-то уж придется воевать по-чешски или по-словацки, а лучше всего — по-русски... Мы обязаны это сделать, чтобы эта война имела хоть какой-то смысл!..

— Какой еще у нее смысл! — вскричал Само Пиханда.— Сколько она нам стоила и ничего не дала. Одного сына у меня убила, другой скитается невесть где в плену, а я отсидел полгода за решеткой... А уж о голоде, горе и нужде, что терпели четыре года, я и не говорю...

— А республика, по-твоему,— ничего? — удивился Аноста.

— Она нам стоила слишком дорого, может, мы бы ее и без войны добыли, да подешевле! Ты же сам сказал, что война за нас все-

го не решила... Ни священники, ни учителя, ни словацкий капитал, ни мировая война не решили за нас того, что мы сами должны решить. Мед в улей носят пчелы... Мы и есть эти пчелы!

Поезд толкало, дергало, и на соседа Само вдруг напала икота. Он задыхался, давился, глотал слюну, но ничего не помогало.

— У вас нету кусочка сахару? — спросил он у Само.

— Где мне его взять? — рассмеялся тот.

— Ну так хоть глоток уксусу,— еле проговорил парень.

— Вот вам щепоть табаку,— поднес Аноста бедняге.— Пожуйте его и проглотите, глядишь, поможет!

Парень пожевал табак, с натугой проглотил его, а спустя минуту, признательно поглядев на Аносту, сказал: «Спасибо вам, помогло!»

Вскоре он опять повернулся к обоим и представился:

— Я, с вашего позволения, Петер Вайцик из Ямника, дорожник.

Пиханда и Аноста тоже назвались.

— Я слушал вас,— продолжал дорожник.— Вы правы, в самом деле, хотя у нас и республика, а жить будет нелегко. Большая ответственность у нас впереди, это точно! Это как если бы человек бродил до поры до времени по трактирам и гостиницам, неприметно портил там мебель, топтал ковры и вдруг оказался дома у себя, и все-то теперь он должен ценить, беречь и обустраивать. Это дьявольская ответственность, такая республика!

— А вот какая она будет? — спросил Пиханда.

— Такая, какой мы ее сделаем! — сказал дорожник Петер Вайцик.— Только сейчас и начнем за нее тревожиться!

— Да ты что! — рассмеялся Аноста.— Чего нам тревожиться! У меня в руках останется все та же лопата, что была до сих пор. Да и у вас у обоих тоже!

— Но мир меняется! — заметил дорожник.— Поглядите, что произошло всего лишь за двадцать лет! Люди, умершие двадцать лет назад, в конце прошлого века, думали, что монархия вечна. И вот через несколько лет такая перемена!..

— Пускай мир меняется — так и должно быть! — сказал Аноста.— А уж мы постараемся, чтобы он менялся так, как нам угодно!

Поезд догрохотал до Градка, и Петер Вайцик, дорожник из Ямника, простился и вышел.

Когда поезд тронулся снова, Пиханда толкнул погруженного в думы Аносту:

— Готовься, скоро и нам выходить.

— Что-то наши там поделывают? — вздохнул Ян Аноста.

— Увидим! — сказал Само Пиханда.— Небось ждут не дождутся...

■

Из венгерской классики XX века

Только очень внимательный и к тому же особо настроенный на «венгерскую волну» русский читатель может сказать, что ему известны имена Михая Бабича и Арпада Тоота[1]. А между тем оба эти поэта занимают большое место в венгерской поэзии XX века, их стихи навсегда остались в сознании, в душах соотечественников, как навсегда остаются в нас, с нами афористические строки любимых поэтов. В свое время и Арпад Тоот, и особенно Михай Бабич были в центре литературной, культурной жизни страны.

Им досталась на жизнь трудная пора, длительные периоды безвременья: тусклый провинциализм только что в (1896 году) отпраздновавшей свое «тысячелетие» Венгрии — окраины угасавшей габсбургской монархии; а затем после долгой, всесторонне несправедливой первой мировой войны и короткого периода революционных бурь и надежд — в связи с событиями 1918—1919 годов — еще более гнетущая, поистине бесчеловечная пора контрреволюционного террора. В такие периоды истории поразному сохраняют в себе «душу живу» поэты. Эндре Ади, например, старший современник и друг Бабича и Тоота, уже хорошо известный советскому читателю, обладал темпераментом борца, он прямо со своего поэтического поднебесья бросался в бой с косностью, невежеством, социальной несправедливостью. Те же силы враждебны и Бабичу и Тооту — это можно увидеть по публикуемой ниже подборке,— одержанная контрреволюцией в 1919 году кровавая победа ощущалась ими трагически. Но их поиски своего пути в поэзии и в жизни были сложны и особенно у Бабича претерпели значительную эволюцию, в основе которой лежало безусловно нравственное неприятие государственно закрепленного произвола.

Арпад Тоот (1886—1928) опубликовал при жизни всего четыре сборника стихотворений. Облик поэта, много страдавшего, мучившегося и собственными своими, и общечеловеческими бедами, возникает из них со щемящей доверительностью и при этом бесстрашием. Почти всю свою жизнь Арпад Тоот провел в крайней бедности, существуя вместе с женой и дочерью на весьма скудный литературный заработок, хотя сделать в литературе успел очень много и помимо стихов: его перу принадлежат новеллы, многочисленные переводы из Мильтона, Шелли, Китса, Бодлера, не утерявшие поэтической свежести и поныне; переводил он также прозу (Флобера, Чехова, Мопассана). Значительное наследство оставил Тоот и как критик. Но прежде всего, больше всего он был поэтом, подлинным мастером и тонким лириком.

Две следовавшие одна за другой революции в Венгрии — буржуазно-демократическая революция «осенних роз» в октябре 1918 года и особенно пролетарская революция в марте 1919 года — оказались важной вехой в жизни и творчестве А. Тоота. Его чуткая к человеческой боли поэзия освещается мечтой об обновлении всей жизни, гармоническом устройстве общества. В стихотворении «Новый бог» он страстно обращается к «пролетарскому богу», призывая его «переделать испоганенную прежними богами эту жалкую, грязную землю».

Недолго продержалась Венгерская советская республика, недолго предавалось радостным упованиям пылкое и ранимое сердце поэта. Хортистская реакция обрушилась на Венгрию жестоким террором. Отовсюду изгнанный, всепечатно травимый, Арпад Тоот тосковал и метался, однако и «среди непроглядной антихристовой ночи» не предал того света, что однажды осветил ему путь. И не отказался от былых кумиров. В январе 1920 года — годовщину со дня смерти Эндре Ади, чье имя ожесточенно поносилось тогда сторонниками восторжествовавшей реакции,— он под улюлюканья враждебно настроенной части публики, под прицелом полиции мужественно дочитал до конца свой доклад о великом венгерском поэте.

Лирика его последних лет пронизана глубокой печалью, даже горечью, в ней все чаще возникают апокалипсические картины гибели мира, однако слышатся в ней, пусть негромко, но постоянно и мотивы общности человеческих судеб, неизбывное стремление к счастью, к свободе, трепетная надежда на Завтра, даже если оно придет уже лишь для других:

Может быть, в подкорке первозданной
Забушует молодая радость
и сотрет следы тоски туманной!
Может быть, придет пора расцвета,
час пробьет для смелых, чистых, крепких,
и тогда счастливой новой песней
обернутся ритмы наших предков!

(«Ритмы предков». Перевод Н. Горской)

[1] Несколько стихотворений А. Тоота было опубликовано в «Антологии венгерской поэзии» (М., 1949), М. Бабича и А. Тоота — в сборнике «Март 1919» (М., 1971).

Михай Бабич (1883—1941) значительно пережил своего младшего собрата и в период между двумя войнами стал одним из корифеев венгерской литературы. Поэт большого дарования, Михай Бабич был также романистом, эссеистом, историком литературы, выдающимся переводчиком, литературным критиком. Долгие годы он был ведущим сотрудником, а потом и редактором журнала «Нюгат», наиболее популярного и влиятельного литературного органа в тогдашней Венгрии, игравшего в годы хортистской реакции весьма прогрессивную роль.

Уже в начале своего творческого пути Михай Бабич сторонился официозной венгерской литературы, отстаивал право поэта «жить в мире, созданном им самим», в «мире души», мечтал о тихом «острове», где можно уединиться навеки с избранницей сердца (стихотворение «Сафо далекие дни отзвенели»). Однако, потрясенный кровавой бойней первой мировой войны, он не пожелал, не позволил себе остаться в стороне от обрушившейся на людей беды и оказался среди тех немногих, кто решился поднять свой голос против милитаристского воя верноподданных: самому богу воссылал поэт проклятия за «море горя и слез матерей» в стихотворении «Fortissimo»; номер «Нюгата», где было опубликовано это стихотворение, конфисковали, автора предали суду. Антивоенные стихотворения М. Бабича, наряду с творениями Э. Ади, слышны были по всей Венгрии. Таково, например, и стихотворение «Перед пасхой»:

Я все равно не буду воспевать
машину смерти в этом марте...
. . . . . .

Хочу воспеть того,
кто первым скажет это слово,
осмелится проплакать, прорычать,
сорвав печать запрета,
ворвавшись вихрем света
в сердца, изъеденные горем,—
пускай же прозвучит
немолкнущим повтором
магическое слово это:
довольно! хватит! хватит!

(Перевод Н. Горской)

Революции 1918—1919 годов захватили Бабича созидательным своим пафосом, верой в счастливое, покончившее с невежеством Завтра. И после, каким ни веяло ужасом от разгула реакции, не усидел он все же в своем принципиально «огораживаемом» от внешнего мира доме (см. стихотворение «Хозяин огораживает свой дом»). Не остался он в стороне и в те дни, когда — в связи со столетием со дня рождения поэта-революционера Шандора Петефи — контрреволюция пожелала воздать Петефи ханжеские почести; Бабич воспринял это как кощунство и откликнулся с негодованием и презрением, выражая тем чувства всех передовых людей Венгрии:

Наша сегодняшность, вялая, пошлая,
чем тебе славить великое прошлое?
Крот не прославит Орла!
Рабскую речь шепчут губы холопские.
Только Казенность с Привычкою плоскою
венки Ему принесла.
. . . . . .

Юности нашей желаю цветения,
только не с проволокой в переплетении —
вольным цветком!
Чтобы, ограбленный и осиротелый,
венгр мог сказать: как ни тесны пределы,
все ж не тюрьма здесь, а дом!

Будь же цветком у Поэта на празднике,
голосом дерзостным, возгласом радостным,
искренна и легка.
Тот, кто избегнул могильной темницы,
тот не потерпит казенной цевницы,
фальши венка!

(«Венки Петефи». Перевод Б. Слуцкого)

И у Бабича, еще более чем у Тоота, истерзанная реакцией Венгрия вызывает постоянные ассоциации с мрачными пророчествами Апокалипсиса, его библейская символика, как и вообще в венгерской поэзии начала века, у того же Ади, отражает реальные земные чувства, острый социальный протест (см. стихотворение «Молитва Ионы»). Всеми силами старался Бабич оберечь, сохранить высокие, духовные ценности, что требовало и нравственной силы, и большого напряженнейшего труда,— Бабич вообще всем бедам, в том числе и страшному убийственному недугу (он умер от рака горла после нескольких мучительных лет), сопротивлялся подвижническим литературным трудом. Так, уже обреченный, открыто приговоренный врачами к смерти, он создал глав-

ное, быть может, свое произведение — стихотворную «Книгу Ионы» (1940), в которой с мужеством и прямотой, то с иронией, то с пылкою страстью рассказал о себе, о своих духовных исканиях и заблуждениях; в этом произведении Михай Бабич впервые сказал и о необходимости активно противостоять злу — а зло в те годы приняло уже вполне конкретный облик фашизма. Знаменательно, что именно в эти последние свои годы, переоценивая многое в собственной жизни и воззрениях на литературу, Бабич глубоко сожалел о том, что не разглядел вовремя огромный талант Аттилы Йожефа, крупнейшего пролетарского поэта Венгрии.

Творческое наследие Бабича велико и многообразно. Но свое главное слово он сказал как поэт. Бабич виртуозно владел стихом, он создал истинные жемчужины в венгерской поэзии; он обладал даром естественно и непринужденно выражать сложнейшую мысль, тонкое, почти не поддающееся определению чувство, картину природы; его строки, строфы сами собой укрепляются в памяти читателя, завораживают звукописью, свободной образностью — это звучащие, поющие картины. В сегодняшней Венгрии имя Михая Бабича дорого каждому ценителю поэзии, широко известно оно и за рубежами его родины.

Публикуемые ниже стихотворения М. Бабича и А. Тоота выбраны из книги «Венгерская поэзия XX века», составленной венгерскими литературоведами, которую готовит к выпуску в свет издательство «Художественная литература».

Е. МАЛЫХИНА

АРПАД ТООТ

На мосту

Наш этот день золотистый, осенний.
Видишь: на той стороне, за мостом,
горы Будайские плавают в небе,
чувствуешь: мост невесом.

Над берегами, горящими жарко,
он — как парящая птица — повис;
солнца напьется и с места рванется
в непостижимую высь.

Феникс в блестящем стальном оперенье,
с нами помчится он в сказочный край,
что это будет,— давай погадаем,—
царство волшебное, рай?..

ТООТ АРПАД — TÓTH ÁRPÁD (1886—1928).

Венгерский поэт, литературный критик, публицист и переводчик. Автор четырех сборников стихотворений: «Серенада на рассвете» («Hajnali szerenád», 1913), «На медленной галере» («Lomha gályán», 1917), «Исчезает радость» («Az öröm illan», 1922), «Душа — душе» («Lélektól lélekig», 1928).

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Исчезает радость» и «Душа — душе».

О, нереальности очарованье!
Кажется мне: первый раз в высоту
мы вознеслись над бурливым Дунаем
на невесомом мосту.

И в первый раз — трепеща, запинаясь —
в юном порыве стремится душа
невыразимое выразить четко:
жизнь до чего хороша!

Теплые губы уже приоткрылись,
слово сорвется вот-вот с языка,
но, протестуя, глаголет былое:
жизнь до чего же горька!

Видишь — на западе умерло солнце,
мост превратился в обычный металл,
Феникс холодные, мертвые крылья
по берегам разметал.

День золотой догорел над горами,
вечер густую разлил синеву.
Мы потеряем и это мгновенье,
словно деревья — листву.

Под маской

Так, значит, злой, холодный, мрачный?
Прости! Я так хотел бы дать
тебе все чудеса земные,
всю благодать!

Дворцы. Балы. Фиалки. Пальмы.
Ривьеру зимнюю в цвету.
А на худой конец — объятий
всю полноту.

Но плохо мне. И ни лукавить,
ни красть лучей я не могу.
Затравленный, исчахший, слабый,
мечусь в кругу.

Мерзавцы и лжецы хохочут.
Идет антихрист по земле.
И блещет золото зловеще
в гнетущей мгле.

А я внизу, и тонут стоны
в немой глуши, в тиши ночной.
Но потерпи, и ты услышишь
аккорд иной.

О, потерпи! Помилуй, сжалься!
Дай мне приют, покой, весну!
Я маску равнодушья сброшу,
сорву, сомну,

слезами сладостными смою,
тебе на грудь главу склонив,
и ты не разомкнешь объятий,
пока я жив.

В Аквинкской корчме[1]

Хозяин, старый шваб, подай скорее мне
вина, печального, как стынь ночная,
взыграет в кубке влага ледяная,
и по-мужски я тризну справлю в тишине.

Со мною вместе пей! На дне германских глаз
пускай умрет лукавство голубое.
Ты плачешь, грустный шваб? И я с тобою —
разрушенный Аквинк уже хоронит нас!

Помянем... Но кого? Давай поговорим
о девушке, что мылась в термах теплых,
лениво нежась в золотисто-блеклых
медлительных лучах, уже не гревших Рим.

В каком другом краю так долго стыл закат
и слава угасала так лениво?
Чьих предков, гордых и вольнолюбивых,
под вечер провожал Аквинка хмурый взгляд?

За всадника мы пьем — за одного из них:
с холма он смотрит на закат багряный,
и — как на латы волокно тумана —
на смуглое лицо ложится грусти штрих.

Среди камней шатры, закутанные в дым,—
как пузыри над кочевым потоком.
Все сгинуло в безвременье жестоком...
А смуглый всадник тот был праотцем моим...

Так выпьем, старый друг! Еще сияет свет,
но и народы гаснут, и светило —
извечный фарс, так будет и так было,—
заря блеснет тому, кто нам придет вослед.

Печальный кубок наш осушим, не грустя...
За девушку грядущего столетья!
Пускай падет в любви на камни эти,
чтоб средь руин зачать счастливое дитя!

---

[1] Аквинк (Aquincum) — древнеримское поселение на территории нынешнего Будапешта.

МИХАЙ БАБИЧ

Сафо далекие дни отзвенели

При смерти лира. Певучее тело
мы слишком долго терзали, пытаясь
дикую песню извлечь, и сегодня
дева недужная глухо стенает,
корчась от боли... И в стоне предсмертном
нету ни ритма, ни смысла, ни рифмы:
разум и звонкое сердце угасли,
дышат лишь легкие хрипло, и горло
крик исторгает, не помня о песне.
Лира умолкнет, и мы онемеем.

Сердце, ты плачешь?.. Мне люди сказали:
вырази боль твоих братьев бесчестных —
боль одиночки, чего она стоит?
Господи, брат ли мне тот, кто не слышит
жалобы брата, коль жалоба эта
горю его не созвучна? К несчастью,
мир — себялюбец: лишь общие беды
голос имеют. Все прочее немо.
При смерти лира. И станет беззвучной
песня любви, словно горлицы ласка.

О дорогая! Для нас эта песня.
Сафо далекие дни отзвенели.
Так поцелуй меня! При смерти лира,
жизнь онемевшая вновь онемеет.
Был человек человеком когда-то,
брату внимал он всем сердцем, а ныне
стадо жует свои беды, как жвачку.
Будь островком средь болота. Сегодня
бабочки — редкость. А ты и не знаешь!
Боги нисходят, лишь люди бессмертны

БАБИЧ МИХАЙ — BABITS MÍHÁLY (1883—1941).

Венгерский поэт, прозаик, переводчик, историк литературы; автор многих сборников стихотворений, в том числе «Речитатив» («Recitatív», 1916), «Долина тревоги» («A nyugtalánság völgye», 1920), «Остров и море» («Sziget és tenger», 1925); «Боги умирают, человек живет» («Az istenek halnak, az ember él», 1929), «Книга Ионы» («Jónás könyve», 1940), романов «Карточный дом» («Kartyavár», 1923), «Сыновья смерти» («Halálfiai», 1927) и др., а также новелл, статей, воспоминаний.

Публикуемые стихотворения взяты из двухтомника «Избранные произведения» («Babits válogatott müvei», 1957).

Серенада,

в которой поэт восхваляет красоту возлюбленной и оплакивает свои грустные скитания и прочие печали

Сад роняет тихий звон,
звон плывет над садом,
слушай, милая, сквозь сон
эту серенаду:
в лад пою или не в лад? —
ты — услада из услад.
ты — для глаз отрада.

Твои груди — купола,
ноги — два пилона,
шея мраморно-бела —
белая колонна,
голова — пресветлый храм,
с губ восходит фимиам
струйкой благовонной.

Шел к тебе я целый век
по кривой дороге,
липкий снег, разливы рек,
диких гор отроги,
летний зной и зимний хлад,
лес хмельной и водопад
были на дороге.

А сейчас, в осенний день,
загрустил кузнечик,
присмирел в лесу олень,
в камышах у речки
квакши водят хоровод...
Целый век иль только год
я бродил далече?..

Квакши водят хоровод,
бродит в роще ветер.
Тыщу лет иль только год
пребывал я в нетях?..
Как горька судьба моя:
в жизни столько плакал я,
сколько жил на свете.

Хозяин огораживает свой дом

Доски встали в ряд, встали в строй,
чтоб отрезать мой надел от земли остальной,
доски как уланы, что несут дозор,
доски — мой забор — мой закон и власть моя,
огораживаю дом, заработанный горбом,
в знак того, что существую я:
ощетинился забор, я и сам как еж,
к нам никто не вхож, пропускает мой отряд
только то, что всем принадлежит:
пейзаж колдовской, пурпурный закат,
воздух слаще молока, а сейчас
и колючие ветра октября,

брата младшего весны —
впрочем, мы закалены,
нам не страшен брат меньшой, мы пришли
из вчерашней драгоценной тишины — так зачем
поклоняться новизне? Эта осень! Этот вой
ветровой! Эта яростная ложь! Невтерпеж!
Эти встряски, эти пляски, эта дичь! Даже
под ордою птиц так не гнулись дерева!
Разве жизнь этот нервный тик? Под землей в тиши
всходит маленький росток; созиданья ночь тиха,
в тишине растет трава — это жизнь! О мой сад,
ты дозволь взойти драгоценным прошлогодним семенам,
варварским ветрам перережь все пути!

Пьяный танец пусть бурлит, в лжетоске
раздевает маки до костей, на растенья пусть
хохот рушится слепой; пусть великопостница зима
к нам придет замаливать грехи,— все равно
ты стой, мой забор, сторож прошлых
лет, Новому ответь — Прошлое лучше тебя!
Как отшельник-монах от кочевников шальных,
идущих с мечом, прятал древний фолиант
и холсты великих мастеров, ты поглубже спрячь
горсточку добрых семян, и тогда весной
вместо павших досок-солдат встанет юная сирень
и приманит ароматом пчел грядущих дней.

Словно пес безродный...

Словно пес безродный, невезучий —
тот, что одиночеством измучен,
бит камнями, палкой учен,
но не сломлен, но не скручен,
так и мечется над кручей,
лает на ветру колючем,—
я мечусь во тьме дремучей
и кричу, кричу беззвучно,
бит, оплеван, болью скрючен,
но не сломлен, но не скручен.

Одинок я, одинок до боли!
Голос мой — надсадный лай, не боле,
крик, родившийся в тиши подполья,
хрип в глуши тюремного подполья...
А когда из горла (из подполья)
наконец он вырвется на волю,
то звучит надтреснуто, уныло,
ибо жизнь его дубила, мыла,
щелоком травила, схоронила
под ленивым липким илом.

Из моей шкатулки обветшалой
достаю порой товар лежалый:
потускневшие кораллы,
цветик вялый, лоскуток линялый —
скучное наследство моды запоздалой.
Хилым звукам говорю я: «Чада,
у меня есть ленты, шелк, помада —
все, что надо вам для маскарада!»

И парадные наряды
надевают слабенькие чада.

Но гнетет их эта маскировка,
в пестреньких обновках им неловко,
нищий мой сосед глядит с издевкой —
мол, смешна подобная уловка!
В непривычной обстановке
нелегко идти без подготовки,
но идут они без остановки —
угловаты, робки и неловки,—
а когда пройдут по узкой бровке,
смотришь — износились все обновки.

Я им говорю: «Калеки, тени,
вы куда спешите в нетерпенье,
не пугаясь униженья?
Почему заики вы с рожденья?»
Отвечают звуки: «Мы — заики,
беспорядочные всхлипы, вскрики,
но грядет за полчищем безликим
по нехоженым тропинкам диким
Слово — новый царь великий,
повелитель звуков безъязыких!»

Молитва Ионы

Быть может, больше нету слов правдивых,
иль это я — расплывчатый, ленивый,—
не чувствуя опоры берегов,
несу обрывки мыслей, слов, слогов,
как тащит мусор полая вода,
сама не ведая — зачем, куда?..
О Вседержитель, если бы ты мог
направить прямо к морю мой поток,
свои созвучья звонкие даруя
окрепшим, посвежевшим строчкам-струям,
и Библию — науку всех наук —
наукой стихотворства сделать вдруг;
когда б дозволил ты, чтоб твой Иона —
слуга ленивый, нерадивый, сонный —
во чреве Рыбы малодушно прячась,
прозрел во тьме густой, живой, горячей
и, оставаясь в жарких недрах этих
не три коротких дня, а три столетья,
успел — допреж иная темнота
над ним сомкнется, словно пасть Кита,—
открыть секрет мелодий неистертых,
построить звуки в мощные когорты
и, не щадя ни голоса, ни сил,
бесстрашно говорить — как Ты учил,—
покуда небеса иль Ниневия
позволят изрекать слова живые!..

Цыган в камере смертников

Из-под моей руки взмывала красота —
наверно, так творил господь
букашек и стрекоз касанием перста.

Я помню, с губ моих срывался грозный стих —
как трубный звук, как трубный звук
с истерзанных жарой солдатских губ сухих.

Расплылся ныне стих, почти совсем угас,
он только теплится слезой
на самом дне запавших глаз.

О людях плачу я в гнетущей тишине:
они бедны, бедным-бедны,
им доброта не снилась и во сне.

В глуши б им жить лесной — поставить там избу,
да лес рубить нельзя, спасибо и на том,
что гробик дали им в большом дому-гробу.

Спасибо и на том, что им разрешено —
коль станет невтерпеж — шагнуть с балкона вниз,
земля не подведет, она их ждет давно.

Какая скорбь! Мой стих — цыганской скрипки стон
в той камере, где смерти жду.
Эй вы, букашки, прочь! Эй вы, стрекозы, вон!

Коль мертвые мертвы, что стоит трубный глас?
А слезы все текут, текут, текут
и ни о чем не спрашивают нас...

Перевод с венгерского Н. ГОРСКОЙ

■

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА.

Советский поэт-переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Р. Альберти и др. В «Иностранной литературе» напечатаны ее переводы стихов Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда. Н. Горская занимается также переводом из венгерской и чешской поэзии, переводила стихи И. Шимона, Л. Беньямина, А. Гидаша, Маргит Сечи, В. Незвала и др.

Критика

Анкета ИЛ: Иностранной литературы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

Сирил Перера, Курт Воннегут, Андрей Гуляшки, Алан Маршалл, Стефан Хермлин, Норман Казинс, Габор Гараи отвечают в этом номере на вопросы анкеты «ИЛ»:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

Одновременно мы публикуем статью известного советского критика Е. Книпович, возвращающую читателя к истокам международного писательского движения за мир.

СИРИЛ ПЕРЕРА /ШРИ ЛАНКА/

1. Огромное количество проблем встает сегодня перед нами. Некоторые из них — проблемы внутренние, не выходящие за пределы нашей страны. Они не могут не привлекать внимание интеллигенции, в том числе и писателей Шри Ланки. Большинство этих проблем лежит в области экономики, социального устройства и культуры. Наши экономические трудности порождены эксплуатацией слаборазвитых стран богатыми державами. Преодолеть их мы должны собственными усилиями, на пути построения социализма, при помощи и содействии дружественных государств. Надеемся, то, что мы пишем, заставляет людей пристальнее вглядываться в эти проблемы, вызывает дискуссии и способствует формированию здорового общественного мнения.

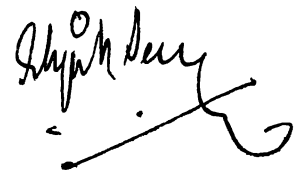
Но самая важная проблема нашего времени — угроза миру — носит глобальный характер. Она не ограничивается какой-либо одной страной или регионом. Разрушительная сила современного оружия такова, что, будучи пущено в ход, оно неизбежно принесет мучительную гибель всему живому на земле и в конце концов разрушит саму нашу планету. Мы в Шри Ланке войны не испытали. Но я уверен: долг каждого писателя в любой стране — использовать свое перо для того, чтобы мобилизовать общественное мнение, говорить правду об ужасах ядерной катастрофы и вдохновлять народы на священную войну за мир.

Сейчас я участвую в издании на сингальском языке романа «Война и мир» Льва Толстого. Кроме того, я перевожу — в основном произведения русской и советской литературы — для сингальских газет и журналов. В частности, недавно закончил работу над книгой Леонида Брежнева «Воспоминания» в двух частях — «Жизнь по заводскому гудку» и «Чувство родины».

2. Сегодня мир — необходимое условие сохранения жизни на земле. Миру угрожает кучка жадных до власти и наживы политиканов, которые вдруг очутились на руководящих постах. Они опасны даже для собственных народов, которые — как и все народы земли — по природе своей миролюбивы и не хотят войны. Но чтобы на планете был мир, между людьми должны существовать взаимопонимание и дружба, не омраченные подозрительностью, сомнениями, страхом. Для достижения такого взаимного понимания нужны посредники, каковыми и являются искусство и в особенности литература. Она говорит на общечеловеческом языке — языке любви, доверия и красоты, близком любому сердцу и понятном всем. На этом языке можно рассказать людям о радостях, печалях и надеждах каждого народа, каждого человека. Литература — проповедница доброй воли и мира. А переводчики — это те, кто несет ее послание от сердца к сердцу, даже тем, кто живет в самых отдаленных уголках планеты.

Продолжение. Начало см. в «ИЛ». 1982. № 4, 5.

Таково мое искреннее убеждение, и оно придает мне мужество, силы и вдохновение в работе. Позволю себе выразить робкую надежду, что по-своему я тоже вношу — пусть очень скромный — вклад в дело сохранения мира.



КУРТ ВОННЕГУТ /США/

Вот мой ответ на два ваших интересных вопроса:

1. Я бы не писал, если бы не чувствовал, что моя работа имеет какое-то отношение к жизненно важным проблемам нашего времени. Больше всего я страшусь еще одной мировой войны, которая, несомненно, уничтожит жизнь на планете. Поэтому я продолжаю писать короткие эссе и выступать за разоружение — иными словами, за то, чтобы жизнь продолжалась как можно дольше. Сейчас я работаю над романом о двенадцатилетнем мальчике — у его отца была великолепная коллекция ружей. Мальчик случайно убивает женщину, находившуюся в полумиле от него,— само по себе существование оружия может превратить нас в невольных преступников.

2. К сожалению, менее всего можно ожидать, что доступ к контролю над орудиями войны во всех странах получат те, кто подвержен влиянию искусства и литературы. Простые солдаты, будучи посланы защищать неправое дело, теперь не смогут прекратить бойню, даже если откажутся убивать сами. Массовым истреблением займутся уже не солдаты. Посему искусство будет способно лишь успокаивать и развлекать нас, в то время как люди, подобные машинам,— с помощью машин же — будут решать, что случится дальше. А случится нечто ужасное.

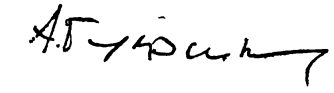
АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ /БОЛГАРИЯ/

1. Самые актуальные проблемы современности, такие, например, как сохранение мира во всем мире, защита природы от отрицательных побочных явлений научно-технической революции, проблемы, связанные с использованием свободного времени в достойных человека занятиях и развлечениях, а также демографические взрывы и чудовищно растущая урбанизация — эти и другие подобные проблемы наводят меня на мысль об ответственности деятелей культуры.

Участвуют ли люди творческого труда в решении этих проблем на благо гуманизма и человеческого прогресса? Речь идет, разумеется, о моральной ответственности деятелей культуры перед настоящим и будущим.

Я работаю сейчас над небольшим романом-сказкой о сути настоящего таланта: как бы ни был огромен талант творца, невозможно создать значительное художественное произведение, не посвятив его великим идеям добра, служению народу, движению человечества вперед.

2. Литература и искусство могут внести значительный вклад в борьбу за мир, если художники, создающие их, будут глубоко преданы идеалам гуманизма, будут полны нравственного благородства и заботы о сохранении и защите мира, если они будут правдиво показывать человеконенавистнический облик поджигателей войны.



АЛАН МАРШАЛЛ /АВСТРАЛИЯ/

Прежде чем попытаться ответить на ваши вопросы, я должен объяснить условия, в которых сейчас живу, и состояние своего здоровья.

Моей сестре (Элси Макконнелл), с которой мы все время жили вместе, исполнилось девяносто лет; мы вынуждены были продать наш дом с тем, чтобы сестра переселилась к замужней дочери. А меня — поскольку мне необходим повседневный уход — поместили в пансионат, где предоставили отдельную комнату, в которой я буду жить до конца дней своих.

В результате полиомиелита, перенесенного в шестилетнем возрасте, мои больные мышцы плохо служат мне на старости лет. Руки отказали, я перестал ходить на костылях, и мне трудно самому передвигать свою коляску. Паралич рук означает, что я вынужден бросить писать. Я продиктовал было несколько рассказов, но оказалось, что ритм устной речи сильно отличается от ритма письменной. Поэтому пришлось отказаться даже от того, чтобы диктовать.

Однако друзья посещают меня, я много читаю и стараюсь быть в курсе событий, происходящих в мире.

Так что на первый вопрос ответить очень легко: в настоящее время я ни над чем не работаю [1].

2. На второй вопрос я бы ответил так. Вполне возможно, что никогда еще в истории литературы печатное слово не несло такой большой ответственности, как в настоящее время. Чтобы спасти мир от термоядерной войны, писателям необходимо объединиться. Они не имеют права стать глашатаями поджигателей войны. Их задача — разоблачать тех, кто стремится вовлечь свои страны в катастрофу. Безрассудных и тщеславных людей, процветающих во времена войн, следует клеймить как подлинных преступников. Писатель должен приветствовать те страны, которые выступают за мир. И если голос его достаточно громок, а убеждения — глубоки, люди откликнутся на выражаемые им чувства, и мир восторжествует.

В недавних выступлениях президент Рейган угрожал осуществить предупреждающий удар на европейской земле. Это неизбежно привело бы к третьей мировой войне. В настоящее время поступки президента США являют собой величайшую угрозу миру.

СТЕФАН ХЕРМЛИН /ГДР/

1. Я считаю, что современных проблем в собственном смысле слова нет. При ближайшем рассмотрении оказывается, что они существовали всегда. Прошлое никогда не исчезает. Преодоление темных сторон его — непрестанная задача искусства, и в ней корень гуманизма. Разумеется, есть актуальные аспекты старых вопросов, и писатель на них реагирует большей частью, мне кажется, публицистическим словом.

2. Что это значит: «сохранение мира на земле?» Мира на земле нет. На трех из пяти континентов бушуют тяжкие бои. Так называемый «мир на земле» — это европоцентристское заблуждение. Конечно, отраден факт, что мы, в Европе, вот уже тридцать пять лет живем в мире. Но если выражаться точно, надо говорить о сохранении мира в Европе и установлении его на земле.

Роль произведения искусства в борьбе за мир, по-моему, проблематична, однако ее не следует и недооценивать. Значительное произведение искусства принадлежит всему человечеству, оно — действенная ценность, если можно так выразиться, поэтому его следует охранять. Мысль о том, что подобное произведение может быть разрушено, невыносима. Это, если хотите, тоже может служить людям дополнительным основанием для сохранения или установления мира.

Поскольку плохие или средние произведения не заслуживают того, чтобы их сохранять, совершенно очевидно, что только подлинное искусство в силах способствовать миру.

НОРМАН КАЗИНС (США)

1. Для меня, как писателя, как для человека, причастного к редакционно-издательскому делу, как для преподавателя, наконец, нет задачи более важной, чем уменьшение опасности возникновения войны и создание основы для сохранения длительного и справедливого мира.

В лекциях, которые я читаю — и в университете, и вне его,— я никогда не упускаю случая привлечь внимание к необходимости достичь действенного соглашения между странами, чтобы создать условия, при которых будет возможно полное и эффективное разоружение. Я пытаюсь развивать эту тему в своих статьях и выступлениях в периодической печати.

[1] Примечание редакции: В 1981 году появилась новая книга писателя «Австралия Алана Маршалла». Книга вышла под редакцией секретаря автора— Гвен Хардисти, которая собрала в ней публикации Алана Маршалла в газетах и журналах 50-х годов, его короткие наброски в записных книжках и на отдельных листках бумаги. Рассказы сборника воссоздают характерные подробности ушедшего в прошлое стиля провинциальной жизни Австралии. Как отмечает австралийская критика, книга эта — как бы ностальгическое путешествие в прошлое, в «доавтомобильную» Австралию, когда время тянулось медленно, а люди, вместо того чтобы сидеть у телевизора, собирались на бревнышке перед домом и, попыхивая трубками, болтали о том о сем. «Австралия Алана Маршалла» — это художественное исследование истории страны, ее истоков.

2. Художник или писатель не обязательно должен превращать все свои картины или книги в инструмент борьбы за мир. Если художник или писатель как личность сделает открытый и принципиальный выбор в пользу мира, он (или она) тем самым ответит самому насущному велению времени.

ГАБОР ГАРАИ /ВЕНГРИЯ/

1. Я поэт, мне трудно говорить о своей текущей работе. Если я говорю, то лишь о том, что уже закончил. Недавно я подготовил своеобразный путевой дневник, в котором рассказываю о поездке в сентябре 1978 года в две республики Советского Союза — Узбекскую и Армянскую. Возможностью посетить эти две республики я обязан приглашению первого секретаря Союза писателей СССР товарища Г. М. Маркова. Я долго работал над этим путевым дневником. Он своеобразен по форме: стихи в нем сменяются прозаическими описаниями; стихи и мои, и тех русских, балкарских, узбекских, армянских поэтов, с которыми — или с памятью о которых — я соприкоснулся в Москве, Узбекистане, Армении. Вернее говоря, прозаические описания составляют как бы фон, на котором возникают стихи и стихотворные переводы. В этой маленькой книге, не преднамеренно, невольно, отражаются актуальные проблемы современности. Я не мог не отметить, что процветающая современная культура Узбекской ССР, например, зиждется на социалистической экономике и нравственности. В Голодной степи, где на сравнительно небольшой территории живет и мирно трудится множество советских граждан разных национальностей, говорящих на разных языках, мне это было особенно заметно. Здесь, как и везде, заботливо оберегается наряду с современностью все истинно ценное, что дошло до нас от старины. Я видел, что немало выстрадавший армянский народ обрел наконец в советской стране свою настоящую родину, что он сохранил и усердно поддерживает свои национальные традиции, воспринимая в то же время все разумное, новое как в промышленности и сельском хозяйстве, так и в культуре и искусстве.

Вовсе не в последнюю очередь я хотел бы сказать в этом дневнике и о Москве, о живущих там моих друзьях — о дорогом для меня городе, который всегда — и всегда с таким широким размахом — встречает меня приятными сюрпризами, хотя бываю я там почти каждый год.

Сейчас я работаю и над стихотворными переводами. Это тоже отзвуки той поездки в Армению: я пытаюсь перенести на венгерскую почву большую поэму Егише Чаренца.

И наконец, мои собственные стихи. Мне трудно сказать, о чем они. Наверное, я пытаюсь соотнести, сопоставить время, в которое мы живем, со своим возрастом. Мне пятьдесят два года, у меня есть сын и внук — я должен надеяться, что человечество доживет до XXI века. Правда, эта уверенность сегодня дается нелегко.

2. Легкомысленной наивностью было бы считать, что в наше время, в век ядерного оружия, ракет и космонавтики, можно поддержать и сохранить мир одними только красивыми и справедливыми словами писателя, влияющими на разум и чувство. Но хотя мы и знаем, что не за нами решающее слово, отказываться писателю от средств убеждения, по-моему,— безнравственное бегство. Мы, конечно, не взываем к благоразумию и сочувствию «ястребов и гиен» войны. «Держитесь вместе, честные люди»,— писал я однажды в своих стихах. И теперь хочу повторить это, так как верю, что честные люди на земле в большинстве своем разумны.

Зная, что в нашем лагере, лагере социалистических стран, честность и разум руководят политикой, в том числе и военной, мы, писатели, живущие в этой части планеты, имеем право — более того, наш долг — быть заступниками мира. Наше слово не скоро отзывается в действиях, но давайте не будем считать, что говорим с глухими!

Недавно я передал издательству сборник своих последних стихов «Дельфин и медуза». Хотел бы упомянуть два стихотворения этого сборника. Первое называется «Объяснение». Если говорить коротко, смысл его сводится к тому, что желание жить у моего народа — я верю в это — непобедимо, что в условиях кризиса мировой экономики, хотя и ценой крайнего напряжения наших сил, мы создаем необходимые для жизни условия. Но один народ — лишь маленькая частица жизни на земле. Целый организм — это все человечество. Именно поэтому другое стихотворение, последнее в сборнике, оно называется «Конец века», далеко не такое оптимистическое; в нем я пытаюсь сопоставить тревоги и надежды мира последних двух десятилетий нашего века, нашего тысячелетия. Я ничего не приукрашиваю, не умаляю опасности и не знаю, каков будет результат исследования. Возможно, неблагоприятный. Но я убежден, что у поэтического слова писателя есть шансы, в нем есть смысл. Поэтому я счел возможным закончить стихотворение словами: «Да здравствует новое тысячелетие!»

Вот мой откровенный ответ.

(Продолжение следует)

Е. КНИПОВИЧ

ПАМЯТЬ

У истоков писательского движения за мир

Когда, обращаясь к 30-м годам нашего века, мы говорим «антифашистская литература» — обычно это относится к литературам Германии, Франции, Испании и других стран Европы. Причем — и это правильно и справедливо — в понятие «литература» включаются здесь не только стихи, проза, драматургия, но и документальные произведения, публицистика, выступления больших мастеров слова на международных конгрессах.

Но советская литература тридцатых годов чаще всего рассматривается как бы отдельно от этой категории. Воскрешение памяти первой мировой войны, возвращение к опыту войны гражданской, попытки предугадать, каким станет будущее столкновение двух миров,— все это шло во многих критических работах «по ведомству» литературы военной или оборонной.

Да, конечно, наша литература была оборонной, потому что с первого дня своего существования советская власть никому не угрожала и первым ее декретом был Декрет о мире. Но острое предчувствие столкновения двух миров, провидение неизбежной борьбы, огромных жертв во имя победы со всей силой звучат в творчестве наших художников в 20—30-е годы, от «Гренады» Светлова до «Продолжения жизни» Корнилова, от «Мы, русский народ» Вишневского до «Тени друга» Тихонова.

Конечно, попытки, так сказать, конкретно заглянуть в будущее страдали серьезными недостатками. Что же касается возвращения к прошлому, то оно объяснялось не отходом от сегодняшних задач, а стремлением мобилизовать для решения этих задач весь опыт страны и народа, раскрыть, как, начиная с дней перехода войны империалистической в гражданскую, формировался тот человек — современник (для 20-х — 30-х годов), строитель и боец, который вскоре и неизбежно будет защищать великие завоевания Октября от сил реакции и войны.

Все это так или иначе проявилось в творчестве советских писателей — очень разных: от Алексея Толстого до Николая Тихонова, от Всеволода Вишневского до Аркадия Гайдара. Возвращение к прошлому, давнему и недавнему, было и насыщено знанием того, что художник «прошел сам», и обогащено последующим опытом его самого и всего советского народа. Опыт наших писателей, опыт самых больших писателей зарубежных стран, по существу, включал в те годы лишь половину их жизненного и творческого пути.

Вишневский «прошел сам» годы Отечественной войны и ленинградскую блокаду, так же как и Николай Тихонов. Смертью храбрых пал воспитатель будущей краснозвездной гвардии Аркадий Гайдар, словом великого мужества и доблести сражались в Отечественную войну Алексей Толстой и Леонид Леонов. Писательское слово было в ту великую и трудную пору «делом». И делом был «Седьмой крест» Анны Зегерс, и «Репортаж с петлей на шее» Фучика, и «Прощание» Бехера, и «Нож в сердце» Арагона, и «Жизнь Галилея» Брехта, и сотни и сотни произведений лирики, публицистики, сотни песен, листовок, которые вошли в плоть и кровь современной литературы мира.

В плоть и кровь этой литературы вошел и личный опыт десятков и сотен художников слова, опыт борьбы с фашизмом и реакцией не только словом, пером, но и винтовкой, опыт участия в грандиознейшей битве за планету, в которой защита культуры идет прежде всего под знаком борьбы за сохранение мира, самой жизни, самого человечества, втягивает в себя многочисленные массы людей всех континентов.

«Прошлое страстно глядится в грядуу-

КНИПОВИЧ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА

Советский литературовед, лауреат премии имени Н. А. Добролюбова АН СССР. Автор книг «Генрих Гейне» (1931), «В защиту жизни» (1958), «Разгром» и «Молодая гвардия» Александра Фадеева» (1964), «Сила правды» (1965), «Художник и история» (1968), «Мужество выбора» (1975), «За 20 лет» (1978) и многих статей по советской и зарубежной литературе. Работы Е. Ф. Книпович неоднократно публиковались в «Иностранной литературе».

щее» — эти слова Александра Блока можно поставить как эпиграф ко многим и многим произведениям советской и мировой литературы, созданным в период между двумя мировыми войнами. Достаточно вспомнить «Мать» Брехта или «Юность Генриха IV» Генриха Манна. «Отступая» в историю другого народа на тридцать лет, как Брехт, или на четыреста, как Генрих Манн, оба эти художника ставили и решали весьма актуальные вопросы современности. Сам автор двух романов о французском короле говорит в статье «Памятное лето» (1938) о том, что образное воплощение темы воинствующего гуманизма, защиты «с мечом в руке» разума, свободы, достоинства человека было неразрывно связано с боевой общественной атмосферой 30-х годов, времени, когда тот же автор создал такие книги огненной силы, как «Ненависть» и «Мужество».

Да, несомненно в общее понятие «литература» должны войти не только, так сказать, чисто литературные произведения, но и публицистика, и устные выступления в защиту мира и культуры на международных форумах. И конечно же, первым надо помянуть великого организатора прогрессивных сил современности, старейшину всего отряда деятелей культуры Советского Союза — Максима Горького. В 1932 году на Амстердамском конгрессе в защиту мира Горький свою речь произнести не смог. Советская делегация, куда входили он и Е. Д. Стасова, не получила визы и прибыть в Амстердам не могла. Но голос Горького — через «головы правительств» — тем не менее прозвучал и был услышан. «Делегатам антивоенного конгресса. Речь, которая не была произнесена», была прочитана и под этим же заголовком пошла в печать. «Я говорю,— стоит в этой непроизнесенной речи,— о тех подлинных творцах общечеловеческой культуры, которые считают деяние основой познания, глубоко чувствуют поэзию труда, о людях, которым человечество обязано неоспоримыми ценностями науки, искусства; я говорю о людях, которых не соблазняет грязный рай буржуазии, о людях, которые хорошо видят, как нищенски бедна творческой энергией современная буржуазия, как отвратителен созданный ею быт»...[1]

Об этих истинных борцах за мир, истинных наследниках культуры говорил Горький и в 1935 году, в послании Парижскому конгрессу в защиту культуры, на который он не смог приехать по состоянию здоровья: «...в мире есть только один класс, способный понять и почувствовать всемирное, всечеловеческое значение гуманизма, класс этот — пролетариат.

Поэтому наши усилия должны быть направлены не к примирению непримиримостей, не к реформации буржуазного общества, которое по структуре своей не может, не способно жить без вражды, без угнетения большинства людей,— усилия наши должны быть направлены на работу освобождения неисчерпаемых резервов интеллектуальной энергии, заключенной в сотнях миллионов трудового народа.

Подлинным гуманизмом может быть только гуманизм пролетариата, который ставит перед собой великую цель: изменение всех основ социально-экономического бытия мира нашего. В стране, где пролетариат взял власть в свои руки,— в этой стране мы видим, какую грандиозную энергию скрывает он в своей массе, какие таланты разгораются в нем и как быстро он изменяет формы жизни, влагая в них новое содержание»[1].

Пафос послания Горького был просветительским, даже пропагандистским. Ну что ж — советские деятели культуры всегда поднимали как знамя завоеванные советским народом духовные и материальные ценности, прямо говорили о том, за что они борются и что отстаивают.

«Есть одно слово на свете, которым в последнее время все чаще пугают людей,— так начал А. Фадеев свое выступление на Первом всемирном конгрессе сторонников мира, проходившем в 1949 году в США,— это слово — пропаганда. Чтобы не было никаких недоразумений насчет моего доклада, я прежде всего должен сказать, что буду заниматься пропагандой за мир и против поджигателей войны»[2]. Такой пропагандой за мир и дружбу между народами, за истинное понимание великих традиций мировой культуры, против фашистских поджигателей войны и разрушения культуры были все выступления советских делегатов на международных форумах 30-х годов. И собственная гордость деятелей культуры Страны Советов сочеталась в их речах с высоким уважением к чужой культуре и чужим заслугам, интернационализм — с сознанием высокого долга и ответственности советского патриота.

Многочисленные и очень разные участники этих конгрессов — писатели Европы и Америки, безоговорочно определившие свое отношение к фашизму и войне,— вместе с тем не всегда вкладывали однозначное содержание в самые понятия «защита культуры», «гуманизм», «исторический оптимизм». Это явственно сказалось на работе Парижского конгресса 1935 года, где даже среди художников, нашедших впоследствии путь к народной борьбе против фашизма, порой проявлялось стремление защитить автономию искусства от политики. Тем любопытнее, что при этом самый живой отклик всего конгресса в целом вызвали те речи советских делегатов, где элементы «просветительства» сочетались с острой и яркой пропагандой.

Коллектив Академии искусств ГДР ценой огромного и кропотливого труда восстановил достаточно полную картину работы Парижского конгресса, включив его материалы в четырехтомное издание «К традиции немецкой социалистической литературы»[3]. Соответственные тома этого

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 26, с. 344.

[1] Здесь и далее выступления участников конгресса цитируются по книге «Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь, 1935. Доклады и выступления». Редакция и предисловие И. Луппола. Переводы Э. Триоле. М., «Художественная литература», 1936, с. 39—40.

[2] А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский писатель», 1957, с. 481.

[3] Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1979.

издания свидетельствуют, насколько внимательно были выслушаны речи Алексея Толстого и Всеволода Иванова, И. Луппола, Якуба Коласа, И. Микитенко, в которых содержалась информация о положении писателей в СССР, об отношении к культурному наследию, об издательской политике, о развитии национальных литератур, то есть обо всем, что в середине 30-х годов было, в сущности, неизвестно европейской интеллигенции.

Конечно, материал этих выступлений был «повернут» против поджигателей войны и разрушителей культуры, против сил фашизма и реакции. Но наиболее эмоциональный отклик собравшихся (как свидетельствуют отчеты) все же вызвали страстные «пропагандистские» речи М. Кольцова и Н. Тихонова, в которых два советских деятеля культуры — каждый по-своему — говорили о том, как наша литература, вторгаясь в жизнь и учась у жизни, помогает в великой переделке жизни.

Недавно в печати были помянуты слова покойного Романа Кармена: «Снимать — это значит участвовать». Писать — значит участвовать, таков был смысл речей, о которых я говорила. Книга — поступок, речь — поступок, вот чего требовали от себя и других участники форума. И пожалуй, в речи Н. Тихонова с особой остротой был виден тот ракурс «просветительства», при котором оно естественно становится «участием» и пропагандой.

В речи этой не только были раскрыты общие задачи, общие идеалы нашей литературы. В ней «лицом к лицу» были противопоставлены поэты Советского Союза: Маяковский, Багрицкий, Демьян Бедный, Пастернак — стихотворцам фашистской Германии и певцам самурайских традиций Японии. Столкновение двух миров вставало в речи как столкновение двух идеологий, двух культур.

«Нет,— говорил Н. Тихонов,— поэты Японии и поэты Германии знают, что делают. У них маленький стакан, но они пьют из своего стакана, из своего шрапнельного стакана. Человек для них как раз не самое существенное. Мужчина — это ведь только мясо великого стада войны...

Поэты живут мечтой, как их вожди, повторить Тевтобургский лес в мировом масштабе. Но для победы в этом гиперболическом лесу, которым может стать и вся Европа, должны умереть многие. Пусть они умрут не рассуждая, пусть умирают несчетно — их заранее назвали героями. С них довольно сего названия. И вот создается поэтический пафос легкой смерти...

Мобилизуются души всех предков и духи всех арийских вождей. Но мы смотрим в этот туман с ясной бодростью уверенных в себе людей, отдавая полный отчет в совершающемся.

Не сможет фашистская муза Запада и Востока бороться с прибоем нашей, советской поэзии. Она будет смыта в этой исторической буре, которую так старательно вызывает сама...

Мы только начали, но мы уже сделали много. Лирический порох мы держим сухим. Мы не боимся никаких врагов. Пусть в иных странах жгут книги и убивают поэтов. Ничто не остановит волю к борьбе, ничто не разорвет этого крепкого союза между поэзией и жизнью во имя лучшего будущего всего человечества».

Впечатления от конгресса и поездок непосредственно за ним по Франции и Бельгии, по местам боев первой мировой войны, Европа, которая, не оправившись от одной войны, уже смотрит в лицо другой, еще более страшной,— вот содержание книги Н. Тихонова «Тень друга», которая увидела свет год спустя, в 1936 году, и была названа одним из ленинградских друзей поэта «карманным апокалипсисом».

Антифашистский, антивоенный, антиимпериалистический пафос, проявившийся со всей силой в речах многих делегатов, как бы «спаял» их в единое целое, определил общее лицо конгресса.

Со словами, близкими по сути своей выступлению Н. Тихонова, вышла на трибуну Анна Зегерс — еще совсем молодая, еще не классик современной мировой литературы: «Какова же наша задача? Что не должны мы упустить из виду? Что война не только угрожает, но и соблазняет. Человек, получающий пособие по безработице, человек у конвейера в рабочем лагере — ничто. Пред лицом смерти человек как будто опять становится чем-то. В известном смысле эта ложь — правда, и потому она страшно соблазнительна: «Отечество нуждается в тебе». До сих пор этот же человек, со всеми своими ценностями, своими способностями, ни на что не годился, не был использован, мешал... И вдруг он оказывается нужным. Отечество не пользовалось ни одним его жестом, мыслью, усилием. И вдруг ему нужен весь человек, высшие жертвы. То, чего он жаждал всю свою молодость, как будто наступило,— он может показать, на что он способен. Война делает бесконечно нужными ненужных, она становится выходом для безысходного мира... во время мира не было равенства, теперь же появился мощный обманчивый соблазн — равенство перед смертью. Ведь все бок о бок одинаково жестоко сражаются за тот же квадратный метр земли. Но они сражаются вовсе не за то же самое: один сражается за доходы с этой земли, за наследство, другой сражается за проклятия и силы, отданные этой земле».

Антифашистский, антивоенный накал в деле защиты культуры был так силен, что он оказал влияние на многие выступления отнюдь не революционеров, а просто «честных либералов».

Романы Э. М. Форстера, может быть, и нельзя назвать в прямом смысле антиколониальными. Но антирасистскими они были несомненно.

Он сам, основной докладчик по первому вопросу общей повестки конгресса («Культурное наследство»), так представился собравшимся: «Что касается моих политических убеждений, то вы, вероятно, догадались, что я не фашист... И вы также, может быть, догадались, что я не коммунист, хотя, если б я был моложе и смелее, я, может быть, был бы коммунистом, потому что в коммунизме для меня зиждется надежда... В настоящий момент я тот, кем меня сделали мой возраст и мое воспита-

ние: буржуа, согласный с английской конституцией, скорее согласный, чем поддерживающий ее... Прошлое мне небезразлично. Мне небезразличны сохранность и расширение свободы... В моей стране наше дело пока плохо, я в этом не сомневаюсь, но у нас есть то преимущество, что правителям приходится делать вид, будто они любят свободу...

У нас опасность фашизма — разве если будет война, тогда может случиться что угодно,— незначительна. Нам угрожает нечто иное, нечто гораздо более вкрадчивое, что я мог бы назвать «фабианским фашизмом»,— диктаторский дух, спокойно прокладывающий себе дорогу за фасадом конституционной формы, то проводя небольшой закон (вроде закона о подстрекательстве), то утверждая где-нибудь в департаменте местную тиранию, углубляя в другом месте национальные требования тайны и нашептывая и воркуя каждый вечер так называемые «новости» по радио, пока оппозиция не оказывается укрощенной и обманутой. «Фабианский фашизм» — вот чего я боюсь».

О своей буржуазной ограниченности умный и ироничный оратор вновь помянул в конце своей речи: «Относительно положения в нашей стране мои коллеги, вероятно, согласны со мной, но вполне возможно, что они не согласны с моим старомодным отношением к нему и считают, что говорить о свободе и традиции, когда экономическая структура общества неудовлетворительна,— пустая трата времени». И все же — и в этом не только личная правда Форстера — и ему, и тем, кто близки ему по духу, надо продолжать «мастерить нашими старыми орудиями производства», хотя в случае новой войны — это он понимает: «Я уверен в том, что мы будем сметены, и я думаю еще больше, что будет новая война. Мне кажется, что если народы вот уже примерно год, не переставая, нагромождают оружие, то им обязательно придется избавиться от всей этой дряни, как животному, которое, не переставая есть, обязательно должно испражняться».

Нет, речь шла еще не о возможности глобальной катастрофы, но разноплеменные борцы за мир и культуру понимали, говоря словами немецкой пословицы, «где торчит чертово копыто».

И раскрывалось это не только в выступлениях, непосредственно касающихся политики, но и в речах, так сказать, философско-теоретических — таких, как доклады Генриха Манна и Анри Барбюса.

В свое время я расспрашивала о конгрессе его участника, который последним из всех наших делегатов ушел из жизни. Любопытно, что на молодого в ту пору русского поэта Николая Тихонова наибольшее впечатление произвели именно два эти выступления — доклад Барбюса по пятому вопросу повестки «Нация и культура», доклад Генриха Манна по шестому вопросу «Достоинство мысли и проблемы творчества».

Любопытно также и то, что докладчики по всем вопросам были «старшие» — по возрасту, по литературному и общественному опыту. Не все они в дальнейшем выдержали «испытание историей» (как пример можно привести здесь Андре Жида), но большинство осталось постоянными «зачинателями» в работе международных форумов защиты мира и культуры.

Когда Генрих Манн поднялся на трибуну и начал говорить, вспоминал Н. Тихонов, он произвел скорее впечатление ученого, мыслителя, привыкшего логически развивать свои положения перед слушателями, не проявляя чувств и не стремясь воздействовать на чувства аудитории. Но когда в его речи о величии разума и подлинной свободе творчества дело дошло до фашизма, до преступлений тех, чье иго легло на немецкий народ,— в голосе, в самом строе речи оратора зазвучал гнев трибуна, борца, одного из организаторов антифашистского движения Европы. «Симптомы одного и того же заболевания,— говорил Г. Манн,— с большей или меньшей силой проявляются в самых различных местах: это все, что можно сказать. Несомненно, свобода мысли еще существует, а то бы мы вообще не могли здесь собраться. Но там, где она еще имеется, к сожалению, создается впечатление, что ее не считают необходимой для жизни. Когда же страна уже подавила мысль, тогда она, наоборот, громко выражает убеждение, что для жизни совершенно необходимо подавить всякую мысль. Вождь государства, где царствует насилие, будет просто требовать, чтобы свобода печати, еще существующая в соседнем государстве, была отнята. С другой стороны, еще никогда не было случая, чтобы представитель либерального государства требовал малейшей свободы для соседней страны, потерявшей свободу».

Анри Барбюс — со свойственной тем временам суровостью в оценке собственной работы — назвал свой доклад «длинным» и «поверхностным». Мне кажется (судя по стенограмме, на которую я все время ссылаюсь), что собравшиеся не разделили его мнения. Еще меньше способен разделить его читатель 1982 года. «Цель национализма,— говорил Барбюс,— который является догматом государств на пяти шестых земного шара (так и обстояло дело в 1935 году.— *Е. К.*), заключается в том, чтобы бороться против обобществления масс, которые выбиваются с низов. Национализм антиобщественен, и если б он водворился во всех странах земного шара, он все-таки сохранил бы свой антиобщественный характер. Нация становится высшей целью, стеной. Все идеи реквизируются и захватываются ради величия одной-единственной страны против всех других... Из большого общего дома делают крепость, а следовательно — тюрьму. В гражданине убивают общественного человека (если не убивают самого гражданина, чтобы убить общественного человека). Шовинизм, эта закваска всякой агитации и эксцессов, порождает полицейские расправы и сгоняет в одну кучу разнообразнейших людей в целях ненависти и войны с иностранными державами. Мастера искусства оказываются приручеными, и светочи культуры годятся только для факельных процессий...

Чтобы решить вопрос о развитии человеческого рода и его спасении, нужно сде-

лать выбор между национализмом, необходимым для владычества буржуазии... и интернационализмом, необходимым людям, чтобы водворить справедливость и мир».

Но, солдат идеологического фронта борьбы, Барбюс видел и еще одну опасность, подстерегающую мастеров культуры Запада: «Мы должны избегать того, чтобы под предлогом эгоистической независимости каждый из нас не оказался над, то есть вне этих двух великих основных тенденций современной общественной жизни. Факты запрещают нам спасаться в облаках. Платоническая защита духа и культуры — пустые слова. Это только фейерверк из летящих искр мировой истины.

Кроме того — никаких промежуточных позиций! Никакой спокойной золотой середины! Эта третья позиция мнима и призрачна. Те, которые избирают ее, защищают не демократическую свободу, не культуру в опасности, они защищают — временно! — только свое спокойствие Что это — недостаток активности? Нет — неверная позиция. Силой своей инерции они, как и все, кто сохраняет нейтралитет, способствуют укреплению существующего строя...»

Первый всесоюзный съезд советских писателей прошел за год до Парижского конгресса (летом 1934 года). Но память о нем как об одном из наглядных примеров общей созидательной работы советского народа вставала и в речах тех, кто был гостем съезда и выступал на нем, как Жан-Ришар Блок, и в речах тех, кто там не был, как Генрих Манн

Советский Союз — его политика, его культура, место, какое он занимает при общей расстановке сил прогресса и реакции,— «зримо или незримо» присутствовал в большинстве выступлений по всем вопросам повестки конгресса. И эта «просоветская» настроенность форума помогла, при всеобщем одобрении, дать должный отпор в репликах Н. Тихонова, И. Эренбурга, Анны Зегерс попытке троцкистской группки французских литераторов учинить некую антисоветскую демонстрацию (Об этом эпизоде вспоминал Н Тихонов и в «Устной книге», и в приветствии Анне Зегерс к ее дню рождения.) Обо всем этом свидетельствует и спор Арагона с Элюаром, и спор Жана Геенно с Жюльеном Бенда. Нет, атмосфера конгресса была напряженной, и Иоганнес Бехер имел право сказать в письме к немецким писателям, что большой успех конгресса был даже несколько неожиданным для его организаторов[1]

Еще одно наблюдение читающего материалы конгресса в 1982 году: бесконечно выросли в своем значении те речи, в которых оратор, говоря словами Брехта, умел «думать вперед», и увяли те выступления (например, доклад Олдоса Хаксли), в которых диалектика истории подменялась довольно скользким релятивизмом.

Брехт — подобно Маяковскому, неутомимый «ассенизатор» всех уголков человеческого сознания в кризисные периоды истории — посвятил свою речь, весьма актуальную для наших дней, «очередной критике добра», опасности разрыва между непосредственной эмоциональной реакцией и проверенным разумом действием, поступком.

Эмоциональное осуждение зла без попытки понять, чем это зло порождено и кому оно выгодно, не может быть долговременным и стойким, говорил Брехт. Если фашизм — лишь вспышка имманентного стихийного зла, борьба с ним неизбежно сведется лишь ко все более и более однородной констатации преступлений.

Если же путеводителем эмоции станет разум, если художник начнет разоблачение зла с формулы римского права — «кому выгодно», тогда он неизбежно установит, где исторический корень зла, какова его социально-историческая сущность, то есть придет к материалистическому, марксистскому пониманию явлений.

«Многие из нас, писателей,— говорил Брехт,— испытавших зверства фашизма и возмущенных ими, все еще, однако, не поняли сущности этого учения (марксизма.— *Е. К.*), все еще не добрались до корней той жестокости, которая их так волнует. Им все еще угрожает опасность рассматривать фашистские зверства лишь как ненужную жестокость. Они отстаивают принцип частной собственности, полагая, что она не нуждается для своей защиты в жестокостях фашизма. Но это не так. Для сохранения существующей формы собственности эти зверства необходимы... Те из наших друзей, которые так же возмущены зверствами фашизма, как и мы, но которые, однако, стремятся сохранить собственность или проявляют равнодушие к вопросу об уничтожении ее, не в состоянии энергично и долго бороться против все возрастающего варварства, потому что они не содействуют проведению в жизнь тех общественных отношений, при которых варварство стало бы излишним».

Некоторый ригоризм этой оценки «эмоциональной» борьбы против фашизма не отменяет ее «общей» правильности. Но через пять лет, когда угроза, уже нависшая над миром в дни конгресса, стала реальностью, Брехт откроет для себя и «диалектику» эмоционального протеста, который может стать и концом чувства ответственности за судьбы своего народа и всего мира, но может стать и началом — привести большого художника в ряды стойких борцов за «самый корень жизни». То, чего опасался автор пьесы «Что тот солдат, что этот», было «перекрыто» тем, что увидел и понял автор «Винтовок Тересы Каррар» — художник, в те же годы воздавший должное «предостерегающим», «пророческим» чертам творчества таких писателей-гуманистов, как Генрих Манн или Арнольд Цвейг.

Большие художники, чуткие к основному содержанию эпохи, обладают даром не только думать вперед, но и прямо заглядывать в будущее — о том, что в Древнем Риме понятия «пророк» и «поэт» определялись одним словом, напомнил на одной из международных встреч 60-х годов Леонид Леонов. Нет, в середине 30-х годов над человечеством еще не нависала угроза «глобальной» катастрофы. Но о какой бы

[1] Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Bd. IV, S. 394.

стране и национальной литературе ни шла речь, в лучших, самых долговечных произведениях ее живет предчувствие тягчайших испытаний, и призыв встретить их «стоя», и вера в конечную победу, в возможность своей волей и мужеством завоевать ее. Предчувствие этого с каждым годом становилось острее, разрыв между необходимостью «писать историю» и «делать историю» — все короче; с тем врагом, с тем злом — о нем говорили делегаты Парижского конгресса — некоторым из них год-два спустя пришлось встретиться лицом к лицу на земле республиканской Испании, борющейся против фашизма.

Многие делегаты Мадридского конгресса 1937 года в защиту мира и культуры подымались на трибуны, прибыв непосредственно из окопов народной войны. И если на Парижском конгрессе порою ощущалось стремление увести «защиту культуры» в область общефилософских категорий, в Мадриде уже возвращение к отвлеченной проблематике стало невозможным. Любое произведение литературы, любое выступление художника должно было быть прежде всего поступком, действием, и боевая, социальная действенность должна была определять и форму произведения. Это убеждение, которое лишь формировалось на Парижском конгрессе, стало как бы итогом Мадридского конгресса, участниками которого были командиры и комиссары Интернациональных бригад, такие, например, как Людвиг Ренн или Мате Залка. Новый смысл приобрели слова Арагона о «возвращении к реальности», прозвучавшие еще на Парижском конгрессе. Слова эти вспоминали и на конгрессе, проходившем в Мадриде, Валенсии, Барселоне и завершившем свою работу в Париже. О новой «тональности» в определении защиты культуры справедливо говорил один из откликов на работу конгресса, опубликованный в журнале немецких антифашистских писателей «Дас ворт»: «Над трибуной висел огромный портрет убитого фашистами большого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки. Этот портрет возвышался над конгрессом как символ той действительности, которая требует уже не дискуссий о цели, а действия, действительности, которая требует уже не постановки проблемы, а выполнения долга» [1]. Понятие «долга» — «действия» включало для делегатов конгресса, для тех передовых писателей мира, которые не присутствовали на нем, прежде всего профессиональный долг. Командир батальона имени Тельмана Людвиг Ренн говорил в своем выступлении, что мы должны бороться не только винтовкой, но и словом[2].

О том, насколько твердым, выстраданным и бесспорным было это убеждение, свидетельствуют произведения, которые были созданы в период между двумя конгрессами и непосредственно за вторым,— «Зрелость Генриха IV» Генриха Манна, вторая книга цикла «Реальный мир» Арагона («Богатые кварталы»), «Освобождение» Анны Зегерс и многие, многие другие.

В довольно широких кругах общественности, в том числе и советской, существует мнение, что интернациональная помощь борющемуся народу Испании исходила преимущественно от передовой интеллигенции Европы и Америки. Это неверно — основным составом Интернациональных бригад были рядовые граждане разных стран мира — в большинстве своем представители рабочего класса, всеми правдами и неправдами добиравшиеся до места, где можно было непосредственно, с оружием в руках схватиться с фашистским зверем.

Это сочетание интернационализма и демократизма в великом деле защиты мира и культуры сказалось и в том, что приветствовать участников заключительного заседания конгресса — уже в Париже — пришли и французские матросы торгового флота, и рабочие завода Рено, и строители всемирной выставки, и другие представители рабочего класса Франции. Что касается Испании, работы конгресса, протекавшей на ее окровавленной земле, то тут сочувствие и благодарность поистине были всенародными. И пожалуй, наиболее горячо проявились эти чувства в отношении советских делегатов, посланцев той страны, которая внесла огромный вклад в дело помощи испанскому народу.

Батальонам Интернациональных бригад были присвоены имена не только великих революционеров и деятелей культуры прошлого. Наряду с батальоном Карла Маркса были в составе одной из Интербригад батальоны Эрнста Тельмана, Анри Барбюса, Георгия Димитрова, а наряду с батальоном Максима Горького в составе Интербригад был батальон «Чапаев» и батальон «Матросы из Кронштадта». Столь разные памятники той поры, как «Испанский дневник» М. Кольцова и «Записки детского поэта» Агнии Барто, как старые номера журнала «Интернациональная литература» и других изданий советской периодики, сохранили для будущего самую атмосферу конгресса, в дни которого, по слову одного из старейшин прогрессивной литературы Европы Мартина Андерсена-Нексе, «в зал заседаний врывалась сама жизнь, жестокая и возвышенная». И на этом конгрессе «старейшины» были на высоте. Генрих Манн, председательствовавший на заключительном заседании конгресса в Париже, воздал хвалу тем, кто, как Мате Залка (генерал Лукач) и Ральф Фокс, кровью и жизнью своей подтвердил высокую правду того, о чем говорили их книги. «Я жалею лишь об одном,— сказал Генрих Манн,— что мне уже не тридцать лет. И уверяю вас, что это первый в моей жизни случай, когда я завидую некоторым моим коллегам, тем избранникам судьбы, которым она дала право поднять оружие свободы...» [1].

«Мобилизацией всех сил культуры»[2] назвал конгресс в своей речи Всеволод Виш-

[1] Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur, Bd. II. S. 200—201.

[2] Ibid., Bd. II, S. 189.

[1] Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur, Bd. II. S. 184.

[2] Ibid., Bd. II, S. 203.

невский. На выступления советских делегатов зал конгресса отвечал овациями.

«Мы в Испании хорошо вас знаем,— говорил еще на Первом съезде советских писателей его гость Рафаэль Альберти.— Знаем таких поэтов, как Маяковский, Светлов, Асеев, и прозаиков, как Горький, Гладков, Фадеев, Шолохов, Федин. Эти имена не сходят с книжных выставок наших магазинов».

И эти любовь и внимание к советской литературе и культуре были для народов республиканской Испании неотделимы от братской, сыновней любви к Стране Советов, от преданности традициям Октября. Со времени Мадридского конгресса прошло сорок пять лет. Изменилась карта мира, возникло мощное содружество социалистических стран. Сотни миллионов жителей бывших колоний вступили на путь самостоятельного экономического и социального развития. Деятельное движение сторонников мира на всей планете, международные форумы деятелей культуры в Советском Союзе и странах социализма — все это свидетельствует о необратимости тех исторических процессов, которые составляют содержание нашей эпохи. Но вместе с тем возрастает и интенсивность сопротивления империалистической реакции, готовой обречь на гибель само человечество в слепом и бессмысленном стремлении удержать свою исторически обреченную власть

У сил реакции и войны есть и свой штат идеологических работников разного ранга, мастеров дезинформации и клеветы. Я думаю, что в той пропаганде мира и дружбы, в той идейной борьбе против клеветы на социализм и жизнь социалистических стран, которую ведут работники идеологического фронта Советского Союза, стран социализма, всех прогрессивных организаций планеты,— могут и должны послужить хорошим оружием старые, вечно живые традиции интернациональной дружбы культур и народов, совместной борьбы за мир, за жизнь, за лучшее будущее всего человечества.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Повесть ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Двучасовая прогулка». Издательство «Народна младеж».
Сборник ЮРИЯ ТРИФОНОВА под общим названием «Городские повести». Издательство «Отечествен фронт».

ВЕНГРИЯ

Роман ФЕДОРА АБРАМОВА «Две зимы и три лета». Издательство «Европа».
«Дневник Кости Рябцева» НИКОЛАЯ ОГНЕВА. Издательство «Мора».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Европа».
Стихи НИКОЛАЯ РУБЦОВА. То же издательство.

ГДР

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть АЛЕКСАНДРА БЕКА «Волоколамское шоссе». Издательство «Милитерферлаг».
Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита». Издательство «Фольк унд вельт».
Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». То же издательство.
«Педагогическая поэма» АНТОНА МАКАРЕНКО. Издательство «Ауфбау».
Роман ГЕОРГИЯ МАРКОВА «Строговы». Издательство «Фольк унд вельт».

НИДЕРЛАНДЫ

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». Издательство «Арбейдерсперс».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Весенние перевертыши». Издательство «Космос».

ПОЛЬША

Романтическая повесть СУСАННЫ ГЕОРГИЕВСКОЙ «Дважды два—четыре». Издательство «Наша ксёнгарня».
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Путешествие дилетантов». Издательство «ПИВ».
«Повесть о Ходже Насреддине» ЛЕОНИДА СОЛОВЬЕВА. Издательство «Искры».
Роман ЭЛИГИЯ СТАВСКОГО «Камыши». Издательство «Ксёнжка и ведза».
Повесть ВАДИМА ШЕФНЕРА «Дворец на троих, или Признание холостяка». Издательство «ПИВ».

ФИНЛЯНДИЯ

Сборник повестей и рассказов ЮРИЯ РЫТХЭУ «Когда киты уходят». Издательство «Вернер Сёдерстрём».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «За миллиард лет до конца света». То же издательство.
Повесть ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Долгое прощание». Издательство «Гуммерус».

А. ЗВЕРЕВ

ТУПИК

К вопросу об американском постмодернизме

И безразлично, в их речах,
Добро и зло, всё стало тенью—
Всё было предано презренью.
Как ветру предан дольный прах.

А. С. Пушкин. «Зачем ты послан был...»

С некоторых пор модернизм и в Америке стал вызывать к себе отношение в лучшем случае скептическое. Сколько лет многословно и высокопарно говорилось о модернистской «художественной революции», будто бы ознаменовавшей такой радикальный пересмотр духовных ценностей, что после нее история искусства должна была начаться заново. И вдруг все эти разговоры утихли. Вернее, на смену им пришли суждения совсем иного характера.

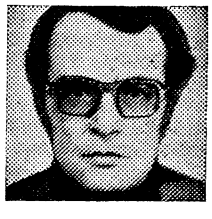
Это «вдруг» можно довольно точно датировать: середина минувшего десятилетия. Тут сразу вспоминается по-своему знаменитый декабрьский номер «Комментари» за 1974 год. Надо сказать, «Комментари» — издание весьма реакционное. Что касается политики, его позицию не назовешь иначе как ультраправой. А в литературном отделе считается нормой дискредитировать демократические традиции американской культуры, попутно осмеивая то наиболее значительное, что она создает сегодня.

При всем том «Комментари» до последнего времени пользовался у части нью-йоркских интеллектуалов известным авторитетом. Да и понятно. С одиозными взглядами руководителей журнала мало кто соглашался, но воздавалось должное твердости, с какой они противостояли разного рода культуртрегерам, столь активно подвизающимся на плодоносной ниве американской индустрии досуга — и в издательском деле, и на телевидении, и на сценических подмостках. Правда, редактор журнала Норман Подгоретц и идейный вдохновитель «Комментари» Лайонел Триллинг признавали истинной культурой, по сути, только модернистское творчество. Но все же их никто бы не обвинил в пренебрежении критериями искусства, которые в сфере «массовой культуры» с необычайной легкостью становятся критериями коммерческого успеха.

Открывая номер со стенограммой дискуссии о путях и перспективах модернизма, читатели едва ли сомневались, что снова услышат о непреходящем значении Джойса и Элиота и о том, как старомодны, как бесперспективны все иные творческие системы.

Но выяснилось, что читатели ошиблись. Потому что за «круглым столом» «Комментари» восхвалений слышно не было, зато очень ясно слышна была озабоченность. Даже тревога. Словно заранее условившись, участники дискуссии дружно констатировали, что модернистская «революция» зашла в тупик. И необходим какой-то резкий новый толчок, чтобы вывести ее из кризисного состояния.

Так что же случилось? А то, что появился «массовый потребитель новаторства в искусстве» — слова Подгоретца, странные в его устах. Действительно, не парадокс ли? На Западе как-то привыкли к тому, что модернизм — искусство переусложненное и элитарное, а модернистский художник — существо одинокое, непонятое, да вдобавок обычно еще и травимое, осмеиваемое невежественной толпой. Основывающийся на биографиях непризнанных художников начала века (по большей части не американских, а европейских), этот образ успел укорениться очень глубоко. Такие культурологи, как тот же Подгоретц, постарались укрепить видимость, будто положение ничуть не изменилось со времен художников-кубистов и Кафки. Оттого и неожиданно услышать теперь о массовом потреблении этого заведомо недоступного — и к доступности не стремящегося — искусства.



ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский литературный критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979) и многих статей по проблемам современной зарубежной литературы. Подготовил советские издания произведений В. Блейка, У. Фолкнера, Ф. Скотта Фицджеральда и ряда других английских и американских писателей.

Хотя, собственно, особенно неожиданными такие признания никак не были. Ведь сам факт, как говорится, налицо: изоляция модернизма от «большой» культуры — добровольная или вынужденная — закончилась. Произошла своего рода интеграция. Границы стерлись. Откуда ни возьмись нагрянуло «несметное множество людей, которые якобы дорожат идеями и ценностями, прежде считавшимися достоянием авангарда».

Подгоретцу незачем подкреплять эту свою мысль конкретными примерами. Потому что примеры в изобилии найдет каждый, кто предпринял бы небольшое путешествие по страницам сегодняшних американских романов, обращенных к самому широкому читателю и нацеленных главным образом на то, чтобы завоевать строку повыше в еженедельном списке бестселлеров. Еще лет десять назад определяющим свойством подобной литературы была художественная примитивность и топорность: схематичные герои, убогие сюжеты, обилие секса, минимум психологизма. Ну а сейчас? Примитивность, конечно, осталась, только она теперь чуть ли не в обязательном порядке приправлена некоей штампованной «сложностью» — экскурсами в подсознание персонажей, согласно теориям наспех перелистанного Фрейда, или хаотичными внутренними монологами «под Джойса», которого уже давно изучают в университетах, или ассоциативным монтажом, чтобы показать знакомство автора с «современной» техникой повествования. Все такие усилия абсолютно не нужны, имея в виду те более чем скромные эстетические задачи, которые стоят перед творцами романов-однодневок. Но что поделаешь, надо прилаживаться к нынешним изменившимся вкусам.

Да, прогулка по рынку, где сбываются изделия американской «массовой культуры», развеет всякие иллюзии насчет надмирности и замкнутости, хотя вроде бы они искони присущи модернизму.

Вот, скажем, в специальном кинозале, куда не впускают подростков, демонстрируется порнографический фильм. Вещь для Запада вполне заурядная. И содержание этого фильма кто же не предугадает? Ну конечно, секс, тупой и механический, лишенный всякой эмоциональной наполненности. Словно и не о любви речь, а о бессмысленном состязании на изобретательность и выносливость.

Однако постойте. Что-то очень знакомое слышится в этих заполняющих паузы разговорах о темной магии физического влечения, да и в самих мотивировках поступков героев, теряющих над собой всякую власть, едва заговорит в них могучий инстинкт пола. Так ведь это прямо из Лоуренса, из «Любовника леди Чаттерлей». Это произведение английского писателя в 20-е годы наделало много шума. Лоуренс испытал сильное влияние фрейдизма. Откровенность интимных сцен в его прозе шокировала, да и вправду была явно чрезмерной. И книгу вплоть до 1960 года запрещали за аморальность.

Только у Лоуренса, как ни болезненно его творчество, было свое, незаемное и непростое понимание жизни (оговорим — во многом ложное). А у тех, кто состряпал очередную сенсационную пустышку, эксплуатируя пока еще тлеющий интерес к запретным плодам, за душой вообще ничего не было. Не считать же их достоянием способность своевременно подметить сегодняшние увлечения теми ли, иными протагонистами истории модернизма, использовав их идеи словно ходкую монету.

Спрос на эту монету, правда, и впрямь велик. Доходит до курьезов — впрочем, не таких уж веселых. Десятилетие назад кому бы пришло в голову, что рассказ Кафки «Превращение», одна из самых трагических его фантазий, послужит основой для шутовского мюзикла с жалкими потугами на остроумие? Кто бы додумался, что появится даже своего рода модернистский китч в виде трикотажных маек, на которых намалеваны портреты былых «бунтарей» — от Генри Миллера до Жана Жене?

Модернизм был искусством кризисной эпохи в буржуазном сознании, созидаемым одиночками и обращенным к горстке посвященных. А стал модой. Его некогда закодированный язык расшифрован и сделался чем-то вроде «свежей» примеси в том культурном асфальте, который усердно вырабатывают массовые средства «эстетической коммуникации».

Что же удивляться сетованиям на то, что обесцениваются краеугольные положения модернистской эстетики и тиражируются определенные ею творческие принципы? На страницах «Комментари» то и дело слышались элегические вздохи по невозвратным временам, когда «истинная» культура модернизма возвышалась над всей прочей культурой, точно Монблан над предгорьем. Если испытать подобное представление реальной историей искусства, окажется, что это лишь оптическая иллюзия. Но хотя бы ясно, как она возникла. Уж слишком разителен контраст между днем нынешним и днем минувшим.

Удивляло в этой дискуссии другое. Перспективы «художественной революции» признавали туманными, а то и вовсе мрачными. И все же в некоторых высказываниях прозвучало удовлетворение сегодняшней влиятельностью модернизма, его растущим признанием, в чем бы оно ни выражалось. Было бы признание, а форма его безразлична. Но разве о популярности — да еще чуть ли не эстрадной — думал Джойс, когда, нищенствуя и теряя зрение, писал — фраза, от силы абзац в день — свои «Поминки по Финнегану»? Разве что-нибудь существенно изменилось от того, что об этой книге — непревзойденном образце многосмысленности, нарочитой затрудненности и герметизма — в Америке теперь все слышали, хотя ее по-прежнему почти никто не читал, поскольку этого и нельзя сделать, во всяком случае без солидной филологической подготовки?

И еще удивляла несостоятельность собравшихся в «Комментари» критиков, когда они пытались указать причины, которые привели к этому безрадостному итогу — идейной и творческой выхолощенности модернизма. Всю вину поспешили свалить на идеологов и культурологов молодежного движения 60-х годов, к тому времени уже стремительно откатывавшегося, чтобы

вскоре угаснуть совсем. Имя Сьюзен Сонтаг упоминалось (или подразумевалось) в этом контексте чаще других.

Это она и ее единомышленники больше всего сделали для того, чтобы, как цветисто выразился Подгоретц, «авангард покинул свой лагерь, расположенный в граде божьем», и спустился на ярмарочную площадь, поневоле усваивая нравы и понятия самой ярмарки, описанной еще Ромэном Ролланом в «Жане-Кристофе». А стало быть, Сонтаг и те, кто ей доверился, должны держать ответ за девальвацию ценностей модернистской культуры и за общий ее упадок.

Успокоительная мысль! Дело, оказывается, отнюдь не в коренных свойствах модернизма, предопределивших теперешний кризис,— не в его формалистических установках, не в его пренебрежении полнотой и объективностью художественной истины, не в элитаристских побуждениях, которыми он всегда вдохновлялся. И социологические закономерности сближения «высокой» и «массовой» культур, происходящего на Западе во все более интенсивном темпе, тут, как можно подумать, тоже ни при чем. А беда, видите ли, в навязанной модернизму леваками чужеродной, неорганичной функции злободневного, политизированного творчества.

Непонятно, правда, каким образом удалось эту функцию навязать, но об этих пустяках в «Комментари» не беспокоились, торопясь спасти реноме самой эстетики модернизма. Выходило, что она так же действенна. И по-прежнему способна питать традицию, восходящую еще ко временам первых декадентов. Надо только восстановить четкое разграничение между «божьим градом» модернизма и плещущимся у его стен разливанным морем псевдоискусства.

Однако этот оптимизм не передался даже самим приверженцам модернистского направления в сегодняшней американской литературе.

Джон Барт — бесспорно, наиболее значительный из них — через пять лет после дискуссии в «Комментари» обнародовал эссе «Литература нового наполнения». Это очень характерный эстетический документ последнего времени. Подзаголовок статьи Барта — «Постмодернистская проза». Игра в термины? Да нет, не совсем. Терминов и в самом деле слишком много: помимо «постмодернизма» еще и «металитература», «суперповествование», «притчевое изображение» и т. п. Но за этими словечками, замелькавшими на журнальных страницах к концу 70-х годов, все же видится достаточно ясно определившееся явление.

Попробуем понять это явление, следуя за ходом мысли Джона Барта. К неудовольствию критиков из «Комментари», модернистскую «художественную революцию» он без всяких колебаний объявляет пройденным этапом. Модернизм, ранний, «чистокровный» модернизм — в этом для Барта нет ни малейшего сомнения — выродился. Ведь «его открытия ныне сделались основательно уцененным товаром». Да и вообще «нам совершенно не требуются ни новые «Поминки по Финнегану», ни новые «Пизанские песни» (Эзры Паунда.— *А. З.*), пусть целая армия почтенных специалистов не устает разъяснять их смысл!»

А что требуется? Требуется постмодернизм, то есть искусство, возникающее уже после того, как собственно модернизм покинул сцену. Понятие это изобретено задолго до Барта. Однако предшественники воспринимали постмодернизм лишь как ту же самую «художественную революцию», доведенную до логических итогов. Вот как это выглядело: для модерниста мир был непознаваемым, разорванным и пугающим, для постмодерниста он как бы и вовсе не существует, во всяком случае не обладает никаким объективным значением. Мир — это только материал для конструирования мифов, аллегорий или чисто лингвистических моделей, «текстов для ничего», как озаглавил одну из своих книг Сэмюэл Беккет.

В постмодернизме существенна внутренняя завершенность эстетической реальности и не больше. От доподлинной жизни с ее тревогами и заботами такая реальность отделена перегородкой почти непроницаемой. В качестве образцов вспоминали позднего Джойса, аргентинца Борхеса, американских «черных юмористов», французский «новый роман». И как кредо постмодернизма цитировали афоризм Алена Роб-Грийе: «Настоящему писателю сказать нечего... У него есть лишь способ, как сказать».

Джон Барт, лидер школы «черного юмора», сам фигурировал среди героев постмодернизма, но для него «металитература» обладает несколько иным содержанием. Порок старого модернизма, на взгляд Барта, в том, что преимущественно создавалась литература о литературе. Нужна же литература о действительности.

Только какая литература? Роб-Грийе и прочие приверженцы «нулевой степени» содержания фактически повторяют судьбу декадентов, «взрывая» целостность мира и разлагая на формальные элементы даже его образ, рожденный «художественной революцией». С другой стороны, современный писатель не может ведь просто повторить этот образ в его законченности — это все равно что облачиться в обветшалый наряд полувековой давности, к тому же ограничив свою аудиторию несколькими «профессиональными служителями и ценителями высокого искусства».

И значит, необходимо приоткрыть дверь для реализма, пойти на эту жертву скрепя сердце. Нет, и речи быть не может о том, чтобы «вернуться к Толстому, Диккенсу и К°», они же выражали всего-навсего «социальный мир буржуазии прошлого века», а с той поры много воды утекло: «были Фрейд, и Эйнштейн, и две мировые войны, и революция в России, и появились автомобили, аэропланы, телефоны, радио, кинематограф, и произошла урбанизация, и возникли ядерное оружие, телевидение, новый феминизм»...

Словом, «Анна Каренина» и «Холодный дом» сегодня могут пробуждать одну лишь ностальгию по эпохе, сравнительно более благополучной, чем наша. А все-таки они еще пригодятся. Для чего? Да хоть для то-

го, чтобы — вновь процитируем Барта — «преодолеть раздор между реализмом и ирреализмом, формальным совершенством и содержательной насыщенностью, чистой и завербованной литературой, изысканной и общедоступной прозой». То есть проштудируем творения метров «художественной революции», а с целью избежать их грехов элитаризма и герметизма добавим в тот же котел кое-что из опыта старых реалистов — вот и получится постмодернизм, искусство сегодняшнего, а еще больше завтрашнего дня.

Ни Толстой, ни Диккенс, ни вся реалистическая классика, разумеется, не пострадают от этих шаблонных обвинений в устарелости, как и от снисходительных похлопываний по плечу, которых удостоил их Джон Барт.

Предполагать, будто реалистическую многомерность и историчность изображения возможно примирить со схематизмом и худосочным умствованием модернистов,— нелепость. Да и сама идея подобного объединения под пером Барта выглядит столь же механической, как производимое им нанизывание характерных примет нашего столетия, словно бы нет принципиальной разницы между великой революцией и кликушеством новоявленных феминисток, между мировыми войнами и изобретением телефона.

Но сама направленность мысли Барта, сама тенденция, выразившаяся в его эссе, не могут не обратить на себя внимания. Говоря о наследниках и продолжателях модернистской традиции, его неизменно называют первым среди современных американских писателей. С ним связывают целое направление, утвердившееся в прозе 50—60-х годов,— «черный юмор». Критики, устанавливая его литературную генеалогию, всякий раз упоминают имена, которыми в первую очередь и обозначена история модернизма: Джойс, Беккет, Набоков, Бютор.

А Барту в этих рамках тесно. И в рамках «черного юмора». И даже в более просторных рамках современного модернизма. Как художник, он безошибочно чувствует исчерпанность и бесплодие модернистского эстетического движения. Если и не до конца ясно, то хоть инстинктивно сознает, что оно уперлось в тупик.

И он ищет какого-то выхода, какого-то нового начала. Факт знаменательный, но только поиски Барта пока что ни к чему не приводят, так как они по-прежнему замкнуты сферой модернистской эстетики и мироощущения, которое в ней выразилось.

Почти одновременно со статьей, о которой шла речь, Барт опубликовал и новый роман «Письма» — монументальное по объему произведение, потребовавшее десяти с лишним лет труда. Поклонники Барта немедленно объявили роман новым «Улиссом» и вершиной современной американской прозы. Сам писатель высказывался гораздо сдержаннее. Лишь просил заметить, что «Письма» для него представляют собой «разрядку в отношениях с реалистической традицией» — прежде нескрываемо враждебных.

В таком контексте «разрядка», конечно, далеко не лучшее слово. Точнее было бы сказать о попытке синтеза реализма с «ирреализмом», которую Барт теоретически обосновывал, толкуя о «литературе нового наполнения». Синтеза не получается. Однако попытка серьезна.

За титульным листом, где сказано, что перед читателем «старомодный эпистолярный роман, сочиненный семью вымышленными чудаками и мечтателями, каждый из которых мнит себя реальным лицом», начинается причудливый мир. Время в нем течет прихотливо, заставляя нас переноситься из современности то на тридцатилетие, а то и чуть не на два столетия назад. Сюжет мы должны восстанавливать самостоятельно, потому что он раздроблен, намеренно размыт, чтобы избежать «линейной последовательности» событий, которая для модернистов всего только замшелый реквизит «буржуазного» романа прошлого века.

Облики персонажей едва угадываются, да и не из поступков, не из конфликтов, а лишь из их собственных исповедей. Они пишут каким-то анонимным адресатам, так и не появляющимся в повествовании (а один из героев — самому себе), и не получают писем в ответ. Автор, тоже выступающий в романе на правах персонажа, пишет своим героям, то им сочувствуя, то над ними посмеиваясь, но с неизменным увлечением отдаваясь этой странной игре.

Игра в данном случае — ключевое понятие, метафора, обладающая не только эстетическим, но и чисто философским смыслом. Кто-то из персонажей заметит, что «жизнь куда богаче ассоциациями, чем конкретными значениями событий», и эта реплика, брошенная как бы мимоходом, открывает подлинный характер восприятия действительности, раскрывшийся в романе Барта. Мир, согласно такому представлению, лишен цельности и логики, все в нем фрагментарно, бессвязно, относительно. И та же история — лишь поток субъективных наших «ассоциаций», а вовсе не процесс, поддающийся какому-то разумному истолкованию. И сама жизнь — менее всего объективная реальность, доступная пониманию и обладающая какими-то «конкретными значениями» разыгрывающихся в ней драм или фарсов. Нет, жизнь — это, собственно, лишь наши фантазии о жизни, произвольные, заведомо недостоверные, сопротивляющиеся всяким усилиям отыскать в калейдоскопе явлений некую объединяющую идею, стержень, центр.

Барту очень важно создать это впечатление хаотичности жизненного опыта, порождающей глубокую отчужденность между людьми. Письма без ответов, послания «в пустоту»,— образ, вряд ли нуждающийся в пояснениях. Но и эта вполне однозначная символика не совсем удовлетворяет автора. Читатель должен вынести из романа чувство полной изолированности одного человеческого существования от другого. И, усиливая его, Барт вводит в новое произведение персонажей прежних своих книг, которые как бы и не заметили, что очутились в иной среде, в ином окружении: каждый все так же мучится собственными заботами, ничего не переменилось, и друг друга они интересуют ничуть не больше,

чем постояльцы гостиницы, случайно попавшие в соседние номера.

Линии судеб, механически соприкоснувшись, тут же и расходятся — с каждым эпизодом все дальше, с каждым письмом все ощутимее. Правда, большинство героев прямо или косвенно причастны к центральной коллизии. Вспыхивают студенческие волнения в провинциальном университете. Разного рода экстремисты строят планы раздуть это в общем-то заурядное происшествие во «вторую американскую революцию». Речь идет, конечно, не о социальных преобразованиях. Только о перевороте в сознании, который леваки 60-х годов предлагали в качестве панацеи для ожиревшего потребительского общества.

Но как раз эта коллизия с особой наглядностью выявляет всю меру разобщенности персонажей (да и человечества — ведь «Письма», как любое произведение Барта, заключают в себе явственный элемент притчи). Кто-то из них и впрямь дал себя увлечь скоропалительными и бессмысленными левацкими лозунгами, а кто-то торопится снять документальный фильм да повыгоднее его сбыть, пока зрителям не приелись патлатые анархисты, из «революционных» побуждений одурманивающие себя наркотиками. Кто-то пускается в путаные рассуждения о политической и экзистенциальной свободе, понапрасну тревожа тень Сартра. А еще один письмописец, явно метящий в местные наполеоны, хоть толком и не разобрал, о чем шумят на митингах, задумывает захват расположенного по соседству старинного форта, где когда-то разыгралось решающее сражение англо-американской войны 1812 года.

Так, в согласии с тем же принципом «ассоциаций» взамен «конкретных значений», повествование распадается на множество несвязанных эпизодов, которые можно вставлять, вынимать, перетасовывать, как карты в пасьянсе. На страницах «Писем» мелькает множество знаменитостей и давней и близкой истории — от индейского вождя Текумзе и молодого Бальзака до провозвестников движения хиппи. Всевозможные эротические комплексы и нездоровые страсти героев описываются с такими подробностями, что роман подчас напоминает стенограмму конгресса врачей-психоаналитиков. Преломляясь в чрезвычайно замысловатой системе зеркал, действительность дробится и искажается, а читателя на протяжении всех почти восьмисот страниц убористого текста не оставляет чувство, будто его водят по ярмарочной «комнате смеха», заставляя любоваться уродцами в вогнутых и выпуклых стеклах.

И в итоге событие, к которому должны стянуться нити рассказа, просто исчезает из поля зрения. Оно подменено восприятиями происходящего, столь несхожими и порою столь гротескными, что уже невозможно разобрать, происходит ли что-нибудь на самом деле. Реальности нет. Есть лишь бесконечные субъективные варианты реальности. Как нет и истины. Есть лишь неисчислимые видимости истины, из которых никто и никогда не сможет установить хотя бы приблизительную картину случившегося.

Это настолько знакомо читателю модернистской прозы, что он вправе задаться вопросом: при чем же тут реалистическая традиция? Не всуе ли помянул о ней Барт? Не мистификация ли эти его слова о «разрядке»?

Все же не мистификация. Каждому, кто читал предшествующие книги Барта, это становится ясно с первых же эпизодов его нового романа. И дело не только в том, что сумятица отразившегося в «Письмах» духовного опыта по-своему достоверно передает внешний облик описываемого времени, которое перекрывает эту разноголосицу, врываясь на страницы романа скупыми, но выразительными свидетельствами: озлобленность солдат, вернувшихся из Вьетнама, разгром антивоенной демонстрации, садистское убийство кинозвезды Шарон Тейт, рекламный шум вокруг готовящегося полета на Луну... Барт и прежде умел двумя-тремя яркими штрихами наметить контур изображаемой эпохи. Это умение в «Письмах» едва ли обрело новое качество.

Действительно новое здесь — это стремление совладать с хаотичным потоком «ассоциаций», внося простоту и ясность в запутанный мир, который создан исповедями героев. Для Барта не остались чистой теорией размышления о том, что пришла пора пойти на выучку к реалистам, так как древо модернистской прозы зачахнет без животворной прививки их опыта, Такая прививка произведена. И для нее взяты даже не уроки Толстого или Диккенса. Взят реализм в своем первоначальном, рудиментарном качестве, которое можно наблюдать у писателей раннего Просвещения.

Барт внимательнейшим образом изучил Ричардсона, одного из «возлюбленных творцов» пушкинской Татьяны, когда-то присвоившей себе восторг и грусть Клариссы, чтобы потом излить их в «письме для милого героя». Персонажи Барта, понятно, живут совершенно другими радостями и печалями. Тем не менее их письма тоже вызывают в памяти далекий ричардсоновский образец — и так на протяжении всего романа, являющегося весьма искусной стилизацией угасающего в наш век эпистолярного жанра.

Можно восхищаться безупречной точностью такой стилизации, можно и посетовать, что она потребовала стольких усилий. Однако надо понять, для чего избран Бартом самый прием и каким целям он служит. Ведь «Письма» — это картина переживаемого Америкой духовного и нравственного разброда. Материал произведения, кажется, менее всего согласуется с предложенным автором художественным решением.

Но подобное решение отнюдь не авторский каприз. Форма ведь не безразлична по отношению к содержанию. Перенимая у Ричардсона формальные особенности построения письма и повествования в переписке, Барт хотел бы перенять и гармоничность, упорядоченность, высокую безыскусность образа мира, раскрывающегося в длинных, скучноватых романах английского классика. Он хотел бы почерпнуть из эстетики реализма то, что изначально составляет неотъемлемое ее свойство и чего

особенно недостает модернистскому видению,— цельность, завершенность, пластичность создаваемых картин жизни. Сама ткань рассказа, по его мысли, должна послужить примером известного преодоления разорванности и алогизма, ставших какой-то противоестественной нормой бытия в сегодняшнем буржуазном обществе.

Любопытный поворот в эволюции писателя, особенно если вспомнить, что Барт — наиболее последовательный сторонник «черного юмора», возведший эту разорванность и алогизм в абсолют и вовсе не стремившийся отыскать некую точку опоры посреди хаоса, каким ему виделся современный мир. Похоже, теперь уже и Барт устал только пародировать претензии общества на разумность своих норм. Похоже, он готов поступиться «веселым нигилизмом», который прежде объявлял единственной позицией художника, желающего честно показать вещи как они есть.

Безотрадный «веселый нигилизм» завел в тупик — Бартом это признано не декларативно, а по сути: самим характером эксперимента, предпринятого в «Письмах» и удивившего многих его читателей. Но тупик остался тупиком, и выхода не обозначилось. Стиль должен отвечать содержанию, но сам по себе сделаться содержанием он не способен. Умение имитировать старых реалистов недостаточно, чтобы почерпнуть из их наследия то, что существенно для сегодняшних творческих задач. Решает здесь не профессиональное мастерство, решает характер писательских взглядов и убеждений.

А они у Барта в общем-то не переменились. И поэтому через разветвленные, неспешные повествовательные периоды, в которых — внешне — сохранены классические пропорции эпистолярной прозы XVIII столетия, у него поминутно пробивается все то же самое восприятие реальности как сплошного гротеска: нет в ней никаких безусловных истин и, стало быть, нет ни грусти, ни восторга, ни подлинной радости, ни настоящей боли, ни зла, ни добра. Все тот же мрачный комизм пропитывает эти письма, и дает в них себя почувствовать все та же избирательность взгляда, умеющего подмечать одни лишь приметы духовной стерильности, дегуманизации, отчужденности, пошлости и извращенности человеческих отношений: словно перед нами не живая жизнь, а какой-то скверный анекдот.

Известный критик Джон Олдридж (советские читатели знают его книгу «После потерянного поколения») в недавней статье заметил, что современная американская проза разучилась «обогащать познание действительности», она способна лишь «приучать к определенному ощущению действительности». Эта мысль справедлива прежде всего по отношению к Джону Барту и другим писателям-модернистам, теперь предпочитающим называть себя постмодернистами. Непредвзятое познание мира в его реальной сложности — функция реализма. У модернистов мир, собственно, «познан» еще до творческого акта. И «познан» вполне определенным образом: сложность устранена, все сведено к набору однозначных характеристик — абсурд, распад, хаос, жестокость исчерпывают собой гамму бытия. Комбинации могут быть различными, но сами ингредиенты обязательны. И невольно задумываешься: так ли много творчества в составлении комбинаций? Ведь ингредиенты всегда под рукой. Вроде баночек с консервами или растворимым кофе.

Барт наделен бесспорным дарованием, и ему, конечно, по силам преодолеть модернистские стереотипы художественного мышления. Необходимость вырваться из плена таких стереотипов он и сам сознает, только ложные теории пока что имеют над ним больше власти, чем побуждения подлинно творческие. И по-прежнему, обедняя самого себя, он стремится убедить, будто гротескность социальных норм и относительность любых этических принципов — некий универсальный закон бытия.

А затем начинает чувствовать застойную атмосферу тупика.

И ищет выхода.

И все не решается на тот пересмотр исходных своих установок, без которых выход не найдется, сколько бы иллюзорных преодолений ни подсказывал Барту его постмодернизм.

Тот как будто второстепенный факт, что центральное событие «Писем» связано со студенческими выступлениями конца 60-х годов, на самом деле характерен и важен. Молодежное движение той поры заметно воздействовало на литературу США. В особенности на модернистскую.

Пытаясь связать кризис модернизма только с леворадикальными веяниями, которые это движение вызвало в сфере культуры, критики «Комментари», разумеется, сильно хватили через край. Но все-таки подобные утверждения возникли не на пустом месте.

«Нам нужна эротика искусства»,— запальчиво декларировала в 1966 году Сьюзен Сонтаг. Довольно с нас интеллекта, идей, интерпретаций! Довольно «дидактики», учености, умствований, «фаустианства», морализма!

Вы скорбите по поводу агонии «высокой культуры», вас печалит, что, ниспровергнутая с пьедестала, она превращается всего лишь в изысканный предмет потребления наподобие альбома с экзотическими марками или пачки редких видовых открыток? Но эта культура и не заслужила иной участи именно потому, что вознеслась на пьедестал, высокомерно игнорируя реальность и создавая свой безжизненный «мир призрачных значений».

Вас ужасает, что студенты вместо того, чтобы трепетно вникать в глубокомысленные комментарии к Элиоту, беснуются на концертах рок-групп и громят университетские аудитории, превращая их в подмостки для хэппенинга? А это варварство надо принять как акт возмездия. И как благо. Потому что вот она, божественная «спонтанность» творчества, вырвавшегося из сетей, которыми его опутал «насилующий искусство интеллект». Вот она, желанная

«эротика», когда на место анемичных идей является живое чувство, осуществляя «шоковую терапию», в которой давно нуждалось больное, уставшее от «интерпретаций» современное сознание.

Перечитывая культурологические сочинения Сонтаг той поры — «Против интерпретации» (1966), «Стили радикальной воли» (1969), еще и сегодня заражаешься энергией ее нападок на искусство, желающее объяснить мир при помощи всяческих мыслительных абстракций. Она атакует это искусство с открытым забралом, развенчивает его неистово и безоглядно, не считаясь ни с какими авторитетами. Долой философию — ее заменит воображение. Долой форму — время требует не романов и поэм, а коллажей, непосредственно передающих ход творческого процесса. Долой концепции — предпочтительнее «молчание», не буквальное, конечно, а предполагающее свидетельство без обобщений, простую запись дорефлективных, подсознательных восприятий, которые только одни способны создавать образы, лишенные «рабской привязанности» к буржуазному миру со всеми его обанкротившимися ценностями.

В этих манифестах каждое слово густо окрашено временем. Молодежное движение шло круто вверх, и вместе с ним нарастала волна «контркультуры», обретшей в лице Сонтаг своего идеолога и провидца. Левацкое доктринерство на ниве эстетики выглядело как нельзя более соответствующим духу эпохи. На самом деле повторялись хорошо известные ошибки вульгарного социологизаторства, к которым добавился нигилизм по отношению к традициям, испытанным столетиями развития искусства. Сонтаг, например, ничего не стоило походя разделаться с реализмом, объявив, что это всего-навсего «жалкий дубликат» действительности, совершенно не нуждающейся в подобном механическом удвоении.

До известного предела все это могло казаться если не истинным, то хотя бы оригинальным, смелым и современным. Однако предел обозначился довольно быстро. Раздираемое внутренними противоречиями движение молодых оказалось беспомощным перед лицом новой социальной ситуации, возникшей после бесславного конца войны во Вьетнаме. Закат «контркультуры» был столь же стремительным, как ее недолгий расцвет.

Она, правда, успела создать собственные стереотипы, еще долго определявшие бытовую моду — пристрастие к музыке «рок», популярность дизайна в духе поп-арта, даже подчеркнуто небрежный стиль в одежде. Только уж очень скромны были результаты этой несостоявшейся «революции сознания». О ее провозвестниках стали быстро забывать по мере того, как «контркультура» незаметно, но необратимо становилась лишь подновленной разновидностью «массовой культуры». И о Сонтаг тоже почти забыли. Печаталась она теперь весьма редко. Да и писала о вещах, вроде бы очень далеких от нынешней злобы дня — то о фотографии как виде искусства, то о значении мотива болезни в романах прошлого и нашего столетия.

Лишь к концу 70-х годов Сонтаг, опубликовав несколько книг подряд, вновь очутилась на авансцене американской литературной жизни. И эти книги — сборник новелл «Я и т. д.» (1978), сборник эссе «Под знаком Сатурна» (1980) — наглядно показали, что проблематика, связанная с «контркультурой», по-прежнему актуальна. Хотя теперь она ставится и решается Сонтаг уже без той лобовой тенденциозности, которая ее отличала прежде.

Последнее и неудивительно. Времена пышного цветения леворадикальных доктрин давно миновали, и приходится учитывать горькие уроки, которые преподала реальная история, подвергнув такие идеи проверке на истинность. Сколько было говорено о близком — не сегодня завтра — торжестве «новой чувственности», которая, овладев массами, перевернет весь порядок вещей в потребительском обществе! И вот из-под пера Сонтаг, верившей в эту утопию безоглядно, выходит признание трезвое и самокритичное. Ошибочна столь устойчивая вера, будто «возможна революция в культуре, не сопряженная с политическими изменениями». Ведь «культурная революция, которая не желает перерастать в революцию политическую, лишена перспектив и увенчивается лишь теологией культуры», то есть обожествлением ее мнимой самоценности.

Да и не только подобные признания свидетельствуют о некотором пересмотре былых позиций Сонтаг. Почему, например, ее последняя книга названа «Под знаком Сатурна»? Смысл этой метафоры прозрачен. Период обращения Сатурна — без малого тридцать лет, это самая «медленная» планета Солнечной системы. Не с той же ли почти микроскопической скоростью трансформируются критерии суждений, сознание, культура? Процесс это долгий, сопровождающийся подспудными торможениями, остановками, возвращениями к уже пройденным этапам. Не отрицает ли он по самой своей сущности идею разного рода «больших скачков», любовно пестуемую идеологами леворадикального толка?

Поистине непривычные для Сонтаг речи. Однако означают ли они, что и «эстетика молчания», и призывы насаждать «эротику искусства» взамен выдохшейся «дидактики» ныне преданы ею забвению, сданы в архив вместе с обесценившейся фразеологией экстремистской окраски? Нет, не означают. Окраска выцвела и стерлась, но убеждения Сонтаг в общем и целом переменились очень незначительно. Произошло не столько изменение, сколько приспособление к новому климату, установившемуся за минувшее десятилетие и в американской общественной жизни, и в культуре.

Эта способность Сонтаг приладиваться к меняющейся социальной и политической атмосфере в США теперь все явственнее принимает характер самого заурядного конформизма. Вот недавний и весьма красноречивый пример. Осенью прошлого года Сонтаг опубликовала статью, где выражено ее понимание природы и сущности реального социализма. Отношение Сонтаг к социалистическому миру и прежде отличалось явной тенденциозностью левацкого толка: трудности становления нового общества ею абсолютизировались, а в качестве

альтернативы предлагалась анархо-индивидуалистическая модель «разобществленного» государства, не знающего никакой внутренней организации. Но при всем том Сонтаг признавала социализм единственной исторической перспективой для человечества.

Сейчас многое изменилось, на смену радикализму пришел консерватизм, высоко поднялась волна искусственно нагнетаемой в США идеологической и политической конфронтации двух социальных систем, антикоммунизм сделался программной установкой нынешней американской администрации.

А что же Сонтаг? Она откликнулась на все эти перемены со впечатляющей — точнее сказать, удручающей — оперативностью. Ее статья пестрит грубейшими выпадами против советского общества, его истории, его образа жизни, его ценностей и идеалов. Иные ее высказывания выглядели бы вполне естественными в устах махровых реакционеров, исключающих всякую возможность честного диалога между людьми разных взглядов и разной идейной ориентации. И подчас просто не верится, что все это написано человеком, в свое время деятельно участвовавшим в борьбе против агрессии США во Вьетнаме, яростно обличавшим тогдашних американских «ястребов» и видевшим в антикоммунизме одну из первопричин идейного банкротства буржуазного общества.

Наблюдая за ходом мысли Сонтаг, иной раз думаешь, что ее эволюция подчеркнуто парадоксальна. И в самом деле, исходная идея, на которой держатся все культурологические построения Сонтаг, состоит в том, что модернистская эстетика потерпела фиаско и должна быть заменена совершенно другой системой категорий. В книге «Под знаком Сатурна» повторены, собственно, те же суждения о перспективах модернистского искусства, которые высказывались и в дискуссии «Комментари», и в эссе Барта, только у Сонтаг они куда язвительнее и острее.

В чем для нее суть модернизма? В стремлении обособить художественную культуру от действительности. Искусство объявляется некоей замкнутой реальностью высшего порядка. Оно цитадель чистой духовности и царство утонченности. И в этом своем качестве оно должно неизменно противостоять вульгарной, бездуховной «массе». Но подобная «игра в бисер» (если вспомнить Германа Гессе, который присутствует в размышлениях Сонтаг постоянно) ведет к выхолащиванию самого искусства. Противостояние оказывается отнюдь не абсолютным: «масса» перенимает если не пафос, то внешние приметы культуры, которой так хотелось бы сохранить свою элитарность и враждебность презренной толпе. Приходит день, когда вдруг выясняется, что «модернизм вполне совместим с мирочувствованием развитого потребительского общества».

Возможно, такой финал побудит задуматься над тем, истинными или ложными были философские истоки модернизма и его фундаментальные установки — эстетические, да и этические? По логике вещей, иного как будто и не представить. Однако у Сонтаг особая логика. Сегодняшние хвори и недуги модернизма она различает явственно, даже зорко. Но причину усматривает лишь в губительных устремлениях к элитаризму. Словно бы эти устремления не явились неизбежным следствием всей модернистской творческой ориентации.

А эта ориентация в ее глазах безусловно верна. Точка отсчета, избранная еще на заре «художественной революции», была определена правильно. И только надмирность, только «божий град», облюбованный модернистами как убежище, а теперь лежащий в развалинах и оплакиваемый Норманом Подгоретцом,— вот подлинный изъян модернистской программы коренного обновления искусства.

Не правда ли, странно? Такие бескомпромиссные обличения худосочного и самодовольного интеллектуализма, такие яростные и порою без промаха разящие выпады против формалистической пустоты модернистских «интерпретаций». Такие отточенные критические стрелы, нацеленные на зашатавшуюся башню из слоновой кости. А в итоге — декларация безоговорочной приверженности модернизму. Потому что для Сонтаг и концепция человека, воплотившаяся в модернистской литературе, и предложенное модернизмом художественное видение органично соответствуют духу и смыслу нашей эпохи.

Только странность эта кажущаяся. И рассуждения о том, что пора заменить модернизм другими категориями,— в общем-то мистификация. Ведь, говоря всерьез, подобная замена означала бы отказ от модернистского одномерного восприятия истории как хаоса, текущей действительности как абсурда, человеческих отношений как непреодолимой отчужденности.

Но Сонтаг считает такое восприятие единственно правомерным. А почему, собственно? Да потому, что действительность глубоко болезненна. Настолько болезненна, что предусловием творчества становится «осознанный агностицизм относительно реальности», слишком гротескной, слишком чудовищной, отрицающей какую бы то ни было возможность познания ее законов. И как-то само собой у Сонтаг выходит, что немощи буржуазного мира оказываются заболеваниями всего человечества. Для модернистов эта ложная универсальность суждений обычна. Но она остается ложной.

Впрочем, не в ней одной дело. Как не заметить, что и применительно к действительности, которая окружает Сьюзен Сонтаг, подобный взгляд весьма узок, шаблонен и пристрастен? Живая жизнь бесконечно сложнее и драматичнее всех этих «предельностей отчаяния» и «предощущений апокалипсиса», заполняющих и статьи Сонтаг по философии культуры, и ее новеллы о буднях потребительского общества. Вселенную социального опыта не охватить, оперируя модернистской схематичной тотальностью неприятия «человеческого удела» и вдохновляясь одной лишь несдерживаемой яростью развенчания мнимо разумных норм бытия, которая водит пером Сонтаг.

Она вообще не мыслит себе искусства, которое не исходило бы из заранее установленной «дисгармонии между творческим «я» и людским сообществом». Ей представляется заведомо невозможной никакая эстетическая целостность, поскольку нецелостна, разорвана, фрагментарна сама реальность.

Об этой разорванности, об этом омертвении связей между людьми, порождающем и духовное омертвение личности, написаны новеллы Сонтаг, к которым трудно отнестись как к явлениям искусства прозы — скорее они напоминают беллетристические иллюстрации идей, сформулированных в книге «Под знаком Сатурна». Недаром Сонтаг с сочувствием процитировала в ней основоположника «театра жестокости» Антонена Арто, заявившего, что «искусство заслуживает внимания лишь настолько, насколько его заслуживают концепции, на которых основывается это искусство». С концепциями Сонтаг в общей форме мы уже познакомились. Теперь легче понять более частные положения ее теории, стиль и пафос ее повествований.

Теория требует, чтобы в произведении господствовала фрагментарность, якобы отражающая объективное положение вещей в мире. «Никаких вступлений, кульминаций, развязок... жанр должен подвергнуться самоуничтожению». И в новеллах Сонтаг нам предстают почти бессвязные осколки будничной жизни анонимных, обезличенных персонажей, какие-то несцепляющиеся молекулы их опыта, который менее всего напомнит полноценное, одухотворенное бытие.

Теория гласит, что «дело современного писателя — не создавать, а разрушать мелочные самообманы, пустые фикции и успокоительные иллюзии насчет всевластья гуманности». И Сонтаг в своих новеллах последовательно разрушает, не слишком заботясь, что именно обречено разрушению: банальность мещанского мышления, напичканного непережеванными идеями психоанализа и экзистенциализма, или «наивная» вера в то, что существует исторический прогресс и за него надо бороться; фикции, кружащие головы неофеминисткам, или этика гуманизма, которую не удается искоренить даже в потребительском обществе с его тягостной духовной атмосферой.

Согласно теории, эта атмосфера должна порождать в искусстве одну лишь «опустошительную иронию», которая развеет разного рода «мифы», все еще влиятельные для современного сознания. С такой «иронией» столкнется читатель любой новеллы Сонтаг. И в каждой из них отыщется свой развенчанный «миф».

К примеру, кто-то и по сей день полагает, что человек живет не под стеклянным колпаком непробиваемого одиночества, а на планете людей. А для Сонтаг сообщество — не более чем стадность, порождаемая темными инстинктами ужаса перед жизнью или насилия над отклоняющимися от бытовых стандартами поведения.

Кому-то еще кажется, что существует личность в неповторимости своего облика. Но, если вдуматься, что такое личность? Тот же манекен, обучившийся произносить типовые фразы и проявлять типовые реакции в легко предугадываемых житейских обстоятельствах. Личность — всего лишь «текст», который легко расшифровать: заемные, вычитанные из газет мысли, воспитанные телеэкраном эмоции, до неразличимости одинаковые, словно в униформу одетые страхи, надежды, разочарования, радости, несчастья...

Что уж тут говорить о каких-то других, немодернистских категориях художественного сознания Сонтаг и о новом видении, порывающем с холодным умствованием «высокой культуры»? Быть может, единственное, чем она обогатила модернистскую эстетику,— это произведенное ею «сокращение дистанции между литературой и читателями». В отличие от прозы Джойса или поэзии Элиота, рассказы Сонтаг не потребуют армии комментаторов и толкователей. Они просты до примитивности.

Едва ли, однако, эту упрощенность можно назвать творческим обретением. Приставка «пост», которой нынешнее поколение американских модернистов отгораживается от предшественников, чье наследие «сделалось господствующей модой» (Сонтаг), разумеется, не знаменует какого-то разрыва и нового начала. И у Барта, и у Сонтаг, и у многих писателей помельче модернизм остался прежним в своих определяющих характеристиках — идет ли речь об ущербной однолинейности интерпретации истории, или о схематичности картин жизни, или о субъективизме мироощущения, замешанного на страхе перед будущим.

Но в модернизме прежнего времени сквозь эту ущербность и схематичность пробивалась боль за человека, мучающегося навязанным ему отчуждением от человечества, одинокого, несвободного ни в мыслях своих, ни в поступках, с ужасом чувствующего, какому насилию каждодневно подвергает его порядок жизни в буржуазном обществе. Постмодернисты освободились от этого «сентиментального» восприятия человеческой судьбы. Холодом равнодушия веет и со страниц Барта, и особенно со страниц Сонтаг. Господствует настроение, для которого недавно изобрели новое словечко — «энтропия»: утасание мысли и чувства, апатия, безразличие, ибо мир уже все равно не исправить и остается лишь вяло наблюдать за его агонией.

Действительно, тупик — безвыходный и страшный.

Лишь мужественный и очень глубокий пересмотр убеждений вознаградит нитью Ариадны тех, кто сегодня оказался в этом тупике.

◆

Культура и современность

ДЖОН ЛЕННОН — ЦЕНА ПОПУЛЯРНОСТИ

«Когда ты погребен и над тобой шесть футов земли, тебя любят все»,— пел Джон Леннон... Он, как всегда, язвил и, как всегда, был прав. Он был любим миллионами при жизни, но, когда его застрелили 8 декабря 1980 года, его полюбили, казалось, все поголовно».

Этими словами начинается статья Роберта Палмера «Помнить Леннона» на страницах американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн». Она посвящена годовщине смерти поэта и музыканта, имевшего в течение своей творческой жизни огромную популярность и влияние среди молодежи и получившего неожиданно всеобщую популярность и любовь после смерти.

Не часто ирония поэта так точно иллюстрируется тем, что происходит с памятью о нем после его смерти. Роберт Палмер ничуть не преувеличивает: огромные демонстрации, отклики музыкантов, переиздания пластинок, наконец, весьма характерная реакция его бывших коллег по ансамблю «Битлз» подтверждают справедливость слов Леннона.

«Проявления горя удивления, духовное опустошение, последовавшие за смертью Леннона, по своей широте и силе соответствовали реакции на убийства таких выдающихся и популярных политиков, как Джон и Роберт Кеннеди, или такого духовного вождя, как Мартин Лютер Кинг. Но Леннон соединял в себе поэта и идейного лидера... Его поразительное воображение, его всепроникающий гений — именно потеря всего этого, такая внезапная и ужасная оплакивалась всем миром» — писал американский журнал «Тайм».

Появление статьи Роберта Палмера симптоматично — прошел год с лишним после трагической смерти Леннона, и настало время с меньшими эмоциями и с большей объективностью попытаться проанализировать такое незаурядное явление в культуре, каким было творчество и сама жизнь Джона Леннона.

Фигура Леннона, при всей самобытности его личности и дарования, представляется одной из наиболее типичных для контркультуры 60-х годов. И чтобы понять причины возвращения интереса к нему в 80-е годы, нужно вспомнить эволюцию его личности и основные вехи его творческой биографии.

Отец ушел из дома вскоре после рождения Джона. Его мать, Джулия, не могла содержать ребенка. Сирота при живых родителях, с четырех с половиной лет Джон рос у тетки на окраине Ливерпуля в условиях так называемого «среднего достатка». Ему были свойственны увлечения, типичные для английской молодежи середины 50-х годов: Элвис Пресли, Литл Ричард, Чак Берри и другие исполнители рок-н-ролла. Их пластинки экспортировались американской промышленностью массовой культуры в Европу и имели в те годы огромную популярность среди английской молодежи, заставляя подражать им, пытаться повторить тот путь индивидуального успеха или хотя бы отчасти походить на расхожий образ преуспевающего человека, который проповедовали эти певцы. Разница между американским подростком, подражающим своему кумиру в богатой и мало пострадавшей от войны стране, и мальчишкой из промышленного города Великобритании была весьма существенной, в большой степени определяющей судьбы этого поколения. Коллективизм англичанина, его опора на среду, игровые, школьные, клубные традиции способствовали организации небольших по составу любительских музыкальных ансамблей, в которых не было ярко выраженного лидера, а несомненное превосходство музыкальной культуры Европы вело к тому, что молодые любители-музыканты, пытаясь подражать любимым американским кумирам, впадали в «ересь» и, сами того не сознавая, использовали традиции народной музыки, позже — церковное пение, элементы старинной музыки и тому подобное. Все это, плюс несомненные поэтические и музыкальные способности, позволило Джону Леннону в шестнадцать лет организовать свой первый ансамбль, или, как теперь принято говорить, группу. И он был не одинок. В его родном Ливерпуле таких ансамблей было несколько, в Ньюкасле начинал свою музыкальную деятельность Алан Прайс, в Лондоне — Мик Джеггер,

Манфред Мэн и другие. Следует отметить особую живость реакции Леннона на актуальные проблемы, волновавшие тогда молодежь.

Вскоре после организации группы в ее составе были три чрезвычайно талантливых музыканта: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, которые определяли музыкальное лицо ансамбля. Группа уже приобретала местную популярность, и музыканты начали зарабатывать небольшие деньги. Это позволило организовать гастроли в ФРГ, в Гамбурге. Тогда же ансамбль получил новое название «Битлз». Во время этих очень важных для Леннона событий, в конце 1956 года, в автомобильной катастрофе погибает его мать. На эту травму Леннон отреагировал следующими словами: «Я потерял ее дважды».

После того как на группу «Битлз» обратил внимание молодой продюсер Брайан Эпстайн, получивший впоследствии прозвище «пятого битла», ансамбль, реорганизованный и получивший нового ударника Ринго Старра, начал быстро завоевывать популярность и практически с 1963 года стал символом молодежной контркультуры 60-х годов. Вспомним широкоизвестную фразу Леннона: «Мы более знамениты, чем сам Иисус Христос».

Для того чтобы разобраться в причинах популярности песен «Битлз», нужно прежде всего, не умаляя поэтических и музыкальных талантов Леннона и остальных членов группы, вспомнить те социальные, экономические и моральные проблемы, которые привели к появлению феномена молодежной контркультуры.

Неприятие образа жизни и идеалов старшего поколения, призрачность мифа о счастливом капитализме и, не в последнюю очередь, духовный голод, на который обрекала молодежь массовая культура, ориентирующаяся прежде всего на потребителя, ищущего «молочные реки и кисельные берега», «хэппи-энды», а вовсе не решения социальных и экономических проблем, наконец, естественное желание нового поколения по-своему осмыслить мир, в котором этому поколению предстояло жить,— все это привело к попыткам создать собственную идеологию, дающую молодому поколению опору и надежду на лучшее будущее в жестоком мире свободной конкуренции. Отметим, что почвой для этих в большой степени стихийных поисков была все та же массовая культура, которую продавали, показывали, транслировали, производили для молодежи. Несмотря на несоответствие требуемого молодежью и производимого для молодежи продукта массовой культуры, выйти за ее рамки при изготовлении своих стихийных идеологических конструкций было трудно.

Как пример эклектичности взглядов лидеров молодежной контркультуры начала 60-х годов интересно привести ряд высказываний, опубликованных в те годы в газете «Мелоди мейкер». В них уживаются противоречивые взгляды: утверждение ценностей, свойственных капиталистическому обществу и проповедуемых массовой культурой, и осуждение социальной несправедливости, желание изменить мир в лучшую сторону, недостаток знаний о мировой культуре и стремление к самовыражению средствами искусства, искренняя религиозность и стихийный атеизм.

Вот что говорили о себе лидеры контркультуры 60-х годов:

Джон Леннон: «Мы начали как попзвезды «Битлз» и хотим оставаться ими и далее...

Если наша следующая пластинка не займет первого места, нас ожидают трудности...

Больше никаких гастролей и гала-выступлений. Мы никогда не слышали как следует самих себя. В конце концов, что еще можем мы сделать после выступления перед 56-ю тысячами человек? Что дальше? Больше славы? Больше денег?»

Его отношение к войне недвусмысленно:

«Война во Вьетнаме несправедлива, с какой стороны ни посмотри, это все, что мы можем сказать, находясь в Америке. Мы можем высказать свое мнение в Англии, но не здесь... Америка больше Великобритании, и здесь больше изуверов, склонных извратить все, что ни скажи».

Об американской балладе, прославляющей подвиги «зеленых беретов», его коллеги высказывались следующим образом:

Поль Маккартни: «Подделка! Это отвратительная пластинка».

Мик Джеггер: «Ужасная, нездоровая песня, и я надеюсь, что ее не будут продавать в Англии. В Америке продано больше двух миллионов пластинок. Это свидетельство милитаризма американцев».

Если антивоенные взгляды «Битлз» отличались определенностью, то все, что касается вопросов морали и рецептов излечения общества от его пороков, поражает своей беспомощностью, поверхностностью. Здесь особенно заметно воздействие массовой культуры.

«Битлз» прошли через все увлечения и эксперименты, характерные для того времени. Были и попытки строить творчество на современной экспериментальной музыке, и замена христианской этики восточной, и своеобразная любительская интерпретация руссоизма, и проповедь всеобщей любви и мира, и примитивный социальный утопизм. Причем весьма типично и то, что творцы всего этого часто не сознавали ни источников, ни сравнительной ценности того, что они делали. Но именно то, что Леннон все время предлагал какие-то лозунги и альтернативы, понятные и необходимые молодежи, основные темы его творчества: неприятие милитаризма, необходимость преодолеть некоммуникабельность, разоблачение буржуазной демократии, всякой фальши вообще — все это обеспечивало ему невероятную популярность, как уже не просто поэту и музыканту, но как идейному лидеру.

Вот некоторые строки из песен Джона Леннона, которые были подняты на щит молодежью и впоследствии превратились в ее лозунги: «Все, что вам нужно,— любовь!», «Бог — мера, которой мы измеряем свои страдания...», «Все, что мы требуем,— это дать миру шанс».

Стихами можно выразить свое неприятие мира, свои надежды и упования, протесты и сарказм, но переделать социально-эконо-

мическую структуру капитализма стихами нельзя. И произошло неизбежное. В конце 60-х — начале 70-х годов наметился процесс переоценки ценностей уже не просто молодежной контркультуры, а контркультуры, превратившейся стараниями хозяев фирм грампластинок, издательств, дискжокеев, телевидения и радио в новый вид молодежной масскультуры. Возраст тоже давал себя знать, и бывшие лидеры молодежного движения компромиссами или полным отказом от своих прежних позиций стремились обеспечить себе стабильное положение либо — зачастую трагически — уходили со сцены. Появляются сольные звезды, обладающие сильной индивидуальностью: Дэвид Боуви, Джон Андерсон, Эрик Клэптон, Роберт Фрипп, Питер Хэммилл, «Элис» Купер... Разваливаются такие перспективные коллективы, как собственно «Битлз», «Крим», «Прокол Харум», «Кинг Кримзн». Смерть настигает таких крупных и подающих большие надежды музыкантов, как Джимми Хендрикс, Марк Болан, Джэнис Джоплин и многих других.

Своими поступками и заявлениями Леннон подтвердил, что не был исключением. Так, он считал, что только после ухода из «Битлз» он обрел творческую самостоятельность. В песне «Бог» он пел: «Не верю больше в «Битлз», верю лишь в себя, в себя и Йоко, грезы прошли...»

«Как я могу любить, когда не знаю, что это такое? Как я могу любить, когда любовь — это то, чего у меня никогда не было?» — признавался Леннон после распада «Битлз».

Такая весьма характерная эволюция: от утверждения «Все, что вам нужно, — это любовь!» до анализа «как я могу любить, когда я не знаю, что это такое?» — типична для творчества 70-х годов, но четкое осознание своей неспособности изменить мир и вместе с тем надежда на лучшее будущее, пожалуй, были свойственны только Джону Леннону.

«Леннон каким-то образом ухитрялся быть одновременно резким, рассудочным аналитиком самого себя и своего времени и неисправимым оптимистом»,— справедливо утверждает Роберт Палмер.

Способность воспринимать свою жизнь как источник творчества и нежелание отделить ее от жизни общества, тяга к экспериментаторству и вместе с тем постоянное использование традиционных форм сделали Леннона чем-то вроде идейного и творческого идола молодежи 70-х годов, о чем свидетельствуют тиражи и успех грампластинок с записями его песен. И эта роль беспокоила англо-американские официальные круги. Ни практический уход Леннона со сцены, ни огромное состояние, приобретенное за время работы с «Битлз», которое, казалось бы, делало его частью буржуазной культуры, не могли заставить их забыть о том, какой идейный заряд несло его творчество. Достаточно вспомнить, например, продолжавшийся пять лет судебный процесс Леннона против правительства США, не дававшего под разными предлогами поэту возможность жить в этой стране.

И после распада «Битлз» Леннон остается «звездой». Но и он не избежал воздействия индустрии массовой культуры. Хозяева рынка грампластинок начали пропагандировать новый рецепт успеха на эстраде — диско, в котором текстам песен отводилась жалкая участь примитивного набора звуковых, сексуальных и прочих сопроводительных штампов. Этот низкопробный музыкальный товар имел быстротечный успех. Как своеобразный, отчасти стихийный, отчасти организованный противовес этому сорту развлечений публики появился панкрок с его культом разрушения.

Примерно в это время Леннон уходит со сцены. Было ли это сдачей своих творческих позиций? Прежде чем отвечать на этот вопрос, отметим немаловажное противоречие между теми взглядами, которые проповедовал Леннон, и тем финансовым положением и образом жизни, который вел он сам. При всех благотворительных, искренних антивоенных и прочих жестах, он приобретал все больше собственности — домов, усадеб, земель и т. п., что с социальной точки зрения превращало его в преуспевающего буржуа, представителя того самого класса, который он сам так высмеивал и который отвечал ему открытой неприязнью и неприятием в свою среду.

В то же время, если этот уход со сцены рассматривать не как частный случай, а как шаг, соответствующий способности Леннона реагировать на актуальные проблемы не только своим творчеством, но и своими поступками, то станет ясно, что это не сдача позиций, как могло бы показаться, а скорее еще одна типичная для времени смена образа жизни.

Способность видеть людей, события, мир с необычной стороны приводит Леннона каждый раз к творческому переосмыслению происходящего. Может быть, именно это свойство творческого характера поэта и музыканта и заставило его не просто уйти в счастливую семейную жизнь, но найти в этом очередной мотив, очередную причину для новой работы. И этот процесс представляется вполне естественным, так как новые стихи и музыка предсмертной пластинки Джона Леннона не столько выражали довольство существующим положением вещей, сколько говорили о разладе Леннона с окружающим его миром. Об этом свидетельствуют, например, и строки песен, записанных на его предсмертной пластинке «Двойная фантазия»: «Люди считают меня сумасшедшим... Что ж, они по-своему предупреждают меня, чтобы не дать мне погибнуть... Нет друзей, и врагов пока нет — мы абсолютно свободны» (Леннон подразумевает жену и соавтора Йоко Оно).

Вскоре после выхода пластинки «Двойная фантазия» американский журнал «Тайм» в статье «Последний день в жизни» сообщал:

«Толстый коротышка, уроженец штата Джорджия, бывший охранник с Гавайских островов, по имени Марк Дэвид Чепмэн, выпустил пули в Леннона... Пока Леннон сделал шесть неверных шатающихся шагов, Чепмэн просто стоял на месте и затем пошел вместе с арестовавшими его полицейскими, как примерный гражданин, несправедливо арестованный за нарушение уличного движения.

Впоследствии при расследовании было вскрыто много зловещих сопутствующих деталей. Но сразу после убийства он не дал никаких объяснений и ни о чем не сожалел».

Это событие на нью-йоркской улице можно считать случайной трагедией, чудовищным преступлением маньяка, убившего поэта, от которого именно тогда ждали новых свершений. Но скорее это событие было типичным для общества, для которого подобные преступления — примета повседневной жизни.

Реакция на эту трагедию была, пожалуй, почти столь же неожиданной, как и она сама. Гибель, казалось бы, уже уходящего в прошлое поэта и композитора принесла ему полное признание всех слоев общества. Все, начиная с правительственных кругов, кончая старыми соратниками по ансамблю «Битлз», оказывается, любили Леннона и горевали о его гибели. Не будем останавливаться на мотивах высказываний большинства коллег Леннона, политиков или остаточных явлениях массового психоза, приведших к нескольким самоубийствам. Комментируя этот поток воспоминаний, чествований, сожалений и соболезнований, можно привести фразу самого Джона Леннона из его второго после эпохи «Битлз» альбома песен «Представь себе»:

«Я по горло сыт высказываниями нервных, близоруких, ограниченных ханжей».

И хотя в популярности Леннона было и много искреннего чувства, но в этом высказывании — свидетельство его одиночества в толпах почитателей, его отвращения к массовому психозу.

Попытаемся оценить влияние Леннона на поэтов и музыкантов, работающих в оппозиции массовой культуре сейчас, так как именно среди них надо искать идейных наследников Леннона. Прежде всего — «Двойная фантазия» не последняя работа Джона Леннона. При его активном участии готовилась новая грампластинка его жены «По тонкому льду», может быть лучшая в ее творчестве.

В свой последний вечер он закончил работу над этой пластинкой, гораздо более проблемной, выдержанной в новом для него стиле. В музыке и текстах этой записи чувствуется влияние так называемого рока «новой волны». Этот стиль поэзии и музыки характеризует целую плеяду музыкантов и поэтов высокого профессионального уровня, пытающихся в своем творчестве возродить то эмоциональное выражение в поэзии и музыке, ту искренность текста, которые были свойственны 60-м годам, именно то, что прекрасно делал Леннон. Связь с поэзией и музыкой 60-х годов, созданной Ленноном, Прайсом, Дэвисом, Джеггером, демонстрируют теперь многие: Джой Джексон, Джой Страммер, Крис Диффорд, Гленн Тилбрук и другие. Не просто имитация стиля, но прежде всего злободневность текста, а порой и нарочитая грубость выражения чувств и мыслей свойственна поэтам «новой волны», само появление которой свидетельствует о ностальгии по 60-м, поре расцвета молодежного движения, а главное — о том, что породившие его проблемы остались актуальными и для 80-х годов.

Притягательность личности Леннона, яркость его таланта привлекали к нему, его взгляды и образ жизни делали его явлением, типичным для своего времени. Нерешенность затронутых им проблем заставляет возвращаться к его личности, переосмыслять его творчество, превращая Леннона в часть современной культуры. Именно эту мысль высказывает в заключение своей статьи «Помнить Леннона» Роберт Палмер:

«Леннон любил возбуждать любопытство. В его резком, непринужденном смехе было что-то почти анархическое... Я буду помнить и любить именно эту диковатость смеха и вызов, скрывавшийся за его улыбкой. Битл Джон принадлежит эпохе, которая уже ушла от нас, но честный, вспыльчивый Джон Леннон принадлежит будущему».

А. ШВАРЦ

◆

Публицистика

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ

ВЫЗОВ ЖАН-ЖАКА СЕРВАН-ШРАЙБЕРА

Наряду со многими другими признаками, начало 80-х годов отмечено на Западе всплеском футурологических исканий и изысканий. Чуть ли не еженедельно, а то и чаще появляются сообщения о выходе в свет очередного опуса, посвященного будущему — начиная с 2000 года, как недалекого приметного рубежа времени, и далее без ограничений. Реклама, как ей и полагается, называет каждое из этих изданий эпохальным и уникальным, едва ли не все они объявляются бестселлерами, дабы обеспечить достойный сбыт. И уж непременно какой-нибудь именитый ученый или политический деятель, рангом не ниже лауреата Нобелевской премии, пишет в предисловии, что автору наконец-то удалось проникнуть в тайны Хроноса. Таков ритуал.

Читатели, интересующиеся этой материей, знают, что в начале 60-х годов подобное явление уже имело место и его окрестили «бумом прогнозов». Сейчас тоже все признаки бума: и искусственно нагнетаемый шум со стороны производителей футуропродукции, и неподдельное любопытство, даже тяготение к ней со стороны ее потребителей. Но здесь не простое повторение, а с весьма существенным своеобразием. Тогда спрос на предвидение возник на фоне относительно благоприятной для капитализма конъюнктуры. Только-только его идеологи провозгласили пришествие эры «всеобщего благоденствия», экономика росла приличными темпами, виды на рынок были обнадеживающие. Проецируя на перспективу и эту благополучную ситуацию, и сопутствовавшее ей оптимистическое настроение, прогнозисты давали зеленый свет капиталовложениям, а футурологи, мыслящие историческими масштабами, открывали впереди следующий этап процветания капиталистической системы: «постиндустриальное общество» (по Д. Беллу), «технотронное общество» (по З. Бжезинскому).

Теперешний бум, явно в противоположность первому, происходит в тревожной кризисной атмосфере. Над одними капиталистическими странами и отраслями хозяйства гроза уже разразилась, другие пока миновала, но раскаты ее ощутимы во всей мировой экономике. Останавливаются заводы, скачут валютные курсы, горят не какие-то там лавочники, фермеры или владельцы автоколонок, которые «ухитрялись» разоряться и в обычные времена, а такие индустриальные гиганты, символизировавшие мощь и неколебимость монополистического капитала, как «Крайслер». О том, чтобы обуздать инфляцию, уже не помышляют, ставя задачу хотя бы сократить темпы ее роста. Со страхом наблюдают, как ползет вверх на диаграммах кривая безработицы, предвещая новые социальные волнения и политическую нестабильность.

Пожалуй, ясней всего показывает, как обстоят нынче дела, то, что многие западные экономисты и политики вспоминают 60-е годы с ностальгией, а иные берут на себя смелость заявлять, что тогда был звездный час капиталистической системы, которому не суждено повториться.

Когда людям (классам, партиям, политическим деятелям) хорошо, они ждут от науки заверений, что им будет еще лучше. Когда плохо, они надеются услышать, что им не станет еще хуже. А если взглянуть на прогноз с прагматической точки зрения, как и смотрит на него капиталист, то в 60-е годы он рассчитывал получить совет, как заработать больше, а в 80-е — как меньше потерять. Понят-

ШАХНАЗАРОВ ГЕОРГИЙ ХОСРОЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский ученый, доктор юридических наук. Президент Советской ассоциации политических наук, первый вице-президент Международной ассоциации политических наук, автор книг «Социалистическая демократия», «Коммунизм и свобода личности», «Социализм и равенство», «Социалистическая судьба человечества», «Фиаско футурологии», «Грядущий миропорядок».

но, что эта существенная разница должна была как-то отразиться на футурологии. И она отразилась, притом любопытным образом.

С одной стороны, возросло число сочинений, рисующих перспективу в мрачных тонах и предвещающих западным странам либо всему миру всяческие беды вплоть до апокалипсиса на библейский манер. Это по преимуществу голос тех, кто умеет только экстраполировать, то есть прочерчивать вперед линию развития, как она сложилась за определенный период. Если такая линия идет вверх, они без колебаний продолжат ее до самого неба, где, как и полагается, обнаружат свой рай в виде упоминавшегося «постиндустриального общества». Если же она поползла вниз, то ее столь же неумолимо дотянут до пропасти.

Иначе реагировало на кризисные явления другое направление западной политической мысли. Оно кинулось искать новые точки опоры, чтобы не позволить капиталистической системе опрокинуться, вернуть ей былую устойчивость. К этому направлению относятся теоретики весьма широкого спектра: и отъявленные консерваторы, и либералы, и реформисты из лагеря социал-демократии. Соответственно разнятся их позиции. Одни строят расчеты главным образом на форсированное создание преобладающей военной мощи и насильственное подавление всяких революционных движений; другие видят единственный шанс в приспособлении к условиям эпохи, в более или менее серьезной перестройке экономического механизма и общественных отношений. Одни упирают на национализм по принципу: «Спасайся кто может!», другие, напротив, доказывают, что в сегодняшнем мире все предельно взаимозависимо, все плывут в одной лодке и выбраться из пучины в одиночку невозможно.

Словом, было бы непростительным упрощением свалить сочинения этих авторов в одну кучу. Но у них есть нечто общее, а именно: стремление не просто пророчествовать по примеру бесстрастного дельфийского оракула, а активно воздействовать на формирование будущего. Поэтому речь сегодня правильней вести уже не о «буме прогнозов», а о «буме проектов» или, как принято теперь говорить, сценариев и моделей. Различие достаточно серьезно: в первом случае главное — констатация (следует ожидать того-то и того-то), во втором — предложение (если мы хотим того-то или, напротив, не хотим, чтобы случилось то-то, надо сделать следующее).

Как раз этот вид футурологического творчества представляет наибольший интерес. И хорошую возможность познакомиться с его сильными и слабыми сторонами дает книга Ж.-Ж. Серван-Шрайбера «Всемирный вызов», опубликованная в конце 1980 года и привлекшая на Западе широкое внимание [1].

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial. Paris, Fayard, 1980.

Такой выбор объясняется следующими соображениями.

Серван-Шрайбер — известный французский журналист и политический деятель, в прошлом директор еженедельника «Экспресс», лидер партии радикалов и радикал-социалистов, автор нашумевшей в свое время книги «Американский вызов» [1]. В своей новой работе он претендует ни много ни мало как на открытие, призванное положить конец предыстории человеческого общества и стать началом подлинной его истории.

Далее, «Всемирный вызов» — не просто авторское произведение, книга служит своего рода манифестом так называемой Парижской группы. Эта группа, как сообщается в послесловии, была создана летом 1979 года, чтобы «найти пути достижения новой динамики экономического развития» и создать «концепцию мультимира». В ее составе бывший министр финансов и экономики ФРГ К. Шиллер, американский юрист С. Пайсар, руководитель Национальной федерации японской промышленности Т. Доко, министр нефти Саудовской Аравии шейх Ахмед Заки Ямани, ряд лиц из их окружения.

Но самое существенное заключается в том, что Серван-Шрайбер и его коллеги берут на вооружение идею так называемого «информатизированного общества» (или, проще, информатики), связанную с важным и многообещающим этапом научно-технического прогресса. Они не являются пионерами, поскольку появилось уже немало публикаций на эту тему [2]. Но, вероятно, никто еще не брался с такой определенностью судить о всех социальных последствиях «информатики». А главное — никто не пытался столь настойчиво и, я бы сказал, азартно рекламировать ее в качестве спасительного ключа к достойному человека будущему.

Итак, попробуем разобраться, в какой мере обоснованны эти смелые утверждения.

«Всемирный вызов» — довольно объемистое произведение, написанное в стиле научно-политической публицистики и изобилующее отступлениями, очерковыми зарисовками, авторскими реминисценциями, экскурсами в историю. Но основное его содержание сводится к трем вопросам: что угрожает человечеству, в чем его спасение, как этого достигнуть. Последуем и мы логике автора.

■

В наше время каждый имеет представление о том, какие сложные проблемы стоят перед мировым сообществом в преддверии третьего тысячелетия. В первую очередь необходимо сохранить и

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi américain. Paris, Fayard, 1967.

[2] В частности, этому посвящена книга соотечественника Серван-Шрайбера, бывшего министром в правительстве Ширака М. Понятовского (M. Poniatowskyi. L'Avenir n'est écrit nulle part. P., 1978). Он предпочел, правда, термину «информатика» термин «телематика».

упрочить мир, предотвратить ядерное побоище, остановить расточительную и опасную гонку вооружений. С высвобождением человечества из тисков милитаризма в немалой мере связана возможность создания нормальных жизненных условий растущему населению земли — ликвидации голода, нищеты, эпидемических заболеваний, неграмотности. В широком смысле речь идет о преодолении слаборазвитости в масштабе как целых стран и даже континентов, так и отдельных районов или — если взять другой разрез — социальных слоев. Это потребует и радикальных общественных преобразований, и освоения новых энергетических и продовольственных ресурсов на основе целеустремленного использования достижений научно-технической революции (НТР). Одновременно следует защитить природу от шлаков цивилизации, угрожающих забить ее кровеносные сосуды и ослабить животворящую силу.

Все эти проблемы получили название глобальных, о них много писалось и пишется, в том числе в нашей печати [1]. Серван-Шрайбер — и в этом он не оригинален — объединяет задачи жизнеобеспечения, преодоления отсталости, разрыва между экономически развитыми и слаборазвитыми странами, сохранения среды обитания человека в одну комплексную задачу — развитие. Он горячо и убежденно доказывает, что задача эта приобрела в наше время небывалую остроту и отказ от ее решения повлечет за собой непредсказуемые последствия.

Почти миллиард людей на земле находится в зоне голода. Только в 1979 году, объявленном Годом ребенка, от недоедания умерли 12 млн. детей в возрасте до пяти лет.

500 млн. азиатов, 140 млн. африканцев, 90 млн. латиноамериканцев и жителей Карибских островов лишены доступа к годной для питья воде.

Две трети человечества постоянно подвергаются опасности заражения болезнями, превращающими людей в калек; одним лишь бильгарциозом, вызывающим слепоту, болеют 250 млн.

400 млн. человек живут в бидонвилях. Гигантские мегаполисы (Мехико — 9 млн. жителей, Калькутта — 9 млн. и т. д.) продолжают непрерывно разбухать, пожирая сельскохозяйственные окрестности, плодя скученность, грязь, преступность, алкоголизм [2].

Цифры, в общем, известны. Они вопиют. И весь вопрос в том, как их комментируют, в чем прежде всего усматривают причину слаборазвитости и сопутствующих ей бед.

Нельзя сказать, чтобы Серван-Шрайбер вовсе уклонился от ответа на этот острейший политический вопрос. Он признает, что конец колониальных империй не привел к обеднению стран-колонизаторов, а, напротив, обогатил их. «Индустриальный мир» не только не возвратил бывшим колониям то, что было у них отнято, но и добился за последние тридцать лет беспрецедентного подъема, «систематически эксплуатируя ресурсы «третьего мира» — Юга — и продавая свою продукцию на собственных — единственно расширяющихся — рынках, рынках Севера» [1].

При этом ножницы цен постоянно раздвигались в ущерб Югу. Так, в 1960 году Малайзия могла купить джип за четыре тонны каучука, а в 1970 году — за десять. В 1954 году страны — производители кофе должны были отдать за тот же джип 14 мешков кофе, а через 8 лет — 32 мешка. Таков «мировой порядок», заключает Серван-Шрайбер, и он еще долго будет таким. «Бедные страны истощаются, поставляя сырье, чтобы *по все более высоким ценам* покупать промышленные изделия и даже основные продукты питания, культуры которых были заменены у них экспортной продукцией» [2].

Здесь со всем можно было бы согласиться, если б не одно существенное обстоятельство. Вслед за многими другими политологами Серван-Шрайбер, как мы видели, охотно использует географические понятия в качестве политико-экономических символов. Дело это не новое, все уже привыкли к тому, что, говоря Запад, подразумевают капитализм, а Восток — социализм. Конечно, это крайне неточно, условно, но поскольку отдают себе отчет в условности подобного словоупотребления, ничего предосудительного в нем нет.

Казалось бы, те же рассуждения можно по аналогии приложить и к другому выражению: Север — Юг. Но нет, в данном случае дело обстоит не столь безобидно. Разумеется, ничего страшного, если имеется в виду тот очевидный факт, что большинство экономически развитых стран расположено в Северном полушарии, а большинство развивающихся — в Южном. А вот когда заявляют, что богатый Север (или индустриальный мир) эксплуатирует бедный, слаборазвитый Юг, тогда символика превращается в политику и возникает необходимость сказать: не пытайтесь, господа, перекладывать свои грехи на чужие плечи, социалистические страны не несут ответственности ни за безобразия колонизаторов, ни за неоколониальное ограбление развивающихся стран.

Впрочем, может быть, за подобным «неточным» употреблением геопонятий не стоит злого умысла и автор просто оговорился? Увы, есть доказательство обратного. Серван-Шрайбер вообще избегает употреблять слово «социализм», а заодно и «капитализм». Таким обра-

[1] Недавно вышло в свет монографическое исследование, специально посвященное этой теме: В. Загладин, И. Фролов. Глобальные проблемы современности. М., «Международные отношения», 1981.

[2] Кстати, согласно некоторым прогнозам, к 2000 г. в мире возникнет 25 мегаполисов с населением более 10 млн. человек каждый, из них 20 — в развивающихся странах.

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 244.

[2] Ibid., p. 215.

зом, в его книге обе общественные системы блистательно отсутствуют вместе с присущими им идеологиями и политическими принципами. Поскольку же нет общественных систем, нет, естественно, и противоречий между ними, все растворилось в дихотомии «Север — Юг».

Так случилось, что почти вдогонку за «Всемирным вызовом» вышла в свет новая работа видного итальянского общественного деятеля А. Печчеи «Сто страниц для будущего: размышления президента Римского клуба» [1]. По своей проблематике она близка к книге Серван-Шрайбера и представляет интерес сравнить позиции авторов. Печчеи не сбрасывает со счета главной реальности современного мира: борьбы двух общественных систем. Но поскольку и у него они зашифрованы в туманных понятиях геополитики, результат примерно тот же: социализм и капитализм трактуются как две силы, одинаково повинные в бедах и заботах эпохи. Иначе говоря, и здесь искусственная раскладка грехов «на двоих».

■

Разобравшись с частями света, признаем, что однажды Серван-Шрайбер использует геопонятия вполне корректно. Это при представлении одного из главных героев своего эмоционального повествования — нефти.

На протяжении 50 лет — с 1920 по 1970 год, пишет он, Запад строил на нефти, основным источником которой стала земля Ближнего Востока, свою цивилизацию и процветание, развивая различные отрасли промышленности, транспорт, города, университеты и лаборатории. При этом Запад никогда не помышлял о большем вознаграждении стран-производителей, словно речь шла о естественном законе, действительном на веки вечные [2].

Несколько глав книги являют собой подлинный панегирик нефти. К концу 70-х годов за счет «черного чуда» покрывалось более половины экономических потребностей человечества. Она стала кровью современных видов транспорта — 35% всей нефти сгорает в моторах легковых и грузовых автомобилей, в двигателях самолетов, судов, ракет. Другая треть служит одновременно горючим для промышленной техники и сырьем для нефтехимической индустрии. Сейчас насчитывается свыше 80 тысяч различных видов ее продукции, среди них пластмассы, синтетические ткани и резина, инсектициды, удобрения, красители, медикаменты, моющие средства, пленки. Империя нефти охватывает еще два ведущих сектора современной экономики — отопление и производство электроэнергии. Расширяется ее применение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Наконец, стратегическое значение нефти, замечает автор, возросло настолько, что без предварительного создания огромных ее запасов немыслима никакая война в современном мире [1].

В книге приводится любопытная оценка значения нефти американским профессором К. Солбергом: «Сегодня нам представляется очевидным, что демократия целиком зависит от нефти. Без нефти нет свободного предпринимательства. Дешевая нефть. миллиарды баррелей, добытых и приобретенных по ценам, которые фактически снизились между 50-ми и 70-ми годами, полностью субсидировали подъем промышленных обществ Европы и Америки» [2].

Поразительное по своей простодушной откровенности признание того, что не только экономическое развитие капиталистических стран основывается на присвоении даровых ресурсов, на нем держится сегодня и сама система капитализма, включая столь высокочтимую и ревностно оберегаемую буржуазную демократию. Почему? Очевидно, потому, что лишь благодаря неэквивалентному обмену с развивающимися странами империалистический Запад имеет возможность обеспечивать относительно высокий уровень жизни у себя дома, избегать (или по крайней мере понижать накал) классовых битв и, следовательно, продлевать жизнь системе частного предпринимательства вкупе с ее политической надстройкой.

Чем меньше дарового «черного чуда» (и, разумеется, другого сырья, достающегося по дешевке благодаря ограблению слаборазвитых стран), тем быстрее растут безработица и инфляция. Чем выше цены и больше безработных, тем энергичней рабочий класс, трудящиеся поднимаются на борьбу за свои интересы, тем громче звучит «песнь буревестника». Вот ведь какая цепочка тянется от нефти.

Точнее, не от самой нефти, а от растущей решимости народов покончить с безудержным империалистическим грабежом своих природных богатств. Одним из поворотных пунктов в этом отношении стало требование революционной Ливии (осенью 1970 г.) повысить цены на добываемую в ее недрах нефть. Нефтяной пул Запада во главе с могущественными «семью сестрами» вынужден был на сей раз капитулировать. Примеру

[1] Печчеи утверждает, что главными причинами и следствиями «мирового политического беспорядка» является постоянная напряженность между Востоком и Западом и нарушение равновесия между Севером и Югом. «Человечество распято между этими двумя осями». (Peccei A. 100 pages pour l'avenir: Réflexions du Président du Club de Rome. P., Economica, 1981, p. 110.)

С предыдущей интересной книгой этого автора читатели могут познакомиться в переводе на русский язык (см. Печчеи А. Человеческие качества. Перевод с английского Захаровой О. В., общая редакция и послесловие Гвишиани Д. М. М., «Прогресс», 1980).

[2] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 28.

[1] Ibid., p. 68.

[2] Ibid., p. 71.

Ливии не замедлили последовать другие нефтедобывающие страны, объединенные в ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти), и плотина рухнула.

В начале 50-х годов 70% дохода от каждого добытого барреля нефти шли западным компаниям и 30% — странам-производителям; с 1960 года доходы делились поровну; в 1970—1971 годах, соответственно, 30 и 70; годом позже было установлено, что компании получают 5, а страны — 95%. Одновременно, начиная с 1971 года, несколько раз повышались цены на нефть.

Не приходится говорить, что монополии просто так, из «джентльменских» побуждений, не привыкли отказываться от смысла своего существования — прибыли. Как же получилось, что им пришлось на сей раз смириться?

Серван-Шрайбер не уходит от ответа на этот вопрос. Он начинает издалека, описывая, как бывшие колониальные и зависимые страны, разочаровавшись в способности Запада понять нужды и чаяния обездоленного большинства человечества, решили объединиться для завоевания экономической независимости. Рассказывает, как сложилось движение неприсоединения, у истоков которого стояли Неру, Тито, Сукарно, Насер, сформировались ОПЕК и другие ей подобные организации. Упоминает, наконец, наиболее драматические эпизоды борьбы национально-освободительного движения против империализма: национализацию Суэцкого канала и тройственную агрессию против Египта, колониальные войны Франции в Алжире и Вьетнаме, американскую агрессию против ДРВ.

Словом, экскурс в послевоенную историю можно было бы признать близким к истине, если бы у автора хватило мужества и интеллектуальной честности объективно оценить роль США и СССР во всех этих событиях. Увы, не хватило.

Поначалу Серван-Шрайбер делает общее заявление, что-де «опьяненные своей дуэлью «два гиганта» не захотели прислушаться к прорезавшемуся голосу «третьего мира» [1]. А затем тщится как-то подкрепить это фантастическое по своей нелепости утверждение. В самом деле, если уж называть противоборство социализма с капитализмом дуэлью, то надо по крайней мере признать, что одной из главных ее причин явилась как раз решимость СССР и его союзников помешать подавлению борьбы народов Соединенными Штатами и другими империалистическими державами. И можно не сомневаться, что без такой поддержки были бы невозможны внушительные победы освободительного движения, в том числе — перераспределение доходов от добычи полезных ископаемых в пользу развивающихся стран.

■

Последний факт служит отправной точкой дальнейших рассуждений Серван-Шрайбера. Выше говорилось, что один из героев его книги — нефть. На самом деле надо было сказать: нефтедоллары.

В результате перераспределения доходов и повышения цен на «черное чудо» у правителей нефтедобывающих стран, в первую очередь Саудовской Аравии, Ирана и Кувейта, стали скапливаться колоссальные средства. Помимо контроля над энергией, замечает автор, это дает им также контроль над капиталовложениями. К 1980 году инвестиционные возможности стран ОПЕК составили от 120 до 150 млрд. долларов; ожидается, что к 1985 году они возрастут до 500—800 млрд. долларов.

Там, где злато, там, как известно, правят бал. Серван-Шрайбер восторженно рассказывает, как в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд стекаются хозяева транснациональных корпораций, финансисты из лондонского Сити и Цюриха, посланцы американского президента, дельцы и вкладчики капиталов, агенты по продаже ценных бумаг, посредники, клиенты и торговцы желтым металлом. У всех свои расчеты, связанные с пресловутыми нефтедолларами.

Свой план есть и у Парижской группы. Если верить Серван-Шрайберу, он отвечает намерениям самих владельцев нефтяного богатства. А суть его сводится к простой формуле: обменять нефть на развитие.

Целесообразность и необходимость такой сделки доказывается следующими доводами.

«Третий мир» находится в исключительно тяжелом положении. Несмотря на солидную помощь, оказываемую ему в рамках различных программ по линии ООН и отдельных государств, разрыв в уровне развития между Севером и Югом продолжает увеличиваться. Дальнейшее углубление пропасти между богатыми и бедными странами ведет к накоплению взрывчатого материала, который угрожает в перспективе невиданными катаклизмами или даже гибелью цивилизации.

Запад также переживает нелегкие времена. Повышение цен на нефть подстегнуло инфляцию, растет безработица, а главное — практически исчерпана емкость рынка, что с неизбежностью влечет нарастание кризисных явлений. Чем больше отстает «третий мир», тем меньше он способен поглощать продукцию индустриально развитых стран, тем сильнее закупориваются сосуды мировой экономики и вероятней угроза ее коллапса.

Отсюда вывод: люди в развитых и развивающихся странах должны осознать, что их судьбы неразрывно связаны друг с другом: либо они вместе погибнут, либо сообща спасутся, выживут и добьются расцвета. Перемножение двух минусов, как известно, дает плюс.

Каков же путь спасения? Необходимо массированное вложение капиталов в развитие «третьего мира», чтобы он стал на ноги и в короткие исторические сроки преодолел свое отставание. Одновременно это откроет новые просторные рынки для Запада, позволит ему уйти от кризиса. Вот куда надо направить нефтедоллары!

[1] Ibid., p. 198.

Что касается исходных рассуждений Серван-Шрайбера, то они просто фиксируют реальную ситуацию, сложившуюся в мире в результате империалистической политики колониализма и неоколониализма. Бесспорен и вывод. Кстати, в докладах Тинбергена, Месаровича, Эрреры и других материалах Римского клуба вот уже несколько лет повторяется мысль о том, что жители развитых капиталистических стран должны преодолеть националистический эгоизм и «европоцентризм» (или изоляционизм, когда речь идет о США), проникнуться сознанием «глобальной солидарности».

Знаменательно, что сама жизнь, логика общественного развития вынуждают буржуазную науку осознавать (пусть в ограниченном и приблизительном виде) те фундаментальные истины, на которые основоположники марксизма указали почти полтора века тому назад, которые были развиты В. И. Лениным и положены в основу международной политики КПСС, Советского государства, а именно: объективный характер процесса интернационализации мирового хозяйства и всей общественной жизни, необходимость интернационалистического сознания для совместного решения возникающих перед человечеством проблем.

Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Пусть вывод Серван-Шрайбера не оригинален, важно, что он правилен. А вот с идеей финансировать развитие посредством нефтедолларов дело обстоит сложнее.

Во-первых, даже если б действительно удалось обеспечить целенаправленное и разумное вложение нескольких сотен миллиардов долларов в развитие «третьего мира», это еще не гарантировало бы резкого поворота к лучшему. В последнее время большинство западных специалистов признает, что решение такой задачи требует прежде всего установления справедливых условий международного экономического обмена и радикальных общественных преобразований в самих развивающихся странах. В противном случае операция с инвестициями сведется к швырянию денег в бездонную бочку: они будут возвращаться на банковские счета транснациональных корпораций либо присваиваться местной элитой.

Далее, попытка поднять «третий мир» посредством вложения нефтедолларов отражает известное преувеличение финансовой мощи стран ОПЕК. Как свидетельствует сам Серван-Шрайбер, их валютные запасы обесцениваются в результате инфляции (на 2—5% в год), реальная цена на экспортируемую нефть снизилась из-за систематического падения курса доллара, цены на импортируемые ими товары и продукты питания резко увеличились. А ведь запасы нефти, по оценкам, иссякнут через 30 лет или даже раньше [1].

Наконец, что самое существенное, вероятность разумного использования нефтедолларов предельно ограничивают и национальные потребности нефтедобывающих стран, и корыстные интересы правящих слоев, и весь существующий в капиталистическом мире экономический и финансовый порядок.

Об этом стоит сказать подробней.

Национальные потребности. Серван-Шрайбер исходит из посылки, что страны ОПЕК инвестируют свои нефтедоллары в развитие в с е г о «третьего мира». Но поскольку сами они относятся в большинстве своем к числу слаборазвитых, понятно и оправданно их стремление в первую очередь использовать доходы от нефти на нужды собственного развития. Конечно, они оказывают определенную помощь развивающимся странам, которых, на их несчастье, природа обделила нефтью и другим ценным сырьем. Но, понятно, приоритет будет отдаваться национальным потребностям. И в ответ на призывы Парижской группы к солидарности они вправе, видимо, сказать: а почему такой действенной солидарности не проявляет империалистический Запад, разбогатевший на наших крови и поте, почему он не желает внести по-настоящему серьезный вклад в финансирование развития, а сваливает это бремя на сами развивающиеся страны (все или часть из них, неважно)?

Корыстные интересы. Выражение «богатые страны ОПЕК», столь часто употребляемое в обиходной речи, носит весьма условный характер. Поступавшие в иранскую казну миллиардные платежи за нефть шли главным образом на роскошную жизнь шаха, его семейства и верхушечного правящего слоя, а также на закупку невообразимого количества оружия у американцев. Крохи, перепадавшие трудящемуся, не делали его существование более завидным, чем в соседних Турции или Пакистане.

Впрочем, сошлемся на самого Серван-Шрайбера: «В течение полных восьми лет — от первого нефтяного шока в 1970 году до кануна падения шаха — большинство стран ОПЕК практически ничего не сумели сделать, кроме того, что прибыльно вкладывали свои доходы в банки и сейфы Запада, где они выгодно использовались. Это то, что стыдливо назвали «системой рециклирования нефтедолларов» [1].

Здесь правильно делается оговорка: большинство. Известно, что такие нефтедобывающие страны, как Алжир, Ливия, Мексика и некоторые другие, смогли довольно эффективно использовать свои доходы для создания экономической инфраструктуры, основ национальной индустрии. Почему же другие «не сумели»? Оказывается,

[1] Ibid., p. 147.

[1] Ibid., p. 147.

Английские специалисты также отмечают, что при баснословных доходах (например, в Объединенных Арабских Эмиратах доход на душу населения составил, по их данным, 14 тыс. долларов), положение миллионов людей в большинстве стран ОПЕК не улучшилось, а разрыв между городом и деревней даже возрос (Hallwood P., Sinclair S. Oil, Debt and Development. OPEC in the Third World. London, Allen and Unwin, 1981)

все дело в том, что им мешает всеобщая неграмотность. Почему же, скажем, Куба или Южный Йемен без всяких доходов от нефти ликвидировали безграмотность в один-два года, а султанаты не могут? Ответ очевиден.

Тем не менее Серван-Шрайбер уверяет, что люди, распоряжающиеся финансами богатейшей из нефтедобывающих стран — Саудовской Аравии, готовы вложить капиталы в развитие всего «третьего мира». Сделаем такое допущение...

Финансовый порядок. И посмотрим, могут ли владельцы нефтедолларов использовать их как заблагорассудится.

Что за вопрос, скажет читатель, конечно, могут. Захотят — приобретут виллы в Ницце, или сверхзвуковой «Конкорд», или остров в Эгейском море, или очередную разорившуюся английскую газету, или контрольный пакет акций той самой автомобильной компании «Крайслер», которая уже с 1978 года подает сигналы бедствия.

Эта реальная покупательная сила нефтедолларов способствовала возникновению вокруг них своеобразного теоретического мифа. В начале 70-х годов, когда слой их из тоненьких пачек на дне сейфов стал превращаться в гору, досужие финансисты подсчитали, что, если б саудийцы захотели, они могли бы в один миг стать хозяевами всей французской индустрии. Делались даже предположения, что Эр-Рияд вскоре станет главным финансовым центром и будет диктовать свою высочайшую волю всему западному миру.

Шутить над этим нет оснований. Даже серьезные ученые проявляют порой наивность, сталкиваясь с новыми для них феноменами. Но я убежден, что вот воротилы империализма — политики и коммерсанты — только ухмылялись себе в усы, выслушивая подобные фантастические предположения. И лучше всего это доказывается тем, что они охотно продавали нефтяным набобам все, что те могли пожелать. И даже стали заманивать. Не случайно Серван-Шрайбер, как он сам говорит, видел в шикарном эрриядском отеле целое сборище коммивояжеров, включая посланцев американского президента.

Почему же американская администрация, истерически призывающая западноевропейские страны не заключать соглашение о поставках сибирского газа, чтобы, упаси бог, не впасть в ужасную зависимость от Советов, ничуть не боится «экспансии» саудийского или кувейтского капитала? Потому что и Рейган, и до него Картер, и тот, кто придет после него, с материнским молоком усвоили великую истину империализма: деньги — это все и одновременно ничто. Все, если за ними стоит сила, ничто, если такой силы не имеется.

Впрочем, это знал еще Юлий Цезарь. Рассказывают, что он ухитрился задолжать 40 млн. сестерций и кредиторы ему основательно досаждали. Но Цезарь рассудил правильно, потому что не мелочился и делал большую игру. Занятые денежки он щедро раздавал своим клиентам и легионерам, с их помощью стал «первым среди равных», а уж власть списала все его долги.

Иначе говоря, на деньги покупается сила, сила притягивает к себе деньги, охраняет их и придает им устойчивость. Вот почему бывший шах Реза Пехлеви так упорно закупал оружие и всерьез лелеял мечту возродить воинственную славу империи Кира и Дария. Но по иронии судьбы именно иранский пример показал, как мало стоят деньги, когда за ними не стоит сила. Когда шах был изгнан из страны революцией, США, трижды наплевав на священный принцип частной собственности, использовали иранские авуары в американских банках для политического давления и шантажа. То, что, казалось бы, должно было составить силу Ирана, стало его ахиллесовой пятой.

Так обстоит дело и с другими. Правители Саудовской Аравии вкладывают свои «сбережения» в американские или швейцарские банки либо скупают акции промышленных и иных фирм. Поэтому они кровно заинтересованы поддерживать доллар, не позволить ему упасть слишком низко, вынуждены скупать американские государственные боны и т. д.— словом, становятся интегральной частью мировой капиталистической экономической системы, всецело от нее зависящей.

Но США, помня об Иране, отнюдь не довольствуются экономическими цепями. Ссылаясь на мифическую советскую угрозу свободе морских коммуникаций, президент Картер заявил, что американцы всеми средствами, включая военную силу, отразят любую попытку установить контроль над Персидским заливом, а Пентагон добавил, что пойдет в ход и тактическое ядерное оружие. Продолжая линию своего предшественника, президент Рейган распорядился усилить корпус так называемого быстрого развертывания, предназначенный для подавления освободительных движений, в первую очередь — в нефтеносных странах Ближнего Востока.

Таким образом, и контроль большинства стран ОПЕК над нефтяными ресурсами, и их возможность разумно распорядиться своими валютными накоплениями во многом ограничены.

Но предположим, что Парижской группе удалось, вслед за хозяевами нефтедолларов, «уговорить» заправил империализма дружно взяться за немедленное возрождение «третьего мира», то есть, по упоминавшейся формуле, обменять нефть на развитие. Что в таком случае следует делать, куда направить инвестиции?

Ответ на́ этот вопрос составляет вторую главную идею Серван-Шрайбера. Прежде чем раскрыть ее читателям, он объясняет, почему не оправдал себя другой проект подъема «третьего мира» и закончились неудачей (полной или частичной) основанные на нем эксперименты. Это полезно послушать.

Основной урок последних десятилетий заключается, по Серван-Шрайберу, в том, что провалились попытки обеспечить быстрый прогресс развивающихся стран посредством «индустриализации по модели развитых стран». Понятно, что имеется в виду капиталистическая модель.

Бразилия, говорит автор, была словно перо, которое экономисты носили на своей шляпе и утверждали, что это пример того, как бедная страна может поэтапно превратиться в богатую. Действительно, она вступила сейчас в группу так называемых новых индустриализированных стран, а национальный доход на душу населения достиг вполне солидного для развивающейся страны размера (в 1976 г.— 1140 долларов).

Но это все еще почти в 10 раз меньше, чем в развитых капиталистических странах. А главное — есть две Бразилии, и вопиющее неравенство между ними еще более увеличилось, судьба беднейшей части населения стала еще невыносимей. К тому же следует учитывать, что с бразильским примером связывались особые политические расчеты. «До середины 1980 года «восхождение» этой звезды первой величины среди развивающихся стран, на котором так спекулировали — и так заработали,— восхождение, осуществленное за счет неслыханной нищеты крестьянства, кровавого искоренения оппозиции и фактического снижения уровня жизни 70 млн. бразильцев из 130 млн., обеспечило этой стране всяческие поблажки. Сегодня положение страны представляется таким шатким, что банковского краха, которого всюду опасаются, именно в Бразилии ждут с наибольшим чувством тревоги» [1]. И понятно почему: ее долг достиг 57 млрд. долларов!

Другой пример, на сей раз из Африки — Заир. Эта страна тоже пользуется покровительством Запада. За 12 лет она получила более 800 млн. долларов американской экономической и военной помощи, предназначенной для «укрепления ее стабильности». Когда ее долги достигли 3 млрд. долларов, Международный валютный фонд беспрекословно выделил новые кредиты. Почему? Потому что, по свидетельству чиновника из Госдепартамента, «Соединенные Штаты рассматривают положение Заира в Африке как аналогичное положению Бразилии в Южной Америке. Существующее в поддержку Заира течение (иначе говоря, то же покровительство Запада.— *Г. Ш.*) позволяет надеяться, что он сможет распространить свою гегемонию на континент» [2].

Каковы же результаты? Учреждена западная опека над финансовой системой Заира, страна разложилась под воздействием коррупции и контрабанды, кофе нелегально вывозят через все границы, 60% добываемых алмазов расхищается. Тем временем ЦРУ и секретные службы других империалистических государств заняты укреплением вооруженных сил Мобуту, чтобы он мог раздавить любое народное волнение.

У Запада нет выбора, заключает Серван-Шрайбер, «он должен спеться с Мобуту, так же как Мобуту с ним. Нужно то, что нужно. Поскольку не удалось развить страны «третьего мира», возвращаются к доброму старому рецепту — к силе, армиям, наемникам и оружию. Главное — это оружие, еще раз оружие, которое является наиболее прибыльной и вскоре единственной «разменной монетой» в сношениях с «третьим миром» в обмен на его сырье» [1].

Затем в книге приводятся факты форсированной милитаризации «третьего мира». Почти половина всей мировой торговли оружием приходится на США. Продажа его Францией возросла за десять лет в два раза больше, чем все другие виды экспорта, вместе взятые. 90% экспорта французского и английского оружия предназначено для развивающихся стран. Торговцы смертью борются друг с другом за клиентов, воруют контракты, платят посредникам, содержат сеть агентов. Разрыв между милитаризацией «третьего мира» и уровнем его развития превращает эту милитаризацию в «подлинное орудие саморазрушения» [2].

Видите, какие острые политические оценки, с каким сарказмом умеет иной раз Серван-Шрайбер разоблачить преступный характер империалистической политики в отношении развивающихся стран. Казалось бы, напрашивается вывод, что именно в этом главная причина всех неудач с проектами развития, что нужны поэтому иной подход, иная философия, иные методы. Такой вывод был бы тем более понятен, что сам автор, если судить по названию его партии, социалист, по крайней мере наполовину.

Ничуть не бывало. Когда доходит до выводов, то оказывается, что во всем виновато... отсутствие политики у США, что эта страна, «взвалившая на свои плечи заботы всего мира, вдруг стала задыхаться... впала в инертность... застыла» и т. д. Результатом такой внезапной анемии стало то, что американцы не в силах даже защитить себя от нападок. На всемирной конференции по торговле в Найроби (Кения), где развивающиеся страны выступили с требованием эквивалентного обмена, представители всех других развитых стран маневрировали или отмалчивались, одна делегация США ответила прямым отказом, после чего какой-то африканец сказал: «Американцы заменяют теперь политику канонерок дипломатией высокомерия».

И Серван-Шрайбер патетически восклицает: «Ведь это верх иронии, если единственная западная держава, никогда не бывшая причастной к «колонизации», доходит до того, что вся накопившаяся злоба направляется против нее. И это в

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 224.
[2] Ibid., p. 232.

[1] Ibid., p. 232.
[2] Ibid., p. 239.

то время, как она одна выделяет от 30 до 40% всех кредитов, предоставляемых МБРР» [1].

Полагаю, президент Теодор Рузвельт даже оскорбился бы, прочитав эти строки: он ведь ставил себе в заслугу, что американские колонии отобраны у испанцев и поставлены под полный контроль США. Что же касается вклада США в МБРР и вообще их помощи развивающимся странам, то нелишне напомнить, что американские монополии выкачивают ежегодно десятки миллиардов долларов из Азии, Африки, Латинской Америки за счет беспощадной сверхэксплуатации дешевой рабочей силы, да и в Европе их филиалы не обходятся без прибыли, иначе б они не стали там их держать.

Впрочем, что напоминать, Серван-Шрайбер не может этого не знать. Тут пиетет перед США и политиканство.

■

Перейдем, однако, к другой идее или составной части проекта будущего, выдвигаемой Парижской группой. Приговор таков: поскольку модель индустриализации по примеру развитых стран не сработала, надо вообще отказаться от индустриализации и сразу внедрять в развивающихся странах «информатизированное общество».

Другими словами, по аналогии с известным марксистско-ленинским положением о возможности перехода к социализму, минуя капитализм, предлагается перескочить к новому, более высокому этапу научно-технического прогресса, минуя индустриализацию.

Воздержимся пока от комментариев и познакомимся, хотя бы бегло, с информатикой — вторым главным героем книги Серван-Шрайбера.

Разумеется, наш читатель, особенно имеющий отношение к современной технике, достаточно осведомлен о той роли, какую играют в современном производстве, связи, управлении и многих других сферах деятельности электронные счетные машины, пришедшие им на смену мини-компьютеры и получившие бурное распространение в последнее время микропроцессоры. Именно в этом замечательном достижении НТР, которое принято относить к сфере информации, человечество, по мысли Серван-Шрайбера, как и некоторых других западных авторов, найдет рычаг, который позволит ему перевернуть мир.

Термин «информация» в данном случае далеко выходит за пределы того, что подразумевается под ним в обыденной речи. Это не известия, сообщаемые «средствами массовой информации» — газетами, радио, телевидением, а один из главных компонентов, на которых основывается трудовая деятельность и само существование человека. Такие компоненты — материя, энергия, информация. Чтобы понять последнюю в подобном вселенско-философском качестве, надо отрешиться от узкого привычного значения термина. Все, что составляет какое-то сообщение — это информация. Зажигающийся красный сигнал, крик или запах животного, мерцание звезды, электрическая искра — все это каждый раз представляет собой молекулу информации, информатический элемент [1].

Добавим к этому поэтическому описанию, что в данном качестве информацию следует рассматривать не просто как сообщение, но и как само знание, а процесс информатизации — как накопление знаний, их распространение и использование. Он начался вместе со становлением человека как мыслящего существа, и качественная особенность нынешнего этапа, связанного с НТР, заключается в том, что впервые добыча знаний (информации), их передача и употребление механизируются и автоматизируются.

В этой связи стоит заметить, что соответствующую отрасль техники и технологии именуют иногда электроникой. Термин отражает скорее ее материальную основу, нежели место и назначение в системе взаимодействия человека с природой. Понятие информатики, несомненно, богаче и точнее передает суть дела.

Но вернемся к книге. По мере повышения производительности вычислительных машин их размеры и стоимость непрерывно уменьшаются. Благодаря созданию интегральных схем, объединяющих на одной пластинке 40 тысяч транзисторов, этих электронных ячеек информации, удается создать карманные мини-компьютеры. А за ними следует четвертое поколение ЭВМ — их основу составляют кремниевые пластинки, в которые впечатано уже 100 тыс. транзисторов (на площади размером менее 1 кв. мм).

Человеческий мозг состоит из нейронов, бинарных клеток, число которых достигает 10 млрд. Чтобы иметь аналогичное количество функциональных ячеек, ламповая ЭВМ 50-х годов должна была бы быть равной по габаритам всему городу Парижу. В 60-е годы мозг такого компьютера приближался бы к габаритам здания Парижской оперы. При интегральных схемах 70-х годов он уменьшается до размеров автобуса, а затем и телевизора. В 1978 году его величина не превышает величины пишущей машинки. А в 80-е годы, с использованием микропроцессоров, он станет меньше человеческого мозга.

Разумеется, никакая машина не способна соревноваться с мозгом, ее «творческие возможности» и «воображение» по неизбежности находятся в рамках заложенной в нее информации. Но «трудящиеся» в ней электроны, которые перемещаются со скоростью, близкой к световой (300 тыс. км в секунду), способны выполнять для человека гигантскую вспомогательную работу. Если же их соединяют с производственными механизмами, порожденные таким образом на свет роботы способны работать уже и за человека.

Увлеченный открывающейся перспективой, Серван-Шрайбер пишет, что, ум-

[1] Ibid., p. 219.

[1] Ibid., p. 355.

ножая число взаимодействующих микропроцессоров, можно создавать такие роботы, какие только потребуются для исполнения функций, возлагавшихся до сих пор на рабочих. Мы покидаем эру «линейного роста» ЭВМ (то есть увеличения в простой прогрессии) и вступаем в эру их «экспоненционального роста» (то есть в сложной прогрессии). А связанный с этим приход микропроцессоров на смену рабочей силе означает (прошу обратить внимание на эту формулировку.— *Г. Ш.*) *изменение существующего экономического и социального порядка*[1].

Вот эти изменения.

Введение микропроцессоров в любую производственную технику, то есть превращение ее в робототехнику, позволяет производить продукцию быстрее, лучше и дешевле. Так, продуктивность и рентабельность японского автозавода компании «Тоёта», оснащенного роботами, во много раз выше, чем у других автозаводов. Этот принцип верен в отношении всех секторов промышленности.

Внедрение микропроцессоров завершит переворот в конторской и управленческой технике — уже появляются самокорректирующиеся пишущие машинки без клавиатуры, аппараты с программным управлением, способные размножать тексты, миниатюрные ЭВМ для хранения текущей информации, телефонные аппараты с телеэкраном для автоматической передачи и приема сообщений и т. д.

Компьютеры и взаимодействующие с ними механизмы (кстати, соединение различного оборудования с мини-компьютерами получило уже и свое название — мекатроника.— *Г. Ш.*) найдут широкое применение в быту и будут использоваться каждой семьей. Роботы избавят женщину от тяжелой и неблагодарной работы, помогут образцовому ведению домашнего хозяйства.

Соединение информатики со средствами дальней связи позволит снять или по меньшей мере свести к минимуму проблемы, связанные с необходимостью преодолевать расстояние. Энергию, затрачиваемую на транспортировку людей, а во многих случаях и имущества, возможно будет сэкономить за счет передачи сообщений. Сегодня в Токио, пишет Серван-Шрайбер, часто на конференции собирают не самих людей, а их «образы» и «голоса». Сидя по домам, специалисты ведут между собой коллективные дискуссии[1].

А какие чудеса по части удобств, самообразования и даже политического участия обещает внедрение информатики в быт. Ваш телевизор подключен к всеведущему электронному мозгу и имеет с ним обратную связь. Захотелось вам посмотреть какой-то фильм или театральную постановку — только передайте послушному ящику это пожелание. Решили обновить свои познания в математике — пожалуйста, на экране поползли формулы. Поспорили с домашними на предмет, когда пала Восточная Римская империя,— милости просим, дата на экране. Потом вас пригласили поучаствовать в собрании общины, затем высказать свое мнение по актуальным общественным проблемам, не выходя из дома, проголосовать на выборах...

Обучение на всех стадиях — дошкольной, школьной, институтской — радикально модифицируется. Классическая система, основанная на занятиях в учебном помещении и с физическим участием преподавателя, будет заменена программированным обучением, проводимым с помощью целиком информатизированной системы и принимающим все более индивидуальный характер. Нечто подобное произойдет и в медицине: врачи смогут осматривать заболевших и ставить диагнозы на расстоянии, они будут переадресовывать инструкции по лечению специально запрограммированным для этой цели компьютерам; сами эскулапы смогут «появляться на сцене» только в исключительных случаях[2].

Здесь Серван-Шрайбер, как бы предупреждая возникшее у читателя чувство беспокойства, задает сам себе «единственный вопрос, действительно имеющий значение»: что же будет с человеком, не случится ли так, что информатика сведет его роль к нулю? Все за

---

[1] Ibid., p. 364.

Для сравнения приведем следующую характеристику из упоминавшейся книги М. Понятовского: «По отношению к социал-марксистскому и капиталистическому обществам телематическое общество представляет собой более высокую стадию эволюции. У него своя логика и свои, не имеющие прецедента, возможности. Я даже осмелюсь сказать, что оно относится к другому миру». И еще: «Уже нынешнее состояние телематики дает основание говорить о «мутации цивилизаций», сравнимой с той, которая последовала за изобретением письменности,— увеличение объема памяти, умножение и модификация систем информации, возможное изменение моделей власти». (M. Ponjatowskyi, L'Avenir n'est écrit nulle part. P., 1978, pp. 68, 54.)

Таким образом, при несущественной разнице в терминах — тот же пафос ожидания великих перемен, пришествия технизированного рая.

[1] Ibid., p. 369.

[2] Вот как описывает ту же перспективу американский журнал: вообразите себе учителя, который с бесконечным терпением исправляет ваши ошибки; спортивного тренера, без устали натаскивающего вас в вашей излюбленной игре; информатора, который поможет вам узнать, какая книга считается сейчас бестселлером, что надо в первую очередь приобрести в местном магазине одежды, каковы последние достижения в лечении почечных болезней. Соберите все это в маленький ящик, и вы получите персональный компьютер... Автор ликует по поводу того, что возрастающий спрос на домашнюю ЭВМ позволит оживить экономическую конъюнктуру (Newsweek, 1982, February 22).

него станут делать роботы, он окажется бесполезным и даже вредным [1].

Вопрос о созданном разумом Големе, который убьет своего творца, не нов. Можно сказать, что ему посвящена добрая половина всей научной фантастики. И не только фантастики. Взаимоотношения человека с машиной, как и с природой, относятся к числу фундаментальных мировоззренческих проблем, и философия серьезно занимается ими по меньшей мере два столетия.

Как же отвечает на этот вопрос Серван-Шрайбер? Он категорически отвергает страх перед машиной, утверждая, что, чем больше будет микропроцессоров и средств дальней связи, тем более необходимым станет «человеческий вклад». Ни одна самая маленькая ячейка, ни одно ядрышко во всей этой системе, которой суждено стать универсальной, не сможет функционировать без множества людей. Они будут «составлять, формулировать, выдумывать, чертить, распределять между собой обязанности «программируемой» окружающей среды, которая сама может укорениться только во все более развитом, мыслящем, творчески одаренном социальном организме» [2].

Ну и, возвращаясь к исходной теме «Север — Юг», информатизация приведет к тому, что уроженцы того и другого будут выполнять однотипную работу, уровни жизни разных народов постепенно станут сопоставимыми.

Что и требовалось доказать.

■

Настала пора поразмыслить над той «информатической перспективой», которую столь красочно живописует Серван-Шрайбер.

Прежде всего следует отделить содержащиеся в его повествовании здравые суждения от заблуждений, истину, продиктованную человеческим чувством, от подлога, подсказанного классовым чутьем.

Мы готовы подписаться под теми высказываниями автора, которые подчеркивают эпохальное значение создания информационной техники — всех этих ЭВМ, компьютеров, микропроцессоров. Хвала тем, кто их придумал! Пусть они творят новые, еще более расторопные поколения роботов, способных стать верными помощниками и друзьями человека на его тернистом пути к самовыражению и всестороннему развитию.

В принципе Серван-Шрайбер прав и тогда, когда призывает не бояться машин. Но здесь уже не обойтись без оговорок.

Во-первых, не фетишизируя технику и не «робея» перед роботами, следует все-таки сохранять в отношениях с ними необходимую бдительность. Уже не только сочинения фантастов (особенно так называемые романы-предупреждения или антиутопии), но и практика НТР показала, что слишком поспешное, непродуманное внедрение тех или иных технических нововведений способно обернуться ущербом для физического и нравственного здоровья человека. Поэтому важно, чтобы процесс этот, в целом весьма благодатный, был поставлен под должный общественный контроль, чтобы решения принимались с учетом всех вероятных последствий и «факторов риска».

Можно не сомневаться, например, что читателей покоробит мысль о возможности для больного обходиться без непосредственной встречи с врачом. Не потому, что мы обскуранты и не хотим приобрести удобного домашнего санитара в лице робота с медицинским образованием. А потому, что никакой робот не заменит психотерапии, являющейся одним из важнейших компонентов медицины.

Точно так же кажутся чересчур неумеренными восторги Серван-Шрайбера по поводу «информатизированной системы образования». Получить набор знаний от электронного мозга можно, чиниться здесь нечего. Но вот можно ли с его помощью и без постоянного общения с учителем стать человеком — в этом я сомневаюсь. А разве развитие индивидуального обучения, при всех его вероятных плюсах, не влечет за собой ощутимых потерь и прежде всего хилость коллективистского сознания, которое возникает и крепнет как раз в ученические или студенческие годы.

Опять-таки не дай бог, чтобы кто-нибудь подумал, что мы против новейших методов обучения, лечения и тому подобное. Просто речь идет о разумной мере введения техники в очень деликатные и легкоранимые ткани человеческого бытия [1].

Теперь о социальной стороне дела. Роботы не угрожают благополучию людей, если они не вытесняют человека из процесса производства, лишая его тем самым главного условия жизнедеятельности — возможности трудиться. До сих пор в условиях капитализма всякий крупный этап в развитии машинной техники усугублял и обострял проблему трудоустройства. С этим явлением по-своему боролись еще луддиты, с ним то и дело вынужден вступать в борьбу современный рабочий класс несоциалистической части мира. Где гарантии, что информатизация не повлечет за собой катастрофических последствий по этой линии? Ведь если даже «информатизированное общество» сумеет щедро обеспечить людей всем, кроме работы, то человеку будет угрожать гибель от сытого безделья.

Тут Серван-Шрайбер вправе нас оста-

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 370.

[2] Ibid., p. 371.

[1] Об этом предупреждает в драматической форме А. Печчеи: «Современная наука ведет нас, пассивных субъектов, к фантастическому веку плутония, автоматизации и генетической алхимии, то есть веку, созданному для суперменов. Однако люди по-прежнему остаются просто людьми, совсем не подготовленными к подобному будущему, и движение к этому веку может окончиться для них крахом». (Peccei A., Opus cit., p. 97.)

новить. Действительно, как уже отмечалось выше, он утверждает, что распространение микропроцессоров будет сопровождаться гигантским ростом потребности в рабочей силе. Эта мысль составляет, можно сказать, его главную козырную карту, он возвращается к ней вновь и вновь в разных разделах своей книги, так что приходится немало потрудиться, чтобы собрать приводимые аргументы «до кучи».

Представим, что у нас есть возможность обменяться с автором своими сомнениями.

Вопрос. Почему информатика потребует все больше людей?

Ответ (со ссылкой на заключение группы японских экспертов). «Широкое использование микропроцессоров отнюдь не отражается сколько-нибудь отрицательным образом на положении с занятостью... Напротив, мы являемся свидетелями все более быстрого числа новых должностей и предложений работы, обусловленных присущим микропроцессорам свойством умножать количество потребных для них людей» [1].

Вопрос. Нельзя ли пояснить конкретней?

Ответ (со ссылкой на президента Европейского научно-исследовательского комитета А. Данзена). Технология информатики имеет способность вызывать преобразования в области сельского хозяйства, использующего под ее влиянием более рациональные методы агротехники; в области промышленности, чьи возможности она значительно повышает; в области услуг, развитие и умножение которых она ускоряет [2].

Вопрос. Если так, почему США и другие развитые капиталистические страны не покончили разом с безработицей?

Ответа нет.

Вопрос. Каким образом будет распределяться вызываемая информатикой дополнительная потребность в рабочей силе?

Ответ (со ссылкой на А. Данзена). Она сказывается во всех сферах, например, делает необходимым увеличение услуг административного, коммерческого, финансового, технического порядка... В период с 1970 по 1980 год общее число людей, работающих в области информации, превысило число тех, кто занят на чисто сельскохозяйственных работах, в промышленности или сфере услуг [3].

Вопрос. Не отождествляете ли вы область информации со сферой науки и техники или даже вообще интеллектуального труда? Если сюда добавить еще и отрасли промышленности, так или иначе связанные с электроникой, получится и вовсе преобладающий перевес.

Молчание.

Вопрос. А какова, по вашему мнению, перспектива?

Ответ (со ссылкой на рабочий документ, принятый в Японии). «Возникла категорическая необходимость перейти от общества индустриального, соответствовавшего старым способам развития, к информатизированному обществу во всем механизме производства материальных благ» [1].

Вопрос. Как бы вы лаконично определили этот процесс?

Ответ. Деиндустриализация [2].

Вопрос. Следует понимать это так, что промышленные предприятия, шахты, рудники, электростанции и т. д. будут ликвидироваться?

Недоуменное молчание.

Вопрос. Конечно, трудно предположить, чтобы всерьез вынашивалась подобная абсурдная мысль. Значит, правильней было бы говорить не о деиндустриализации, а об интеллектуализации производства и труда, то есть переходе на следующую, более высокую стадию НТР, не отрицающую достижений предыдущей стадии, но преодолевающую ее негативные моменты. Ну а как с «третьим миром»?

Ответ (со ссылкой на японский документ). «Настоятельная необходимость перейти от индустриальной фазы общественного развития к фазе информатической отныне заявляет о себе повсюду, *независимо от уровня* индустриализации, *от степени* развития и от богатства того или иного общества... той или иной нации. Переход от старого способа развития и производства к новому *необходим повсюду и в одно и то же время*» [3].

Вопрос. Но если «третий мир», махнув рукой на индустриализацию, немедленно сосредоточит все свои силы и ресурсы на внедрении микропроцессоров, кто будет снабжать его металлом, углем, цементом, не говоря уж о продовольствии, для производства которого нужны удобрения, тракторы, инсектициды и т. д.? Из микропроцессоров, как они ни всемогущи, дома ведь не сложишь, да и в пищу они не годятся.

Ответа нет.

Вопрос. К тому же, если немедленно начать повсеместный переход к деиндустриализации, кто будет добывать нефть и откуда возьмутся нефтедоллары, чтобы заплатить за развитие «третьего мира», то есть начать деиндустриализацию?

Ответа нет.

Вопрос. А какими будут общественные отношения в информатизированном обществе?

Ответ. Об этом уже говорилось: все люди получат возможность раскрыть свои способности.

Вопрос. Сохранится ли частная собственность?

Прямого ответа нет. Есть косвенный намек: потребуется более широкое вмешательство государства, поскольку одни частные компании собственными средствами не смогут обеспечить развитие новой технологии [4].

---

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 377.
[2] Ibid., p. 380.
[3] Ibid., p. 380,

[1] Ibid., p. 375.
[2] Ibid., p. 375.
[3] Ibid.
[4] Ibid., p. 405.

Вопрос. Кто будет проводить в жизнь эти мероприятия?

Ответа нет.

Положительно, если б существовала небесная канцелярия по рассмотрению проектов будущего и Серван-Шрайбер представил туда свой «Всемирный вызов», ответственный за это дело архангел начертал бы в углу резолюцию: «Вернуть на доработку».

Основываясь и на ответах, и на «умолчаниях», мы вполне можем сделать некоторые выводы.

Искушенный читатель не мог не заметить, что схема будущего, которую наш автор пытается выдать за оригинальную, представляет собой прямое повторение концепции постиндустриального общества Д. Белла, о которой у нас много писалось [1]. А если вспомнить еще так называемую «технотронную эру» З. Бжезинского, то и вовсе ничего нового не останется. Причем дело не только в совпадении названий: проект Серван-Шрайбера по всем параметрам повторяет предрассудки и заблуждения, заложенные в буржуазных техноидиллиях пятнадцатилетней давности.

Больше того, в некоторых отношениях французский автор ухитрился даже шагнуть назад. Белл хотя бы не игнорировал полностью реальную расстановку классовых сил в современном обществе, пытался сконструировать некую причудливую общественную форму, способную совместить социальный интерес с частной собственностью, гармоничный порядок с господством денежного мешка. А Серван-Шрайбер делает вид, что этой проблемы якобы вовсе не существует. Вдобавок он всерьез пытается уверить свою читательскую аудиторию, будто монархи иных нефтедобывающих стран и японские монополии (об этом еще речь пойдет ниже) являются чуть ли не основной движущей силой революционного преобразования общества.

Уступает «информатизированное общество» «постиндустриальному» и в чисто техническом плане. Создание вычислительной техники, бесспорно, великий, но далеко не единственный подвиг НТР. Разве менее замечательны и многообещающи в смысле вероятных социальных последствий такие ее направления, как ядерная энергетика, генная инженерия, искусственные материалы? С не меньшим основанием можно объявить будущее общество «генетизированным» или «химизированным». И конечно, подход Белла отличался большей широтой: он принимал за рычаг преобразования общества не какую-то одну сферу науки и техники, а всю ее совокупность как интеллектуальную деятельность человека.

Справедливости ради надо сказать, что есть одно преимущество и у Серван-Шрайбера. Это более острая постановка проблемы слаборазвитости, призыв к соединению сил для ее решения. И только. Метод, который предлагается во «Всемирном вызове», нельзя назвать иначе как утопическим.

Серван-Шрайбер объявляет, что переход к информатизированному обществу — это и есть социальная революция [1]. Действительно, если принять за аксиому социальные последствия информатизации, как они описаны в книге, получается картина, близкая к идеалу. Она «позволит развернуться способностям индивида во всех их естественных проявлениях... Сама природа информатизированного общества покоится на полном использовании способностей каждого в соответствии с его собственными склонностями» [2].

Серван-Шрайбер отсчитывает историю информатики от Паскаля и Лейбница, которые могут считаться родоначальниками вычислительной техники. Если б он удосужился прочитать К. Маркса, то мог бы сослаться и на его авторитет. Именно основоположнику нашей теории принадлежит мысль о неизбежной в будущем механизации и автоматизации производства, которая позволит высвободить всю творческую энергию человека, создаст оптимальные условия для всестороннего развития и приложения его способностей. Эта идея получила глубокую разработку в документах КПСС, в марксистской научной литературе, она положена в основу планов развития СССР и других социалистических государств, последовательно реализуется на практике.

Но в том-то и суть, что использование щедрот научно-технической революции в интересах всех людей и народов требует в качестве обязательной предпосылки революционного преобразования капитализма в социализм. А Серван-Шрайбер рассчитывает возвести новое общество на старом основании. Это — нонсенс.

■

Здесь, однако, еще рано ставить точку.

Мы рассмотрели лишь экономическую и социологическую стороны проекта Парижской группы в изложении Серван-Шрайбера. Между тем у него есть еще и политический или, скорее, внешнеполитический, международный аспект. Суть его в том, что заглавную роль в распространении информатики и, следовательно, становлении нового международного экономического и социального порядка призвана сыграть Япония.

В 1945 году доход на душу населения в Японии, лежавшей в развалинах, составил 20 долларов. К 1956 году он вырос до 300, к 1967 году — до 1000, а в настоящее время, по утверждению автора, явно преувеличенному, достиг 12 000 долларов, уступая лишь Швейцарии и Кувейту. Причем такой внушительный рост достигнут несмотря на то, что страна небогата природными ресурсами, вынуждена ввозить почти всю потребляемую ею нефть и другое сырье.

По словам Серван-Шрайбера, европейские и американские экономисты пы-

[1] См., в частности, Г. Шахназаров. Фиаско футурологии. М., 1979.

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 374.

[2] Ibid, p. 393.

таются объяснить «японский феномен» низким уровнем зарплаты трудящихся, отсутствием социального обеспечения, суровостью мер по борьбе с прогулами, умением быстро использовать то, что изобрели другие, и т. д. Он отвергает эти доводы и заявляет, что в основе всех японских достижений лежит способность к творческому мышлению. А поскольку такая способность не составляет некоего исключительного качества, присущего только одной нации, надо пробудить ее повсюду, и дело с концом [1].

Япония в последние годы занимает лидирующее место в капиталистическом мире по внедрению микропроцессоров и робототехники. Из 60 тысяч роботов, насчитывающихся в мире, 47 тысяч действуют на японских предприятиях. В 1980 году она отобрала у США первое место по производству автомобилей и экспортирует половину их. Японские компании по производству часов вытесняют с мировых рынков продукцию Швейцарии, которая не знала конкурентов на этом поприще испокон веков. «Сони», «Саньо» и другие фирмы, производящие телевизоры, магнитофоны, различную электронную технику, берут верх над могущественной американской ИБМ, прочими капиталистическими конкурентами.

Торговая экспансия Японии вызывает растущее противодействие со стороны США и других крупных империалистических государств. Хозяев ее промышленности, пишет Серван-Шрайбер, начинает пугать узость международного рынка: зачем производить товары, если их некуда будет девать? И вслед за западногерманским экономистом Г. Гиршем ратует за то, чтобы Япония инвестировала накопленные за счет экспорта валютные запасы в создание предприятий в других странах, получала новые прибыли и реинвестировала их и т. д. Цель — осуществить «глобальный подъем мировой экономики посредством создания новых видов экономической деятельности» [2].

И последний момент. Выше мы выразили сомнение в том, что информатика сама по себе обеспечит полную занятость. А вот в Японии, с торжеством сообщает Серван-Шрайбер, нет безработицы. Многие ее заводы (например, «Хонда» и «Тоёта») переводятся на автоматику, а рабочие тем временем переучиваются, и спрос на них даже растет [3].

Пожалуй, этот последний факт и должен послужить отправной точкой для нашего комментария.

Одна из своеобразных особенностей Серван-Шрайбера как политического писателя заключается в том, что, увлекшись каким-нибудь поразившим его воображение фактом, он не только упускает из виду общий фон событий, но и забывает то, что утверждал несколькими страницами выше. В самом деле, как можно было не заметить бросающуюся в глаза связь между победоносным наступлением Японии на своих империалистических конкурентов и спросом на рабочую силу? Разве не очевидно, что если б ей не удавалось более или менее успешно сбывать свою промышленную продукцию, то неизбежным следствием стали бы спад производства, закрытие предприятий, увольнения — словом, то, что как раз происходит сейчас едва ли не во всем остальном капиталистическом мире.

Отсюда простой вывод, что нынешняя занятость не есть следствие внедрения микропроцессоров, а есть результат благоприятной для Японии экономической конъюнктуры.

Конечно, Серван-Шрайбер мог бы возразить, что сама эта конъюнктура не есть дело рук божьих, она подготовлена тем, что благодаря внедрению тех же микропроцессоров японская продукция лучше и дешевле, чем товары других капиталистических стран. Но все это не постоянная величина, ибо, сталкиваясь с превосходящим соперником, монополии США, ФРГ и других стран будут стремиться модернизировать свое производство, и в конечном счете кто-то из них преуспеет. Таков закон конкуренции, и автору, право, не мешало бы знать азбучные истины экономической теории и практики.

Продолжая рассуждение, нетрудно прийти к выводу, что тезис об универсальном значении японского опыта и, значит, возможности его повсеместного распространения повисает в воздухе. Не могут все страны сразу стать Япониями, ибо для этого каждой надо не только обзавестись микропроцессорами, но и суметь потеснить на мировом рынке своих конкурентов. Изменить такое положение можно только одним путем — преобразовав капитализм в социализм, утвердив социалистические принципы в международных отношениях.

Кстати, 15 лет назад в книге «Американский вызов» Серван-Шрайбер совершил ту же ошибку: он утверждал, что Америка показывает пример всему миру и стоит только перенять американскую систему энергичного менеджеризма, чтобы достигнуть благоденствия.

Любопытно, что американский пример рекламировался почти дословно в тех же выражениях, что сегодня японский. Автор утверждал: США побеждают Западную Европу, ибо «ведут с ней войну не с помощью ударов долларами, нефтью, тоннами стали, ни даже современными машинами, а ударами творческого воображения и организаторского таланта» [1].

Вроде бы придраться не к чему: американская деловитость — вещь весьма целесообразная. За освоение системы Тейлора, очищенной от ее негативных аспектов, выступал в свое время В. И. Ленин. Но понятно, что никакой менеджеризм сам по себе не может поднять все страны на уровень США, ибо этот уровень основан на постоянном ограблении ресурсов многих других стран. Американец сегодня потребляет энергии в шесть

[1] Ibid., p. 300.
[2] Ibid., p. 312—314.
[3] Ibid., p. 333—334.

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi américain. Paris, 1967, p. 7.

раз больше, чем средний житель остальной части мира. Если б все стали потреблять столько, разразилась бы неминуемая экокатастрофа [1].

Создается впечатление, что наш автор привык «равняться на лидера» капиталистического мира, на самого в данный момент преуспевающего. Вчера это были США, сегодня Япония. Чей «вызов» будет объявлен универсальным средством спасения завтра?

Все это ни в коей мере не означает какого-либо принижения приметных инженерно-технических и производственно-организаторских достижений японского народа. В его опыте многое заслуживает внимательного изучения и заимствования. Что же касается причин, позволивших японским монополиям вырваться вперед и оспаривать у США ведущую роль в капиталистической экономике, то это вопрос особый. Ограничимся замечанием, что следует, во-первых, не сбрасывать со счета тех объяснений, которые Серван-Шрайбер отметает как штампы, а во-вторых, добавить к ним такой фактор, как отсутствие (по крайней мере до последнего времени) больших военных расходов. Кроме того, первенство на мировых рынках и высокий национальный доход отнюдь не гарантируют социальной гармонии. Об этом свидетельствует борьба трудящихся Японии за свои жизненные права и интересы, не уступающая по накалу классовым битвам в других странах капитала. Причем среди основных целей этой борьбы значится не что иное, как право на труд.

Да, да, вопреки утверждениям Серван-Шрайбера, количество безработных в Японии достигло в 1981 году рекордной цифры — 1 млн. 260 тысяч человек. Конечно, это не так много, если сравнить с 8 млн. безработных американцев. Но вполне достаточно, чтобы признать битым главный «козырь» автора. У японских рабочих свое, весьма далекое от панегирика мнение о микропроцессорах. Вот как оно выражено в резолюции съезда профсоюзов электротехнической промышленности Японии: «Мы призываем всех быть готовыми к новым условиям борьбы за свои жизненные интересы перед лицом надвигающейся опасности — дальнейшей роботизации производства» [2].

■

Нельзя пройти мимо еще одной стороны книги Серван-Шрайбера. Мы уже говорили, что она изобилует отступлениями. То и дело вторгаясь в историю, автор допускает не просто неточности, а прямое передергивание фактов.

Вот примеры. Описывая встречу Рузвельта с Черчиллем на борту крейсера «Принц Уэльский» 9 августа 1941 года, Серван-Шрайбер заявляет, что Великобритания в то время «в одиночку боролась с гитлеровской империей». Двумя страницами ниже автор утверждает, что «...эту войну... могла выиграть только Америка» [1].

Спешим сообщить господину Серван-Шрайберу, что в августе 1941 года Красная Армия уже вела ожесточенную битву против 170 фашистских дивизий, вторгшихся в СССР. И еще: Черчилль и Рузвельт, о которых он пишет, равно как и генерал де Голль, неоднократно признавали, что решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции внес Советский Союз.

Лаконично выразить смысл сочинения Серван-Шрайбера можно так: это очередная попытка найти силу, которая могла бы сохранить развивающиеся страны в орбите капитализма, помешать их переходу на путь социалистического развития. Попытка, заранее обреченная на неудачу, ибо автор намеренно закрывает глаза на реальности эпохи. Он игнорирует не только социальный аспект пути в будущее, но и острейшую проблему войны и мира, без учета которой любые проекты (прогрессивные ли, реакционные — неважно) превращаются в утопию.

«Всемирный вызов» явно рассчитан на сенсацию. Но с таким манифестом Парижская группа не может рассчитывать на аудиторию, какую имеет более солидный в научном и политическом отношении Римский клуб. И уж наверняка не откликнется на «вызов Серван-Шрайбера» то самое обездоленное большинство человечества, которое он обещает осчастливить с помощью нефтедолларов и информатики. Да он ведь к нему и не обращается, возлагая свои упования на королей и миллиардеров.

При всем том книга позволяет засвидетельствовать, что буржуазно-либеральная мысль по-прежнему не в состоянии вырваться из круга техноидиллий, распрощаться с надеждой обмануть историю, подменив назревшие социальные преобразования научно-техническим прогрессом.

И пожалуй, самое в ней любопытное — признаки смены вех в капиталистическом мире. США еще далеко не утратили своего могущества, а прозорливые конформисты уже начинают покидать былого идола и преклонять колено перед новым.

...Серван-Шрайбер взял эпиграфом к своей книге «Американский вызов» притчу древнего китайского мудреца Чжуанцзы:

Если ты дашь человеку рыбу,
Он насытится один раз.
Если ты научишь его удить,
Он будет сыт всю жизнь.

Что ж, древняя мудрость вполне годится и на сегодняшний день. Только вот ждать, пока американский, японский или какой-нибудь еще империализм подарит страждущему человечеству искомую «удочку» — дело безнадежное. Тут ему надо рассчитывать на собственные силы, на собственное воображение.

[1] Подсчитано, что разведанные к настоящему времени запасы нефти истощились бы через 4 года, природного газа — 5 лет, цинка — 6 месяцев, свинца — 4 года, меди — 9 лет, бокситов — 18 лет и т. д.

[2] См. «Известия», 27 февраля 1982 г.

[1] Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le défi mondial, p. 265, 269.

■

Документальная проза

ВЕСЛАВ ГУРНИЦКИЙ

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Фрагменты книги

Перевод с польского Б. СТАХЕЕВА

Мы ехали, трубя, тормозя, продираясь в густеющих клубах желтой пыли, которая лениво оседала на тянущихся по обочине упряжках, головах, тележках, буйволиных рогах. Пыль с каждым километром все более сгущалась, покрывала борта машины и оружие сопровождавших солдат, набивалась в уши и нос, першила в горле, разъедала веки. В конце концов пришлось остановиться, чтобы стряхнуть с рубашек ее толстый и липкий слой. Раскаленный воздух куснул нас, словно пес из-за угла, он был сухим и острым, как укол клинка. Не было еще восьми утра, но за минуту остановки мы пролили целые ручьи пота. Даже на руках и на веках перемешанный с пылью пот превращался в жгучее месиво.

Никогда прежде я не испытывал подобного климатического шока. В ста двадцати километрах на восток, в городе, откуда мы выехали пять часов назад, температура в полдень не превышает тридцати двух градусов, влажность держится в границах шестидесяти процентов. Февраль там — самое легкое для европейца время года. А здесь мы внезапно оказались среди пустыни и попали в разъяренный зной, в облака пыли, невидимые частички которой, словно миниатюрные линзы, собирали солнечные лучи и наращивали их губительную силу. Влажность, надо полагать, приближалась к нулю. На расстоянии всего лишь ста двадцати километров разница температур составила больше двадцати градусов. Это внезапное открытие отняло все силы. Во время езды движение воздуха смягчало жгучую силу зноя. А после остановки нам стало трудно дышать. Это граничило с невероятностью. Ведь в тропиках не бывает таких больших скачков температуры и влажности при столь незначительном расстоянии.

Нет, мы не сделались жертвами галлюцинации. Наши ощущения соответствовали действительности. Организм не ошибается. Причина была настолько невообразима, что переводчикам пришлось трижды повторить объяснение, которое дал нам молодой человек из ведомства культуры. В этой части Кампучии полпотовцы убили климат.

Убили? Ah, oui, ont assassiné.[1]

Точнее говоря, сперва они убили землю. Два года назад специальные отряды полпотовцев взорвали гранатами дамбы на рисовых полях в трех юго-восточных провинциях страны: Свайриенг, Прейвэнг и Кампонгтям. В течение нескольких месяцев были уничтожены десятки, если не сотни,

[1] Да, убили *(франц.)*.

ВЕСЛАВ ГУРНИЦКИЙ — WIESŁAW GÓRNICKI (род. в 1931 г.).

Польский журналист, публицист. Журналистскую работу начал в 1949 г., сотрудничал в ряде газет. Автор более четырнадцати сборников очерков и публицистических статей. Среди них — книги, посвященные Индонезии, Египту, Индии, ФРГ, США: «Гяур среди янки» («Giaur wśród Jankesów», 1963), «Пока не начали править машины» («Zanim zaczną rządzić maszyny», 1976), «Большой мир» («Wielki świat», 1976), «Рапорт из Гамбурга» («Raport z Hamburga», 1971). Удостоен нескольких журналистских премий.
Книга о Кампучии «Песочные часы» вышла в Варшаве в 1980 г. («Bambusowa klepsydra». Warszawa PIW, 1980).
В полном объеме ее русский перевод готовится к печати в издательстве «Радуга».

тысяч каналов, шлюзов, водозадерживающих прудов, водоотводов, запасных террас и двухъярусных плотин. Ирригационная система на рисовых полях Азии — это дело рук множества поколений, итог миллионов проработанных дней, создание вековой мудрости, передаваемой от отца сыну. Циркуляция воды, приносимой муссонными дождями, налажена так, что каждая терраса получает свою порцию как раз тогда, когда соответствующая стадия вызревания риса требует изменить уровень орошения. Даже в годы засухи или при чересчур обильном урожае, когда помещики оставляли поля незасеянными, чтобы уменьшить количество риса на рынке и поднять цены на него, система орошения действует без перерыва, поскольку используются три закона природы, действие которых приостановить нельзя: сила тяжести, регулярность муссонных периодов и закон Бернулли, предусматривающий в данном случае непроницаемость плотно утрамбованных плотин из жирной глины.

Пришелец никогда не разберется в этой путанице каналов и террас. Но тот, кто в ней ориентируется, прекрасно знает, как вывести ее из строя. Хватило нескольких сот гранат и ящиков взрывчатки, взорванных в самых уязвимых местах системы, чтобы в трех провинциях вода стекла с полей в дельту Меконга. Кое-где еще валяются забытые мешочки с тротилом, виднеются ручки невзорвавшихся гранат. Без орошения остались двести тысяч гектаров. Целыми километрами тянутся полосы поседевшего, несжатого риса, в котором шуршат змеи и заливаются птицы. Операция проводилась в спешке, как и все у полпотовцев, в пору вызревания риса, без уборки урожая с уже колосившихся полей.

Лишенная влаги и подвергнутая ничем не смягчаемому воздействию солнца, почва постепенно начала превращаться в пыль. Ветры разнесли ее верхний слой по зарослям, рисовые поля заполонили дикий сахарный тростник и карликовые банановые деревья. Кое-где буйные заросли кустарников поднялись до высоты человеческого роста. Из-за отсутствия влаги и нормального кругооборота воды в атмосфере изменился и микроклимат. Влажные тропики отступили перед степью, а степь перед пустыней. Экологическое равновесие на этом пространстве было нарушено так резко, что сухая смерть, словно чума или проказа, может распространиться на соседние районы. В провинциях Такео и Кратьэх есть уже первые признаки бедствия.

Трудно сказать, как много времени потребуется, чтобы восстановить разрушенную систему. Налицо определенный географический факт. Это памятник полпотовцам, куда более долговечный, чем их лозунги и брошюрки. Залатать прорванные дамбы довольно просто: в усердных рабочих руках здесь, как и прежде, нет недостатка. Но для наполнения водохранилищ и каналов нужно по крайней мере пять, а может быть и семь муссонных периодов. К тому же стекавшая вода размыла множество частей ирригационной системы: разного рода шлюзы, подземные трубы, пруды и водоотводы. Придется без конца проверять, когда наберется первый запас воды, затем искать утечку, исправлять, переделывать — и так в течение многих лет. Сколько лет? Неизвестно. Никто пока определить не может.

Несколькими днями позже я увидел эту землю с воздуха. Обширная приграничная равнина выглядела как гнойная язва посреди густой, буйной зелени по берегам Меконга. Туча ядовито-желтой пыли поднималась вертикально в воздух на высоту нескольких сот метров, словно облако ядовитого газа.

Одна шестая обрабатываемых земель Кампучии была разорена так, чтобы исключить возможность быстрого восстановления. Это было воистину «убийством земли».

Причины преступления не вполне ясны. Нам были предложены два объяснения. Первое из них: полпотовцы решили превратить всю провинцию Свайриенг и часть двух прилегающих провинций в базу для нападений на Вьетнам, где не будет никаких населенных пунктов. Эта территория расположена слишком близко к границе, а побеги из «коммун» стали повседневным делом. На востоке целая полоса земли была разбомблена и выжжена американцами во время их интервенции во Вьетнаме.

Второе объяснение звучало так: Пол Пот решил, что Кампучия перенаселена и следует навсегда и необратимо ограничить количество обрабатываемой земли, дабы воздвигнуть естественный барьер против чрезмерного прироста населения. По причинам, названным выше, больше всего годились для этой цели три юго-восточные провинции.

Нелегко уничтожить лицо двухмиллионного города. Надо было выполнить, вероятно, больше десяти миллионов операций и израсходовать баснословное количество энергии. И все-таки полпотовцы видели смысл в такой работе. Пномпень сохранил в неприкосновенности свои стены и великолепные бульвары, но потерял жизнь. Этого они и добивались.

Тишина, царящая в Пномпене, не поддается описанию. Нет сравнений, с помощью которых можно передать ее всепроникающую глубину. Ни одно деревенское кладбище, ни одно убежище в горах не дают даже приблизительного представления о тишине, которая оплела этот город. Я провел в Пномпене в общей сложности шесть дней и три ночи, видел вещи, описать которые трудно, но самым прочным, самым неизгладимым моим воспоминанием навсегда останется тишина.

Достаточно приостановиться на какой угодно улице, заглушив звук собственных шагов, и сознаешь, что ни из одного подъезда, ни из одной лавчонки, сада, магазина не донесется никакой, пусть самый слабенький звук. Перебежавшую через улицу крысу слышишь за четыреста метров. Шорох змеи, ползущей по водосточной трубе пустого дома, звучит как грохот подъезжающего грузовика. Скрип открытого окна разносится на километр. Даже самый дальний акустический фон не содержит никаких ощутимых вибраций, хотя бы приглушенных отзвуков уличного движения или человеческих голосов. Нулевой уровень фо-

на причиной того, что нормальное восприятие полностью разрушено. Отброшенный ногой горшок гремит, как разорвавшийся снаряд. Унесенная ветром бумага вызывает панику. Такая тишина страшна как в полдень, так и посреди ночи.

Только время от времени, два-три раза в час, со стороны деревьев или кустарников несется оглушительный, судорожный рев цикад. Иначе назвать его нельзя. Никогда раньше, даже в сердце цейлонских джунглей, даже в тропическом лесу на Борнео, я не слыхал ничего подобного. Цикады — большие, тучные, длиной в двадцать сантиметров, ядовито-зеленые и не боящиеся человека — четыре года были главными жителями города. Вместе с людьми исчезли отсюда птицы, которые когда-то уменьшали количество цикад. Землю захватили крысы и змеи, воздухом завладели цикады. Когда они начинают свой сумасшедший концерт, уже на пятиметровом расстоянии не слышно человеческого голоса.

А потом они смолкают, и на город вновь опускается роковая, безбрежная, космическая тишина.

Улица, куда нас привезли, была, по-видимому, местным торговым центром для наиболее состоятельных жителей целого квартала особняков. Я вылез из машины и понял, что стою перед шеренгой магазинов, до краев набитых товарами. Это не метафорическое выражение: лавки и впрямь были во всю длину и ширину завалены разными предметами, и содержимое их длинными языками вываливалось на тротуар.

Я встал у распахнутого настежь входа и навел объектив фотоаппарата, но минуту спустя передумал. Никакой снимок не передаст этой сюрреалистической картины. Тюбики крема для бритья марки «Colgate» лежали на роскошной бумаге с монограммами, отпечатанными латинскими и кхмерскими буквами. Еще не распечатанная игра «Monopoly» — среди флаконов с духами Ланвена, Коти и Елены Рубинштейн. Тушь для печатей и оправленные жемчугом кисти для бритья, мыло «Palmolive», блокноты в позолоченной оправе и гигиенические пакеты. Сверху валялись несколько сверкающих, только что использованных гильз калибра 7,62, окровавленная тряпка и заплесневевший подсумок.

Нас звали на пресс-конференцию, но я пошел вдоль улицы, чтобы посмотреть продолжение выставки. Рядом с магазином писчебумажных товаров и гигиенических принадлежностей был магазин радиоаппаратуры. Я заглянул внутрь. Полки были пусты, но на полу лежала груда разбитых магнитофонов фирмы «Нэшнл панасоник», разбитые транзисторные радиоприемники, пластинки, батареи, кассеты. Тут же рядом, в антикварной лавке, стоял ящичек с палочками старой китайской туши. Я не мог совладать с любопытством и сунулся туда, не обращая внимания на крики охраны и переводчиков.

С прилавка свисал, словно негодная тряпка, шелковый свиток, на котором неизвестный мандарин выписывал столетия назад какие-то мысли и изречения. Сверху, меж золотых и пурпурных кистей, виднелась этикетка с ценой: 3500 американских долларов. Это не была подделка. Почти никто не владеет ныне таким искусством каллиграфии, нет такой туши и кистей.

Нижняя часть полотнища лежала на каменном полу. Она была покрыта человеческими испражнениями. Правый угол почти совершенно истлел, и легко было понять почему. На шелковом свитке почти тысячелетней давности лежал автомобильный аккумулятор с раскрученными пробками. Серная кислота вытекла наружу и разъела шелк с нитями золотого шитья.

В глубине лавки, среди разломанных полок с выбитыми стеклами, виднелась груда старательно разбитых фарфоровых статуэток улыбающегося Будды, какие-то раздавленные миски и залитые мочой манускрипты.

Все, кроме меня, стояли у автобуса, шофер нетерпеливо гудел. Мы уже собрались толкать наш «Исузу», и вдруг Карлос возбужденно сообщил, что минуту назад ходил по золоту. Каждый мог о чем-то рассказать: двадцать минут пребывания в этом городе — и рассказов будет черт знает сколько и еще малость. Но золото нас заинтересовало. Где оно? Рядом, в пагоде? Мы заявили начальнику охраны, что нужно еще десять минут.

Это была как раз та пагода, мимо которой я прошел, направляясь к москательной лавке. Уже несколько сот лет она называется Онналоум (отсюда и наименование улицы). Самый знаменитый храм в этой части страны. Она была построена, как полагают, в золотой век кхмерского королевства: может быть, во времена короля Джаявармана VII. Ее, как это характерно для Камбоджи, жгли, разрушали, восстанавливали и снова жгли. Нынешний ее облик восходит к середине XV века, поскольку пагоду возвели вскоре после того, как столица страны (ввиду того, что тайские войска сожгли Ангкор Ват) перенесена была в Пномпень. Боковые пристройки относятся к более позднему времени и не слишком удачны, но главный храм высотой в пять этажей с драконьими хвостами на гребнях кровель — это достопримечательное строение. Он упоминается уже в азиатских хрониках XVI века как место поклонения Золотому Будде и резиденция «кру сангкриэч»[1]. Государство кхмеров в эту эпоху включало в себя также Лаос, восточную Бирму, треть нынешнего Таиланда и южную часть Вьетнама.

Лишь в нескольких местах стены пагоды Онналоум продырявлены артиллерийскими снарядами малого калибра. Это, вероятно, одна из немногих, а может, и вообще единственная буддийская пагода в этой стране, стены которой не разрушены.

Но зато ее внутренний вид воистину потрясает.

Статуи Золотого Будды нет вообще, и мы никогда не узнаем, действительно ли она была вся из чистого золота, во что верили десяток с лишним поколений пилигримов. Деревянные алтари, перегородки и тайни-

[1] Высшее буддистское духовенство в древнем государстве кхмеров. *(Здесь и далее прим. перев.).*

ки разломаны с такой яростью, что трудно найти хотя бы одну доску, из которой не торчали бы желто-коричневые щепки. Купол из толстых пандануСовых балок в нескольких местах обгорел. Подпаленные стропила разошлись. Пониже распорки и затяжки изрублены топорами. На месте давней святыни — следы от костра, человеческие испражнения, какие-то полосы холстов, ремни, грязные туфли, брошенный пистолетный магазин, кости животных.

На полу толстым слоем (намного выше щиколотки) навалены всякие предметы, за которые любой европейский или американский антиквар без колебания заплатил бы тысячи, десятки тысяч долларов. Богато разукрашенные жертвенные чаши и ритуальные кубки из темного серебра, на которых множество изящных и оригинальных узоров, картины сражений, эпизоды из жизни Гаутамы[1]. Бронзовые магические зеркала в яшмовой и черепашьей оправе, которые украшены древнейшими идеографическими письменами, близкими еще к пиктограмме. Несколько сот, может быть даже тысяча, фарфоровых статуэток Будды, от самых маленьких, которые можно спрятать в ладони, до полуметровых,— статуэток пузатых, улыбающихся, покрытых цветной глазурью и тончайшими золотыми узорами, из простого каолина, из матового фарфора, из фарфора почти прозрачного, тонкого, как бумага. Золоченые вазы для цветов, украшающие алтари... Мешочки с древнейшими монетами: китайскими, кхмерскими, вьетнамскими, тибетскими. Чудесные вазы эпохи Мин с неповторимой кобальтовой голубизной тонких рисунков. Статуэтки танцовщиц, жрецов, пророков, богов и учеников Будды. Пергаментные свитки, накрученные, как Тора, на палочки из черного дерева. Расшитые золотом одежды, покрывала, скатерти, завесы. Целых семьсот лет их свозили в дар Будде со всей Азии.

Нет буквально ни одного предмета, который не был бы растоптан, разбит, продырявлен штыком. Потребовались, вероятно, месяцы, чтобы привести в полную негодность это море вещей. Исключено, чтобы это был единственный акт исступления и уничтожения. Несколько сот человек должны были с утра до вечера и много недель подряд толочь фарфор, топтать сосуды из тонкого металла, отрывать у статуэток литые головы.

Но и это зрелище — ничто в сравнении с увиденным в крыле главного храма.

Почти в полной темноте поблескивали длинные ряды золотых статуэток Будды, стоявших когда-то, вероятно, перед главным алтарем. Поначалу я не хотел верить, что они золотые. Но, чтоб сомнения развеялись, достаточно было разглядеть вблизи их теплый мягкий блеск, которым не обладает никакой другой известный нам материал. Только несколько фигурок высотой от трех до десяти сантиметров были литыми, из чистого золота, примерно семьдесят пятой пробы,— и как раз они были наименее интересны. Остальные, около пятидесяти штук, были исполнены в древнейшей технике: на остове из грубо отлитого чугуна выковывали, раскалив, тонкую золотую оболочку и после охлаждения шлифовали. Это такой вид ювелирного искусства, перед которым меркнут все европейские чудеса, начиная со средневековых: простота и небесное спокойствие на лице могли появиться только в результате применения такой техники и только в сфере этой культуры.

Я наклонился и поднял с пола маленькую отломанную от туловища голову королевской танцовщицы, которая украшала, надо полагать, ступени какого-нибудь алтаря попышнее. Она тоже была сделана из тонкого золотого листа, непонятно каким образом натянутого на бурый бесформенный остов из чугуна с примесью шлака и гари.

Золото — единственный на земле материал, который все переживет. Даже полпотовцев.

Вдоль стен также стояли ритуальные чаши, вазы и кубки, на сей раз инкрустированные золотом, украшенные жемчугами, рубинами, вероятно, и изумрудами, хотя в полумраке трудно было это определить. Надо полагать, самые ценные предметы складывались отдельно, чтобы их перетопить в слитки, а драгоценные камни продать на вес.

Я вышел во двор пагоды Онналоум, чтобы присоединиться к коллегам. Внезапный блеск солнца заставил меня зажмурить глаза, а затем глянуть вниз. В заполонившей двор высокой, около метра, «тигриной» траве что-то блеснуло. Я двинулся туда, пожалуй, слишком энергично, ибо трава поддавалась неохотно и острыми краями резала ткань брюк. Видимо, это меня и спасло. В какой-то момент мой ботинок оказался в нескольких сантиметрах от неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Я отступил назад, но трава не давала мне покоя, влекла к себе, как топкое болото. Осторожно, шаг за шагом, я начал обходить боковую часть пагоды. В траве зашуршала маленькая красноватая змейка, а потом вдруг выглянул улыбающийся лик лежащего навзничь Будды. Забелели осколки. Тяжело запрыгала цикада. Опять Будда из листового золота, покореженный латунный кубок, помятый поднос, отливающий молочно-серебристым блеском...

Под конец я внезапно поскользнулся, какую-то долю секунды ждал взрыва: под каблуком что-то заскрежетало.

Но это была куча старых монет, золотых или, по крайней мере, позолоченных.

Так я в первый и, надо полагать, последний раз в жизни ходил по золоту.

Конечным пунктом нашей программы в Пномпене было посещение госпиталя «Прачкет Миалеа», где тоже, как нам сказали, началась «новая жизнь».

У входа нас встретила молодая красивая женщина в белом халате, доктор Чей Каньня, единственная уцелевшая во всей Кампучии женщина-врач. Ныне она заместитель министра здравоохранения в новом правительстве и одновременно главный врач госпиталя. На ее смуглом нежном лице с прекрасными карими глазами было столько муки и бесконечной грусти, что я не мог не обратиться к ней с просьбой рассказать о себе.

[1] Одно из имен Будды.

Доктору Чей тридцать четыре года. Она происходит из состоятельной купеческой семьи. Диплом доктора медицины получила в 1970 году на медицинском факультете Пномпеньского университета. Работала в детском отделении госпиталя «Прачкет Миалеа» ассистентом ординатора. Ее муж был на четырнадцать лет старше, диплом получил в Париже, а затем учился в Москве. После возвращения в страну он получил звание профессора и преподавал в Пномпене нейрологию и одновременно занимался частной практикой.

Оба были известными в стране людьми и не имели никакой возможности спрятаться или скрыть свою биографию после вступления в город полпотовцев. Муж мадам Чей был прямо-таки показательным примером сочетания в одном лице вредного влияния Запада и «советского ревизионизма». Его арестовали в собственной квартире двадцатого апреля, через три дня после взятия города, а несколькими днями позже повесили во дворе одной из школ. Доктор Чей хотела похоронить тело мужа и пешком направилась к школе, где на столбе волейбольной площадки все еще висел спутник ее жизни. По дороге ее задержал патруль. Ей приказали снять обувь, выбросить личные документы и стать в ряды задержанных. Она уже не вернулась домой, где под присмотром соседки остались две ее дочери в возрасте шести и семи лет. Дети исчезли навсегда в водовороте эвакуации. Нет надежды, что они когда-нибудь найдутся.

Двадцать два дня она шла пешком до уезда Бун Лонг. Сперва на север дорогой номер 13, потом на восток по дороге номер 19. Израненные ноги кровоточили, что вынуждало ее трижды останавливаться. Конвоиры велели ей сесть на возок, который тянули какие-то две старые женщины, но не позволили задержаться хотя бы на один день. Когда раны на ступнях переставали кровоточить, все начиналось сызнова. В «коммуне» доктор Чей получила сперва третью, а потом четвертую категорию, потому что молчала и не выступала на собраниях по перевоспитанию. Она работала на рисовых полях с пяти часов утра и до семи часов вечера с часовым перерывом на обед. Ее нежные ладони огрубели и покрылись язвами от беспрерывных инфекций.

Спустя девятнадцать месяцев доктор Чей сговорилась бежать вместе с другой женщиной, потерявшей во время выселения мужа и сына. С сентября 1976 года они вдвоем начали откладывать рис и сушеные овощи. С кухни они украли коробку спичек. Тайком насушили фунт маленьких рыбок. Первого октября, незадолго до полуночи, они выбрались из общей спальни и скрылись в зарослях поблизости. Шли на восток, во Вьетнам. «Коммуна» находилась в восьмидесяти пяти километрах от границы. Они рассчитывали, что дорога займет не больше недели. В действительности понадобилось семнадцать дней. Хуже всего были ночи в джунглях, когда приходилось спать по очереди, чтобы поддерживать пламя небольшого костра, который отпугивал зверей. Кажется, один раз они видели тигра. На пятнадцатый день обе заболели дизентерией. Доктор Чей не может сказать, каким образом они с температурой 40° все-таки вышли к пограничному оврагу. Восемнадцатого октября на рассвете они увидели вьетнамского крестьянина с автоматом.

Два с половиной года доктор Чей провела во Вьетнаме, в лагере для беженцев из Кампучии. Сразу после выздоровления занялась политической работой среди беженцев, была в числе организаторов Единого фронта национального спасения Кампучии. В Пномпень возвратилась вместе с передовыми частями освободительной армии. Теперь она одинокая женщина, которая личную жизнь считает конченой. Она не вернулась в свою бывшую квартиру в центре города и живет в маленькой комнатке на территории госпиталя. Все свое время отдает больным и политической деятельности в новом правительстве. Она правая рука доктора Ну Бенга, который отвечает в Народно-революционном совете за здравоохранение и медицину. Оба эти понятия в Кампучии звучат иронически.

Госпиталь «Прачкет Миалеа» был построен при Сиануке во второй половине пятидесятых годов. При Лон Ноле он был перестроен. Впрочем, это не так уж важно, так как от госпиталя практически остались только стены. Так же как и в Свайриенге, здесь уничтожен весь запас медикаментов, почти все медицинские инструменты, оборудование, кухня, даже большая часть матрацев.

Больных и раненых здесь было больше, чем в Свайриенге. При нас машина привезла двух солдат с тяжелыми огнестрельными ранами. В этой части города пальба была гораздо сильнее, чем в центре. Моментами сквозь треск автоматов можно было услышать далекие пулеметные очереди и какие-то глухие взрывы. На персонал госпиталя это не производило никакого впечатления.

Снова полные залы безмолвно страдающих людей, которым можно дать только чашку мутной питьевой воды или хинин, единственное лекарство, которое имелось тут в изобилии. Рожающая женщина. Старик со стеклянными глазами. Истощенное тело мальчика и рыдающая над ним мать. Раненые солдаты с горячечными глазами, прикрытые окровавленными скатертями из ресторана. Путь, которым шли крестьяне, пролегал по окраине, и, вероятно, поэтому здесь было так много людей. После пустоты центральных улиц госпитальные коридоры казались переполненными.

Я заглянул сквозь приоткрытые двери в какое-то помещение, откуда шел электрический свет. Я знал, что в госпитале, как и во всем городе, нет электричества. Но это была операционная, освещенная бестеневой лампой, ток для которой давал переносный агрегат. Два молоденьких вьетнамских врача в чистых халатах, наброшенных на военные мундиры оперировали находившегося без сознания мужчину, руки которого бессильно свисали по обе стороны стола. Ассистировала вьетнамская монахиня с большим деревянным крестом поверх рясы. Около движка на больничном дворе хлопотали двое перепачканных измученных вьетнамских солдат.

Я спускался со второго этажа, когда шедший рядом фельдшер спросил, хочу ли я увидеть жертву полпотовских зверств. Это его подлинные слова.

Никогда я еще не видел до такой степени изуродованного человека, хотя много чего повидал в годы войны, в дни восстания, а затем во время войн в Египте и Индонезии.

Мужчина не старше тридцати лет. Лицо — ком окровавленного мяса. Разорванные губы. Вылезший наружу, ничего не видящий глаз с неподвижным веком. Сломанная кость подбородка. Нос размозжен палкой или каблуком. Лицо превратилось в маску настолько ужасную, что трудно признать его человеческим. Грудная клетка во всю ширину покрыта струпьями. Живот, пах и половые органы совершенно почернели, блестят и вздуты. На бедрах — обуглившиеся следы электродов. Должно быть, его очень долго пытали переменным током. Кости ног у этого человека, как объяснил фельдшер, переломаны в семнадцати местах в результате ударов, нанесенных стальным прутом. Только ноги раненого получили какое-то лечение: они разделены подушечкой из рафии и пришнурованы к узким бамбуковым дошечкам. Ничего больше сделать нельзя. В больнице нет антибиотиков, обезболивающих средств, кальция, глюкозы...

От раненого исходил такой запах, что в комнате трудно было дышать. Грудь ритмично вздымалась, при каждом вдохе запекшиеся края ран чуть раздвигались, обнажая светло-розовую глубь шрамов.

Ничего об этом человеке неизвестно. Неизвестны его фамилия, происхождение, взгляды. Сам факт, что он еще жив, граничит с чудом: прошло почти четыре недели с момента, как его сюда привезли. Он был найден седьмого января во второй половине дня в знаменитом лицее «Туолсленг», который полпотовцы превратили в самый страшный из своих застенков. Там было еще сорок шесть узников, выглядевших так же, но уже мертвых. Я слышал об этом лицее. Нам обещали показать его в следующий раз.

Фельдшер думает, что раненый был офицером, пойманным при попытке дезертировать или заподозренным в сочувствии армии Хенг Самрина. Но это лишь догадка. Раненый только однажды пришел в сознание на несколько минут, но говорить не мог. У него выбиты зубы и губы разорваны. Вообще трудно объяснить, почему он еще жив.

Я еще раз взглянул на человека без имени, который тем, что живет, опровергает законы природы. И подумал, что в этих условиях он долго не протянет, что земля поглотит его вместе с рассказом, которого никто и никогда не услышит.

Во дворе госпиталя — большая, в полметра вышиной, груда разбитых ампул. Я поднял горсточку тонких осколков. Среди неизвестных мне редких лекарств американского, французского и швейцарского производства я нашел ампулы из-под глюкозы, морфия и кальция.

В Тэйнине выяснилось, что мы поедем в лагерь для беженцев из Кампучии в Бенсане. Еще недавно там было свыше 25 тысяч человек. Часть из них в настоящее время вернулась на родину. В лагере осталось еще 13 500 человек.

(Окончание следует)

Советская литература за рубежом

ФРАНЦИЯ

Повести ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Последний срок» и «Прощание с Матёрой». Издательство «Лаффон».
Роман ЮРИЯ РЫТХЭУ «Сон в начале тумана». Издательство «Пигмалион».
Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Семнадцать мгновений весны». Издательство «Флёв нуар».
Сборник произведений ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Калина красная и другие рассказы». Издательство «Эдитёр франсе реюни».

ФРГ

Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Мать». Издательство «Ульштейн».
Роман ОЛЕГА КУВАЕВА «Территория». Издательство «Ровольт».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Клаассен».
Сборник рассказов ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Сапожки». Издательство «Дамниц».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман НОРЫ АДАМЯН «Вторая жена». Издательство «Мелантрих».
Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Пойти и не вернуться». Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ИОНА ДРУЦЭ «Бремя нашей доброты». То же издательство.
Сборник стихов РИММЫ КАЗАКОВОЙ. Издательство «Словенски списователь».
Роман АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА «Молодая гвардия». Издательство «Младе лета».

ЯПОНИЯ

Тетралогия ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Волны Черного моря». Издательство «Син нихон сюшансн».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». Издательство «Кодансн».

Антирубрика

СТАНИСЛАВ РУДОЛЬФ

Экзамен по старославянскому языку

Перевод с чешского Н. ШАХУРИНОЙ

Говорят, что жизнь студента сладка и беззаботна... Возможно. Но только до первого экзамена. И тут-то обычно кончается вся романтика.

Не знаю точно, но обыкновенно считается, что для медиков первым экзаменом на зрелость является патология, для строителей — начертательная геометрия, для экономистов, кажется, история международных долгов, а для нас, первокурсников высшего учебного заведения, выбравших своей специальностью родную речь, рубиконом, через который следовало мужественно пройти,— экзамен по старославянскому языку. Кто через него перескакивал, считал себя зрелым, умным и смелым, так что все последующие экзамены были ему уже нипочем.

Курс старославянского языка, языка Кирилла (его также называли Константином) и Мефодия, на котором говорили во времена Великой Моравии, читал нам и затем принимал экзамен некий доцент N. В аудитории, во время лекции, он больше напоминал игрока в бейсбол, чем ученого. Даже под рубашкой была заметна игра могучих бицепсов, его руки взмахивали, как крылья ветряной мельницы, а сросшиеся брови напоминали нам летучую мышь (по-латински — виво виво). Из лекции, посвященной началу славянской письменности, всех нас заинтересовала одна такая деталь, а именно: Константин был один из семи (!) детей, после его рождения у родителей четырнадцать лет (то есть 7×2) не было детей, сам он умер, когда ему было сорок два (то есть 7×6) года, и папа римский целую неделю (то есть 7×1) держал его мертвое тело в гробу. Все дальнейшие рассуждения, сопровождавшиеся написанием разных слов как глаголицей, так и кириллицей, не представляли для нас никакого интереса.

В общем-то лекции его можно было пережить. Те злополучные два часа в неделю мы предавались мечтам или глубокому сну с открытыми глазами, чему студенты достаточно быстро обучаются. А в те минуты, когда наш лектор прерывался, я и мой коллега Суханек листали зарубежный журнал, лежавший у нас на коленях, восхищались фотографиями победителей последних автогонок класса «А» и тихо оценивали возможности машин.

Ситуация в корне изменилась и стала во много раз более трудной, когда в июне перед деканатом на доске объявлений вывесили расписание экзаменов. Как утверждали очевидцы, за последние пять лет только один студент сдал экзамен по старославянскому языку. Им был ненормальный студент Мульда, который теперь, как бы в знак награды, работал в качестве вспомогательной научной силы на кафедре у доцента.

К экзамену нужно было проштудировать несколько специальных книг в красивых переплетах из полиэтилена, приблизительно два литографированных курса лекций, а также, кому удавалось подкупить ненормального Мульду и получить у него конспекты, и лекции доцента. Когда дома я открыл все эти книги и поспешно пролистал их, мне стало совершенно ясно, что через эту стену я не перелезу. Из соображений предосторожности я собрал всех членов нашей семьи и разложил перед ними учебники и рекомендательную литературу. Все бросились меня жалеть, а мама заплакала. Рассудительный отец понял, что экзамен может нанести вред моему здоровью, и предусмотрительно подбросил мне двести крон. Бабушка решила, что каждый день, пока я не сдам экзамен, она будет варить для меня насыщенные мясные бульоны. Все это подбодрило меня, и на следующий день я смело сел за книги. Но уже первые страницы произвели на меня отталкивающее впечатление. В них была масса букв и знаков, которые, как я вспоминал, с любовью писал на доске доцент, а также крючков, напоминающих украшения на шапках волшебников,— их показывали в телевизионных сказках для детей. Кроме того, там была уйма надоедливых указаний, что аорист в старославянском

имеет такое окончание, а имперфект совсем другое, не говоря уже о трехстах обычных исключениях. Временами еще упоминалось об устаревших или вымерших словах, а также о других никому не нужных вещах.

Так как был июнь, что я уже отметил, и пригревало солнце, я собрал книжки и лекции и направился на пруд, чтобы готовиться к экзамену в солидной обстановке. Мое намерение было абсолютно правильным. Среди раздетых людей на клетчатой купальной простыне я увидел Нину, которая якобы работала во вторую смену, поэтому пыталась забрать сейчас как можно больше ультрафиолетовых лучей. И ей это удавалось. У нее был прекрасный загар, и, более того, ее миниатюрные плавки были прямо пропорциональны ее уму. Погода стояла все время хорошая, и мы встречались здесь, собственно говоря, каждый день. Так что обстановка, которую я выбрал для занятий, оказалась вполне приемлемой.

У меня постоянно было такое ощущение, что до пятницы (день, когда я должен был явиться на экзамен) еще уйма времени. Но вдруг от дней, которые я вначале с таким пренебрежением отсчитывал и которые отделяли меня от опасной встречи с доцентом, остались только часы.

Настала пятница. Утром я побрился, опрыснул себя одеколоном, надел чистую рубашку, новый пиджак, в котором не очень-то хорошо себя чувствовал, и направился по знакомой улице через город на факультет. Экзамен нас сдавало четырнадцать человек. К полудню счет был 11:0 в пользу доцента. Двое моих коллег все еще скрывались в туалете. Я оставался в коридоре один, курил, ходил взад и вперед по красно-белым кафельным плиткам. Кстати, пока ходил, сосчитал, что в коридоре 2788 белых плиток и столько же красных.

Вдруг щелкнула ручка и в дверях появилась противная физиономия доцента. В руке он держал список жертв.

— Суханек,— выкрикнул он.

Я показал пальцем на дверь с изображением черного человечка. Он понял, что моего коллегу мучают какие-то физиологические недуги.

— Тогда вы! Как там ваша фамилия?

Сознательно переступая порог левой ногой, я робко произнес свое имя и загасил сигарету. Окурок я осторожно положил в карман нового пиджака. Доцент, по-видимому, нашел меня в списке, потому что он сначала провел меня через какую-то комнату, где я краем глаза заметил сгорбившегося беднягу Мульду, и ввел в просторный кабинет. Потом он подошел ко мне с коробкой от ботинок, в которой лежало приблизительно двадцать конвертов. Я клюнул, как попугай на ярмарке, когда он предсказывает желающему судьбу, и вытащил один конверт.

— Знаете, что такое «еры»? — пробурчал доцент, раньше чем я успел открыть конверт. Этим он напоминал мне то, что я уже когда-то слышал, что в старославянском языке на конце некоторых слов пишется знак «ер». Когда на лекциях доцент произносил его, то он выдавливал из себя какой-то горловой звук. Уже тогда я ломал себе голову над тем, произносил ли точно так же этот звук Мефодий. Мне казалось невероятным, что не осталось магнитофонной записи его голоса. На вопрос доцента я молча кивнул головой, и он, внешне успокоившись, направился к столу. Там он стал перебирать какие-то бумаги.

Дрожащими руками я открыл конверт. В него был вложен небольшой листок и приблизительно три фотографии. Внимательно просмотрев их, я обнаружил, что все они исписаны довольно знакомым почерком. По правде говоря, я видел до этого другие фотографии, гораздо более интересные. Кстати, когда я проявлю свою пленку, которую отснял на пруду и в большинстве кадров которой запечатлена Нина в купальном костюме мини, я уверен, что даже профессиональный фоторепортер побледнеет от зависти... Однако мне пришлось прервать свои приятные размышления и ознакомиться с тем, что было написано на приложенном листочке. В мою обязанность входило прочитать тексты-фотокопии и сделать необходимый разбор.

Доцент продолжал шелестеть бумагами, иногда испытующе поглядывал на меня, словно определяя, как я готовлюсь, а я разглядывал фотографии. Наименее противной была третья, потому что на ней при желании можно было обнаружить знакомые знаки. Но прочитать текст я был не в силах. И вопрос второй (склонение имен существительных) тоже не вызвал у меня восторга. Итак, довольно быстро я понял, что у меня нет никаких шансов сдать экзамен.

Что делает в таких случаях студент?

Студент ждет чуда.

И чудо свершилось.

В то время когда я глазел в окно и следил, как на ветру соприкасаются вершины старых буков, что напоминало мне влюбленных рыбок в аквариуме, в кабинет быстро вошел ненормальный студент Мульда. Он дважды поприветствовал бейсболиста и покорно сообщил, что ему звонит жена.

Доцент отложил бумаги, зарычал, как сенбернар, и вышел. Дверь он специально оставил открытой. Мы слышали, как он разговаривает с женой.

Мульда на цыпочках приблизился ко мне.

— Что-нибудь знаешь? — участливо спросил он.

— Ничего,— признался я и тупо продолжал смотреть на довольно плохую фотокопию текста. Мульда удивленно взглянул на меня и прошептал:

— Ты же держишь вверх ногами, дурак!

Я перевернул текст, но и это мне особенно не помогло.

Вспомогательная научная сила поспешно кивнула в сторону, откуда был слышен голос доцента, и зашептала:

— Давай пиши! Это отрывок из Киевской рукописи...

К сожалению, он не мог продолжать.

В кабинет ввалился наш дорогой доцент.

— Мульда! — крикнул он.

Подсказчик вздрогнул:

— Слушаю вас...

— Не знаете кого-нибудь, кто может отремонтировать стиральную машину?

— Не-ет... — протянул Мульда.

— Как же так, что вы не знаете?

— К сожалению, товарищ доцент... — признался Мульда.

— Гм... Не могли бы вы мне, уважаемый, сказать, для чего я держу вас здесь, на кафедре? Как вы можете заниматься научной работой, если не способны решить элементарную проблему? Стыдитесь!

Гениальный студент лишь временами отваживался взглянуть поверх очков на великана старославянской науки.

А тот между тем снова вернулся к телефону и раздраженно стал убеждать жену:

— Ничего не получается. В пятницу просто никого невозможно найти... Тогда не стирай! Ах, ты уже намочила белье? Это с твоей стороны абсолютно неразумно... Что ты сказала?.. Кто я?..

По-видимому, ответ был не очень лестный, потому что доцент яростно бросил трубку и тотчас же предстал перед нами. Стул застонал под ним, когда он тяжело опустился на него.

— Что я, должен с ума сойти из-за этой ее стиральной машины? — пробормотал он.— Не уходит вода... А она знай твердит свое, что должна выстирать именно сегодня.

Он брал в руки разные предметы, лежавшие на столе, и затем сердито отбрасывал их. Вдруг он напустился на Мульду:

— Что вы тут стоите? Идите! Не желаю вас видеть!

Мульда моментально юркнул за дверь и бесшумно прикрыл ее.

Тут доцент обратил на меня внимание. Заметив в моей руке листок бумаги, он спросил:

— Вы готовы?

Я не знал, что ему ответить, но тут в моей голове, словно молния в летний день, промелькнула великолепная идея. Склонившись над столом, я произнес:

— Товарищ доцент, если вы не возражаете, я попробовал бы исправить вашу стиральную машину.

Он взглянул на меня с любопытством и в то же время с недоверием.

— Что? Вы могли бы?..

— Да!

— Так чего же вы не сказали раньше? — воскликнул он и неожиданно быстро вскочил со стула.— Пошли! — приказал он.

Мы пробежали мимо потрясенного Мульды и выскочили в коридор. Коллега Сухánek при виде нас так испугался, что незамедлительно снова побежал в туалет. На лестнице я перепрыгивал через четыре, а доцент, возможно, через шесть ступенек. Перед зданием факультета на стоянке стояла его светлая машина марки «дациа». Не успел я сесть рядом с ним, как она уже летела на второй космической скорости. На первом перекрестке он по ошибке включил вместо первой скорости третью. Я разрешил себе тактично указать ему на эту техническую ошибку. Он слегка поерзал на сиденье, не спуская глаз с широкой асфальтированной дороги, которая стремительно бежала под наш капот.

Проехав еще какое-то расстояние, я решил обратиться к нему с доверительным вопросом:

— Сколько берет у вас эта тачка?

— Что? — спросил он, не понимая.

Мне было ясно, что я имею дело не с профессионалом. И я уточнил:

— Сколько она пожирает?

— Ах, вот оно что... Думаю, десять или одиннадцать литров.

— Если бы вы согласились отрегулировать карбюратор, то хватило бы и восьми литров,— предлагал я ему свои услуги.

— Нет, нет...

Новый перекресток. Он остановил машину, потом включил первую скорость. Все правильно. Но он поддал столько газа, что машина зарычала, как медведь в дремучем лесу.

— В переключении скоростей вы не очень-то сильны,— заговорил я снова и даже хихикнул.— Что бы вы делали, например, в Монзе или в Монако на такой машине? Известно ли вам, сколько раз за соревнование переключает скорость шофер на машине «лотус»? 1011 раз. А Патрик Депайе на «рено льте»? 1045 раз. Но все это ему возвращается сторицей. Вы следите за телепередачами?

— Нет...

— А вам следовало бы. Вы многому могли бы научиться. Я имею в виду как водитель... Между прочим, товарищ доцент, вы совершенно не умеете держать руль. Вам это кто-нибудь говорил?

Он попытался передвинуть руки на черном кругу и почти со страхом взглянул на меня.

— И не так. Немного выше. Идеальное положение рук во время езды — это положение десять десять.— Заметив, что он не понимает, я объяснил более наглядно:— Это когда часы показывают десять часов десять минут. Теперь вам ясно?

— Да! — уступил он и моментально попытался исправить ошибку.

Оставшиеся четверть часа довольно рискованной езды я употребил на то, чтобы помочь ему исправить некоторые плохие навыки автомобилиста. И вот мы остановились перед домиком в зеленой части города. Он достал ключ, отпер железную калитку и повел меня по бетонированной дорожке ко входу.

Навстречу нам вышла его жена. Ей было, как мне показалось, немногим более тридцати лет. На ней были джинсы и приятно облегающая кофточка с коротким рукавом. Я ее надлежащим образом поприветствовал и пожал протянутую мне ручку с тонким запястьем.

— Вот это... — показал на меня через плечо доцент. Он не закончил, потому что я громко и членораздельно произнес свое имя, и мое лицо озарилось улыбкой. Пани засияла от восторга, когда узнала, что муж привез специалиста по стиральным машинам.

— Вас послало к нам небо! — воскликнула она и пригласила войти в дом. В прихожей она предложила мне снять ботинки и надеть кожаные тапочки, угостила меня грузинским коньяком и только после этого повела в ванную комнату, стены которой были выложены итальянским кафелем. Он продавался у нас в одном сельскохозяйственном кооперативе.

— Ну, показывайте вашу рухлядь! — заговорил я бодро и весело, стараясь заглушить в себе тот страх, который чувствовал.

Тут я вдруг полностью осознал, что если я не исправлю стиральную машину, то не только не сдам экзамен по старославянскому языку, но более того, доцент вполне определенно обломает о мою голову свою палку для бейсбола.

Пани показала на белый куб, стоящий у стенки, как провинившийся проказник.

— Ну, что же... посмотрим.., Отвертка и клещи у вас найдутся?

— Конечно,— ответила пани и послала мужа за инструментами.

— Что еще? — любезно спросила она, когда ее муж протянул мне то, что я просил.

— Не помешала бы чашечка кофе!..

— Конечно! — воскликнула она радостно и побежала, должно быть, на кухню.

Доцент стоял все время в открытых дверях. Меня это немного нервировало.

— Разрешите?! — отстранил я его деликатно и всунул ключ с другой стороны двери.— Не люблю, когда кто-нибудь мешает мне во время работы. Особенно когда это любитель,— сказал я и запер дверь.

Первое, что я сделал, провел экспертизу стиральной машины. Она была той же марки, что и та, которая стояла у нас дома. Еще тогда, в кабинете доцента, я вспомнил, что однажды она у нас тоже перестала работать — не было оттока воды. Тогда отец отвернул боковую стенку, выпустил оставшуюся воду и в резиновой трубке обнаружил пуговицу от пижамы. Удалив ее, он смонтировал все так, как было прежде. Вода уходила. Стиральная машина работала.

У меня было такое чувство, что ничего другого здесь быть не может, и я принялся за работу.

Опустившись на плитки, я отвернул боковую стенку и клещами отсоединил резиновую трубку. Легонько потряс ее, подставил руку, и вместе с водой на мою ладонь упала монета в пятьдесят геллеров. Я положил ее в карман на память. Затем смонтировал все как было, вытер тряпкой сырой пол, нажал на кнопку и через стекло увидел, как заработал барабан.

Вода вытекала как было положено.

Значит, все получилось!

Но дверь я пока не открывал. Сел на ванну и закурил сигарету. Согласитесь, что после такой работы у меня было на это право.

Только минут через десять я повернул ключ. Супруги незамедлительно вошли в ванную комнату и с восхищением уставились на шумящую машину.

Пани взволнованно всплеснула руками.

— Чудо! Вы просто волшебник!

— Нет... нет... Всего лишь пустяк,— защищался я.

Еще с минуту она любовалась этим чудом техники, потом слегка дотронулась до моего локтя и повела в комнату, где меня ждал кофе. Мы сели в удобные кресла друг против друга и начали болтать. Доцент стоял у стены около картины, изображающей то ли осаду Праги шведами в период Тридцатилетней войны, то ли натюрморт с черникой, и упорно молчал.

Во время кофепития мы с пани курили дорогие сигареты.

— Так сколько мы вам должны? — спросила она, когда я дал понять, что не собираюсь больше задерживаться в их уютном гнездышке.

— Ничего! — развел я добродушно руками.— Ведь мы с товарищем доцентом знакомые.

— Хорошо. Но вам все же надо...

— Не стоит об этом говорить. Я рад, что мог познакомиться с вами. До свидания.

Ее дальнейшие уговоры приводили меня в смущение. Случайно, сделав какой-то предусмотрительный жест, я ударил рукой по карману и почувствовал в нем твердые корочки студенческой зачетной книжки.

— Единственно вот... — отважился я высказать свое желание,— если бы товарищ доцент любезно записал в зачетке, как он мною доволен. Понимаете... сейчас это желательно, потому что всюду такие бюрократы... — извиняющимся тоном говорил я прекрасной даме.

Она обратилась к мужу тоном приказа:

— Богуш! Напиши, пожалуйста, как мы довольны работой мастера!

Я подсунул доценту свою зачетную книжку, открытую на той странице, где было место для оценки по старославянскому языку. Он все понял и зарычал, как рассвирепевший бульдог:

— Но ведь это...

— Что это? — перебила его жена.— Напиши, как мы были на редкость довольны его работой.

Оценка «на редкость» меня не устраивала. Система оценок в высших учебных заведениях не помнит такой формулировки. Поэтому я скромно предложил:

— Напишите лучше — хорошо...

— Как хорошо? — воскликнула довольная хозяйка в кофточке, которая вблизи нравилась мне все больше.— Отлично! Богуш, напиши: от-лич-но!

Супруг неохотно достал ручку и под пристальным взглядом жены нацарапал это слово в моей зачетной книжке.

— Еще дату,— обратил я его внимание.

Он приписал несколько цифр и брезгливо отбросил зачетку на столик, где стояли чашечки с остатками черного кофе. Потом поспешно ушел в соседнюю комнату, где, по-видимому, был его кабинет.

Пани в джинсах проводила меня за калитку, снова подала мне ручку и долго, сердечно прощалась со мной.

Когда она исчезла за калиткой, я отважился взглянуть на окна. Одна занавеска слегка колыхнулась, и за стеклом я на мгновение увидел лицо доцента. Он смотрел на меня с ненавистью. Я же помахал ему. В этот момент он отступил от окна. Вероятно, пошел взглянуть в словарь, как будет по-старославянски термостат.

А я шел домой и думал, что в истории нашего факультета я первый, кто получил пятерку по старославянскому языку. Ведь у ненормального студента Мульды была всего лишь четверка.

◆

Наши гости

Утпал Датт, Хабиб Танвир и Виджей Тендулькар

/ИНДИЯ/

Пьеса шла в театре «Минерва». Театр давно нуждался в ремонте: обветшалый памятник англичанам в Калькутте — бывшей столице бывшей империи.

Пьеса называлась «Рев прибоя». Ее автор и режиссер Утпал Датт играл и главную роль. В глубине сцены — красный флаг, по его сторонам — трехцветное знамя Национального Конгресса и зеленое — Мусульманской лиги. Февраль 1946 года. Бунт на «Тальваре». Матросы поднимают восстание из-за плохой пищи и издевательств английских офицеров. Броненосец «Потемкин» по-индийски. Вожаки разгромленного восстания на «Тальваре» — индус Мадан Сингх, мусульманин Хан, многие другие — пойдут под трибунал.

Но пьеса заканчивается в мажорной тональности: реет алый стяг, резко контрастируя с позеленелой позолотой балконов «Минервы», гремит «Интернационал», его подхватывают и, стоя, поют зрители.

— *Верно, пели,— говорит Утпал Датт в редакции «Иностранной литературы»,— но в театр тогда ходила одна интеллигенция, о зрителе из народа мы в те времена могли только мечтать. А теперь в Индии есть массовый театр.*

Хабиб Танвир и Виджей Тендулькар соглашаются.

Театру лет пятнадцать от роду, но он уже успел создать собственную классику.

«Феномен нового театра» вызывает споры и дискуссии, но самое главное — в него ходят.

Кто ходит и как — это разговор особый, а пока что это, собственно, значит: «новый театр»?

Критик Ашок Ваджпайи пишет: «...это значит, что у нас появились серьезные, современно мыслящие драматурги, что театральные площадки попали в руки серьезных режиссеров, обладающих и глубиной мысли, и силой воображения, что была проделана работа по возрождению жизнеспособных традиций театра древней Индии, что был положен конец снисходительному отношению к театру народному и — очень важно — вырос восприимчивый зритель».

А наши гости по ходу беседы настойчиво повторяют — массовый зритель.

Новый театр мог привлечь — и удержать — массового зрителя, только разговаривая с ним о вещах, задевающих его за живое и на понятном ему театральном языке.

Говорит Хабиб Танвир:

— *Интеллигенция понимает необходимость сближения с народом, но, как правило, предполагает, что это мы будем учить народ. А между тем нам, отчужденным от национальной традиции, нужно учиться у народа. Нельзя же пренебрегать тысячелетним культурным опытом, основанным на непосредственной связи с жизнью... Кругозор индийской деревни, несомненно, очень узок, но в делах, связанных с реальным переустройством жизни,*

деревня прекрасно понимает, что ей нужно. Итоги последних выборов, на которых именно деревня выразила свое отношение к Индире Ганди, разрушили политический миф о пассивности индийских масс.

— Нужно еще вот что добавить,— вмешивается Утпал Датт,— за три десятилетия независимого существования Индии повысился уровень политического сознания народа. Страна переживает настолько серьезные перемены, что появляются возможности для единения по вертикали, что ли. Новый политический театр мог появиться только с появлением массового зрителя.

К XV веку окончательно угасла великая театральная традиция древней Индии. По преданию, она начиналась с представления, устроенного Брахмой для назидания и увеселения небожителей. Столь высокое происхождение театра предопределило многие его черты.

К. Бальмонт в своей статье о Калидасе точно сформулировал важнейшую из них: «Поэт не выражает, он внушает». И дальше: «Индусский гений... решительно выделил драму из реальной жизни и заключил ее в идеальный мир легенд и сказок».

Рядом с идеальным миром санскритской драматургии и театра существовал театр народный, богатейшая традиция которого никогда не прерывалась и дожила до наших дней с изменениями очень малыми соотносительно с тысячелетиями ее истории. Богатство и яркость народных театральных форм поистине ошеломительны: танцевальная драма, кукольный театр, театр масок, массовые представления, пантомима и т. д.

Народные театральные формы не менее условны, каноничны и сложны, чем классический санскритский театр; каждое движение актера, каждая подробность его грима, цветовое решение костюма — все несет смысловую нагрузку, досконально известную зрителю. Зритель не только узнает персонаж с первого мига его появления на сцене — он знает, что этому персонажу назначено делать и чем закончится коллизия. В народном театре тысячи лет разыгрываются сюжеты из мифологии или истории — что почти одно и то же для зрителя, ибо Индия все обращает в символ. Наизусть знакомые сюжеты могут мгновенно осовремениваться через импровизацию. Импровизирует или повествователь-сутрадхар, или шут — фигуры обязательные и в классическом, и в народном театре. Их назначение — вовлекать зрителей в действие, которое играется без сцены, без занавеса, в кругу и по кругу.

Существенное отличие народного театра от классического в том, что он демократичен. Его следует рассматривать как профессиональный театр, поскольку актеры составляют особую касту и не занимаются ничем другим, кроме своего ремесла. Из поколения в поколение изустно передается описание мельчайших деталей постановок и ролей, переходят строго оберегаемые секреты сценического мастерства.

В XVIII веке Индия познакомилась через англичан с европейским театром. Его вхождение в индийскую культуру связано с именем нашего соотечественника, ярославского музыканта и актера Герасима Лебедева — 27 ноября 1795 года он поставил в Калькутте комедию Джодрелла «Притворщики» в собственном переводе на бенгальский язык. Это была первая постановка европейской пьесы на индийском языке с актерами-индийцами.

Но и много позднее европейский театр — даже после успеха пьес Тагора, даже с выходом на сцену современной индийской тематики — оставался театром элитарным.

Основой нового театра стала новая драматургия, о которой Виджей Тендулькар говорит:

— Анализировать ее тематически и стилистически — дело довольно трудное. Важно, что мы все начали писать не для чтения, а для постановки, а тут уже и тема, и небогатые наши театральные возможности диктовали стилистику. Еще важней другое — мы обратились к чисто индийскому театральному языку, привычному для зрителя. Мы отказались от западного сценического реализма, заменив его символикой — ключом всего индийского искусства. Но мы отбросили и нравоучительность индийской театральной традиции. Мы считаем, что задача нового театра — формулировать вопросы. Отвечать на них — дело зрителей.

Новый театр начался с пьесы бенгальского драматурга Бадаль Сиркара «И Индраджит тоже». С пьесы о тех самых людях, что пришли его смотреть. О тех, кто вошел в жизнь, никак не подготовленный к тому, что все вокруг станет так быстро меняться.

Как сутрадхар в народном театре, автор обращался к зрителям: да помогите же понять, что происходит! Молодые ребята, Амал, Бимал, Камал — и Индраджит тоже,— оканчивают колледж. Но напрасно вся семья экономила, чтобы дать им возможность выйти в люди. Выпускников колледжа ожидает безработица; и не только героев пьесы. Сутрадхар читает зрителям статистические данные: сколько таких амал-бимал-камалов в Калькутте, в Бенгалии, по стране. А герои пока что мечутся, стараются найти себе применение. И ясно, что учили их не тому и не так, что вместо полезного знания они вынесли из колледжа набор стереотипов, стандартный, как их имена. И ясно, что так дальше продолжаться не может, что нужна новая система просвещения, соотнесенная с реальными потребностями страны. А в чем они заключаются, эти реальные потребности? Индраджит пытается осмыслить это.

Драматург выхода не подсказывает. Советов не дает. Предлагает подумать.

Пьеса пошла в Калькутте, Бомбее, Дели, Мадрасе. Пошла на бенгальском, маратхском, гуджератском, тамильском, хинди и других языках. В театр пошел массовый зритель.

— А точнее, театр пошел к зрителю,— усмехается Утпал Датт.— Наш массовый зритель привык, что театр приходит к нему и участвует в его жизни. Новый театр так и поступил. Сегодня театр выезжает со спектаклями на заводы и в деревни. Мы играем на площадях и на базарах, во время политических митингов. Мы играем серьезные пьесы и собираем тысячные толпы зрителей, но мы никогда не упрощаем наши постановки до бытовых карикатур

или злободневных политических скетчей. Мы не кино, но мы и не плакат.

— Но сначала потребовалось, чтобы тысячные толпы поверили в необходимость театра,— подхватывает Виджей Тендулькар,— а это могла сделать только тема спектакля. Она должна касаться всех — это дело сложное. Я лично и не умею, и не желаю писать на универсальные темы. Я маратх и пишу для маратхской аудитории, и только для нее. Зрителей своих я знаю по той простой причине, что я один из них.

...И честно говоря, мне все равно — поймут меня за пределами Махараштры или не поймут.

— Вопрос и вправду сложный,— соглашается Утпал Датт.— Только будучи до конца правдивым перед собственным народом, можно правдиво говорить и обо всей Индии. В драматургию с глобальным прицелом я не верю. Сколько ставилось — и проваливалось! — пьес о национальной интеграции, о единстве Индии — не счесть! А Тендулькар ставит «Сакарама-переплетчика» или о событии двухсотлетней давности — и по всей Индии смотрят его пьесы, и каждый думает: при чем тут бомбейский переплетчик или маратхская история, когда это про меня!

— Думаю, что сегодня,— замечает Хабиб Танвир,— уже можно говорить, что новый театр после долгих мытарств нашел свой путь — новый театр реалистичен по проблематике и символичен по форме. Мы все время помним о том, кто будет смотреть наши постановки, и ищем сценическую форму, понятную ему.

Путь Хабиба Танвира можно считать типичным для многих, кто творит сегодня новый театр: он ступил на него еще студентом, в годы борьбы против колониального владычества. Играл в агитационных спектаклях, с которыми в те времена разъезжали по Индии труппы Ассоциации театра для народа. Снимался в кино — и с немалым успехом, однако скоро понял, что коммерческое кино не для него, и вернулся в театр. Ставил Ибсена, Брехта, индийскую классику. Ездил по европейским театрам, играл в Лондоне. В конце концов утвердился в мысли, что только народный театр может стать мостом через пропасть, отделяющую передовую творческую интеллигенцию от народа, и что наиглавнейшее в народном театре — это его умение вовлекать зрителя в действие.

Хабиб Танвир привез в Дели деревенских актеров и написал для них «Базар в Агре». Хабиб Танвир использовал стихи поэта XVIII века Назира Акбарабади, которые уже две сотни лет распевают на улицах и базарах. Пьесу нельзя назвать исторической, хотя ее события и отнесены на два века назад, нельзя назвать биографической, хотя речь идет о жизни поэта. На сцене шумит и клокочет индийский базар, будто неподвластный времени. Деревенские актеры играют самих себя — идет уличное представление, спектакль в спектакле, из которого вначале почти незаметно выделяется авторский голос. Хабиб ли это или давно умерший Назир — неважно, голос утверждает единство индусов и мусульман, равенство тех, кто трудится, независимо от каст, говорит о справедливости народовластия, верит в бессмертие художника, выразителя народной души.

— У нас много пьес на исторические сюжеты,— рассказывает Хабиб Танвир,— хотя историзм их относителен. Это же мое дело — выбрать исторический эпизод или личность и посмотреть на историю сегодняшними глазами. И вообще, как бы мы ни подходили к истории, мы все равно смотрим на нее глазами людей XX века.

— И это важней всего! — подхватывает Виджей Тендулькар.— Я в принципе против названия «историческая пьеса». Событие может быть историческим, но я-то о нем пишу, потому что чувствую его связь с сегодняшним днем. Я готов, по возможности, соблюдать и историческую правду, и сохранять дух эпохи, но это для меня вторично.

— Главное, для зрителя это вторично! — говорит Утпал Датт.— Занимаясь театром всю жизнь, мы не можем не задумываться над тем, что уже удалось нам сделать, а что предстоит делать в будущем. Без сомнения, новый театр сейчас на подъеме. Мы вырвались из культурного отчуждения и говорим с народом. Это прекрасно. Мы не боимся касаться болевых точек нашего общества — это еще лучше. Нам удалось создать подлинно индийский театр, и нас никто не может упрекнуть в подражательности. Мы сделали нашего массового зрителя нашим высшим судьей. Сумеем ли мы и дальше быть полезными нашему зрителю? Вот в чем вопрос. Ведь не на театральной площадке решаются проблемы нашей жизни...

М. САЛГАНИК

◆

Среди книг

Издано в СССР

В ДАЛЬНИЙ ПОЛЕТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

Из монгольской поэзии XX века. Переводы с монгольского. Составление Г. Михайлова. Вступительная статья Ю. Розенблюма. Москва, «Художественная литература», 1981.

В связи с выходом новой антологии современной монгольской поэзии, в которой опубликованы переводы широкого круга переводчиков разных поколений, мы попросили одного из них — известного поэта-переводчика и литературоведа Г. Б. Ярославцева, более двадцати лет занимающегося монгольской поэзией, представить эту книгу и рассказать о поэзии МНР.

В 1951 году «Детгиз» так называлось тогда издательство «Детская литература») выпустил тоненькую книжку стихотворений монгольского поэта Д. Сэнгэ. Пионером поэтического перевода с монгольского стал поэт Вадим Сикорский. Тридцать лет спустя, в год шестидесятилетия народной революции в Монголии, была издана солидная антология «Из монгольской поэзии XX века», в которую вошли поэтические произведения тридцати четырех поэтов Монголии, а также народные и партизанские песни общим объемом в пять тысяч стихотворных строк.

За три десятилетия, отделяющие первую поэтическую книгу от антологии, наши читатели получили десятки книг и журнальных подборок монгольской поэзии на русском языке и языках народов СССР. Сборник «Из монгольской поэзии XX века», наиболее полный и представительный из выходивших в Советском Союзе, дает повод поговорить о становлении новой монгольской поэзии и перспективах ее развития.

Богатейший фольклор монголов, вся многовековая монгольская литература по природе своей тесно связаны с поэтической традицией. Еще до того как историки научились тщательно фиксировать события и даты, народ слагал легенды, сказки и песни, отражавшие его судьбу и национальные особенности его кочевого быта.

Возникшие в старину поэтические фольклорные жанры продолжали существовать и развиваться и позднее, наряду с письменной литературой. Верность традициям представлялась надежным способом сохранить духовные ценности, уберечь их от забвения. Особую форму, стиль (зачины, повторы, параллелизм) имели народные песни девятнадцатого — начала двадцатого века, произведения коллективного, а иногда уже индивидуального творчества, отличавшиеся смысловой емкостью, большим разнообразием тематики — песни героико-эпические, бытовые (обрядовые), колыбельные, лирические обращения к природе, песни любовные, разбойничьи, антиклерикальные. Непосредственно перед народной революцией 1921 года, когда углубилось классовое содержание освободительной борьбы аратов и формы их движения стали значительно более организованными, появились политические песни-памфлеты. Эти песни представляли собой своего рода переходное звено между произведениями монгольского фольклора предреволюционной эпохи и партизанскими песнями времен народной революции.

Классическая поэзия монголов долгое время находилась под влиянием ламаизма, но лучшие поэтические произведения критического направления в конце XIX — начале XX века развенчивали феодалов и князей церкви, расчищали путь для решительной борьбы с крепостниками и ламами, за социальное и духовное освобождение трудящихся. Широкоизвестное произведение Б. Гэлэгбалсана (1846—1923) «Как у неба просили дождя» по форме — молитвенное благопожелание, по смыслу — первый в литературе явственно слышимый ропот на тяжелое народное бедствие, засуху 1905 года. В описании этой трагедии доведенных до отчаяния людей впервые в истории монгольской поэзии возникает образ народа в трагических обстоятельствах. «Золотые поучения гэгэна из монастыря Гунгийн-зуу» Н. Данзанванжила (1854—1907), написанные в форме сургаала (наставления), ниспровергают служителей культа, светскую знать и чиновничество. Тот и другой авторы обличают существующее в мире зло. Значительно дальше идет поэт-бунтарь Р. Хишигбат (1849—1916), участник дугуйланского движения, освободительной борьбы аратов во второй половине XIX века. В своих магтаалах (восхвалениях) и хараалах (проклятиях) он высту-

пил сторонником борьбы за переустройство земного бытия.

По пастбищам и по лугам пройдись —
Стада пасутся вроде бы и тучны.
К мирским делам, однако, приглядись—
Запутанны и неблагополучны.
Желанные настанут времена —
Падут с небес живительные струи,
И расцветет стремительно страна,
И весь народ вздохнет и возликует[1].

(«Грядущий расцвет»)

Предреволюционная поэзия Монголии стала поэзией перехода от средневековой к современной реалистической. И пусть в то время проникновение художественных произведений светского характера и демократического направления, по выражению монгольского критика Г. Жамсранжава, было подобно проникновению лунного света сквозь тоно (дымовое отверстие) юрты в темную ночь, все же и они прибавляли силы прогрессивным тенденциям в монгольской культуре, мерцавшим во мраке религиозного фанатизма и крепостничества. Произведения монгольской поэтической классики, впервые переведенные на русский язык, составили начальный раздел антологии «Из монгольской поэзии XX века».

Великая Октябрьская революция в России и победившая под ее влиянием Народная революция 1921 года в Монголии привели к грандиозным сдвигам в общественных отношениях, политическом строе, экономике, культуре монголов, в мировоззрении народных масс.

Первым художественным откликом на бурные события нового исторического времени оказались боевые песни партизан и воинов Народно-революционной армии. В них, создававшихся и самими партизанами, и профессиональными певцами-сказителями под влиянием народного песенного творчества, звучало романтическое восприятие мира, отражалась неколебимая вера поднявшегося на борьбу народа в правоту своего дела. Естественным продолжением и развитием революционной песни стало творчество поэтов-романтиков 20-х — 30-х годов Д. Нацагдоржа, С. Буяннэмэха, Ц. Дамдинсурэна, Б. Ринчена. Время выдвинуло перед искусством задачу политического просвещения народа, и основоположники новой монгольской литературы писали агитационные стихи и песни, слагали магтаалы во славу родины, воспевали свет знаний, клеймили и высмеивали в традиционных хараалах «желтых клещей», служителей желтой веры, вели борьбу против засилья местных феодалов, делали первые переводы на монгольский язык произведений русской и мировой классики. Новая поэзия начиналась с ощущения преображенной родины, но говорила на первых порах старым языком, опиралась на поэтические формы прошлого.

В сороковые, «роковые» годы в литературу пришло поколение ровесников Народной революции — С. Дашдэндэв, Ц. Цэдэнжав, Д. Цэвэгмид, Д. Сэнгэ, Ч. Лхамсурэн, Д. Тарва Вопрос о ведушей теме поэзии этого времени поставил в стихотворении «Память о военном лете» Ц. Гайтав и сам на него ответил:

Где же взяты яркие чернила.
описать,
как бились здесь монголы,
Как победу с братьями ковали? —
Из реки широкой
Халхин-Гола.

Совместное выступление советских и монгольских воинов против японских захватчиков на Халхин-Голе; помощь трудящихся МНР советскому народу в годы Великой Отечественной войны — сбор средств на постройку танковой колонны «Революционная Монголия» и авиаэскадрильи «Монгольский арат»; участие вооруженных сил МНР в разгроме японских милитаристов, положившем конец второй мировой войне,— все это на многие годы обусловило ведущее положение в поэзии военной тематики. На военную тему были написаны поэмы «Послание советскому народу» Ц. Дамдинсурэна, «Праздничная ночь» Д. Сэнгэ, «Полковник» Ч. Лхамсурэна, «Мой отец» Д. Тарвы и многие другие произведения, популярные в Монголии, известные и советским читателям.

Начиная со второй половины пятидесятых годов наряду с крупными поэтическими полотнами эпического плана («Три семьи», «Кавдивизия» С. Дашдэндэва; «Дамдины Сухэ-Батор», «Хорлоогийн Чойбалсан», «Карл Маркс», «Коммунисты», «Ленин с нами» Ц. Гайтава) возникает и становится все слышнее голос лирической поэзии как в малой, так и в крупной форме. Не единицы, а десятки новых имен появляются на поэтическом небосклоне Монголии. С выходом поэтических сборников С. Доржпалама, Ч. Чимида, Б. Явуухулана, М. Цэдэндоржа, Д. Пурэвдоржа, Л. Тудэва, С. Дашдоорова поэзия окрепла идейно и художественно, обрела тематическое разнообразие и вот уже четверть века непрерывно пополняется все новыми голосами, набирает силу. Перспектива, которую видят художники, лучше всего говорит о стабильности, устойчивости новой жизни. Чуткий Д. Тарва отмечает теснейшую связь между сегодняшним днем и грядущим, показывает, как люди своим трудом стремятся перенести в настоящее по возможности больше из будущего, и утверждает, что нет

...ни вечера в природе.
ни заката.
ни захода.
Пляшут в круге-хороводе
день со днем, недели, годы...
Где теперь закат в отчизне?
Вечеров, считай, не стало,
Ибо вечер в нашей жизни —
дня грядущего начало.

В творчестве каждого вступающего в литературу поэта убедительно звучат гражданские мотивы, стихи и песни о родине, интернациональная тема. У Ц. Гайтава читаем:

Уж полвека
мы
единоверцы,
Хоть богов
давно
не почитаем;
Ритм
биенья
собственного сердца
С ритмом
сердца русского
сверяем.
Совпаденье ритмов —
признак
точный,
Что идем
по верному
пути.

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

Едва ли не в каждом выходящем в МНР поэтическом сборнике можно прочесть взволнованные, страстные стихи в защиту мира. Приходят на память замечательные «Четверостишия о мире» Д. Сэнгэ, «Камни Хиросимы» Л. Тудэва, «Хочу мира» П. Пурэвсурэна, «Перед вами играют дети» Ш. Дулмы и другие.

Освоение всего лучшего, что создали мировая и советская литературы, принесло огромную пользу литературе МНР. «Выбор нашей литературой метода социалистического реализма никем не был навязан нам,— отмечал Л. Тудэв еще в 1968 году.— Метод социалистического реализма был нужен нашей литературе так же, как нужны солнце и дождь для того, чтобы цветы могли распускаться».

Экономически прочная, духовно богатая жизнь стимулирует поиски совершенствования человека. Монгольская поэзия обратилась к современнику, к его тончайшим переживаниям. Лучшие художники поэтического слова в нынешней Монголии уже не только регистрируют важные изменения в обществе, они ставят перед личностью все более сложные вопросы. Революция, освобожденный труд открыли настежь все окна человеческого сознания, научили человека лучше понимать самого себя, обнаружили в нем новые, неожиданные возможности.

«Человеку родиться
и умереть суждено».
Но — свершить ему в жизни
так много дано! —

утверждает за человеком право на вечный творческий поиск Б. Явуухулан.

Новый аспект мысли придает афористичное высказывание Д. Цэдэва:

Далеко до глубин моря великого,
Далеко до звезды неба вечернего,
Далеко до предела души познающего.

Когда одна мысль занимает умы разных, но подлинных поэтов, мы не испытываем чувства избыточности, пресыщения, повторяемости. Диапазон человеческих чувств безграничен, и струн хватит на всех музыкантов. Но что это? Перед нами классическое трехстишие. Стремясь осмыслить сегодняшнее, Д. Цэдэв возвращается к старинной фольклорной форме, и она помогает поэту оттенить глубину его личного наблюдения жизни, его философского взгляда на бытие.

Пример Д. Цэдэва не единичен. К лаконичным четверостишиям, слагаемым по народным образцам, прибегал нередко Б. Ринчен, они украшают творчество Л. Хуушаана:

Положено мудрому тысячу жизней
прожить
И опочить однажды.
Назначено глупому глупую жизнь
прокоптить,
А умереть — дважды.

Для выражения чувств своей ровесницы к любимому молодая поэтесса С. Оюун использует вполне современный поэтический словарь, ритм, стиль («Ветер родного края»). А вот дочернее чувство уважения к отцу в день новогоднего праздника она выражает торжественным языком традиционного ероола-благопожелания:

В знак уважения к годам почтенным,
Что в мире прожили вы столь
совершенно,
Осведомляясь о вашем здоровье,
Преподношу вам с дочерней любовью
Хадак — его на ладонях держу...

«Возврат» к фольклорным и классическим формам в наши дни означает, с одной стороны, высокий уровень поэтического мастерства: художники слова прибегают к ним для передачи особой смысловой насыщенности, вящей глубины, приподнятости образа или чувства, с другой стороны, это говорит и о возросшем уровне культуры читателей.

Современная литература Монголии активно участвует во второй, не менее значительной революции — революции в сознании, духовном облике нового человека. И подобное взаимодействие с жизнью, естественно, требует от литературы все большей активности. Вот почему литераторы Монголии высоко ценят завещанный А. М. Горьким монгольским писателям «принцип активности, напряжения мысли, стремящейся к деятельной свободе», как руководство к постоянному действию. Молодой поэт О. Дашбалбар написал недавно:

Мгновенен грозной молнии удар:
Расколот дуб, хоть кряжист он и стар.
Увидев через четверть века мать,
Скиталец крика не сумел сдержать.
Стань молнией, стань озареньем, стих!

«Вместимость» современной поэзии Монголии такова, что она вправе чувствовать себя наследницей и продолжательницей исторического, национального, духовного и культурного опыта страны. (Впрочем, монгольская проза последнего десятилетия стала ее достойной соперницей). Судьба поэзии и ее долг — обрести еще более сильные крылья для дальнего полета на большой высоте. Задача эта по плечу монгольским поэтам.

ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

ЛИТЕРАТУРА О ЛИТЕРАТУРЕ

Писатели Англии о литературе. Сборник статей. Предисловие А. А. Аникста. Перевод с английского. Составление К. Н. Атаровой. Москва, «Прогресс», 1981.

Как и предыдущие антологии того же типа, это содержательный и полезный сборник. Имена представлены классические, крупные, материалы подобраны характерные. Книга дает широкой читательской аудитории первоисточники влиятельных идей и мнений, не только сыгравших, но и продолжающих играть заметную роль в развитии литературы. В предисловии к сборнику сказано, что англичане, традиционно считающиеся не склонными к теории, на самом деле изначально наметили выработку теорий в различных сферах знания. В свое время, когда ни английский язык, ни английская литература не были у нас особенно популярны, Герцен отметил, что многие идеи, поступающие в Россию во французской или немецкой оболочке, по происхождению являются английскими. В масштабах общеевропейских Маркс и Энгельс подчеркивали, что блестящие продолжатели не должны вычеркнуть из памяти потомства английских родоначальни-

ков идей человеческих прав, свободы совести, индивидуальной свободы. А в сфере эстетики и литературной критики именно на английской почве наметились идеи творческой органики, историзма, народности, сущностной правдивости искусства, одним словом, все то, что затем было синтезировано и развито мыслителями разных стран. Интересно отметить, что некоторые плодотворные идеи — например, та же мысль об органике — формировались в Англии, но сразу там не привились, зато были подхвачены в Германии, а затем вернулись и с новой силой воздействовали на самих англичан. Народные шотландские баллады Вальтер Скотт знал, разумеется, с детства, однако осознал их значение лишь после того, как прочел о них у своего старшего немецкого современника, поэта Бюргера, а тот в свою очередь обратился к «Памятникам древней английской поэзии» под влиянием Гердера, который испытал воздействие двух англичан — Шефтсбери и Юнга. Вот как строился тот духовный «дом», который начал строить Джек... Постепенная выработка больших идей, составляющих достояние человечества,— это интереснейший процесс, раскрытие его помогает глубже понять содержание идей, и данный сборник способствует такому раскрытию.

Из числа материалов, собранных в этой книге, первым по значению является первым в ней и помещенное авторское предисловие (1800) ко второму изданию «Лирических баллад» Вордсворта и Кольриджа. Достаточно сказать, что многие теоретические размышления Пушкина — скажем, о природе поэтического вдохновения, о простоте слога, о соотношении стиха и прозы — перекличка с этим предисловием. Чтобы убедиться в этом, надо перечитать одно из важнейших критических суждений Пушкина, начинающееся словами: «В зрелой словесности приходит время...» Столь же принципиально значение помещенных в сборнике далее лекций Кольриджа о Шекспире и Мильтоне. Наши современные критики часто вспоминают пушкинский совет: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», и это также перекличка с Кольриджем, который именно в шекспировских лекциях развивал антинормативную, предполагающую историзм идею «своих законов» у каждой эпохи, у каждого писателя. К фундаментальным по значению теоретическим документам относится и помещенная в сборнике статья Мэтью Арнольда «Назначение критики в наше время», некогда переведенная и опубликованная у нас по инициативе Толстого. Благодаря сборнику в круг нашего чтения войдет и предисловие Джозефа Конрада к его роману «Негр с «Нарцисса» (1897). Непосредственно с романом предисловие почти не связано, однако литературно-критическое его значение в литературе нашего века образно можно определить так. Это теоретическая «Шинель», из которой вышли такие английские и американские писатели, как Грэм Грин, Фолкнер, Скотт Фицджеральд, Хемингуэй и многие другие. Это здесь был сформулирован тезис о «неудаче», на которую, так сказать, обречен писатель, стремящийся к недостижимому для него творческому результату, а мы об этой специфической «неудаче» столько слышали из уст того же Фолкнера.

По сборнику хорошо прослеживается линия размышлений английских писателей о романе — ведущем жанре современной литературы. Говоря «линия», я имею в виду не простую преемственность. Совершается смена эпох и установок, происходит переоценка ценностей, в пределах каждой эпохи развертывается борьба — и все это у читателя на глазах, что, конечно, вызовет особый интерес и принесет особую пользу. Скажем, «Современная литература» Вирджинии Вулф. Об этой статье у нас неоднократно писали, ее объективно анализировали наши авторитетные специалисты, но вот что значит один раз прочесть, а не только множество раз из чужих уст услышать! За статьей установилась репутация модернистского манифеста. Внимательный читатель должен будет переменить или по меньшей мере уточнить такое мнение. Статья содержит оговорочно-осторожное выражение надежд в отношении новой прозы, в частности так называемой школы «потока сознания». Надежд, уже не оправдавших себя к тому моменту, когда статья была опубликована в своем окончательном виде. И Вирджиния Вулф признает, правда в свою очередь осторожно, но все же вполне определенно, крушение «больших ожиданий». Вообще эта способность признать неудачу, сознаться в собственном творческом поражении отличает старших новаторов нашего века, прошедших через опыт модернизма, от их многочисленных подражателей и истолкователей.

Исключительное значение имеют помещенные в сборнике статьи, свидетельствующие о мировом признании русской литературы. Это «Иван Тургенев» Генри Джеймса, «Русская точка зрения» той же Вирджинии Вулф, «Братья Карамазовы» Сомерсета Моэма, «Лев Толстой» Джеймса Олдриджа, а также суждения о русских писателях в статьях Оскара Уайльда, Уэллса, Голсуорси и других. Все это трудно переоценить: поразительный пример творческо-критического самоотвержения, с каким зарубежные литературные авторитеты, мастера склонились перед нашими гигантами. Тут хотелось бы внести уточнение в комментарии к сборнику. Поясняя статью Генри Джеймса о Тургеневе, комментатор говорит, что Джеймс воспринимал и пропагандировал Тургенева как писателя, обладающего «даром прирожденного романиста». Нет, дело не только в даровании. «Романистом романистов» называл Генри Джеймс Тургенева, так, как когда-то «поэтом поэтов» англичане называли Эдмунда Спенсера, крупнейшего поэта той эпохи, выдающегося предшественника Шекспира. В Тургеневе Генри Джеймс видел писателя из писателей, образцового творца, в личности которого яркая индивидуальная выраженность сочетается с национально-народной основой. Именно потому, что в своем кругу западные ценители подобных явлений уже не видели, они и потянулись к Тургеневу, а он им указал на своего друга и соотечественника, еще сильнее пред-

ставляющего то же сочетание — Толстого. Читая отзывы выдающихся англичан о русских писателях, мы видим, насколько наша классика вошла у них в «плоть и кровь» (тургеневские слова о признании Шекспира в России). Надо полагать, что со временем у нас выйдет книга «Зарубежные писатели о русской литературе», и тогда можно будет подробнее поговорить о причинах и обстоятельствах мирового признания русской литературы, которое коренным образом отличается от всего лишь модных поветрий, временных увлечений «местным колоритом» той или иной национальной литературы, поветрий, возникающих в том числе и у нас на глазах. Где она будет завтра, эта мода? А вот вековая проверка подтверждает неслучайность некогда начавшейся в Англии «русской лихорадки», как называли во второй половине прошлого века английское увлечение русским романом.

Основательно представлена в сборнике критическая деятельность великих и выдающихся английских писателей — Диккенса, Теккерея, Шарлотты Бронте, Джордж Элиот, тех, кого Маркс и Энгельс называли «блестящей школой» реалистов. Среди этих публикаций имеются материалы, хорошо нашему читателю знакомые, есть и новинки для него. Статьи Уэллса, Голсуорси нашему читателю уже известны, но здесь они читаются по-новому за счет обширного фона, а фон этот составляют еще не читанные у нас статьи Беннета, Беллока, Форстера. Как уже сказано, исторический контрапункт мнений — привлекательная черта данного сборника. Вот Генри Джеймс критикует Диккенса за композиционную рыхлость, критикует достаточно остро, и тут же на защиту Диккенса встает Честертон, а затем его поддерживает великолепным эссе Дж. Б. Пристли, в результате и хрестоматийный глянец слетает с фигуры великого писателя, и достоинства его выступают рельефно, объективно. А Байрона даже не критикует — третирует Т. С. Элиот, лидер англо-американского модернизма. Пытается третировать. «Гордости поэт» антипатичен Элиоту во всем, вплоть до внешности, которая, на вкус Элиота, чересчур чувственна, жизненна, как и байроновская поэзия, где присутствие той же личности ощущается во всем. Но стоит только эти претензии к Байрону от лица декадентского худосочия сравнить с восторгом, который та же личность и та же поэзия вызывали у Вальтера Скотта (его статья о Байроне помещена здесь), как наши собственные, может быть у кого-то уже несколько дремлющие, чувства к Байрону вспыхнут и оживятся. Острым получается на страницах сборника и заочный обмен мнениями по новейшей литературе, которую обсуждают здесь Чарльз Сноу, Грэм Грин, Джеймс Олдридж, Малькольм Брэдбери, Джон Фаулз.

Да, дельная, нужная нашему читателю книга, которая поможет ему разобраться в сложных проблемах эстетики и литературы. Читатель почувствует себя приобщенным к работе серьезной мысли, движущейся в разных направлениях. Наблюдая за литературно-критической борьбой, из первых уст выслушивая доводы «за» и «против», читатель тем яснее поймет, куда клонится объективная логика литературного развития, где видим мы подлинное проникновение в природу литературы, а где лишь интерпретационное использование литературы в качестве «сырья» для «критической промышленности»,— это ведь тоже английское, распространившееся по всему Западу изобретение: игра в литературно-критические поддавки, изготовление произведений в специальном расчете на умствующую критику. Безусловно, всякий сколько-нибудь восприимчивый читатель не останется безразличен к тому, что на страницах этого сборника устами авторитетных английских литераторов говорится о значении нашей литературы. Современный читатель, который высоко ценит тонкость мысли, интеллектуализм, но очень часто получает во вторичных западных образцах лишь подделку, здесь увидит подлинную тонкость, интеллектуальную честность, проявляемую корифеями, которые прежде всего стремятся не уйти от проблемы, а встать на уровень проблемы, даже если решение ее не по плечу, не по силам.

Большинство английских писателей, представленных в этом сборнике, стремились писать о литературе хорошо, даже лучше подчас, чем удавалось им выразить себя в самой литературе, художественном творчестве. В переиздании сборника, которое, надо полагать, потребуется, надо будет еще поработать над некоторыми переводами ради того, чтобы они стали истинной литературой о литературе. Но и сейчас информативное, воспитательное и, наконец, просто читательское значение этого сборника будет весомым.

Д. УРНОВ

Издано за рубежом

РАСШИРЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ

Kurt Vonnegut. Jail Bird. New York, "Panther Granada Publishing", 1980.

Курт Воннегут. Тюремная пташка. 1980.

В этом романе Курта Воннегута легко различить черты давно сложившейся, испытанной годами, книгами, неизменным успехом у читателей и критики литературной манеры. Сюжетные скрепы здесь по-прежнему ослаблены, действие разворачивается скачкообразно, подчиняясь чаще всего прихоти ассоциаций и не считаясь с линейным движением календаря, логикой места. Реальное, даже документальное (недаром автор сопровождает роман указателем имен, как если бы это было научное сочинение) свободно соседствует с фантастической несуразицей Чего стоят, например, огромные клоунские

кеды на ногах миссис Грэхем, в которых эта бывшая работница, а ныне тайная миллионерша хранит долларовые ассигнации. Словом, как и всегда, Воннегут менее всего озабочен тем, чтобы создать иллюзию жизнеподобия. И все же, читая «Тюремную пташку», начинаешь постепенно ощущать, что в привычном мире сдвинутых пропорций, нарушенных логических связей, в знакомом мире парадоксов и случайностей нечто изменилось.

Прежде этот мир, при всей своей хаотичности, обладал четко выраженным центром, откуда неуклонно контролировались любые колебания романной массы. Художественно этот центр оформлялся как фигура всеведущего и всесильного автора, направляющего действие, дергающего за ниточки персонажей, которым отводилась вполне марионеточная роль. Вот как это выглядит, например, в романе «Завтрак для чемпионов» [1]: «Не знаю, кто изобрел «персональный мешок». Зато знаю, кто изобрел Килгора Траута. Его изобрел я сам»; «а вот какая история случилась с Вейном дня через четыре, потому что я захотел, чтобы с ним так случилось». Все это отнюдь не просто формальный прием, но лишь особенно наглядное выражение сделанности произведения.

Поначалу кажется, что и «Тюремная пташка» выстроена по той же схеме. В прологе, написанном от собственного имени, автор вполне недвусмысленно оговаривает свою режиссерскую роль: «В книге есть второстепенный персонаж по имени Кеннет Уистер», «в ней действует другое второстепенное лицо, которое я назвал Роем М. Коном», «я включил его в повествование с великодушного разрешения самого этого человека, полученного вчера (2 января 1979 года) по телефону» и т. д. Однако в самом романе, где авторское повествование переходит в монолог героя, обозначенный во вступлении чертеж утрачивает свою жесткость, действие до известной степени обретает характер самодвижения, персонажи тоже перестают играть сугубо кукольную роль, обнаруживая независимость судеб и характеров и даже некоторую психологическую непростоту. Соответственно меняется стиль. Если прежде он отличался четкой определенностью и лаконизмом, приличествующим словарю или школьному учебнику («механического жука — автомобиль — создали немцы. Настоящего жука сотворил Создатель вселенной»), то теперь повествовательная техника становится гибче, обнаруживая ритмическое и интонационное многообразие.

Вообще говоря, стилистический облик произведения вовсе не связан отношениями прямой зависимости с его художественной идеей. Но в творчестве Воннегута, писателя в высшей степени концептуального, склонного к обнаженной откровенности мысли, такая зависимость выявляет себя как раз весьма отчетливо. Потому и сдвиг формы свидетельствует о важных переменах в творческом сознании писателя, в его мироощущении.

«Телеграфически-шизофренический» стиль таких романов, как «Бойня номер пять», «Механическое пианино», «Колыбель для кошки», более всего «Завтрак для чемпионов», конструктивная завершенность этих произведений с зеркальной точностью отражали идею автора: в условиях бесконтрольно развивающегося научного прогресса, в условиях господства технократического сознания человеческая индивидуальность как самодостаточная величина исчезает, а если остается, то лишь как досадная помеха на пути к полному триумфу машинного разума. На этот счет не оставляют никаких сомнений сами компьютеры, произведшие соответствующие подсчеты и выдвигавшие соответствующие рекомендации (см. роман «Сирены Титана»). Было бы явным упрощением полагать, будто писатель и сам, вместе с героями, целиком растворен в атмосфере безлюдной действительности, какой видится ему современная Америка. Сама поэтика гротеска безошибочно свидетельствует о том, что автор, отказываясь от позиции холодного летописца новейшего Апокалипсиса, гуманистически переживает трагедию личности, ставшей жертвой позднекапиталистической цивилизации. Это и отделяет его творчество от литературной школы «черного юмора», к которой Воннегута традиционно, но безосновательно причисляет буржуазная критика. Однако же, с другой стороны, верно и то, что человеческий голос со страниц его книг, начиная с «Механического пианино» и кончая «Балаганом...», доносится глухо, а чаще всего вовсе растворяется в безлично-ровном или, наоборот, безумном шуме машин

А в «Тюремной пташке» он обретает звучание, эта книга, коротко говоря, человечнее прежних произведений писателя, в ней больше доброты и надежды.

Это вовсе не означает усталой примиренности с жизнью. Воннегут и здесь верен давно сформулированной писательской задаче: подобно тому как канарейка, оказавшаяся на дне шахты, своим отчаянным трепетанием предупреждает людей о том, что где-то прорвало газовые трубы, художник должен заранее различать приметы грядущей опасности и говорить о ней в полный голос В подтверждение можно бы сослаться на фантастический сюжет, включенный в текст нового романа. Описывается некая планета Викуна, обитатели которой, научившись материализовать время, бездумно транжирят свое богатство, используя энергию времени для нагревания электрических приборов, или в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания, или удобрения для почвы; а по особо торжественным случаям, например в честь дня рождения королевы, устраивают фейерверки, на которые уходит «миллион лет будущего». В результате это будущее усыхает, как шагреневая кожа, и герою повествования, вместе с другими жителями планеты, остается лишь несколько недель жизни. Аналогия с земными проблемами и катаклизмами обнаженно ясна, ее даже комментировать не надо. Но все-таки это слишком очевидный пример, к тому же тут сразу дает о себе знать инерция прежних художественных решений (Викуна — всего лишь вариант другой планеты, Тральфамадор, из «Сирен Титана» и «Бойни номер пять»). А ее-то писатель ощутимо стремит-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1975, № 1, 2.

ся преодолеть. Раньше он, пожалуй, ограничился бы символическим изображением экономического монстра по имени РАМАК — гигантской корпорации, владеющей газетами, журналами, отелями, сыскными агентствами и т. д. А теперь, не изменяя, как говорилось, склонности к гротескному преувеличению, романист выказывает большее доверие к самой реальности, ее предметному облику и движению.

Жизненные приключения главного героя, выходца из бедной семьи Уолтера Ф. Старбека, рассказанные им самим,— детство, проведенное в доме мультимиллионера на правах то ли мальчика на побегушках, то ли шахматного партнера, юные годы в Гарварде, заигрывание с коммунистическими идеями и рабочим движением в пору Великой депрессии, интендантская служба в оккупированном Берлине, государственная деятельность (помощник Никсона по делам молодежи), наконец, тюремное заключение после уотергейтского скандала — разворачиваются в хронику социальной жизни Америки XX века. Конечно, это не панорама в духе Норриса или Драйзера. Тут как раз Воннегут вполне верен обычной манере — предпочитает моментальные снимки: расстрел рабочей демонстрации, митинг протеста против судилища над Сакко и Ванцетти, заседание комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, аферы Белого дома в пору президентства Никсона и т. д. Но разделенные во времени и словно бы случайные фрагменты складываются в общую и внутренне оформленную картину тяжелой общественной и моральной деградации буржуазной жизни.

Нет, Воннегут не изменил своей излюбленной теме: его по-прежнему волнуют глобальные претензии «технотронной» цивилизации, как и раньше, он оценивает результаты ее распространения с полным сарказмом. Но ныне он рассматривает бездушный сциентизм в системе отношений, построенных на началах социальной несправедливости и отбрасывающих человека на задворки культуры.

Это важный сдвиг, свидетельствующий о расширении границ художественного мира Курта Воннегута.

Но, думается, еще существеннее то, что, сатирически изображая картины разложения, писатель проявляет больший, чем раньше, интерес к положительным ценностям, которые могли бы реально противостоять энергии распада. В этом смысле «Тюремная пташка», при всем резком своеобразии своего поэтического облика, столь же характерна для нынешнего момента американской литературы, сколь, допустим, последние книги Гарднера, Прайса, Моррисон, Оутс, написанные во вполне традиционной, можно сказать, классической манере. Сколь бы ни разнились их персонажи, круг изображаемых событий, всем им равно свойственен поиск прочных опор человеческого общежития.

Конечно, герой-повествователь романа Воннегута на роль личности, способной выдержать давление господствующей морали и нравов, не годится. Он, правда, толкует об оптимизме, идеализме, Нагорной проповеди, декларирует собственную веру в то, что «мир, благополучие и счастье еще можно каким-нибудь образом обрести», и «чувствует дрожь в коленях, встречая тех, кто полагает, будто все еще существует возможность того, что в один прекрасный день на земле появится одна большая мирная и счастливая семья — Семья Человека». Только ведь нетрудно ощутить за всеми этими словами самоиронию человека, совершенно неспособного встать над обстоятельствами, человека с атрофированной волей и, в общем-то, лишенного веры — пылинку на ветру истории, послушно перемещающуюся в фарватере модных идей и распространенных настроений. То, что для других становилось высокой потребностью души,— например, участие в рабочем движении,— для него осталось лишь случайным эпизодом биографии. Несмотря на событийную насыщенность жизни, Уолтер Ф. Старбек по сути дела только тем и озабочен, чтобы от нее понадежнее укрыться. Герой-повествователь с полным основанием мог бы повторить слова одного из своих знакомых, пережившего в свое время, как и он, тюремное заключение: «Это были лучшие годы моей жизни».

При этом, предоставляя герою полную свободу самовыражения и саморазоблачения (и тем самым явно остраняя собственную позицию по отношению к нему), писатель вовсе не склонен подменять величины: идеи великодушия, жертвенности, служения, борьбы вовсе не равнозначны в его творческом сознании их мнимому носителю. Автор воплощает эти идеи в личностях людей, которые, в отличие от Старбека, принимают деятельное участие в текущей истории. Сколь бы малое место ни занимала в романе трагедия Сакко и Ванцетти, сколь бы фрагментарно ни была она отражена, само участие этих исторических персонажей в романном действии имеет чрезвычайное значение для художественной концепции произведения. Ибо опытом своей жизни и смерти они как раз и подтверждают подлинность и необходимость тех самых понятий, которые в интерпретации главного героя превращаются в пустую оболочку, в систему закругленных и износившихся от частого употребления фраз.

Надо сказать, правда, что самая монологическая форма романа в данном случае оказывается отчасти помехой на пути решения творческой задачи. Конечно, скепсис, что звучит в высказываниях главного героя о Сакко и Ванцетти, характеризует его самого, лишний раз подчеркивает неспособность оценить подлинный героизм, реальную силу сопротивляемости общественному злу. Но в то же время вынужденная зависимость от протагониста не позволяет этим историческим личностям, как они показаны в романе, подняться в полный рост, раскрыть всю свою нравственную значительность. Должно быть, автор и сам это ощущает, не случайно при появлении мучеников на сцене столь явными становятся попытки нарушить стилевой монолит книги, освободить роман от абсолютного контроля повествователя. Порой это получается, и тогда, в отличие от других персонажей, Сакко и Ванцетти и профсоюзный деятель Уистлер обретают некото-

рую внутреннюю независимость, а их слово (зачастую документально точное) отделяется от высказываний Старбека, от его разъедающей и беспомощной иронии.

Закончить рецензию уместно словами, которые, думается, хорошо выражают идею романа, открывшего новые грани художественного дара Курта Воннегута. Взяты эти слова, не зря вынесенные в эпиграф к повествованию, из предсмертного письма Николо Сакко тринадцатилетнему сыну: «Помогай слабым, которые взывают о помощи, помогай преследуемым и жертвам, ибо это твои лучшие друзья; это товарищи, которые борются и падают, как боролись и пали вчера твой отец и Бартоло во имя радости свободы для всех обездоленных рабочих. В этой борьбе всей жизни ты обретешь любовь и будешь любим».

Н. АНАСТАСЬЕВ

...ВЕЩЬ ПОСЛУШНАЯ

Paul Westman. Walter Cronkite. The Most Trusted Man in America. Minneapolis, Minnesota, Dillon press, inc., 1981.

Пол Вестман. Уолтер Кронкайт. 1981.

«Самый популярный человек в Америке», «авторитетнее президента», «тот, кому верят больше других»,— эти слова стали в Америке последних лет чем-то привычным и само собой разумеющимся применительно к телекомментатору компании Си-би-эс Уолтеру Кронкайту. Его получасовая вечерняя программа — обзор событий в мире — пользовалась популярностью, ставившей в тупик политологов и социологов, констатировавших прогрессирующий спад интереса американцев к политике. Когда Кронкайт, расставаясь со своей многомиллионной аудиторией, произносил свою неизменную фразу: «Вот так обстоят дела», подавляющее большинство согласно кивало головой в убеждении, что именно так оно и есть и не может быть иначе.

«Феномен Кронкайта» привлек внимание специалистов, постаравшихся разобраться в природе этого «чуда». Интересующихся отсылаем к статье Виталия Кобыша «Внимая голосу оракула» в сборнике работ, посвященных массовой культуре Запада, «Литература человеконенавистничества» (Москва, «Художественная литература», 1980). Но сейчас речь пойдет не столько о самом Кронкайте, сколько о том, как создается «миф Кронкайта», как это сложное, во многом противоречивое явление усваивается и интерпретируется массовой культурой, точнее идеологией «американизма», пользующейся для распространения и внедрения в сознание американцев нужной информации каналами массовой культуры.

Биография Кронкайта, написанная Полом Вестманом, сама по себе разговора не заслуживала бы: примитивно написанная, она могла бы показаться примером авторской неумелости и издательской невзыскательности, если бы... Если бы примитивность, сентиментальная слащавость, беспроблемность не были здесь поставленным перед автором условием, ориентиром, какового старательно придерживался Пол Вестман. Фамилия автора, кстати сказать, воспринимается в общем контексте его произведения как говорящая, в дословном переводе означающая «человек Запада». Получается невольный псевдоним, прекрасно сочетающийся с заказом: воспеть западный мир — в данном случае Америку,— рассказав историю восхождения к сияющим вершинам успеха одного из героев и поборников американской (западной) демократии.

Заказ, над которым трудился Вестман, откровенно рекламного характера, что и определило стиль книги. Реклама должна быть доходчиво-простой и наглядной. Текст книги состоит из простых и сложносочиненных предложений. Кратких и выразительных. Понятных и школьникам, и смышленым дошкольникам, и не желающим утруждать себя сложным чтением взрослым. Множество фотографий и рисунков. Рисунки не только для того, чтобы младший школьный возраст не скучал, они делают осязаемыми для читателя те «факты», что никак нельзя удостоверить документально, то есть фотографиями.

Факты, впрочем, вещь послушная. Одни и те же факты могут проиллюстрировать какую угодно теорию, концепцию, мнение — все зависит лишь от того, какие факты упомянуты и прокомментированы, какие отброшены как нетипичные и случайные. В написанной Вестманом краткой биографии Кронкайта факты жизни героя книги подвергнуты строгой проверке «на типичность» — с точки зрения их соответствия стандартам и клише американского буржуазного сознания.

«Стопроцентный американец» — каким он не первое столетие изображается нравоучительно-апологетической литературой — дружелюбен, контактен, предприимчив, сам себе голова, а главное — при всей конкретности поставленных перед собой целей — неисправимый идеалист, действующий во имя Добра и Справедливости. А также оптимист, ни при каких обстоятельствах не теряющий веры ни в собственные силы, ни — что особенно ценно — в открытые возможности Америки. По этому шаблону писались сотни «историй успеха» — про Форда и Карнеги, Линкольна и Франклина, Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру Пол Вестман верен этой традиции, сообщая читателю обо всех вышеперечисленных качествах у своего подопечного и у его родственников. Читатель узнает о том, что одним из самых близких людей был для юного Уолтера его дед, аптекарь. Однажды пожар уничтожил его аптеку, но он не пал духом, а построил новую. Девятилетний мальчик помогал деду — объезжал клиентов, бравших лекарства в кредит, и получал долги. Кое-кто по бедности не мог расплатиться. Когда потрясенный Уолтер сообщил деду, в какой нищете живут должники, тот, выслушав, достал расходную книгу и против их фамилий написал: «Получено сполна».

Эпизод, может быть, и не заслуживал бы специального упоминания, если б не значение, которое приписывает ему биограф. Дед героя здесь выступает не только как частное лицо, но и как полномочный представитель «гуманной» американской системы свободного предпринимательства, для

которого люди якобы важнее прибыли. Символическое значение эпизода подтверждается картинкой — дед в присутствии внука списывает долги.

По Вестману, блестящая карьера Кронкайта хоть и отчасти, но все же связана с тем доверием, которое будущий король телеэкрана испытывал к средствам массовой информации. «Как-то раз Уолтер прочитал в журнале «Американ бой» рассказ о том, какая захватывающая и увлекательная вещь журналистика,— пишет Вестман,— и понял, что это как раз для него». Журнал не обманул и помог герою найти себя. Повествуя о карьере Кронкайта сначала на радио, а затем и на телевидении, Вестман старается посвятить читателя не столько в сложности ремесла политического обозревателя, сколько в особенности «американской точки зрения» на события в мире за последние десятилетия.

Вот после войны Кронкайт попадает в СССР. Следует авторский комментарий: «Россия — коммунистическая держава. Она использовала свою военную мощь, чтобы захватить ряд стран в Восточной Европе. Отношения между союзниками и Россией были плохими, Кронкайту в России не понравилось». Коротко и ясно. Как в букваре. Чтобы читатель запомнил и пересказал своими словами. Затем сообщается, что иностранные журналисты в России могли передавать в свои газеты лишь то, что разрешалось властями, и что за ними день и ночь следили «агенты тайной полиции». Разумеется, тут же следует документальное подтверждение — картинка. На фоне Кремля — Кронкайт, а чуть поодаль демонического вида личность, бросающая на кроткого журналиста кровожадные взгляды,— надо полагать, дежурный агент...

Комментировать и объяснять, что к чему, где герои, а где злодеи, Вестман считает необходимым, только если речь идет о внешней политике США. Что же касается событий внутриамериканских, здесь читателю бесстрастно предлагаются факты, только факты. Рассказав про то, как Кронкайт передавал в эфир сообщение об убийстве Джона Кеннеди, его биограф завершает вполне эпически: «В конце шестидесятых годов были убиты и другие известные деятели. В 1968 году были убиты Роберт Кеннеди, брат президента, и Мартин Лютер Кинг, руководитель негритянского движения за гражданские права. Кронкайт делал передачи и об этих событиях». Прямо как в древней саге — только факты, никаких рассуждений и объяснений. И никаких приглашений задуматься читателю.

Не многим более внятной становится аргументация Вестмана, когда речь заходит о войне во Вьетнаме. «Вьетнам,— спешит разъяснить Вестман несведущим,— это маленькая страна в Юго-Восточной Азии, где американские солдаты сражались с вьетнамскими коммунистами» Упоминая об изменившемся в ходе войны отношении Кронкайта к необходимости присутствия американских войск в этой точке земного шара (вначале одобрял, впоследствии не считал целесообразным), Вестман более всего беспокоится, чтобы, боже упаси, не огорчить ненароком власти предержащие — и тогдашних и нынешних. Бесславный конец агрессии подается как благородный жест, в основе которого нежелание американцев, «сражавшихся за Демократию», как подчеркивает Вестман, подвергать дальнейшим страданиям жизнь мирного населения.

Книга Вестмана учит юных читателей быть лояльными и законопослушными гражданами. Впрочем. на одной апологетике в сегодняшней Америке далеко не уедешь. Нынче от литераторов и журналистов читатели ждут критики и разоблачений. Не закрывает глаза на недостатки и изъяны американской социальной системы и Вестман. Куда больше места, чем Вьетнаму, уделяет он конфликту Кронкайта с администрацией Никсона, не раз, по словам Вестмана, выражавшей недовольство самостоятельностью и несговорчивостью ряда представителей прессы и телевидения. Вестман рассказывает, как защищал Кронкайт в выступлении в Конгрессе право журналиста на свободный комментарий, не совпадающий с точкой зрения правительства США, а в качестве важного дополнения сообщает, что все основные оппоненты Кронкайта вскоре оказались замешанными в различных махинациях и злоупотреблениях, в том числе и в уотергейтском скандале. Получился отменный образец «позитивной критики»: критиковал-то, выходит, Кронкайт не порождение системы, плоть от ее плоти, а инородное (вовремя устраненное) явление, мешающее ее успешному функционированию.

Документальная литература в наши дни весьма уверенно теснит искусство вымысла, обещая показать сложную и запутанную реальность «какой она есть на самом деле», без двусмысленного посредничества творческой фантазии. Мы не раз становились свидетелями больших удач документалистики: достаточно вспомнить «Обыкновенное убийство» Трумэна Капоте и «Работу» Стадса Теркела в американской литературе. Но есть в документальном жанре и иная, отнюдь не стремящаяся к саморекламе тенденция, когда умелая обработка реальности, соответствующий отбор и толкование фактов и событий приводят к тому, что реальное и иллюзорное меняются местами, и вымысел, фикция, мираж претендуют на то, чтобы их считали самой достоверной, не подлежащей сомнению истиной. Правда частностей сочетается с неправдой общей концепции. Именно так задумана и написана Полом Вестманом биография Кронкайта. Написана в расчете на тех, кто, слепо веря в силу печатного слова, вместе с «фактами», расцвеченными картинками и фотографиями, проглотит и усвоит важный урок лояльности к социальному порядку США, политическому курсу ее нынешней администрации, ее ура-патриотическим лозунгам. Реальность, однако, так просто не загримируешь: при чуть более внимательном прочтении «история успеха», сочиненная Вестманом, оказывается на грани пародии, вопреки всем стараниям автора выставляя в весьма сомнительном свете те самые устои американской демократии, которые он не за страх, а за совесть рекламирует.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПРОБЛЕМЫ КНИЖНОГО РЫНКА

Орган Компартии Австрии газета «Фольксштимме» пишет о тревожных тенденциях на книжном рынке страны. Многие австрийские книгоиздательства из-за экономического кризиса сворачивают свою деятельность. Это тревожит не только литераторов, пишет газета, но отрицательно сказывается вообще на «австрийском самосознании».

Согласно официальной статистике, в 1981 году австрийские издательства выпустили на 12% меньше книг, чем в предыдущем, 1980-м. И это при том, что в 1980 году выпуск книг уже снизился на 5%, по сравнению с 1979-м.

Особенно неблагоприятно эта тенденция сказывается на художественной литературе. В 1981 году издательская активность снизилась почти на треть; но следует учитывать еще и значительное уменьшение тиражей.

Издатели ссылаются на общий экономический кризис, пишет газета. Но повинен в создавшемся положении не только он, а сама политика книготоргующих фирм, в частности их усилившаяся ориентация на ФРГ. В результате книжный импорт в Австрию намного превышает экспорт. Так, в 1981 году импортная продукция составляла четыре пятых всех продававшихся в стране книг.

БОЛГАРИЯ

ДВА ВЕТЕРАНА БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

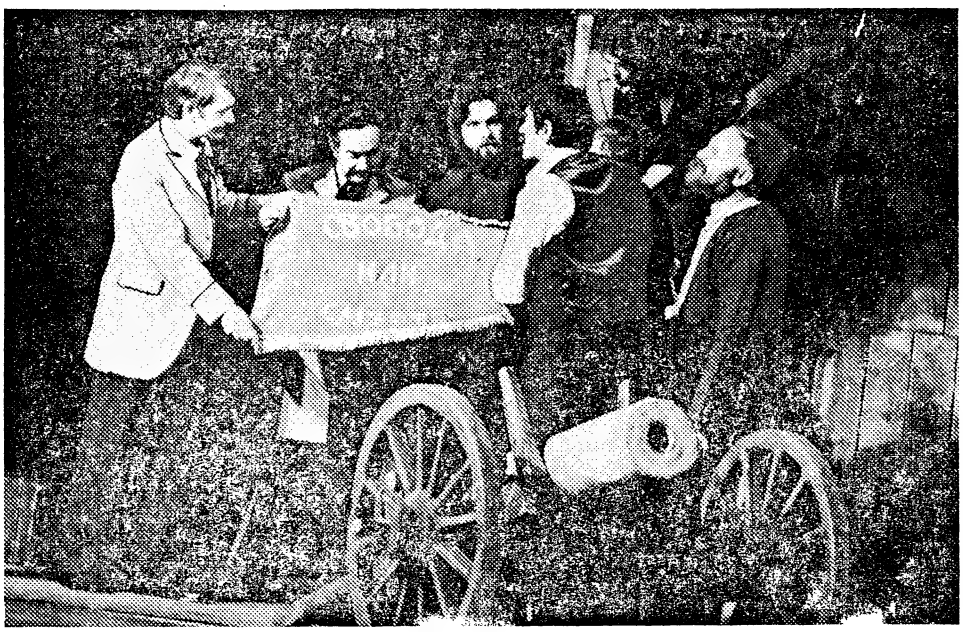
Болгарская общественность отметила 80-летие двух ветеранов болгарской поэзии — Димитра Пантелеева и Крума Пенева.

Крум Пенев, как отмечается в приветствии Союза болгарских писателей, — один из самых деятельных представителей пролетарской и революционной поэзии Болгарии, драматург и видный переводчик, среди лучших работ которого перевод «Ада» Данте Алигьери. На протяжении многих лет лира Крума Пенева пела о борьбе болгарского народа, о вере в торжество коммунизма, о правде партии. Вместе с тем в его творчестве нашли свое отражение любовь и красота, молодость и жажда жизни. Гражданский пафос в его поэзии сочетается с лиризмом, звучность поэтического слова — с классической простотой формы.

Димитр Пантелеев, вступивший в литературу в двадцатых годах, сразу же утвердился как оригинальный поэт. В его стихах тогда уже проявились черты, свойственные творчеству Д. Пантелеева в целом: вни-

Национальный академический театр, носящий имя писателя Ивана Вазова, осуществил новую постановку по его известному роману «Под игом». Режиссер, народный артист Филип Филипов, как отмечает пресса, нашел интересное решение спектакля, в котором заняты известные болгарские актеры, знакомые советскому зрителю по фильмам, такие, как Стефан Данаилов. Любомир Кацакчиев, Георгий Георгиев-Гец и Рачко Ябанджиев, ярко воссоздавшие образы героев романа.

(Газета «Литературен фронт»)



мание к жизни простого человека, умение реалистически воссоздать красоту болгарской земли, неподдельный лиризм. Д. Пантелеев известен также как автор книг для детей и переводчик — прежде всего поэзии славянских стран. Но со сборника «Косарь возвращается с покоса», вышедшего в 1959 году, начинается новый период его творчества — период расцвета, продолжающийся до сегодняшнего дня. За последующие сборники «Теплая земля» и «Глиняная чаша» Д. Пантелееву была присуждена Димитровская премия. Недавно вышли два тома его избранных стихотворений, озаглавленные «Сбор винограда».

«И действительно,— пишет газета «Отечественфронт»,— читая этот сборник, испытываешь чувство, что в богатом и высокоталантливом творчестве автора наступил благодатный сезон сбора плодов, когда он преподносит читателю лучшее из созданного его творческим взлетом».

Обоим поэтам присвоено звание Героя Социалистического Труда.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«НАСТОЯЩАЯ АЛИСА»

Английская писательница Энн Кларк уже давно считается у себя на родине самым авторитетным знатоком творчества и биографии Льюиса Кэрролла. Еще в 1968 году по ее инициативе было создано общество имени этого писателя, а в 1979 году на ее долю выпал большой успех у читателей и критиков — она выпустила в свет книгу о Льюисе Кэрролле, содержащую ранее никому не известные факты его жизни.

И вот совсем недавно Энн Кларк вновь порадовала почитателей таланта автора бессмертной «Алисы в стране чудес». В начале этого года вышла книга «Настоящая Алиса» — интересный рассказ о судьбе Алисы Лидделл, вдохновившей писателя на создание его шедевров.

Драматична судьба этой женщины. Представительница одного из самых старых английских аристократических семейств, она явилась свидетельницей его упадка. Натура незаурядная, одаренная, она так и не сумела реализовать себя как личность. В глубокой старости от нищеты ее спасла только продажа рукописи «Алисы в стране чудес», некогда с благодарностью подаренной ей автором.

Рецензент журнала «Бритиш бук ньюс» отмечает, что книга «Настоящая Алиса» интересна во многих отношениях. В ней не только прослеживается судьба Алисы Лидделл, но и затрагиваются многие общечеловеческие проблемы. Проблема превратности человеческой судьбы, подлинной и мнимой славы. «Ведь именно знакомство с Льюисом Кэрроллом, который, казалось бы, играл довольно незначительную роль в детстве Алисы Лидделл, а не ее аристократическое происхождение, связи и тому подобное принесли ей мировую известность, — пишет рецензент.—Эта книга и своеобразная энциклопедия викторианской эпохи, несомненным достоинством «Настоящей Алисы» является и та легкая, непринужденная манера, в которой она написана».

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ ЗОЛТАНА ФАБРИ

Известный венгерский режиссер Золтан Фабри снова обратился к творчеству Иштвана Эркеня. Напомним, что в 1969 году на экранах Венгрии демонстрировался его фильм по повести «Семья Тотов», которая была опубликована на страницах журнала «Иностранная литература».

Сейчас Золтан Фабри снял фильм по новелле Иштвана Эркеня «Реквием», написанной в 60-е годы.

Фильм воссоздает сложную историческую обстановку начала 50-х годов, когда были допущены нарушения норм внутрипартийной и народной демократии. Главные герои фильма — Нетти и только что реабилитированный товарищ ее мужа — ведут идейный диалог-поединок. На фоне этого диалога, который поднят в фильме до философско-нравственного диспута, проходит жизнь Нетти, оживает ее любовь к человеку, который, будучи участником Сопротивления, еще в 1944 году начал борьбу за будущую социалистическую Венгрию. В новелле Иштвана Эркеня этого человека физически не существует, он живет только в воспоминаниях, у Золтана Фабри он присутствует на экране таким, каким он остался в представлении людей, его знавших. Венгерские критики неоднозначно отнеслись к такой «вольности» известного режиссера.

Тем не менее на страницах центральной газеты «Мадьяр немзет» в статье Петера Вертеши, посвященной фильму «Реквием», отмечается, что «встреча известного современного венгерского писателя и известного современного венгерского режиссера в одной работе закономерна и закономерность эта проявилась в том, что экранизировано одно из самых возвышенных, самых тонких произведений Эркеня».

На снимке: кадр из фильма «Реквием». В роли Нетти актриса Эдит Фрайт.

(Журнал «Орсаг-вилаг»)

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА

Венгерская газета «Мадьяр немзет» сообщила о том, что доцент Педагогического института города Печа Лайош Хайзер уже много лет занимается поисками произведений русской литературы, опубликованных на страницах периодической печати города Печа.

За последние годы читатели смогли познакомиться с подготовленными Лайошем Хайзером публикациями многих произведений русских писателей XIX и XX веков в венгерских переводах. Исследователем найдено около восьмидесяти материалов, связанных с именем Льва Толстого и опубликованных в печских газетах и журналах до 1945 года, а недавно Хайзер нашел письмо И. С. Тургенева, написанное им в Карлсбаде на немецком языке и адресованное печскому фабриканту Йожефу Энгелю Яноши. Об этом письме до сих пор ничего не было известно советским ученым-литературоведам.

ГДР

РАССКАЗЫ ГЕРБЕРТА НАХБАРА

Издательство «Ауфбау» выпустило сборник рассказов известного прозаика Герберта Нахбара, скончавшегося в мае 1980 года. (В «ИЛ» за 1961 год, № 11, 12, был опубликован роман «Свадьба на Леннекене», а также ряд критических заметок о писателе).

Новая книга называется «Елена и испытание» (по одному из рассказов сборника). В книгу вошли рассказы разных лет, с 1956-го по 1979 год. Часть их хорошо известна читателям, ряд других — новые, неопубликовавшиеся. Сюжеты их разнообразны, они хорошо представляют писателя, главная тема творчества которого — изображение жизни простых людей, их образа мыслей, их интересов, забот.

В основном Нахбар пишет о Севере, о море, природа и отношение людей к природе играют большую роль в его произведениях. Писатель хорошо передает специфику северного диалекта своих персонажей. Часто его героями становятся дети, и

К 75-летию со дня рождения известного актера Эрвина Гешоннека был приурочен показ фильма «Внук Мешки», созданный режиссером Клаусом Гендриесом по рассказу Гельмута Шульца. Главная тема фильма — взаимоотношения деда и внука в сложной семейной ситуации.
На снимке: в роли деда — Эрвин Гешоннек, в роли внука — Гёц Гендриес.

(Газета «Берлинер цайтунг»)

именно через их восприятие Нахбар дает картины и страшного нацистского прошлого, и сегодняшнего дня.

«Герберту Нахбару всегда удавалось в своем творчестве достичь социальной точности,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— У него много юмора, фантазии, и при этом он крайне лаконичен. Публикация его сборника — большое событие в нашей литературе. Мы еще раз убедились в мастерстве писателя, нас еще раз тронуло очарование его прозы».

ДАНИЯ

«САПОГ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА»

Так называется роман Гуннара Хеландера, выпущенный издательством «Гюльдендаль». Гуннар Хеландер долгие годы жил в Южно-Африканской Республике, и его роман, как считают критики, может поведать о сегодняшнем положении дел в ЮАР больше, чем иные газетные репортажи и журнальные статьи. Перед читателем предстает стонущая под «сапогом белого человека» страна, коренное население которой лишено самых элементарных прав и обречено на жалкое существование в резервациях, в немыслимых для людей XX века условиях; страна, где повсюду натыкаешься на объявления: «Туземцы, собаки, разносчики — с черного хода», где африканец, выйдя после девяти вечера за пределы резервации, не только рискует утратить свой паспорт, который обязан всегда носить при себе, но легко может угодить за решетку и подвергнуться пыткам.

Книга Гуннара Хеландера далека от сухого изложения фактов. Это живое, захватывающее повествование о молодом учителе-африканце, который приезжает на каникулы в родную деревню и становится очевидцем развернувшихся там трагических событий.

Мастерски написанный, остросоциальный роман Гуннара Хеландера призывает к солидарности с угнетенным, но борющимся за свою независимость народом ЮАР.

ИНДИЯ

ФИЛЬМ, НЕ УВИДЕВШИЙ ЭКРАНА

На одной из бомбейских студий продюсером Бальдэвом Даттой (режиссер Кедар Шарма) закончены съемки фильма «Первый шаг».

По мнению рецензента газеты «Джан юг», «Первый шаг» — одна из лучших лент, показывающих пробуждение к новой жизни тех, кто, находясь вне традиционной кастовой иерархии индийского общества, веками подвергался беспощадному гнету и унижениям: даже тень неприкасаемого, упавшая на представителя высшей касты, оскверняла его, и, чтобы смыть «скверну», он должен был совершить очистительный обряд...

В центре фильма — молодая супружеская чета. Они оба молоды, красивы, полны сил и юношеского задора... Они тянутся к свету, к знанию, перед ними, казалось бы, распахнут весь мир, но... это только на первый взгляд. Беда их в том, что они «ачхуты» («неприкасаемые») — люди, для которых в современной Индии изобрели эвфемизм, теперь называют их «хариджанами» («божьими людьми»), как будто это может что-то изменить в их жизни!

Терпя лишения, преодолевая преграды, которые нагромоздило на их пути общество, слепо следующее законам касты, они пробиваются к свету, достигают вершин знания, но для окружающих они по-прежнему остаются... «неприкасаемыми».

«К сожалению,— с горечью замечает рецензент,— этот поразительной силы фильм так и не дошел до зрителя, потому что ни один кинотеатр не взял на

На снимке: Сапна Саранг и Пратап Шарма в фильме «Первый шаг».

(Газета «Джан юг»)

себя смелость показать его на своем экране...»

Рецензент считает, что такие фильмы нужно освобождать от налога на зрелищные предприятия, а местные власти должны оказывать таким картинам всяческую поддержку, потому что среди деятелей кино не так уж много людей, обладающих достаточной смелостью, чтобы взяться за фильм на такую тему.

В главных ролях фильма снимались известный киноактер Пратап Шарма и молодая актриса Сапна Саранг.

ИОРДАНИЯ

«ЛИТЕРАТУРА ИОРДАНИИ»

Редакция издающегося в Багдаде журнала «Аль-Аклям» выпустила специальный номер, посвященный литературе Иордании. В номере широко представлены произведения иорданских писателей-новеллистов и поэтов, исследования литературных критиков. Ряд материалов посвящен театру и изобразительному искусству Иордании.

В конце номера помещена статья о деятельности созданного несколько лет назад Союза иорданских писателей. В ней рассказывается о произведениях, выпущенных Союзом писателей, — сборниках стихов и романах — и об их авторах.

ИРЛАНДИЯ

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА, СЛОВА И МУЗЫКИ

«Эти пьесы станут местом встречи всех муз искусства»,— мечтал Уильям Батлер Йитс, родоначальник и вдохновитель «Ирландского возрождения», когда писал свои танцевальные пьесы в 10-е годы нашего века. С помощью символики поэт стремился передать трагическое состояние мира, в образах-масках дать архетипы людей — Поэта, Короля, Бродяги, Музыканта и так далее. И вот сейчас, спустя более полувека, две из них — «Кот и луна», «Король больших городских часов» — поставлены труппой Национального театра в помещении театра Котслоу.

Рецензент еженедельника «Таймс литерари саппмент» Катарина Уорт отмечает, что спектаклю присуща особая сказочная атмосфера, костюмы и маски актеров, музыка и декорация удивительно гармонируют с поэтическим текстом. Пластика танца подчеркивает пластику слова.

Сейчас, как никогда, важно и ценно, пишет Катарина Уорт, внимание к наследию тех, кто стоял у истоков общественно-освободительного движения, выступал за создание подлинно национальной драматургии и театра Ирландии.

ИСПАНИЯ

МЕМУАРЫ ЛУИСА БЮНЮЭЛЯ

«Мой последний вздох» — так называется книга воспоминаний знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бюнюэля, вышедшая в издательстве «Лафон». В написании книги принимал участие Жан-Клод Каррьер — постоянный сценарист Бюнюэля, с которым он работает уже почти двадцать лет.

Рецензент журнала «Экспресс» высоко оценивает главы книги, посвященные детским годам прославленного кинорежиссера. Впечатления, которые он получил на родине, в деревне Каланда (область Арагон), воплотились в ярких и сложных образах таких шедевров Бюнюэля, как «Андалузский пес» (1928), «Золотой век» (1930), «Назарин» (1958).

Большой интерес представляют те страницы книги, где Бюнюэль рассказывает о событиях гражданской войны в Испании, о своей дружбе с Федерико Гарсиа Лоркой, Пабло Пикассо, Сальвадором Дали

ИТАЛИЯ

КНИГА 1981 ГОДА

Для газеты «Паэзе сера» стало уже традицией обращение к известным деятелям науки, культуры, к политическим деятелям с просьбой назвать лучшие книги, выпущенные итальянскими издательствами за год. По результатам опроса лучшей книгой 1981 года была признана «Пиранделло, или Комната пыток» (издательство «Мондадори»). Это сборник литературо- и театроведческих очерков, посвященных великому итальянскому писателю и драматургу.

Автор книги Джованни Маккиа — член Академии дей Линчеи, профессор французской литературы. Двадцать лет назад он основал в Риме Институт театра. Его перу принадлежит целый ряд книг о литературе и театре, главным образом французских. Среди них — монография о поэзии Бодлера, о театре Мольера, о творчестве Марселя Пруста.

«Я, сам будучи критиком,— сказал Джованни Маккиа в беседе с корреспондентом «Паэзе сера». — не могу оценить своего «Пиранделло» как книгу года». Но самый факт, что такого признания удостоился не роман, не поэтическое или историческое произведение, не произведение на политическую тему, а книга очерков, является, по его мнению, весьма знаменательным. «Я надеюсь, что сказал что-то новое, что вскрыл при помощи Пиранделло не-

---

Режиссер Марио Болоньини предложил свой вариант экранизации «Пармской обители» для телевидения. Впервые этот роман Стендаля был воплощен на экране свыше тридцати лет назад Кристианом Жаком с Жераром Филипом в главной роли. В связи с премьерой фильма на парижском телеэкране в газете «Юманите» была помещена статья «о самом стендалевском романе писателя».

На снимке: Марта Келлер и Янн Бабилé в фильме «Пармская обитель».

(Газета «Юманите»)

которые стороны человеческого состояния в то трагическое, безумное время, которое мы переживаем».

Произведение Маккиа высоко оценивается критикой, «Книгой выстраданной» назвал ее известный писатель Леонардо Шаша. «Книга, захватывающая своей концептуальной насыщенностью и благородством стиля»,— так оценил ее критик Аджео Савиоли.

КУБА

«ЛЕТРАС КУБАНАС» — ПЯТЬ ЛЕТ

В связи с пятилетием со дня основания гаванского издательства «Летрас кубанас» его директор Пабло Пачеко рассказал на страницах журнала «Боэмия» о перспективах и планах дальнейшей работы.

«Летрас кубанас»,— заявил он,— намерено не только развивать чисто издательскую деятельность, но также и принимать самое активное участие в мероприятиях по пропаганде книги. Наша задача — стать центром по приобщению к культуре самых широких слоев населения. Будут проведены встречи с писателями, семинары, конференции. Особое внимание будет обращено на стимулирование работы кубинских критиков и очеркистов. Мы намечаем выпуск 62 названий различных критических работ общим тиражом в 300 тысяч экземпляров. Совместно со специалистами будут выпущены книги по кино, недостаток которых сейчас весьма ощутим. В области танцевального искусства и балета будут опубликованы книга о творчестве Алисии Алонсо, ряд монографий о ведущих солистах Национального балета Кубы и Национального фольклорного ансамбля. В разделе книг о современных средствах массовой информации выйдут книги о радио и телевидении.

Будет продолжена работа по выпуску так называемых «фундаментальных» книг, таких как словари и справочники по кубинской культуре. Скоро увидит свет второй том «Словаря кубинской литературы», а также три тома, посвященные изобразительному искусству, балету и театру.

Издательство готовит к печати полные собрания сочинений Мирты Агирре, Хуана Маринельо, Пабло де ла Торрьенте Брау, а также книгу малоизвестных эссе выдающегося мастера кубинской литературы Алехо Карпентьера. Идет работа над факсимильным изданием «Элегии памяти Хесуса Менендеса» Николаса Гильена и тома его избранных стихов. Уже объявлено о книге Рауля Роа о Рубене Мартинесе Вильене.

Издательство намерено выпустить энциклопедию «Природа и человек» в 17-ти томах, а также ряд книг в ознаменование исполняющейся в 1983 году тридцатой годовщины штурма казарм Монкады».

На снимке: сцена из спектакля «Дом Бернарды Альбы».

(Журнал «Боэмия»)

«ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» В ГАВАНЕ

Оригинальную версию драмы Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы» представила на суд кубинских зрителей режиссер Берта Мартинес. Премьера состоялась в гаванском Театре-студии и была с интересом встречена публикой, вызвав многочисленные рецензии в прессе.

В своем стремлении передать дух драмы, отмечает критик Марио Родригес Алеман в журнале «Боэмия», Берта Мартинес превращает спектакль в поэтический вечер Гарсиа Лорки. Действительность и символы перемешиваются, усиливая ощущение драматичности происходящего, а неумолимо приближающаяся развязка приобретает силу, сравнимую разве что с силой греческих трагедий...

Работа Берты Мартинес, по мнению рецензента журнала «Боэмия», говорит о зрелости и богатстве творческого воображения кубинского режиссера.

ЛИВАН

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МЕЙ ЗИЯДЕ

По сообщению журнала «Аль-Адаб» бейрутским издательством «Нофаль» выпущено двухтомное собрание произведений крупной ливанской писательницы и публицистки, одной из первых арабских писательниц Мей Зияде (около 1895—1941).

Мей Зияде (настоящее ее имя — Марьям, Мей — псевдоним) родилась в палестинском городе Назарете в семье ливанского христианина-маронита. Позже переселилась со своими родителями в Каир, где почти постоянно жила и занималась творческой деятельностью.

Первые статьи Мей были напечатаны в египетской газете «Аль-Махруса» в 1911 г. Кроме статей на литературные и общественные темы Мей писала стихотворения в прозе, очерки и рассказы, часто выступала с лекциями и речами, принимала активное участие в общественной жизни Египта. Современники высоко ценили ее ораторское мастерство.

Большой интерес представляет переписка Мей с классиком современной арабской литературы Дж. Х. Джубраном.

НИДЕРЛАНДЫ

СПЕКТАКЛЬ О МАЯКОВСКОМ

На ежегодном Голландском фестивале искусств в Харлеме «Независимый театр» из Роттердама показал спектакль «Что случилось с Маяковским?» В композиции спектакля органично сочетаются поэтическое слово, фотодокумент, элементы изобразительного искусства. Премьера явилась результатом коллективного творчества труппы, руководимой Я. Ламерсом. При подготовке спектакля-коллажа его участники увлеченно подбирали историко-литературный материал, акустический фон и музыкальное сопровождение в духе «ретро», воссоздавали окна РОСТа с использованием современной политической фотографии. Основу спектакля составляет серия сцен, объединенных темой «Художник и общество». На сцене звучат воспоминания современников, отрывки из писем Маяковского, разыгрываются отрывки из пьес Маяковского и Чехова.

Критика отметила умение режиссера удачно соединить разнохарактерные

сцены в спектакль, впечатляющий своим эмоциональным накалом. По словам самого Я. Ламерса, ставившего ранее «Баню», а также программу, построенную на стихах Маяковского, ему близка поэтика Маяковского, его художественные принципы.

Успех нового спектакля — свидетельство интереса сегодняшнего зрителя на Западе к русской и советской классике.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

«ТУЗИТАЛА НАШИХ ДНЕЙ»

Так озаглавлена статья новозеландской газеты «Доминион», рассказывающая о телефильме самоанского писателя Альберта Вендта (о романе А. Вендта «Сыновья должны возвращаться домой» см. «ИЛ», 1981, № 3).

Тузитала на языке самоанцев — это рассказчик историй. Первым из иностранцев удостоился такого звания английский писатель Роберт Льюис Стивенсон. Он прибыл на остров Самоа в 1889 году, когда герои его романов — Длинный Джон Силвер и доктор Джекил, он же мистер Хайд,— уже снискали себе широкую известность, и прожил там последние пять лет жизни. Больной туберкулезом, писатель приехал на Самоа, уповая на благотворное действие местного климата. Но Стивенсон не смог оставаться безразличным к бесчинствам, которые творились в формально независимом государстве. Судя по его острым и злым репортажам, направляемым газете «Таймс», Полинезия вовсе не была для Стивенсона райскими кущами — писатель знал ее реальную жизнь и рисовал картины, далекие от пасторальных. Так что по сути дела знаменитого автора приключенческих романов никак нельзя считать причастным к пресловутому мифу, разоблачению которого посвящен и фильм Вендта — один из задуманной им серии «Достопримечательности нашей природы», предназначенный для телеэкранов Новой Зеландии и других стран Океании. По мнению Вендта, самоанцы, издревле ценившие «волшебство слова», не зря прозвали Стивенсона Тузитала. Однако время, когда литературу Полинезии представляли преимущественно европейские писатели, считает Вендт, ушло в прошлое. Раньше европейская литература неизбежно брала верх над местной — будучи устной, та, при всех своих достоинствах, не могла соперничать с письменной, не могла так легко путешествовать, как письменная. Но накопленный опыт уже позволяет местным писателям выйти на мировую арену и самим рассказывать истории своих регионов в книгах. В подтверждение этой мысли Вендт, ведущий рассказ на экране, показывает зрителям книги, написанные авторами южных островов Тихого океана и в том числе им самим.

ПОЛЬША

«РОДОСЛОВНАЯ ПОЭТА»

Так называется статья в газете «Трибуна люду», посвященная Станиславу Рышарду Добровольскому — прозаику и поэту, которому недавно исполнилось 75 лет. Он — один из немногих писателей, жизнь которого как бы включает две эпохи. Он родился в начале века на варшавской рабочей окраине Воля, в семье, тесно связанной с революционным движением. Среда, в которой он вырос и сформировался, оказала влияние на все его творчество, была тем источником, который питал его поэзию и прозу всю жизнь. Добровольский всегда отстаивал идеалы социально активного искусства. Будучи одним из организаторов знаменитой поэтической группы «Квадрига», в которую входили такие поэты, как Л. Шенвальд, К. И. Галчинский, в 30-е годы С. Р. Добровольский редактирует журнал «Новая Квадрига», на направление которого большое влияние имела польская компартия.

В годы войны, во время гитлеровской оккупации Добровольский печатался в подпольных изданиях, за участие в Варшавском восстании он был заключен в концлагерь в Германии.

Послевоенные стихи и проза Добровольского в основном посвящены Варшаве: с любовью описывается прекрасный город, восставший из руин.

«В поэтическом творчестве автора «Возвращения на Повисле»,— пишет рецензент,— критика выделяет два направления: философскую лирику и революционно-патриотическую поэзию. Но это чисто условное деление зачастую нарушается, и когда границы между задушевной личной исповедью и раздумьями о судьбе страны, о народе стираются, вот тогда возникают лучшие стихи С. Р. Добровольского».

Поэта заботит не только судьба своей страны, он полон беспокойства за судьбы человечества, над которым нависает угроза термоядерной войны.

Говоря о Добровольском как о прозаике, рецензент выделяет его «Семейную сагу» — историю одной пролетарской семьи, которая берет начало в XIX веке и продолжается в наше время. Это, отмечает критик, опять возвращение к истокам, как и в предвоенном стихотворении поэта «Родословная».

К драме Юлиуша Словацкого «Балладина» обращались многие режиссеры. Сейчас она поставлена в Белостоке в Драматическом театре режиссером Тадеушом Александровичем.

На снимке: Ельжбета Каминьска в роли Балладины и Станислав Янковский в роли пустынника.

(Газета «Трибуна люду»)

ТУНИС

«ТУНИССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА»

Журнал «ИБЛА» сообщает о выходе в свет книги известного тунисского писателя и литературоведа Мухаммеда Салиха аль-Джабири «Тунисская художественная проза: ее возникновение и ее первопроходцы». В ней автор рассматривает историю возникновения современных жанров художественной прозы в Тунисе — романа, повести и новеллы, начиная с появления первого тунисского романа в 1906 году («Хайфа и Сирадж аль-Лейль» С. Свиси) до 1930 года.

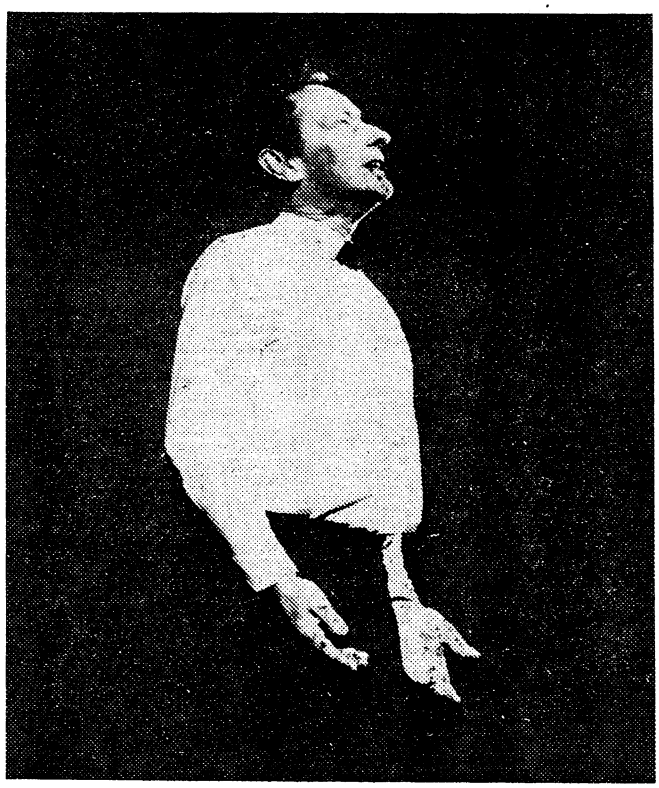
Аль-Джабири стремится показать в своей книге роль и место художественной прозы в арабской литературе в целом и особенности ее возникновения в Тунисе. В книге анализируются различные направления ранней тунисской прозы. Исследование иллюстрируется оригинальными текстами из книг и журналов, ставших библиографической редкостью. К каждому тексту аль-Джабири дает краткие сведения об авторе.

ФРАНЦИЯ

«ТРАНЗИТНЫЕ ПАССАЖИРЫ»

Так озаглавил свою последнюю статью в «Тетрадях Рено — Барро» выдающийся актер и режиссер наших дней Жан-Луи Барро, вдохновитель «Компании Рено — Барро» — сценического коллектива, дважды побывавшего на гастролях в СССР.

Об интересной, сложной судьбе этой труппы Барро поведал на страницах своеобразных мемуаров «Воспоминания ради будущего» (изд-во «Искусство», 1979), где описаны, в частности, ее «бродячая жизнь» — гастроли по многим странам мира и вынужденные скитания по



На снимке: Жан-Луи Барро.

сценам Парижа: Мариньи, Пале-Рояль, театр де Франс, Одеон, театр д'Орсе. Казалось, в этой книге автор подводит творческие итоги своей жизни в искусстве. Но вот в этом году театр Барро вновь был вынужден сменить подмостки — в девятый раз... Однако это не обескуражило Барро, уже в марте он объявил об открытии Рон-Пуана — нового театра Барро: на основной его сцене парижане увидели премьеру спектакля, поставленного самим Барро,— «Любовь к любви» по текстам Апулея, Лафонтена, Мольера, настоящий гимн любви к жизни, а на малой — возобновленную постановку пьесы Беккета «О! Счастливые дни», где одну из главных ролей играет Мадлен Рено.

Этому событию посвящен очередной, 101-й номер бюллетеня — «Тетради Рено — Барро». Среди его публикаций особенно интересны статья «Толстой и смерть», приуроченная к предстоящей премьере на малой сцене спектакля «Смерь Ивана Ильича», а также статья «Архитектурные метаморфозы», рассказывающая об этом помещении театра, у которого, как выясняется, позади более чем столетняя история.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Как сообщает газета «Эко», «Жак Превер и его друзья-фотографы» — такова тема экспозиции, организованной Национальным институтом фотографии в Парижском музее современного искусства. Известный французский поэт страстно увлекался фотографией, и среди его близких друзей было много профессиональных фотографов. Им и принадлежит идея организации этой выставки.

Многие мастера фотографии, а среди них и такие популярные во Франции фотографы, как Изи и Дуано, отобрали для экспозиции свои наиболее удачные снимки, сделанные при жизни поэта. Пьер Превер предоставил снятый им о брате фильм, а жена поэта Жанина — фотографии и коллажи, сделанные самим поэтом. Кстати, творчеству Превера-фотографа была посвящена и отдельная выставка, проходившая в начале этого года в Национальной библиотеке в Париже. На ней было представлено 170 коллажей автора «Слов».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИНТЕРЕС К РУССКОЙ КЛАССИКЕ

Большой популярностью пользуется в ЧССР выпускаемая издательством «Лидове накладательстви» («Народным издательством») серия «Тройка», посвященная русской и советской классике.

В этой серии были изданы по существу все наиболее значительные произведения русской и советской литературы. Причем периодически предпринимаемые переиздания не являются простыми повторениями, а всегда несут в себе нечто новое: или новый перевод, или более основательный комментарий, предисловие, или же, наконец, новое оригинальное оформление.

Этих добрых традиций «Тройка» придерживается уже много лет. Следуя им, издательство выпустило в свет и два новых издания А. С. Пушкина и А. П. Чехова.

Пушкин издавался в серии «Тройка» дважды: отдельно был выпущен роман «Евгений Онегин», затем избранная лирика и драматические произведения. Нынешнее издание знакомит читателей с Пушкиным-прозаиком, представив в добротных переводах «Повести Белкина», «Дубровского», «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку».

Если Пушкин показан издателями как гениальный художник-реалист, стоящий у истоков русской классической прозы, то Чехов рисуется как одна из ее самых высоких вершин. «Тройка» обращается к Чехову также не впервые. В 1979 году были изданы ранние произведения писателя («Юморески»), в издании этого года предстает зрелый Чехов, автор «Степи», «Невесты», «Человека в футляре» и ряда других поздних вещей («Горькие юморески»).

Газета «Руде право» высоко оценила новые издания «Тройки», указав на непреходящее художественное значение русской классики, перед которой, как перед каждым великим искусством, бессильно время: «Оно не может уменьшить ни силу его воздействия, ни свежесть».

ШВЕЦИЯ

ДОЧЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Хотя со дня смерти известной шведской писательницы, журналистки, борца за мир, члена Шведской королевской Академии Элин Вэгнер прошло уже более тридцати лет, ее имя в Швеции не забыто.

Недавно почитатели ее таланта получили настоящий подарок — журналисты Улла Исаксон и Эрик Ялмар Линдер написали книгу об Элин Вэгнер под названием «Дочь матери-земли».

Книга содержит биографические сведения об этой замечательной женщине, анализ ее литературных работ, выдержки из ее ранее не публиковавшегося дневника. Но книга ценна не только этим: в ней мастерски воссоздана атмо-

сфера почти полувекового (с 1900 по 1949 год) периода истории шведского общества и шведской культуры.

Рецензент газеты «Ню тид» Биргитта Бош пишет о том, что читать эту книгу — «все равно» читать о самом себе, о своих друзьях, о своем участии в идеологической и политической борьбе». Элин Вэгнер и ее единомышленников волновали вопросы о положении женщины в буржуазном обществе, о мире, о смысле жизни, о судьбе творческой личности, то есть вопросы, представляющие непреходящий интерес. Поэтому книгу «Дочь матери-земли» можно смело назвать актуальной и своевременной.

ЮАР

ПЛАЧ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Название нового романа Алана Пейтона «О, ведь ваша страна прекрасна» — иронично. Он использовал в нем обычную форму вежливого ответа иностранцев, которым задают вопрос о том, как им понравилась Южная Африка. Их ответ: «О, ведь ваша страна прекрасна» скрывает нежелание говорить о вопиющих политических проблемах страны. «На самом деле,— поясняет автор книги,— они хотят сказать: как может быть столько горя в такой прекрасной стране?»

Первый роман писателя «Плачь, любимая страна» был опубликован в 1948 году. Он принес ему славу одного из наиболее ярких художников нашего времени и беспощадного критика расизма. Писатель остался верен своей теме: «Если в Южной Африке вы пишете книгу, которая не касается основных проблем страны,— ее не стоит читать».

Роман «О, ведь ваша страна прекрасна» — первая часть задуманной им трилогии. Его действие охватывает события 1952—1958 годов, период введения апартеида в качестве государственной политики страны. И продолжает его вплоть до 1976 года, когда жители Соуэто, черного пригорода Иоганнесбурга, восстают против расистских порядков в школе. Политические события романа даны через восприятие трех семей: черной, азиатской и белой, настроенных против апартеида. Книга заканчивается приходом к власти в стране теоретика апартеида доктора Хендрика (прототипом является Фервурд), фамилия которого ни разу не упоминается на страницах книги, но которую знает каждый в Южной Африке.

Вторую часть трилогии писатель собирается назвать «Новые Небеса и новая Земля». «Это то, что мечтали создать доктор Хендрик и его националистическая партия. Но их замысел потерпел фиаско, ему не суждено сбыться и в будущем»,— говорит Алан Пейтон. Вторая часть трилогии уже почти кончена, она рассказывает о событиях в Шарпевиле, где во время демонстрации 1960 года были десятки жертв, об установлении республики в 1961 году и об убийстве доктора Хендрика в парламенте в 1966 году.

Многие герои трилогии, среди которых есть и реальные лица, принадлежат к многорасовой либеральной партии, основанию которой в 1963 году содействовал сам писатель.

В прошлом году вышла первая часть автобиографии писателя «На пути к горе», которая заканчивается 1948 годом, когда выход романа изменил жизнь Алана Пейтона.

Сегодня писателю 78 лет. Несмотря на то что сейчас он не занимается политикой непосредственно, его творчество продолжает дело его жизни. В недавнем интервью он сказал: «Я не вижу выхода из положения, создавшегося в стране. Но я не хочу сказать, что выхода не существует. Если бы я считал, что наши народы не могут жить вместе сегодня или в будущем, я покинул бы эту страну».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Я. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

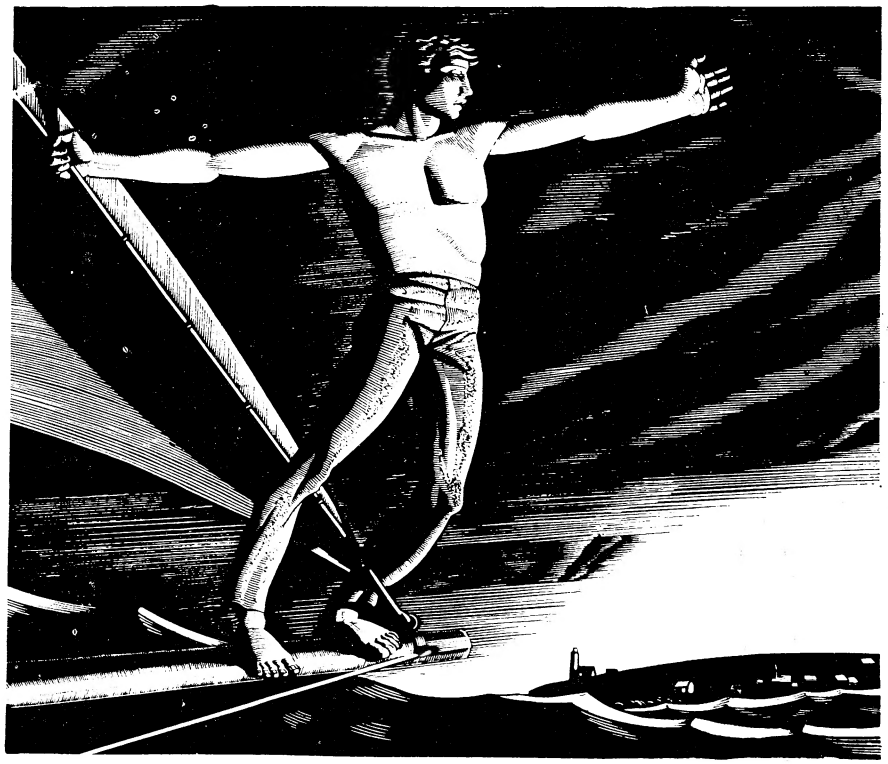
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 6.04.82. Подписано в печать 14.05.82. А 08228. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 27,28.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 1225.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Аляска. Вид с Лисьего острова зимой. 1919

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394